НОВЫЙ МИР

5

1976

НОВЫЙ МИР 1976

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г. № 5 Май, 1976 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПЕТРУСЬ БРОВКА — **Новые стихи.** Перевел с белорусского Валентин Корчагин 3

ЮЛО ТУУЛИК — **Можжевельник выстоит и в сушь,** роман. Перевел с эстонского А. Тамм 7

СУЛЕЙМАН РУСТАМ — **Я не устал,** стихи. Перевел с азербайджанского Александр Голембa 87

НАТАЛЬЯ АСТАФЬЕВА — **Поможет слов живая связь...,** стихи 90

ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН — **Рассказы** 92

ЛИЛИЯ БЕЛЯЕВА — **Семь лет не в счет,** повесть. Окончание 130

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

КОНСТАНТИН БАДИГИН — **Тихий океан** 161

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ — **Рабочий дневник (1938—1955).** Составление, перевод с немецкого и примечания Е. Кацевой. Предисловие Е. Книпович 208

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛАВЛИНСКИЙ — **Единый язык искусства** 239

СЕМЕН ФРЕЙЛИХ — **Экран и современность** 250

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 264

Марк Соболь. Сестра по оружию.— **А. Каменский.** Душа портрета.— **В. Пронин.** Выбирая биографию.

Политика и наука 272

Владимир Карпов. Герои секретного фронта.— **Н. Миненко.** Нетрадиционный подход к исследованию народных традиций.— **В. Емельянов.** Уметь видеть.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КОРОТКО О КНИГАХ: В. Косолапов.— Борис Галанов. Самые долгие годы. Повести. ✦ Лев Озеров.— Александр Письменный. Ничего особенного не случилось. Повесть и рассказы ✦ Д. Кислик.— Н. Зубов. Первый председатель Малого Совнаркома. ✦ И. Забелин.— А. Б. Давидсон, В. А. Макрушин. Облик далекой страны 284

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 288

© Журнал «Новый мир», 1976.

ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

НОВЫЕ СТИХИ

С белорусского

***

Известно всем:
Никто не вечен.
Прекрасна жизнь, но жизнь — одна.
Ее сосуд пополнить нечем,
Когда он вычерпан до дна.

Дела, волненья, думы наши
Соразмеряем с бегом дней —
И чем становимся мы старше,
Тем дни проносятся быстрей...

Но неразрывно с нами время:
Тот срок, что за твоей спиной,
Есть единица измеренья
И часть
Истории самой.

***

Наш век — провидец краснозвездный,
Великая стезя.
В наш век, и ласковый и грозный,
Впустую жить нельзя.

Какие дали мне раскрыл он!
Я не чужой ему:
Что мне по разуму, по силам —
Все, все свое возьму.

Тогда не будет труд бескрылым,
Тогда я новым дням,
Что мне по разуму, по силам —
Все, все свое отдам!

ВСЕГДА ЖИВАЯ

Где б ни был я, где впредь ни буду,
В какую даль ни заберусь,

Видна, слышна ты мне повсюду,
Земля родная, Беларусь.

Ты вслед вздыхаешь, навевая
Сосновый звон, речную тишь,
И в сердце мне, всегда живая,
Глазами синими глядишь.

А у тебя ведь нас немало:
Кто есть, кто был — поди сочти!
Но всем любви твоей хватало —
И дома и в любом пути.

Росли, мужали мы, старели,
А он все краше, облик твой:
Ты, словно мать у колыбели,
Стоишь у нас над головой.

Ты города свои и веси
Ласкаешь, добротой лучась.
На праздник нам даруешь песни,
А силу духа — в горький час.

И смотришь с молчаливой жаждой
На хаты наши, на дома:
Все чаешь ты, чтоб сын твой каждый
Был так же чист, как ты сама.

***

Ах, сердце...
Тысячи хотений,
Пока стучишь, в тебе горят:
Тебе и гвалт подай весенний,
И шум дождя, и листопад,

И посвист утренней поземки,
И полдня летнего простор,
И многолюдья говор громкий,
И звонкий смех, и жаркий спор.

Уймись к закату! Час не ранний,
Ему приличествует тишь!..
Не можешь.
Тысячи желаний
В тебе горят, пока стучишь.

О РЕВНОСТИ

Чем ты добрей, тем ты богаче.
Мир чувств
Возьми и обнови!
Что ж ревность?.. Так или иначе,
А без нее ведь нет любви.

Вот в пытку превратился разом
Любви твоей горячий свет —

И так же вдруг темнеет разум,
И выхода как будто нет.
С ножом в руке иль на дуэли
Брал верх
Не лучший, а живой...
Такие средства устарели:
Он все ж не враг, соперник твой.

Чем ворошить всю эту древность,
Обдумай-ка двух слов родство!
Соревнование
И ревность.
Они — от корня одного.

***

Бери мое сердце, товарищ,
Коль время расстаться пришло!
Я знаю: и ты мне подаришь
Открытого сердца тепло.

Дороги — без счета, без срока.
Да только уж нам-то с тобой
Ни тягостно, ни одиноко
Не будет в дороге любой.

Что возраст? Наш дух не состаришь,
Нам есть что нести сквозь ветра!..
Возьми мое сердце, товарищ,—
Опять нам прощаться пора.

СИНИЕ КНИГИ

Я знал, что есть моря на свете,
Но жил и рос в краю озер.
И потому озера эти
Меня волнуют до сих пор.

Придешь к любому — чем не море?
Вода и небо. Нет земли.
Знать, в этом полном тайн просторе
Мои стихи себя нашли...

Как шумен берег, чаек полный!
Да и раздольный плес не тих:
Там ветер всё листает волны —
Страницы синих книг моих.

И я — в двадцатый раз и в сотый —
Несу к ним веру и мечту,
Что в них опять открою что-то,
Когда их заново прочту.

***

Простая вещь:
Забор больничный...
Но глянешь сквозь него вокруг —

И свет тревожный, необычный
На все польется, хлынет вдруг.

Как будто увидал впервые
И лес осенний вдалеке,
И эти стежки луговые,
И чью-то лодку на реке.

И мысль пронзит:
Ведь жизни чудо
Еще постичь ты не успел!
...Домой. Скорей домой отсюда —
Там столько дел, там столько дел...

ДОБРЫЙ ДЕНЬ

Под рассветными ветрами
Слышу эти голоса.
— Добрый день, товарищ ранний! —
Вдоль тропы звенит роса.

Огляжу седые плавни,
Поднимусь на косогор.
— Добрый день, товарищ давний! —
Прогудит сосновый бор.

Хлынет свет в земные шири,
Разольется надо мной.
— Добрый день, товарищ лирик! —
Скажет мне весь край родной.

И ему под шелест нивы,
Под вагонный стук вдали,
Благодарный и счастливый,
Поклонюсь я до земли.

***

— Что, солнышко, горишь так ало
Ты в свой закатный час?
— С утра в труде вам помогало,
Горяч был день у вас...

— А поднимаясь из-за моря,
Что так багришь зарю?
— Людского нагляделось горя,
От слез лицом горю.

Перевел ВАЛЕНТИН КОРЧАГИН.

ЮЛО ТУУЛИК

★

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ВЫСТОИТ И В СУШЬ

Роман

МАТЕРИ

Тот, кто избавился от боли, не смеет думать, что он теперь свободен и может снова жить, как прежде. Теперь, когда он познал, что такое боль и страх, он должен помочь бороться против боли и страха...

Альберт Швейцер.

Нас вели ночью.

Под холодной луной немец катил по глинистой дороге расшатанную тачку.

Следом за немцем шли отец с матерью, неся по очереди полуторагодовалого братишку, сестра торопилась за ними с узелком в руках.

Дорога светилась между можжевеловым леском и валунами, будто успокаивая, что сбиться с пути невозможно, что ведет она прямо на Сырвеский мыс, а там ждут пароходы.

Это было 27 октября 1944 года.

Когда я теперь, спустя почти тридцать лет, пытаюсь все заново вспомнить, перед глазами стоит лишь ясная лунная дорога, мы с братом Юри сидим в тачке, подогнув под себя ноги, и со страхом следим, как бы отец с матерью не отстали от чужого человека, который толкает тачку.

Ничего другого я не помню.

Только через полгода мне исполнилось пять лет. Это было в бывшем «Польском коридоре», в лагере Клейн-Лубс. Врач-немец осмотрел меня и брата, двух светловолосых голодноглазых мальчишек, и сказал нашему отцу:

— Zwei Soldaten für die deutsche Armee [1].

Близорукие отцовы глаза за стеклами очков не выражали ни согласия, ни протеста — в глазах людей военного времени чаще всего за беспомощностью, непониманием, даже равнодушием скрывались истинные чувства,— отец ничего не ответил.

Но я и этого не помню: об этом, кажется, сразу после войны отец рассказывал на Сааремаа незнакомому человеку, с которым они пили водку, потому что человек сделал нам лампу. Он ввернул белый жесткий фитиль в найденную в развалинах горелку и надел ее на четырехгранную бутылку с керосином. Стекла не было. Бегать нам не разрешали, чтобы не погасить огня.

[1] Два солдата для немецкой армии.

Мой отец был учителем. Он свободно читал и говорил по-немецки. По сей день хранится его немецкая энциклопедия без обложек.

Я снова вспоминаю освещенную холодным лунным светом дорогу, редкий перелесок, груду камней, белое облако — давнюю осеннюю ночь,— вслушиваюсь в себя, надеясь на пробуждение угасших голосов и звуков, и, честное слово, ничего, кроме колесного скрипа, не слышу. Отец и немец не разговаривают.

На страницах этой книги есть следы выбора между правдой и правдоподобием: я искал подлинную правду, самую начальную, самую жестокую, самую честную, иногда даже неприятную в своей обнаженности, и старался эту правду защитить от правдоподобия, которое частенько казалось вернее, прекраснее и гуманнее. Так я пытался защитить человечность и мужественность, не возводя их в исключительность и геройство.

Из длинной ночи 27 октября 1944 года я помню полную луну, занемевшие ноги и страх перед освещенной дорогой: поспеют ли следом отец и мать...

Это мое собственное воспоминание.

Но я не могу сказать: я помню — мой отец и немец не разговаривали.

Я могу сказать: я действительно не помню, чтобы мой отец и солдат разговаривали между собой на чужом языке.

Я думаю, чтобы достигнуть подлинности в описании такой войны, когда народы страдают, сопротивляются, гибнут, необходимо писать sine ira [2].

Почему я выбираю вариант с молчанием?

Молчание рядом с чужаком означает или ненависть, или превосходство. Что означает молчание отца?

До того как я написал фразу «Нас вели ночью», я в течение нескольких лет читал всевозможную литературу о минувшей войне. Я побывал в тех местах, куда нас тогда вывезли. Записал рассказы жителей полуострова Сырве об их мытарствах. Разыскивал дневники, документы и фотографии. Читал еще и еще. Разговаривал с историками, философами и военными. Снова читал: выискивал параллели, от которых следовало отказаться, и проверял свои мысли, чтобы они не оказались чужими. Особенно понравилась мне изданная в оккупированном Париже новелла Веркора «Молчание моря». Образованного и интеллигентного, приятного в обхождении немецкого офицера поселяют в доме, который принадлежит старому французу и его племяннице. В течение всего времени девушка ни слова не говорит офицеру. Хотя этот завоеватель нравится ей. Однако ненависть, если это душевное состояние всего народа, гасит даже любовь. Девушка молчит.

Я немного боюсь влияния этой новеллы.

У отца я уже ничего не могу спросить.

Что же тогда дает мне право думать, что на всем семикилометровом пути от школы в деревне Карусте до причаливших к мысу Сырве судов, в которые нас запихали, мой отец ни одного слова не сказал немецкому солдату, который все же сам взял тачку и показал отцу, что этих двух малышей, которые в ночное время не смогут пройти такую дорогу, он посадит в тачку и доставит туда, куда и велено доставить?

В нескольких шагах впереди отца и матери, которые попеременно несли на руках маленького Энно, немецкий солдат толкал по чужой

---

[2] Без гнева *(лат.)*.

земле тачку с двумя малышами, светила ночная луна, которая всегда заставляет тревожно биться сердце. Дети в тачке были перед глазами, ни устать, ни потеряться они не могли, и чужеземец был сейчас лишь человеком, который взялся добровольно помочь в тяжелом пути.

Я думаю, что мой отец все же с ним не разговаривал.

27 октября, в короткий по-осеннему день, отец прибирал школьный чердак. Мусора и бумаги было не так много, но уборка заняла порядочное время: кое-какие давние письма, школьные дневники или ненужные книги он просматривал заново.

Требовалось очистить все чердаки по эту сторону линии фронта, все чердачные помещения на полуострове Сырве, который находился в руках немцев, потому что огонь тяжелых батарей и корабельных пушек наступающей Советской Армии гудел над землей.

Только под вечер отец навел порядок на чердаке.

Сумерки заглядывали в окно, уже медленно и нехотя поднималась луна, время завершало свой круг.

В предвечерний час, когда еще не зажжен огонь и дети лезут на руки родителей или жмутся к открытой печурке, а взрослые устали от дневных забот и думают о спокойном отдыхе, в этот час учитель Каарел Туулик пошел открывать дверь двум мужчинам, которые, как он видел, вошли в калитку.

Люди в немецкой военной форме переступили порог комнаты и вежливо поздоровались.

Один из них был офицером, другой — моложе и в очках — переводчиком. Офицер через переводчика приказал: через два часа дом должен быть очищен!

Оба говорили спокойно и твердо, как о деле, которое само собой разумеется.

Это приказ высшего военного командования Германии.

Военные действия обостряются, фронт может приблизиться, немецкое командование оберегает жизнь всего гражданского населения на территории, которой оно управляет. Поэтому немецкое командование приказывает всем в течение двух часов покинуть свои дома и направиться на мыс Сырве, где ожидают суда, чтобы перевезти жителей в самое безопасное место, в «великую Германию», откуда их в самое ближайшее время — по всей вероятности, к рождеству — доставят обратно на освобожденную от русских землю.

Мой отец выслушал слова немецкого офицера и перевод немецкого солдата, эстонца.

Немецкий язык будто создан для приказаний, отметил про себя отец, и даже попытка логически объяснить нам подобное стремление к «гуманности» — даже это звучит как приказ.

Отец смотрел через очки в стекла очков другого эстонца, и это было богом данное облегчение — их взгляды разделяло стекло, стекло скрывало чувства. Много читавший и слушавший на разных языках радиопередачи, отец в тот момент думал о многозначности языка, не зная, что нацистам было категорически запрещено называть своими словами все их «действия безопасности». Согласно военным приказам и инструкциям, велась гуманная война, где отсутствовали такие понятия, как расстрел, виселица, убийство в газовых камерах. Были другие обозначения: особое обращение, окончательное разрешение вопроса, а также переселение.

Мы держались за маму, потому что пришельцы были чужими и при оружии.

Отец ничего не сказал.

Сестра — девятнадцатилетняя девушка — подступила на шаг к переводчику и спросила:

— А если мы не уйдем?

Офицер спросил:

— Was hat das Fräulein gefragt? [3]

Он получил быстрый и точный перевод.

— Немецкое командование распорядилось, чтобы все покинули свои дома,— сказал офицер.

Он повторил это как нечто простое и общепонятное, и в голосе его даже прозвучало некоторое удивление.

— Почему мы на ночь глядя должны уходить с маленькими детьми из с в о е г о дома? — еще спросила сестра.

Солдат в очках снова перевел, и немец все с тем же удивлением спокойно и ясно ответил:

— Высшее немецкое командование распорядилось: всех, кто будет обнаружен в доме на рассвете, расстреливать на месте.

Они ушли, вежливо попрощавшись, и солдат в очках мягко и бесшумно прикрыл за собой дверь, словно он был хозяином дома или человеком мастеровым, который знает, что приличная дверь должна быть всегда закрыта и что ручка для того и существует, чтобы не громыхать дверью.

Я могу предположить, что первым чувством отца было сожаление.

Сколько раз местные лодочники и родители его учеников из ближайших сел спрашивали, не собирается ли учитель со своими маленькими детьми уйти от надвигающейся войны, отправиться вместе с ними в Швецию, потому что туда уходили тысячами.

Распространялись слухи о жестокости русских, и уходили люди, у которых не было и малейшей причины для этого, потому что они только ловили рыбу и обрабатывали землю, не состояли они ни в Омакайтсе[4], ни в Кайтселийте[5] и на все происходящее смотрели как на большую войну русских и немцев, в которой арийская раса получала сполна.

Учитель не пошел с ними.

Было у него больше житейской мудрости или он настолько любил свою землю, этот бедный, обездоленный полуостров Сырве, что душа не позволила ему уйти; всем, кто звал его, он отвечал: нет.

Только теперь, когда выселение в чужую страну стало неотвратимым, сожаление вскипело в нем:

— Черт возьми, неужто эти уехавшие и в самом деле знали все наперед!..

Он по привычке зашагал из угла в угол кухни: трубка во рту, руки за спиной.

— Что будем делать, жена? — спросил он, памятуя о том, что жены зачастую лучше мужей решают житейские дела.

Но не стал ждать ответа, взял с полки колоду карт. Что-то надо было ему делать в этот момент, чтобы отодвинуть еще хоть на миг необходимость повиноваться.

— Посмотрим,— сказал он.

Он раскидал карты на столе так же, как это теперь делает моя жена, над которой я смеюсь, и все перекладывал их, отыскивая пророческий смысл. Весь стол был занят картами, пестрота которых оставалась полнейшей тайной для непосвященных.

Отец сказал:

— Через пять месяцев вернемся.

---

[3] Что спросила девушка?

[4] Реакционная полувоенная организация в буржуазной Эстонии.

[5] Фашистская вооруженная организация в оккупированной Эстонии.

Теперь, по прошествии времени, это раскладывание пасьянса не вызывает у меня удивления.

Я знаю, что одна уже немолодая сырвеская женщина, которой также дали два часа на сборы — двадцать килограммов на человека,— эта женщина никак не могла взять в толк, по какому в мире праву ее гонят из собственного дома, из этих четырех стен, где жили и умерли ее прадеды. Жена рыбака, она понимала, что с мыса Сырве их повезут прямо в пекло войны, и целый час смотрела через окно на поросшие мохом каменные заборы, скрипучие деревянные ворота, столбы вешал, на обтрепанные западным ветром сосны и на пестревшую камнями пашню, где через каждые двадцать шагов приходится поднимать плуг перед гранитным валуном или куском плитняка, а когда она поняла, что без всего этого нет смысла в ее жизни, то в течение всего следующего часа вспоминала, что же в этой вечной, от зари до зари, суете было прекрасного. И оказалось, что был только труд и единственный праздник — день конфирмации в церкви Ямая, где она была в белом платье и новых туфлях, купленных на заработанные летом деньги, где было много людей и песнопений, да еще был летний вечер под Иванов день, светлый и прекрасный; и женщина достала из сундука, из-под домотканого половика и столетней тяжелой Библии свои конфирмационные туфли и снова уселась под окошком, пока не явились за ней; и она не пролила ни слезинки, шагая под топот солдатских сапог и рычание овчарок по деревенской дороге, покрытой сырой прелой листвой, туда, куда указывали штыком, сжимая скрюченными, ревматическими пальцами, которые и спиц-то уже не удерживали, тонкие шнурочки конфирмационных туфель. Теперь, по прошествии времени, когда я знаю, что уходили т а к,— теперь отцовский пасьянс уже не кажется мне смешным или необъяснимым.

Мама выпрямилась у плиты, всхлипнула и пошла в заднюю, большую комнату.

Спокойно и деловито, как в душный июльский день, когда на берегу моря она промывала овечью шерсть, тонкую, белую и волнистую, распушая один клок за другим, чтобы солнышко быстрее просушило, стояла мама перед шкафом и бросала на пол белое крахмальное белье. Она отложила девять больших простыней, чтобы сшить ребятишкам белье, когда все износится. Шкаф был уже пустой, и она протянула руку, чтобы выбросить последние вещи, но рука дрогнула, и мама, прислонившись к дверце, безутешно заплакала. А на полке так и остались мýхумский чепец и мухумская юбка — мамино приданое.

В большой чемодан положили четыре хлеба.

Из подвала принесли две банки варенья.

Ножи, вилки, ложки.

Кусок говядины, которая варилась, пока не пришли за нами. Мясо не доварилось — мясо старой скотины нужно держать на огне несколько часов.

За два часа при обычном жизненном ритме человек успевает сделать гораздо больше. За воротами уже загромыхали телеги — многие из угоняемых в порт людей, те, у кого была в стойле своя лошадь, заворачивали к школе, чтобы узнать, как там учитель с семейством,— за воротами загромыхали телеги, а в доме все было еще разбросано, и люди остались ждать.

Вместе с детьми они направились в пустой класс, откуда вскоре донеслась многоголосая песня.

Когда «Титаник» врезался в айсберг и быстро пошел на дно, дольше всех присутствие духа сохраняли оркестранты: уже по пояс в воде, как рассказывали сырвесцам, они все еще играли.

На нижнем этаже карустеской школы, когда наверху еще наспех

укладывали вещи, сырвесцы затянули ту же самую песню, под звуки которой уходил под воду «Титаник»:

О боже, к тебе
стремится мой дух...

Ясная, двухголосая, давно отрепетированная молитва, которую пели в церкви и на кладбище взрослые и учившие закон божий дети.

Путь этот скорбный,
что мне предстоит,—

пели они, и было слышно, как отдельные голоса начали дрожать и совсем оборвались, дальше все перекрылось мужскими голосами:

...все ж приведет
ближе к тебе.

Молитва эта должна была дойти прямо до бога. Не помогли дома плач и моления, отдельный голос слишком слаб, чтобы услышал бог. Теперь стояли бок о бок, и голоса звучали громче и мощнее.

Как же трудно было в тот день богу! Ведь он слышал горячие просьбы людей, которые привыкли гнуться над самой тяжкой работой и сидеть за самым скудным столом, слышал их мольбы, видел, что этих е г о л ю д е й гнали из домов другие, в мундирах и сапогах, гнали с собаками и на лошадях даже тех, кто нарыл себе в чащобах ямины, чтобы укрыться там; вытаскивали из логовищ детишек, родители которых ушли в деревню за едой, и гнали их ночью к причалу, так что на много верст окрест стоял плач, безнадежный, безутешный и неумолчный, и ветер не заглушал его, а словно бы усиливал и разносил под яркой и зловещей луной, плач этот сразу же доходил до бога, и, повнимательнее приглядевшись, тот мог видеть, что люди, которые держали в руках оружие или поводки рычащих собак, эти люди делали все его, бога, именем, потому что на солдатских пряжках было отчеканено: «Gott mit uns»[6]. Бог видел, как в деревне Мэсса хозяйка, за юбку которой держались пятеро детишек, просила гонителей потерпеть еще полчаса — у нее в печи хлебы, а другого ей с собой взять нечего, пусть подождут полчаса,— но те схватили ее детей, швырнули их в дожидавшуюся у дверей черную военную машину так, что у девочки с ноги слетела тряпочная тапочка, и ее не подняли, потому что двое солдат тащили уже из дома и мать, которая лишь тихо повторяла: «Metsalised, metsalised»[7] — и бог видел, как зафырчала машина и как через полчаса подрумянились в печи хлебы, пять продолговатых больших караваев и один маленький кругленький колобок-соскребыш, который мать сделала для самой малой, едва начавшей говорить дочурки, той, что потеряла тапочку и сидела в грязном кузове автомашины в одном носке, и он видел, как хлебы затем все больше чернели, маленький колобок прежде всего, и потом обуглились. Тогда бог должен был закрыть глаза, чтобы не видеть такого кощунства над хлебом, и все-таки, слыша крики, он опять взглянул на землю и опять увидел, как в деревнях правая рука продолжала крушить работу, которую начинала левая: один солдат развязывал в дверях амбара мешки и высыпал муку на траву, другой стоял, расставив ноги, в закроме и лил на сухую рожь керосин. В Лыупыллу тащили на одеяле в машину старого убогого человека, который уже седьмой год был прикован к постели, и было хорошо, что взяли с собой одеяло: бог знал наперед, что старая тряпка сгодится, когда покойника спустят через борт в воду.

[6] Бог с нами.
[7] Звери, звери *(эст.)*.

В Тюрью женщина объясняла немцу, что ее пятнадцатилетний сын слабоумный — куда ты с таким отправишься? — но солдат сказал, что распоряжение немецкого командования касается без исключения всех, кто пребывает в живых на полуострове Сырве.

В деревне Мынту шестидесятилетняя хозяйка вышла вслед за солдатами на крыльцо, но там остановилась, вцепившись в дверную ручку, старые скрюченные пальцы приросли к скобе будто можжевеловые корни, и два молодых здоровых солдата, матюкаясь по-своему, стали оттаскивать старуху, но она ни за что не отпускала дверь, втянула голову в плечи. «Не пойду, вот ни за что не пойду,— говорила она,— вас самих вышибут отсюда в море, ни за что не уйду»; они схватили старую за ноги и потащили, но руки ее не отпускали дверь своего дома, пока солдаты не вывернули старуху точно так, как выжимают мокрую простыню. И пока они волокли ее в машину, она все еще повторяла: «Никуда, ну никуда не пойду...»

Ясный и звучный голос несся из школы в Карусте:

И когда с этой скорбной земли
ты меня призовешь туда,
где навеки тебя обрету я...

Тихим голосом подпевала мама и искала наши пальто, варежки и обувь.

В тот же самый час на другом дворе садился в телегу пятилетний сопливый мальчонка, но ему нечего было обуть. Износилась напрочь последняя обувка, правда, парнишке обещали сразу же, как только выкопают картошку, сшить тапочки, сказали, пусть пока посидит дома, и он сидел вместе со слепой бабушкой, и когда бабушка начинала дремать, он выскакивал босиком во двор, забирался на лестницу — тогда ноги не чувствовали сырости,— и смотрел на лес и море, и слышал странный грохот, который то усиливался, то притихал...

Отец сидел возле письменного стола и думал, что книги придется бросить. Никогда уж ему не получить их, книги вытащат из шкафа и с полок, и это здесь, на Сааремаа, где до сих пор не воровали и не запирали двери на замок.

Отец усмехнулся, вспомнив крестьянина из соседней деревни, который в 1941 году, когда советские войска не успели вывезти с Сааремаа свои склады, сказал: «Неплохая война!»

Бог не помешал увезти и этого человека.

В школьном классе готовились запеть новую молитву. Отец решил, что это будет «Ох, возьми меня, господь, с собою», потому что жалобой и безнадежностью завершилась прежняя песнь, а желание воссоединиться с богом требовало дальнейших молений, ведь бога не просят впопыхах, лишь бы скорее отделаться, к богу обращаются не спеша и основательно, чтобы он понял: для бога у человека всегда найдется время. Больше не к кому было обратиться в этой беде.

Отец ошибся: песня оказалась другой. Она уже не поднималась к облакам и не уходила к богу, может, там застыдились тщетных усилий и дали знать, что больше не нужно, и песня вернулась на земную твердь, к можжевельнику и пням, на дворы, к сушилу и загону, на камни:

Отчизна родная,
где я родилась,
тебя я все больше люблю...

Чем им была так дорога эта земля, по крайней мере в тот момент, они еще не сознавали, потому что были еще живой частью земли, веткой от дерева, ростком из почвы. Только спустя многие месяцы,

голодные оборвыши в Польше, или на острове Рюген, или на границе с Голландией, или в Чехословакии в бараках военных заводов, они стали — сперва друг с другом, а потом все чаще наедине с собой — вспоминать о том, чего им больше всего не хватает — полуострова Сырве. Как мираж вставал он у них перед глазами. Неодолимая сила влекла их домой.

Твоей заботе себя отдаю,
верной тебе останусь,
пока однажды я не умру
и в могилу свою не сойду.

Забарабанили в двери.

Время вышло.

Те, которые явились, были не вестниками, а исполнителями.

Они приводили в исполнение «гуманное» распоряжение немецкого военного командования: «эвакуировать» все гражданское население с арены предстоящих гигантских сражений, «чтобы ни одна жизнь не подверглась опасности в военном хаосе».

Они идут, выставив дула, солдатам некогда, позднее можно будет взвесить гуманность происходящего, а сейчас нет уже ни минуты времени.

Вон!

И наши вещи — чемодан и два узла — оказываются где-то на задке телеги, ужасно, ужасно некогда, немецкий солдат сам выводит первую лошадь под уздцы за ворота, животина прядает ушами и вскидывает голову, другие лошади должны трогаться следом, свет в доме остался непогашенным, двери не заперты, но вот сестра Сальме бежит назад, и вслед ей сверкает штык и несется острое, как игла, режущее слово:

— Zurück![8]

— Мы забыли, мы забыли,— говорит сестра и шмыгает в дверь.

— Zum Teufel![9]

Солдат сердито топает за ней.

Лошадей никто не останавливает, они идут дальше по освещенной дороге.

Другой солдат возмущенный стоит возле нас: зачем пустили девчонку в дом?

Но они быстро возвращаются: Сальме впереди, в руках детский желтый ночной горшок, сзади, сверкая штыком, солдат.

«Siehst du, wir haben ja Kinder»[10] — говорит взгляд сестры, а на лице полыхает гнев, который рождается из-за любой несправедливости в молодой душе, не умеющей еще многое объяснить, понять или просто стерпеть.

Теперь мы в ночи, при лунном свете, взрослые и дети. Солдаты и лошади идут впереди.

Один из немцев подгоняет нас: быстрее, быстрее, отстаем...

Солдаты о чем-то говорят между собой.

Прикатывают из соседнего двора тачку — нам с Юри велят лезть в нее.

Я помню только то, как мы сидим, подогнув под себя ноги, человек в чужом мундире толкает тачку, и за ним идут отец, мать, маленький Энно и сестра Сальме.

Светит яркая луна, так что дорога видна далеко, где-то проблескивает даже море, но все это не имеет значения, у нас одна забота: не отстают ли родители?

---

[8] Назад!
[9] Черт побери!
[10] Видишь, у нас ведь дети.

И теперь я снова спрашиваю себя: говорил ли мой отец с немцем?

Чтобы ответить, я должен поставить себя на место отца и представить, что это меня самого на ночь глядя выгнали из дому, погнали с маленькими детишками под холодной луной неизвестно куда. Рождается глухая тревога: дети пока еще сыты, их еще не сморил сон, только где и что они будут есть в следующий раз? Тогда мой отец еще не знал, что местом этим станет трюм десантного судна, в углах которого лежит еще теплый конский навоз, но зато отец уже понимал, что любое немецкое судно окажется в море хорошей мишенью для советских самолетов, которые с начала октября полностью господствуют в небе, и не сомневался, что немцы на пороге разгрома Германии не станут заботиться о беженцах, по-человечески с ними обходиться, весь ход войны достаточно доказал, что фашисты только себя считают людьми. Так, наверное, размышлял мой отец...

И неведомая ранее боль теснит и гнетет его сердце, когда за спиной, слева и справа, остаются молчаливые, в лунных тенях места, не имеющие никакого значения для пришельца, но дорогие тем, кто здесь родился и вырастил детей.

Что ждет нас?

Отец знал, что до мыса Сырве идти всего семь километров, но оттуда... От его размеренных шагов ребенок на руках уснул, дышит в лицо теплом. Он посмотрел, не потерял ли сынишка варежки, потом глянул на человека, катившего перед ним тачку, вернее, на облаченную в мундир спину этого человека, и снова его начали давить тяжкие предчувствия, страх и беспомощность, которые за эти несколько часов сделали из него маленького и беззащитного человека; он, кормилец семьи, ничего не мог сделать, его уводят в неизвестность, под власть чужих законов. Слушая в тихой ночи голоса людей, и рев скотины, и гул военных машин, он думал о том, что их гонят как скот и, как скот, они не знают, куда и зачем их гонят.

Ему не о чем было говорить с солдатом, сапоги которого попирали эту землю, который катил тачку и думал, что совершает великую миссию.

Видимо, отец мой не сказал ни слова.

О возникновении, характере и ходе этой войны подробно написано. Я свободен от наивной надежды добавить в историю войны что-то новое.

Да и писать я начал не столько о войне, сколько о той странной, надрывающей душу боли, от которой мне уже не освободиться.

Я не могу объяснить эту боль или пересказать ее. Быть может, поэтому единственная моя возможность — воссоздать картину лунной ночи подробно, постепенно приблизить ее к глазам людей, чтобы они не могли отвести взгляда от происходящего.

Лошади ржали, упирались, прядали ушами. Их сводили под уздцы с пришвартовавшегося носом к причалу судна.

Все смотрели, как сходят на землю лошади.

От них шел пар, они тянулись друг к другу мордами, точно явившиеся с другой планеты разумные существа, все вокруг было скована тенями и тревогой, полночной луной, слишком темной, чтобы можно было двигаться дальше, и слишком светлой, чтобы укрыться.

Осенняя тяжелая волна откатывала к берегу по мелководью дохлых лошадей.

Лошади были всюду.

В темноте казалось, что околевшие лошади на миг улеглись в воду отдохнуть. В каких-нибудь ста метрах от причала черные пти-

цы клевали недвижную животину. Лошадь лежала на боку, вытянув длинные ноги, птицы, переваливаясь, ступали по крупу, гибкой шее, выпуклой спине и тюкали клювами — животное не шевелилось, не отмахивалось хвостом; вороны поклевывали, оглядывались и каркали. Работы тут было много, торопиться было некуда.

Едкий конский пот перемешивался с запахами навоза.

Нас гнали между лошадьми на судно.

Лийне Хююдма записала в дневнике:

«Под вечер судно ушло из порта. Увидят ли еще когда-нибудь наши глаза землю, или... Рука противится писать это. Пока, правда, все шло хорошо, самолеты не налетали на нас. Судно идет медленно, тут, внизу, в глубоком трюме, качки почти не чувствуется. К счастью, мое самочувствие более или менее нормальное, но глаз сомкнуть не могу всю ночь. Все время мешают голоса, кого-то тошнит, кто-то ходит между нарами, стонут раненые.

Маленькая зарешеченная электрическая лампочка под потолком едва освещает тетрадь на моих коленях... Жаль, что не умею сочинять стихи, такие, как Анна Хаава:

О родина!
Лишь крышу над головой и работу рукам,
кусочек хлеба, шажок земли —
о родина!
Как больно уходить на чужбину,
вдали в одиночестве сгинуть,
оставив сердце и душу на родине!..

Наверное, теперь так вздыхают и думают все эти измученные и истерзанные люди, которых затолкали в железную клетку под названием пароход „Ингрид"».

День спустя:

«Долго стояла на палубе, опершись на поручень. В море двигался целый караван — девять судов. Они были от нас справа и слева, спереди и сзади. По левую руку виднелся город. Говорят, Данциг.

Вдруг появились самолеты. Людей тут же согнали вниз. Началась паника. Никто не знал, что делать, куда укрыться. В этой страшной суматохе и давке кое-кто пытался обвязаться спасательным поясом, одни кричали, молили выпустить их на палубу, другие тихо сидели на нарах и только посылали к небу отчаянные вздохи...»

Необъяснимая сила тянет человека к проруби.

Зная об опасности оружия, парнишка наперекор разуму хочет быть ближе к оружию, потрогать рукой, ощутить близость опасности.

Летом 1964 года я видел в Берлине следы войны.

В центре города, совсем рядом с Александерплац, где поднялся светлый и воздушный жилой блок на Лениналлее, а напротив телевизионная мачта будто огромный цветной карандаш,— там солнце согревало неровную, обгоревшую дочерна каменную стену, на внутреннем дворе возле груды развалин буйно разрослась лебеда, зеленая и мясистая, навязчиво напоминавшая что-то.

В тот раз я направился по Унтер-ден-Линден — липы и впрямь благоухали! — к Бранденбургским воротам, уже охваченный каким-то тягостным чувством, и, рассматривая мрачное здание рейхстага на открытой, обнесенной низкой металлической оградой площади, я лишь думал: скорее прочь отсюда!

Мощные колонны триумфальной арки — будто декорация к воз-

вышенно-давящей музыке Вагнера, которую так любят немцы, а где-то рядом звучит то громко, то затихая немецкая речь.

Здесь была черта, которую провели после войны,— я стоял на сверкающем острие ножа, я, видевший когда-то сам, в каком огне плавилось железо, слышавший, какие обстоятельства его закаляли, и долгое время наблюдавший, как противостоящие страсти настолько заточили острие, что пришлось поставить солдат, чтобы охранять его.

На открытой площади перед Бранденбургскими воротами мне казалось, что на меня направлено дуло, меня оценивающе оглядывают в оптический прицел. Кто я такой? О чем я думаю?

Но я почти и не думал, я только хотел немедленно уйти отсюда.

Кровь гудела в голове, связывая сегодняшнее с давним, я увидел своих погодков, молодых, здоровых и радостно вышагивающих среднеевропейцев: серыми ровными рядами стояли они передо мной, ритмично и с жаром повторяя воинский приказ, который стал для них истиной и смыслом второй мировой войны:

1. утром, днем, ночью — всегда думай о фюрере, пусть другие мысли не тревожат тебя, знай: он думает и делает за тебя. Ты должен только действовать, ничего не бояться, ты, немецкий солдат, неуязвим. Ни одна пуля, ни один штык не коснутся тебя. Нет нервов, сердца и жалости — ты сделан из немецкого железа. После войны ты опять обретешь новую душу, ясное сердце — для детей твоих, для жены, для великой Германии;

2. германец не может быть трусом. Когда тебе станет тяжело, думай о фюрере. Ты почувствуешь радость и облегчение. Когда на тебя нападут русские варвары, ты думай о фюрере и действуй решительно. Они все погибнут от твоих ударов. Помни о величии, о победе Германии. Для твоей личной славы ты должен убить ровно сто русских, это справедливейшее соотношение — один немец равен ста русским. У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься навеки;

3. ни одна мировая сила не устоит перед германским напором. Мы поставим на колени весь мир. Германец — абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки. Ты, германец, как подобает германцу, уничтожай все живое, сопротивляющееся на твоем пути, думай всегда о возвышенном, о фюрере — ты победишь. Тебя не возьмет ни пуля, ни штык. Завтра перед тобой на коленях будет стоять весь мир.

Из дневника Лийне Хююдма:

«Вечером, около семи часов, мы прибыли в Готенхафен. Началась выгрузка. Прежде всего сошли немцы. Нас оставили еще на ночь на пароходе.

В 12 часов дня за нами приехали на машине и отвезли в бараки. Мы получили карточки и первую лагерную пищу...

В полпятого разбудила воздушная тревога, она продолжалась час или полтора...

После обеда, когда мы ходили ставить на карточки печати, нам сказали, что нас уже сегодня отправят дальше. Собрали узлы и в пять часов были в поезде. Вечером должны были выехать. Но тут началась воздушная тревога. В давке бросились из вагонов. Идти было некуда. Скорчились у стены какого-то большого белого дома. В ночном небе горели осветительные ракеты, гудели самолеты. И тут же завыли и стали рваться бомбы. Мы прижались еще плотнее к сотрясавшейся

каменной стене. Сверху на головы сыпалась штукатурка. Казалось, что за дом ухватился великан, который хочет его свалить на нас».

Из дневника старого сырвеского рыбака Юри Пярна[11]:

«1944 г. 30 октября ночью дошли до порта Готенафен и там нас привезли в лагерь где нас согнали в один деревянный барак который был грязный как хлев холодный и нетопленный где были большие двойные деревянные нары которые были усеяны вшами и клопами утром когда я встал не видел ничего кроме грязного и вонючего лагеря не было места где справить нужду доски в уборной были в таком дерьме что не знал куда ногу поставить даже стены в большой кухне были уляпаны людским дерьмом каждый день прибывали сюда люди и каждый день их транспортировали дальше в другие лагеря других городов оттуда тогда немецкие власти распределяли людей по работам.

Когда увидел эту страшную картину и вонючий лагерь то это было и впрямь противно и я подумал вот она значит эта великая хваленая Германия о которой столько писали.

Из Готенафена переехали вместе с латышами в Стардгард этот лагерь был чуть чище но грязи и тут хватало. Там нас погнали в баню под теплый душ но перед мытьем все волосяные места нужно было смочить водой мыльного камня такой был приказ и указ и тогда скорее под теплую воду.

Дело делали в общем помещении где не было времени мужику стыдиться бабы а бабе и девке парня или мужика все это был немецкий рай только с той разницей что вместо яблока была жгучая протрава из мыльного камня если какая-нибудь девка взвизгивала ей давали коленкой под зад и гнали в моечную спешно смывать протраву.

И все это была немецкая забава еда была скверной кормовая свекла и гнилая картошка и морковка там приделали нам и новые немецкие паспорта каждому навесили на грудь по белому куску картона на котором были написаны большие номера в точности как скотине которую на родине отправляли на экспорт только здесь нас припечатали в рабочую скотину которая должна была без слова подчиняться каждому немецкому болвану».

В 1964 году стоял я у Бранденбургских ворот будто радар, лицом к войне.

Я был так запрограммирован.

Требовалась лишь самая маленькая информация, чтобы включился механизм памяти, рождая давнее ощущение, щелкнули сигнальные лампочки, сомкнулись каналы из прошлого в настоящее, связались линии для новых производных.

Память крови и память времени соединились.

Прошлое было рядом.

В ночь, когда нас увозили, фашистская военная машина громыхала уже четвертый год подряд.

Вокруг Ленинграда, под Москвой, у Сталинграда на Волге и в степях под Курском эта машина работала на полных оборотах, так что плавилась и горела перемешанная земля, а машина все неистовствовала, под конец громыхая уже на холостом ходу, будто закованный голодный зверь, который уже никого не сможет задрать.

Под Москвой и Сталинградом немецкая военная машина включила задний ход. Schwung [12] кончился.

[11] Дневники Юри Пярны и Юхана Саара представлены в том виде, в каком они были когда-то написаны, в том числе и географические названия.

[12] Порыв.

Солдат терзал мороз, офицеры читали мемуары Коленкура об отступлении Наполеона.

История повторялась.

Зимой 1944 года Восточный фронт был уже под Нарвой. В ближайшие месяцы готовились освободить материковую часть Эстонии. Тогда мы не думали, что освобождение островов займет много времени. В июле 1944-го бог войны Марс трижды пытался спасти жителей полуострова Сырве.

Он дал возможность командованию сражавшейся в Прибалтике группировки «Норд» трезво оценить создавшееся положение.

В первую неделю июля командующий армейской группировкой генерал Линдеман доложил Гитлеру, что необходимо в срочном порядке отвести войска из Эстонии и северной Латвии и создать новый оборонительный рубеж на линии Даугавы.

Гитлер понял положение по-своему, он снял Линдемана с должности командующего.

Вновь назначенный генерал Фриснер решил, что одно и то же место дважды не рвется, и во вторую половину июля удивил Гитлера еще более «дезертирской» мыслью: войска следует отвести на юг от Мемеля (Клайпеды).

В руках Гитлера рвалось и дважды: Фриснер следует дорогой Линдемана — «Нордом» теперь командует генерал Шёрнер.

Последнюю попытку образумить Гитлера делает 20 июля 1944 года в «Волчьей яме» в Растенбурге начальник оперативного управления генерального штаба сухопутных войск генерал Адольф Хойзингер.

Он начинает так:

«Западнее Даугавы русские предприняли большими силами наступление в северном направлении. Их передовые соединения атакуют уже Даугавпилс. Если мы не выведем армейскую группу, которая сейчас находится у Чудского озера, то катастрофа...»

Но в этот момент стрелка часов достигла цифры 12.42 и подложенная Штауффенбергом бомба с часовым механизмом разнесла стол Гитлера. «Норд» продолжал воевать в Прибалтике. Судьба сырвесцев была решена.

В августе в Тарту горела библиотека — многовековая книжная мудрость.

Не прошло и месяца, как был освобожден Таллин. 8-я армия Ленинградского фронта и Эстонский стрелковый корпус подкатили пушки к Моонзунду. Пролив форсировали в ночь на 5 октября.

7 октября после полудня солдат Эстонского стрелкового корпуса видели уже в дворцовом парке Курессааре.

Со взятием города остров считали освобожденным.

Оставалось очистить еще самую малую и самую узкую кромку земли — полуостров Сырве, который, сужаясь от деревни Сальме, тянется на юго-запад на каких-нибудь сорок километров,— ветреная, каменистая, приморская и лесистая равнина. Первые пятнадцать километров — от Сальме до Лыпе и Каймри — суша тянется всего трехчетырехкилометровой полосой, а затем, словно бы испугавшись, что нельзя такой малостью противостоять осенним штормам, вдруг поворачивает от деревни Лыпе на запад, образуя просторный залив Лыу, после чего шириной в десять километров утверждается дальше на юго-запад еще на двадцать пять километров.

Для закаленного в сражениях полка это была дорога в одни сутки: полуостров Сырве настолько мал, что, отправляясь на дальний конец коротать с девушками зори, парни полагаются только на свои ноги.

Не сочли фашисты знаком судьбы и неслыханно кровавую бойню возле деревни Техумарди в полночь на 9 октября.

Накануне в четыре часа, после обеда, офицер Эстонского стрелкового корпуса майор Миллер получил в деревне Кярла приказ двигаться через Когула и Таттерселья, потом через Техумарди на полуостров Сырве.

В отряде, который отправлялся в путь, было 370 человек, 14 танкеток, 8 самоходных артиллерийских установок и 8 противотанковых пушек.

Под вечер отряд дошел до Техумарди. Позднее к нему присоединился первый батальон 917-го стрелкового полка.

Простирался скудный сааремааский ландшафт: бугристый, с гравистой почвой, с редкими, иссеченными ветром кустами можжевельника, море шумело, шел мелкий дождь. Со стороны находившейся впереди деревни Сальме взлетели осветительные ракеты, затрещали немецкие пулеметы.

Еще дальше, с Сырве, загромыхали пушки и тяжелые минометы.

Наши тяжелые орудия ответили огнем, давая знать, что молот войны и тут под рукой. Танкетки заняли выгодные позиции. Затем огонь вдруг прекратился, будто и оружию требовалось перевести дух, и сквозь густевшую ночную тишину на шоссе со стороны Курессааре донесся мерный и спокойный монотонный гул. Советские солдаты видели, как вместе с усиливающимся грохотом машин приближается светящаяся и теплая полоска неба — отблеск автомобильных фар. Майор Миллер знал, что Курессааре наши войска заняли накануне, и поэтому с той стороны могут идти только свои.

Однако это направлялся под прикрытием ночи на полуостров Сырве 67-й пехотный полк немцев, которым командовал граф Ойленбург, они должны были соединиться с частями, удерживавшими позицию возле деревни Сальме, и под покровом ночи ликвидировать в Техумарди оказавшуюся в клещах советскую группировку.

Когда вы сейчас едете на Сырве, вам приходится проезжать мимо возвышающегося на поле Техумарди меча возмездия, сделанного из белого сааремааского мрамора. В ясный и погожий день этот памятник войне виден далеко в море. В братской могиле вокруг ручки меча спят вечным сном эстонские воины, которые слышали спокойный и ровный, временами нарастающий машинный гул под светлевшей теплой полоской неба, он приближался со стороны древнего сааремааского города, где должны были находиться свои.

Ночь была теплой и тихой.

Смысл все усиливающегося гула обнажила осветительная ракета: в каких-нибудь ста шагах на затянутой дымкой дороге стояли танки со свастикой в сопровождении самоходных орудий, шеренги автомашин и транспортеров.

Плотный и ожесточенный встречный огонь разразился мгновенно. Все последующее в истории войны обозначено как ночной бой в Техумарди.

Первыми же выстрелами подбили головной вражеский танк, который застрял поперек дороги перед надвигавшимися на полном ходу транспортерами. Скрежет металла и крики солдат в багровом тумане были началом сражения, в котором ни одна сторона не отступила ни на шаг.

В тихое и теплое осеннее утро 9 октября все огромное, выходившее к морю поле возле Техумарди сочилось кровью — солдаты лежали друг на дружке, эстонцы и немцы вперемежку, еще горели танки и тлели едким дымом автомобильные покрышки; здесь убивали орудийным, пулеметным и автоматным огнем, наконец, кололи штыка-

ми, били лопатами, прикладами и ножами и во многих местах дрались кулаками, хватали друг друга за горло.

Ножи и лопаты пошли в ход не от недостатка боеприпасов. Ночь была такой темной, а свои настолько смешались с чужими, что, нажав на спусковой крючок, можно было убить своего.

На поле у Техумарди в ту октябрьскую ночь солдат солдата узнавал ощупью. Владельцы более длинных волос были фашистами Ойленбурга, и их следовало душить.

Немцы потеряли более 400 человек. И братская могила наших воинов была не маленькой...

Поле возле Техумарди расчистили. Мертвых похоронили. Женщина родом из деревни Сальме, в доме которой в ту осень 1944 года были на постое семеро немцев, спустя многие годы рассказывала мне, как на следующее утро после битвы трое вернувшихся немцев вспоминали своих товарищей и латали разодранные мундиры. Старший из них сказал:

— Видно, что э т а война проиграна.

Графу же Ойленбургу, солдатами которого они действительно были, графу Ойленбургу в то утро стало ясно, что происшедшее — лишь небольшая репетиция предстоящих еще более тяжких испытаний. Он и его солдаты уже дали подписку, что, если они тут, на этом узком перешейке, без приказа покинут позиции или сдадутся в плен, их близких в Германии расстреляют. Лишь смерть давала право прекратить сопротивление.

То же самое знали и немецкие солдаты в Латвии, служившие в войсковом соединении «Норд». 10 октября войска 1-го Балтийского фронта прорвались в районе Клайпеды к Балтийскому морю, это означало, что дорога в Восточную Пруссию для немецкого отступления или пополнения закрыта. Так возник курляндский котел. Немцы должны были любой ценой удержать единственно возможный путь снабжения — Ирбенский пролив.

Находившаяся под командованием генерал-майора Ланга 218-я немецкая пехотная дивизия знала о своем тяжком долге защищать «последние бастионы».

Подчиненных генерал-майора нельзя было считать горсткой морально сломленных солдат, которые должны были здесь, в своих далеких Фермопилах, ценой жизни прикрыть отступление более крупных армейских группировок.

Эти люди догадывались, что большая война пошла стороной, однако здесь, на западноэстонских островах, они готовились получить крупные пополнения войск и оружия, они обязаны держаться хоть до самого снега. Где-то в другом месте могли терять более крупные фронтовые позиции и проигрывать более крупные сражения, но тут должны выстоять до конца.

10 октября 1944 года наши войска были на линии деревень Унгру и Пагила, откуда до мыса Сырве оставалось всего тридцать пять километров.

Прорвать требовалось самое узкое место полуострова — перешеек шириной в два с половиной километра.

Этот прорыв мы и начали готовить, думая, что предстоит самая обычная воинская работа — трудная, опасная, но несомненно быстроразрешимая, ибо явно имели дело с оборонительной позицией немцев.

Между Унгру и Пагилой полоску земли в два с половиной километра защищала целая немецкая дивизия.

Полковник Олав Муллас, командир 921-го полка Эстонского корпуса, солдаты которого должны были прорвать оборону, мог после

тяжких усилий лишь удивляться, какое адское препятствие они преодолели.

«На защитном рубеже Унгру — Пагила были возведены три полного профиля линии окопов, которые соединялись между собой ходами сообщения. Окопы имели гнезда для пулеметов и противотанковых орудий. Напротив деревни Алливики окопы располагались за каменными оградами, с бойницами в них. На перекрестке возле Унгру... два укрытых сверху пулеметных гнезда. Перед окопами были проволочные заграждения, у первой линии окопов, кроме того, минное поле. Примерно в 200—250 метрах перед первой линией окопов находился противотанковый ров, а на скрещении дорог возле Унгру — противотанковые заграждения. Передний край на протяжении 300—400 метров был открытый и ровный и простреливался вдоль и поперек стрелковым оружием. Обороне благоприятствовало то, что оба ее фланга упирались в море.

Советские войска прорвали эту оборону только 19 октября.

А пока два дня пробовали атаковать и, не достигнув успеха, все равно торопились — конец войны в Эстонии был ведь так близок; было принято решение, которое в благоприятном случае могло предотвратить трагедию гражданских жителей, голод и смерть сотен детей и стариков в лагерях великой Германии».

В ночь на 12 октября 1944 года 300-й полк (командир — полковник Ильмар Пауль) 7-й дивизии Эстонского стрелкового корпуса погрузился в порту Роомассааре на десантные суда, чтобы высадиться у деревни Винтри, создать там плацдарм, захватить стратегически очень важный перекресток Лыу, подвезти морем подкрепление и атаковать фашистов с тыла на линии Унгру — Пагила.

В тот день на остававшемся в руках немцев полуострове Сырве шестнадцатилетний паренек Херман Теху из деревни Каави был уже расстрелян.

Для него десант уже ничего не мог сделать.

Для мертвых никогда нельзя ничего сделать, это лишь мертвые могут снова и снова что-то делать для нас: мертвые заставляют живых думать о жизни.

Даже вмятая солдатскими сапогами осенняя подмороженная трава, когда немцы прошагали с поля и шагали по мягкой сырой земле к большой дороге,— даже эта трава снова поднялась, так что следы остались только на пашне, на которой лежал парнишка.

Я не знаю, о чем он мечтал или что он собирался делать взрослым.

Об очень многих людях, чья жизнь стала основой этой книги, я не знаю столько, чтобы с достоверностью рассказать об их надеждах, желаниях, и я зачастую довольствовался лишь деталями, которые мне казались характерными и которые, на мой взгляд, складывались в целое. Ведь иногда самые короткие сведения открывают в происшедшем несравненно больше, чем длинное обстоятельное выяснение.

Описанию страданий одной семьи я предпочитаю мозаику, в которой будут сходиться нужда и горе из разных деревень,— так видишь на пустом берегу покатые камни, которые выступают в темноте монолитной грудой.

Херман Теху стал для меня одним из символов войны. Для меня он остается юношей, чью судьбу, когда я впервые услышал о ней, мне как ножом в душу вбили, и я хочу вспоминать о нем, снова и снова поворачивать нож, причиняющий боль; вопреки войне и смерти говорить о нем как о живом, а не ушедшем безвозвратно, говорить наперекор тем, кто расстрелял его и решил, что на этом конец; я хочу

этого погибшего в войну незнакомого мне парня видеть рядом с живыми, ибо ничто не должно исчезнуть.

Когда война уже кончилась, Альбер Камю писал:

«У каждого из нас есть несколько близких сердцу идей. Соприкасаясь с миром и с другими людьми, мы их отшлифовываем и преобразуем. Нужно лет десять, чтобы выработать действительно свежую идею — идею, о которой стоило бы говорить. Конечно, это слегка обескураживает. Но это позволяет человеку приглядеться к прекрасному лику мира. До сих пор он смотрел на него в упор. Теперь ему надо отступить в сторону, чтобы увидеть его в профиль. Молодой человек смотрит на мир в упор. Он не успел еще отшлифовать идею смерти или небытия, но она вселяет в него ужас. Быть может, этот жестокий тет-а-тет со смертью, этот животный страх солнцелюбивого существа и есть молодость».

Взять в руки пистолет для Хермана Теху было решением одного мгновения. Или просто любопытством. Он не собирался кого-либо убивать или защищать. Его интересовало оружие, ибо оружие всегда возбуждает и требует мужества: когда юноша взял в руки пистолет, его душу мог впервые охватить страх смерти.

Но он смотрел на мир все же в упор.

Он не отошел в сторону, чтобы поразмыслить обо всем, и он был слишком юн для того, чтобы задаться четкой идеей.

Когда он стоял на пашне в окружении немцев, он ощутил ужас происходящего; никто не знает, успел ли он вскрикнуть; я думаю, что в него стреляли сзади, возможно, совсем рядом с дорогой, второпях, чтобы отделаться, ибо для фашистов чем меньше остается в живых людей, тем больше возможность выжить самим.

Советские солдаты, садившиеся 12 октября в 0.30 в Роомассааре на десантные суда, ничего не знали о Хермане Теху.

Не знали они и того, что вдоль всего берега от Каймри до Винтри их ждали с оружием наготове — ждали остатки того же битого в Техумарди 67-го пехотного полка под командованием графа Ойленбурга и графу были в точности известны не только время и место высадки советских солдат, но даже номер полка, который сюда направляется...

Маловетреной, темной и пасмурной ночью в деревне Соодевахе еще оставалась и жена Прууля Хиндрика со своими двумя детишками. Война здесь не проходила, дома стояли в целости. Дети в ту ночь спали спокойно, и их мать была дома.

Она еще не кинулась в огонь. Можно быть совершенно уверенным, что она даже не слыхала о существовании гигантского судна «Бремерхавен» и не могла представить себе, что сама возьмет своих маленьких детей и понесет их в огонь.

Теперь, спустя время, я не знаю, произошло ли в тот момент нервное потрясение или живой огонь вдруг показался ей теплее, надежнее, чем темное море, конские храпы, крики раненых на палубе и несшиеся с капитанского мостика короткие приказания немцев — те пытались погасить панику на загоревшемся судне. У нее были дети, она должна была спасти их, матери всегда это делают сами, не надеясь на других.

Она бросилась в огонь с детьми на руках.

Когда в ночь на 12 октября в Роомассааре началась погрузка десанта, жена Хиндрика Прууля была еще жива и у себя дома. В ту ночь, когда десантники приближались к песчаному и мелководному берегу Сырве, чтобы высадиться, овладеть перекрестком Лыу и напасть на немцев с тыла, в ту ночь мы все были еще у себя дома.

Проповедник методистской церкви Эдуард Суурханс взял с собой в Германию медицинский справочник и восемь томов «Эстонской энциклопедии».

На пароходе выяснилось, что он забыл взять ложку.

Еву Оэсельг, средних лет женщину, чей сын Мартин воевал в Красной Армии, увезли вместе с дочерью и внучатами.

Она тащила чемодан и аккордеон.

Сын Мартин в молодости плавал на лесовозе «Курессааре» и купил в Осло аккордеон «Royal Standard» за сто крон. Это были большие деньги.

Сын играл на своем инструменте в Италии и Голландии, Финляндии и Швеции, на деревенских праздниках на Сырве и даже в Африке.

В чемодан Ева сложила одежду сына.

Ева Оэсельг умерла от тифа — не в лагере в Германии, а уже на обратном пути, в поезде. Два дня ехала она мертвой в сторону дома, но проводники вагона узнали об этом и дочь похоронила ее на рижском кладбище. Ева умерла с мыслью, что не смогла уберечь инструмент: во время возвращения через Польшу, когда она уже ослабела от голода и болезни, аккордеон украли у нее из-под изголовья.

Полковник рассказывал мне о смысле, планах и целесообразности десанта. Он был одет по-военному аккуратно, при галстуке, хотя и в домашней куртке, в тапочках, седой и невысокий, очень внимательный, спокойный и готовый помочь.

В большой комнате я увидел много книг, это расходилось с моим представлением о пребывающем в запасе командире полка, кадровом офицере, но о книгах я уже слышал от сына полковника — эстонского студента-искусствоведа, с которым встретился в Лейпциге, в погребке Ауэрбаха, где в холодный предвесенний день 1971 года медленно попивал в одиночестве светлое пиво.

Я наслаждался сознанием близости великого Гёте и послеобеденным отдыхом, и встреча с сыном полковника и беседа с ним казались столь же объяснимыми, нужными и существенными, какими были мои другие дела в Берлине, Лейпциге и Дрездене, связанные с изучением мытарств, выпавших на долю сырвесцев.

В погребке Ауэрбаха, смакуя золотистое светлое пиво, сын полковника поведал мне много существенного о немцах, того, что нередко остается непознанным, даже если ты своими глазами видел страну, знаешь немного язык и успел прочесть до Брехта Томаса Манна, Мартина Лютера, Гриммельсхаузена, братьев Гримм, Куртс-Малер и бог знает еще кого, не говоря уже о Лессинге, Гейне и Гёте, великих философов и не называя. Сырвесцев начали окружать люди из плоти и крови — немцы. Правдоподобие превращалось в правду.

Я спросил также о полковнике, отце юноши, с ним я должен был обязательно поговорить.

— Ах, отец,— сказал он.— Отец сидит над своими книгами и бумагами в архивах. Копается в рукописях и протоколах. Все эти старые военные дела...

Во взмахе его руки было безразличие и светлое убеждение молодости в абсолютной значимости деяний лишь своих сверстников. Меня покорила его заразительная искренность и жизнерадостность.

Теперь, миновав комнату с приоткрытой дверью, где в молчаливом ожидании застыли длинные полки с сотнями книг, мы уселись с полковником в мягкие кресла квадратной уютной комнаты, чистой, светлой и удобной, и я задал свой вопрос:

— Был ли смысл в десанте и сколько потеряли людей?

Теперь — после совместных анализов с военными — мне было

уже совершенно ясно, что удачная высадка десанта, вклинивание в расположение вражеских войск на полуострове Сырве избавили бы сырвесцев от увоза и привели бы наши войска на Сырве на несколько недель раньше.

— Десант — это всегда риск,— сказал полковник.

Мое вопросительное молчание полковник принял за право и самому помолчать. И я понял, что полковник ни в коем случае не станет обсуждать правоту приказа, обсуждению подлежат лишь возникшие в данный боевой момент возможности развить успех...

До Курессааре дошли неожиданно быстро.

Ночную бойню в Техумарди посчитали последней отчаянной попыткой немцев выдержать наш удар. Наши войска вдохновляло известие, что почти вся Эстония уже свободна.

Неудавшаяся попытка 10 октября прорвать оборону на линии Унгру — Пагила усилила нетерпение освободителей.

Стремительный и неожиданный десант оставался единственным, что могло быстро решить задачу. Требовалось захватить береговую линию у деревни Винтри и создать плацдарм на стратегически удобном перекрестке Лыу, подвезти морским путем из Роомассааре свежие подкрепления и затем при поддержке авиации и корабельных орудий как тисками сжать противника на узкой полоске полуострова... Большая, на ватманской бумаге карта, которую полковник сам вычертил, лежала перед нами на столе.

Разноцветные стрелы, даты, названия и цифры обозначали войсковые соединения и деревни, леса и равнины. На большом листе бумаги все происшедшее было четко и точно обозначено, логически, задним числом, когда все уже минуло и рождаются мемуары, воспроизведено. Здесь не было обозначений поспешности и нетерпения, крови и смерти, отчаяния, а также возвышенности или безнадежности замысла.

Тут был итог, бесстрастная статистика, отчет о победе.

Я понял вдруг, что в Фермопилах значение имело не количество павших спартанцев, а то, почему и как они умерли, о чем думали, что видели и чувствовали, погибая.

И я понял, что мне не нужно ни логического объяснения, ни цифр, нужно лишь одно — как все происходило? Только это. Только приближения картины к глазам.

— Расскажите обо всем,— попросил я,— с самого начала.

По первоначальному плану десант предполагалось высадить в ночь на 11 октября.

10 октября после обеда солдаты 300-го полка 7-й дивизии Эстонского стрелкового корпуса направились из Курессааре в Роомассааре.

Тендеров не хватило.

Солдаты прошли три километра из порта назад в город.

Когда войсковое соединение в полном вооружении направляется в порт, то каждому постороннему ясно, что солдат собираются куда-то везти по морю.

В военное время во всех без исключения странах живут неприметные люди, они собирают сведения, которые нередко становятся роковыми.

Из дневника Юхана Саара:

«Это было 11 ноября этот день никогда не уйдет из памяти очень печальный день когда приказали чтобы мы уходили из дома в Германию ох не могу думать об этом глаза заливает слезами что пришлось оставить родной кров под лютым принуждением немецкого солдата

по приказу немецкого начальника русские пленные подъехали к дверям нас загнали на телегу и началась дорога в порт Мынту был дождливый день и уже довольно темно было когда прибыли в Мынту в рыбацкий сарай ночевали там было холодно но что поделаешь настало утро ветер был такой сильный что ни одно судно выйти в море не могло отдыхали этот день и ночь тоже домой больше не пустили немецкий цепной кобель был у двери и их было полно во всех местах тогда нас вечером отвезли 13 ноября в деревню Пыллу в дом к Прийту Рехе постелили постель и на молитву встали вдруг пришел приказ чтобы выносить вещи и в Мынту и машины скоро были на месте старые люди находились в доме и моя старая Мать тоже напихали в кузов сколько только пошло мы на этот раз остались Мать была уже в машине я ее оттуда снял но немец увидел это рассердился взял Мать и кинул ее в другую машину так что Мать закричала повезли их в порт машины вернулись снова за остальными и нас отвезли в Мынту но пароходы были уже забиты мы не поместились Мать отправилась а нас повезли назад переспали ночь подошло утро 14 ноября снова дали приказ уходить отсюда в дом Эдуарда Сиймона и тут застрелили любимую собаку Сийма ох и горевало дите и плакало жалобно у нас да больше не было никакого права увезли нас в Кяяну день прошел настал вечер снова дали приказ выходить с вещами потому что отправляемся в порт молодые должны идти пешком старые поедут на машине и мы забрались на машину приехали в порт там уже шла вовсю погрузка стоял похожий на паром пароход на который нас погнали и трюм был как огромный гроб обитый разок железом печально сидели каждый на своем добре одни жалостно плакали другие затянули какую-то песню потому что мы уже покинули родную землю потому что не знаем когда-нибудь ступим еще ногой сюда на эту дорогую нам землю судьба была горькой и темной отдали концы и вышли в море погода была довольно тихой и прекрасной спели еще некоторые жалобные песни прощальные и отдали себя во власть самого всевышнего потому что никто не знает увидим еще землю или придется тут в железном ящике покоиться на дне глубокого моря благодарения богу рейс закончился хорошо утром это 15 ноября пришли в порт Винндави оттуда нас направили в одну школу где уже были остальные и моя старая Мать которая находилась в тяжелом состоянии в холодной комнате возле стены скорченная на жестком каменном полу там нас переписали и распорядились снова отправляться с вещами в порт потому что должны плыть дальше в Германию отвезли вещи в порт и приставили людей караулить потому что народу было много погрузили вещи и после обеда пустили людей женщин и детей раньше потом мужиков это был громадный океанский пароход куда поместились тысячи людей вечером отплыли в сторону Готенафена под караулом военных кораблей потому что предыдущий пароход был подожжен самолетом что унесло много человеческих жизней из Сырве тоже семь человек пошло на дно вместе с пароходом мы плыли всю ночь красивые были каюты все время играло радио ну совсем как в какой-нибудь гостинице на суше и погода тоже стояла хорошая время шло к утру пошел посмотреть Мать потому что они были на корме там было свежее и Ева Прууль была там и Вийю Мику Мать сказала что ей холодно я позвал одного матроса он отвел Мать в теплое помещение тогда я был все время возле нее и помогал ей она сильно кашляла и харкала гнойной мокротой потом она захотела сесть я помог спросил тепло ей теперь она сказала да тогда она захотела снова лечь спросил на какой бок она сказала мне тогда снова успокоилась я спросил может ей плохо она ответила да уж нехорошо мне и уснула но дышала с трудом и грудь поднималась высоко посидел немного скорб-

но возле нее взял ее носовой платок простирнуть чтобы пошел и простирал вернулся назад сказали Мать умерла подошел к ней и Мать больше не отвечала покинула этот злой мир было это 16 ноября около восьми утра были еще в море и не хотел никому говорить об этом вдруг выкинут в море было часа 2 обеда когда прибыли в порт тогда я позвал пароходного доктора который посмотрел что она уже застыла спросил смогу ли я похоронить ее сказали что народ тут тебе чужой и язык тоже что ты с этим не справишься мы сами похороним и скажем тебе чтобы пришел посмотреть я понятно ждал но вести этой не получил так и не знаю где и как ее зарыли».

11 октября 1944 года старшего сержанта Вальтера Тоодо вызвали к начальнику связи 7-й стрелковой дивизии капитану Нийлусу.

Всю войну Вальтер Тоодо прошел начальником маленькой радиостанции: держал связь и передавал боевые приказы. Спокойный и уравновешенный, он словно стал составной частью своей аппаратуры, действуя так же невозмутимо и четко, как его переносная рация. Нийлус вызвал его из ближней деревни, где солдаты отдыхали после освобождения большей части Сааремаа и рассуждали, за сколько же дней пройдут оставшуюся часть острова. Стояла удивительно теплая предосенняя погода, положенные порции водки подкрепили душу и тело, да еще жители подносили ребятам крепкое сааремааское пиво. Казалось, что война на сей раз и впрямь уже близка к концу.

Капитан Нийлус сообщил старшему сержанту Тоодо, что следующий боевой приказ — десант на полуостров Сырве. Выход из Роомассааре в полночь 12 октября.

Разговор был конкретный и ясный, расспрашивать было не о чем.

Возвращаясь в деревню, сержант Вальтер Тоодо размышлял над последними словами начальника связи: «Позывные станции заучите наизусть. Все документы сдайте мне».

Из дневника Юхана Саара:

«...нас согнали в помещение портового склада спать было очень холодно вещи сгрузили мы тоже пошли туда другие вещи получили но мой чемодан пропал вместе со всем моим дорогим бельем и ценным добром утром 17 ноября женщин и детей увезли на машине мужики остались с вещами после обеда и нас отвезли с вещами в барак прибыли мы туда но все места были забиты ездили туда-сюда уже темно стало куда теперь деваться велели сложить вещи оставайся где хочешь на счастье встретили йыеские и пыллуские позвали к себе помогли и вещи перенести и отправились в лагерь Коолсе где было уже много людей дали нам лагерной еды которая была очень скверная и водянистая это было тяжело 17 ноября пошли в лагерь там пробыли 1½ недели 25 ноября поездом поехали дальше в город Фалькенбург где два дня и две ночи проживали в большой школе 27 ноября разъехались оттуда по деревням мы проехали 8 километров от города в деревню Стёвен в старый общинный дом который был могилой для здоровья холодный и сырой стариков и старух тоже привезли в тот вечер туда в другой сарай 13 старых людей из Сырве Вийю Мику и Хиндрик Теепыллу и другие были из Винтри из Инду и Лыу и тоже в две недели перемерзли от холода и голода Вийю Мику и Хиндрик Теепыллу умерли 30 ноября каждое утро было 2—3 человека мертвых не мог я ничего делать кроме как рыть могилы в мерзлой земле так в один месяц в декабре там умерло 17 человек 14 стариков и 3 маленьких ребенка».

12 октября 1971 года, спустя двадцать семь лет после высадки десанта, я летел из Таллина в Кингисепп. Над проливом, который Вальтер Тоодо пересек в туманной дымке ранним утром 5 октября, самолет повернул к берегу Сааремаа. Мы летели теперь на запад, под крылом — море, солнечное, ясное и зеленое. Не было ни одной воздушной ямы: охлаждавшаяся земля дышала ровно и спокойно, море не парило.

Я прошел по приморским улицам в парк Курессааре и забрался на развалины. Отсюда, с высоты, море так слепило, что пришлось прикрыть рукой глаза. Вода синела ультрамарином. Я долго сидел в парке, где после обеда 7 октября 1944 года спокойным сном спал не один освободитель города на желтых мягких листьях, привалившись спиной к дереву, не выпуская оружия. Возле одного из них на расстоянии руки, говорят, стояла пустая бутылка из-под водки и половина торта...

Все вокруг лучилось и было светло-желтым, успокаивало душу, вселяло глубокую надежду; в отдалении сквозь желтизну кленов краснели липы, готовые вспыхнуть в этом раскаленном солнечном дне. Эта последняя пышность красок перед увяданием, перед тем как обратиться в тлен, рождала тревожное предчувствие.

Я искал краски лета, жизни и видел, что у пожелтевших сверху каштанов нижние листья еще зеленели, как в разгар цветения.

И только бузина стояла помертвевшая: черно-синие ягоды клонили жидкие ветви, ветки ломкие и ягоды негодные.

В такую же осеннюю пору вечером 11 октября 1944 года шагали солдаты 300-го полка 7-й дивизии Эстонского стрелкового корпуса в порт Роомассааре, где наконец погрузились со всем снаряжением на катера и тендеры, принадлежавшие морскому соединению Ленинградского фронта.

В 0.30 отдали швартовые.

Десантная операция в Рижском заливе началась.

Когда писарь 300-го полка младший сержант Эйно Тали в ночной мгле глянул с мостков порта Роомассааре вниз, на притиснувшиеся к причальной стенке катера и тендеры, не зная, на какую посудину прыгать, он услышал голос капитана Роовика:

— Не ходи! Не ходи с нами!

Тали все же прыгнул, но на другой тендер. Он увидел среди солдат майоров Вольта и Вельтмандера, начальника разведки капитана Эйнало, на соседнем судне замполита Феликса Пяртельпоэга.

Тут были связисты с катушками кабеля и аппаратурой, разведчики вместе со своим ротным командиром.

Проплыв часа два в тихой ночи, бойцы услышали, как по борту тендера шарахнуло, будто горстью гороха швырнули. Открылся люк, и сидевшие внизу в темноте люди увидели при первом робком осеннем свете окровавленного, стонущего человека.

Раненого спустили вниз, люки захлопнули, плаванье продолжалось.

Остановка.

Был странный, удушливый туман, совершенно гладкая вода и какое-то настороженное безмолвие, которое, казалось, висело над всей землей.

Их тендер шел среди дряблого, мглистого тумана, русский матрос шестом мерил глубину, и тихо стонал внизу раненый, с которым приглушенно, хотя все же довольно слышно разговаривал кто-то из бойцов.

И тут из белесого тумана, словно призрак, возник катер, на котором Эйно Тали увидел полковника и других офицеров.

— Вельтмандер, поведешь людей на берег!

Приказ этот словно повис в тумане, потому что катер на полном ходу развернулся и исчез, снова остался лишь тендер, на палубу которого из трюма сейчас поднимались бойцы.

Поблизости не было ни одного судна.

Удар необходимо было нанести быстро, неожиданно, единым рывком, врезаться в сушу несокрушимым клином. «Вельтмандер, поведешь людей на берег!»

Глубину определили: воды было по грудь.

— Быстро, быстро!

В этот момент Вольт и Вельтмандер обменялись несколькими словами, будто взвешивая или колеблясь. Вольт не спеша оглядывал моряков, словно оценивая их:

— Быстро, быстро!

— Ну, ребята, пойдем,— сказал Вельтмандер.

Спустились в воду.

На дне был мягкий песок.

Глубина уменьшилась.

— Ребята, мы же идем в море!

В отдалении на высоком гребне моря грудилось судно.

Повернулись кругом и пошли по приказу Вельтмандера разомкнутым строем. Снова стало глубже. Из-за тумана встретили ровным плотным огнем. Внезапным десант уже не был.

Вельтмандер приказал:

— Не стрелять!

Время от времени дно уходило из-под ног, так что приходилось подскакивать или плыть с десяток метров.

Пуля задела Эйно Тали, и он осел в воду. Чувствовал, что левая рука и нога не двигаются. Шедший рядом связист наспех обвязал белой шершавой повязкой голову Тали. Они вместе достигли камня, где вода была по пояс. Теперь уже смутно виднелась линия берега. Поблизости от Тали молодой солдат держался за камень и кричал:

— Санитар! Санитар!

Вода вокруг него пенилась кровью.

Ни одного ответного выстрела они еще не сделали. До берега оставалось пятьдесят метров. Оттуда стреляли из всех видов оружия. Миг, один лишь миг тишины, будто вздох.

Такой белый туман, а вода вокруг красная.

— Что дальше? — спросил Тали.

— Ничего,— сказал капитан Эйнало.— Мы останемся здесь.

Огонь сгущался, стреляли с земли, где они родились; у них было исконное право ступить здесь на сушу, но как пробиться сквозь огневую стену, ведь так мало их уже оставалось.

Полковник, который отдал приказ о высадке и умчался на своем катере, связался по радио с генералом и доложил, что из-за несогласованных действий морского соединения и отсутствия радиосвязи между судами 300-й полк оказался слишком разбросанным по прибрежной полосе, отсутствует возможность достижения успеха, с суши ведется интенсивный встречный огонь, из-за чего...

Высадку десанта решено было продолжать.

В двух милях от солдат капитана Эйнало находился отряд крупнее. Трупы в серых шинелях покачивались на волнах, отдавая холодной воде последнюю кровь, но здесь яростно отвечали на стрельбу с берега и упорно продвигались вперед, от одного камня к друго-

му, к белому песку, которым начиналась суша. Не умолкал ручной пулемет, и вскоре через высокую насыпь полетели гранаты.

С двумя гранатами на поясе, с автоматом на груди ломился вперед боец, который хорошо знал эти края: за насыпью слева есть одинокий хутор, а у леса — старый сарай, когда-то, работая в лесу, солдат сушил здесь, на хуторе, мокрую от снега одежду и теперь, закоченев в осенней воде, вспомнил теплую печку и то, как он грел возле нее ноги.

Воспоминания не мешали ему нажимать на спусковой крючок.

Встречный огонь не прекращался ни на миг.

Боец высматривал камни покрупнее, что вели к берегу.

Десять шагов — до первого камня. До следующего едва ли две сажени...

Он крикнул привалившемуся рядом раненому пулеметчику:

— Попробуй еще разок нажать!

Боец за пулеметом мог двигать только правой рукой, глаза заливало кровью, но пулемет застрочил.

Неповоротливый в своей мокрой одежде, солдат все же успел прыгнуть за камень, но почувствовал обжигающую боль в правом боку.

— Сволота чертова!

Он тут же поднялся и, шатаясь, двинулся к следующему камню, оставляя за собой красную полосу, и упал ничком на камень, правый бок онемел. Левой рукой он нащупал гранаты, дикая злоба кипела в нем, он рвался на землю, он знал, что осталось ему лишь десяток шагов, последние в жизни, но впереди была его, только его земля, и раз уж ничего другого, то хоть на одно он имеет право — рухнуть на сухую землю, выбраться из кровавого моря, доволочить уже парализованное тело и одеревеневшие ноги до суши, и пусть там придет смерть, ибо смерть не страшна мужчине, а мертвого его уже ничто не разлучит с этой землей, даже немцы.

Левой рукой он бросил обе гранаты, поднялся в рост и успел сделать эти последние оставшиеся до суши десять шагов.

Вальтер Тоодо нес антенну радиостанции, Куускюлль тащил аккумуляторы, а плечи Вайксаара оттягивала рация. Они брели почти рядом в огненном тумане.

Страшный удар саданул Вальтера в спину, такой сильный, что он даже не почувствовал боли, а медленно, как падает подпиленное дерево, повалился в воду.

Товарищи вытащили его из воды, уложили в пустой ящик из-под снарядов, в котором он остался качаться на целые пять часов. Когда туман немного рассеялся, он увидел на миг Пяртельпоэга, который, размахивая пистолетом, кричал:

— Вперед, ребята, вперед!

Потом услышал Вайксаара:

— Куускюллю угодило прямо в голову.

Рация была на дне моря.

В какой-то час поглядев, он не увидел поблизости ни души: огонь продолжался, он раскачивался в своем ящике, а рядом были лишь трупы.

Когда Феликс Пяртельпоэг, перевалившись через борт тендера, соскользнул в холодную воду, судно уже застряло на песчаной мели. Двумя палками и толстой жердиной, которые оказались под рукой, матросы пытались сдвинуть тендер, но плоскодонная посудина села прочно. Уже шла стрельба.

Молодой русский матрос, считая, что оставаться на месте бессмысленно, спрыгнул в воду рядом с Пяртельпоэгом.

— Я тоже пойду,— сказал он.— Холодно... твою мать!

Почти в тот же миг пуля пробила парню легкое. Матрос даже не охнул, только прижал к груди обе руки и, чувствуя, что начинает падать, тихо шепнул Пяртельпоэгу:

— Подними.

Пяртельпоэг поднял его, взвалил на спину, ощутив на щеке его теплое дыхание. Сделал всего несколько шагов, удивляясь, что вовсе не трудно нести взрослого человека по песчаному дну, как вдруг невидимая сила рванула у него с плеча ослабевшего от потери крови матроса: пуля попала парню в голову.

Пяртельпоэг осторожно, словно в этом был еще какой-то смысл, опустил матроса в воду; вытащил из кобуры пистолет.

— Вперед, ребята, вперед!

Вторая рота, командование которой принял на себя лейтенант Лейбре, так как предыдущий командир истек в море кровью,— эта рота вырвалась к шоссе Курессааре — Сырве. Дорогу от берега к шоссе бойцы пробили штыками и руками. И все же на шоссе они не ступили: немцы подтянули свежие силы. Одной смелости было мало — кончились боеприпасы; но бойцы вырывали оружие у врага и продолжали воевать.

Подобрали брошенный пулемет и ленты, расстреляли и их по немцам. Спасения не было, молодой лейтенант Лейбре понимал это, но воля к победе оказалась сильнее, вело сознание, что ребята верны воинскому долгу.

У бойцов были еще гранаты, и лейтенант крикнул:

— Будем стрелять, пока есть патроны! Последняя граната для себя!

Предстоящее не пугало его — он был офицер. И он исполнил свой долг.

Юхан Саар пишет:

«8 февраля 1945 выехали из Стёвена в деревню Волтенсдорф в большую мызу где пробыли одну ночь в немецкой комнате на другой день нам оттуда велели убираться вниз в подвал который был залит водой русским заключенным приказали вычерпать воду и очистить подвал мы запротивились сказали что не пойдем туда пусть раньше расстреляют потому как там все равно перемрем тут оказалась одна старая эстонская госпожа что здесь давно жила и спросила почему это немецкая фрау так кричит та ответила что они ведь не понимают а если мол я сержусь то они все же боятся эстонская госпожа сказала что мы эстонцы и тоже люди можно тише говорить тогда мы попросили одну комнату которая была у них для сушки белья и глаженья и нам разрешили поселиться были там одну неделю снова нас выгнали потому что сюда пришло немецкое войско тут ушли русские заключенные и нас определили вместо них чистили три дня этот тюремный лагерь и сделали его пригодным только кончили с приборкой опять пришел немецкий солдат с толпой французских заключенных и выгнал нас мы сказали что сами не знаем куда идти ответил что если мы сами не уйдем то он велит пленным нас выкинуть вытащили свои пожитки потому что уже вошли заключенные был холодный ветер и детям стало холодно 17 февраля нас увезли в город Драмбург в общественную помощь там определили на ночлег и утром пришло снова приказание отправляться на вокзал но без вещей 18 февраля нас привозят на вокзал где встретили других эстонцев из Ярве ехали всю

ночь к утру прибыли на станцию Хаген 19 февраля были на станции Хаген целый день перед вечером нас отвезли на 8 километров дальше в деревню Себина где нас определили в конюшню провели там 3 суток опять велели убираться указали на старый заброшенный коровник должны туда уходить начали возражать что там холодно лучше пусть оставят нас в конюшне тут теплее на другое утро подъезжает телега на резиновом ходу к конюшне мол грузите вещи спросили куда нас повезут сказали что из этой деревни в другую сложили вещи и повезли нас к старому развалленному коровнику а не в другую деревню велели сгружаться мы упирались конечно но ничего не помогло сложили пожитки к стене где они лежали весь день но под вечер внесли вещи в коровник постелили себе соломы и были как скот...

...настал вечер все стали варить себе на дворе еду сделали из кирпича маленькую плиту где умещался горшок варили некоторые уже сготовили другие ждали когда закипит тут пришел полицейский загасил огонь и сказал что здесь варить нельзя что у домов соломенные крыши могут загореться сказал чтобы шли подальше в поле и варили я спросил а как быть если снег пойдет или ветер будет тогда куда идти повели нас в один сарай где прачечная чтобы там все вместе варили в заделанном котле но мы с этим не справились сняли котел и варили на огне каждый в своем горшке варка эта была никудышной 23 февраля загнали нас в коровник где мы были всеми брошенные и никому не было до нас никакого дела не дали нам ни одной картофелины их мы воровали сами из буртов так что жизнь была хуже некуда многие там занедужили потому что было холодно и ни одного теплого места куда пойти обогреться».

Известный своей храбростью капитан Альфред Райг рвался вперед — он должен своими ногами ступить на берег.

Рядовой Зоганов, который от Великих Лук прошел вместе с ним сквозь огонь и смерть, бесстрашный и надежный, старался идти в ногу с капитаном или держаться впереди него, и они продвигались быстро, будто натренированная парная упряжка.

Капитан Райг никаких команд не подавал: если командир идет впереди, бойцам без слов ясно, что нужно делать. Не сказав ни слова, не охнув, словно стыдясь того, что случилось, Зоганов зашатался, приостановился, будто задумавшись, наклонился к воде, чтобы приглушить боль, попытался снова выпрямиться, но вода вокруг него уже порозовела и руки, которыми он закрыл рану, залило кровью...

Капитан поднял его и понес к берегу, к прибрежным валунам: один из них укроет раненого солдата.

Капитан Райг с вестовым на руках встал под защиту отшлифованного волнами, обросшего грязным и липким мхом гранитного валуна, вода была по грудь, капитан стоял четыре часа под непрерывными пулями, среди побоища, в котором одна человеческая жизнь ничего не значила, стоял, поддерживая Зоганова, чтобы он не ушел под воду, пока в конце четвертого часа тело Зоганова не застыло.

При анализе причин неудачи десантной операции было констатировано, что десант высаживали практически без всякой разведки, без знания силы и расположения противника; не позаботились о поддерживающем огне, корабли не знали донного рельефа в месте высадки. Из-за тумана суда оказались разбросанными, солдаты направились к берегу разобщенными группами, между судами отсутствовала связь для общего руководства операцией с моря. Были отмечены самоотверженность и героизм достигших суши отрядов.

Эйно Тали помнит разговор с капитаном Эйнало за шишковатым камнем.

Впереди под защитой большого камня стояли штабной офицер связи Каськ и майоры Вельтмандер и Вольт. Тали знал, что семья Вольта погибла в блокадном Ленинграде.

Капитан Эйнало говорил:

— Ты молодой, Эйно. У тебя еще жизнь впереди. Я уже все перевидел, и я останусь тут, за камнем.

Тали понимал, что это косвенное разрешение поступать в дальнейшем по собственному разумению.

— Я в живых не останусь,— сказал Эйнало.— Я умру тут.

Это был седьмой час пребывания в воде, и многие признавались, что именно тогда холод начал вносить в душу спокойствие и безразличие.

Мощный огневой вал гудел над головами.

— Возьми... На всякий случай.— Эйнало что-то протянул Тали.

Тали сказал:

— Не надо.

Он не знал, что ему предлагали. Через несколько минут он увидел, что вода начинает относить капитана. Он громко закричал:

— Эйнало! Эйнало!

Но увидел сердитый взгляд Вольта.

— Что ты кричишь?

— Эйнало убит.

Волна относила Эйнало к стоявшим впереди у камня людям. Тали услышал голос Вольта:

— Нет, он не убит.

Плотно прижимаясь к камню, майор Вольт удерживал бесчувственно покачивающегося в воде капитана Эйнало, пока в его одеревеневшем теле теплилась жизнь.

Еще целый час Вольт укрывался за камнем. Силы покинули майора. Никто не ждал его на земле. От голода в блокадном Ленинграде умерла его семья. Он был офицером и честно провоевал всю долгую войну. Руки уже плохо слушались, и пальцы еле шевелились, когда он расстегнул кобуру, уткнул пистолет в грудь и нажал на спусковой крючок.

Вечернее солнце постепенно остывало в сумерках осеннего дня, когда со стороны моря, сзади, налетели вражеские катера. Немецкие матросы могли сказать, что в этот день они убивали врагов, которые как телом, так и душой были красными, ибо разбегавшаяся перед носом судна вода, так же как и пенящийся вихрь за винтом, розовато отсвечивала человеческой кровью. Однако им было не до торжества: море отстреливалось до последнего патрона.

Вальтера Тоодо вытащили из снарядного ящика, но он тут же, не устояв на ногах, упал лицом в покрытый бурыми водорослями песок. Немецкий солдат двинул его прикладом, но у Тоодо не было сил повернуться.

Другой раз саданули в спину.

Он очнулся, когда его взяли под мышки и поволокли. Боясь потерять сознание, Тоодо старался разглядеть, кто его тащит...

В пяти шагах от берега, в двадцати от выжидавших немцев Феликс Пяртельпоэг глянул на часы. Прошло десять с половиной часов с того момента, когда он спрыгнул с тендера в воду.

12 октября утром, когда ночь уже отступила перед светом, местный житель Хиндрик Клепп вышел возле хутора Тээзу к берегу моря. От первых петухов до глубокого вечера он слышал неослабный грохот войны. В тихом осеннем предутреннем часе раздавались пушечные выстрелы, доносился стрекот пулеметов, слышалась размеренная дробь автоматов и резкие гулкие взрывы гранат. Даже крики и возгласы доходили.

Первые трупы он увидел довольно далеко от моря. Валялось оружие. Застывшие тела лежали на всем пути до самой воды. Больше всего их было между прибрежными камнями.

Сейчас стояла полная тишина.

Клепп пересчитал убитых. Оказалось сорок эстонцев и семьдесят немцев.

Он рассматривал оружие, которое лежало возле наших солдат или было судорожно зажато в руках. Пулеметные ленты и автоматные диски были пусты. Ни одной гранаты он не нашел.

Среди убитых он разглядел красивого парня, который лежал в окружении трех немцев, безмятежный, будто спал с устатку, лишь острое лезвие ножа в смертной судороге было сжато в правой руке.

На мой вопрос о дальнейших событиях 12 октября 1944 года полковник Пауль в письме от 18 февраля 1973 года написал:

«В 13.00 я по собственной инициативе вернулся в порт Роомассааре, где доложил обо всем, что видел в море и что произошло.

В 15.30 я снова вышел в море, с тем чтобы найти высадившихся на полуостров Сырве солдат (место десанта), отыскать оставшихся в море людей, вывести их на берег и продолжить выполнение боевого задания. (Потребовал для этого согласия командующего армией, доложив ему об обстановке, и получил от командира дивизии соответствующее приказание.)

В 15.30 вышел с командирами 2-го и 3-го батальонов 8-й стрелковой роты (130 человек), минометными расчетами и противотанковыми ружьями в море.

В море, достигнув района полуострова Сырве, мы приступили к систематическим поискам, чтобы обнаружить оставшихся в живых десантников, высылая для этого неоднократно разведку на лодках. Повсюду с берега противник встречал нас огнем, и в море никого из своих не обнаружили. Было 13 октября, под утро, когда поступил приказ прекратить операцию».

В этот час была решена также судьба сырвесцев.

С кровью и смертью пришло в отделения, роты, полки и дивизии отрезвляющее сознание: война продолжается.

Для освобождения Сааремаа нашим войскам пришлось потерять еще немало людей.

Утром 13 октября наши части немцев не атаковали. Готовился более мощный удар по прорыву линии Унгру — Пагила.

Немцам потребовался весь рано смеркавшийся день, чтобы свезти раненых в лыускую школу и похоронить мертвых.

В другой мир вместе со своими подчиненными отправился и командующий соединением, которое обороняло берег от десантников.

На открытом поле Техумарди и под огнем вышедших из ночного моря бойцов погибла тысяча немцев.

«Бремерхавен», имея на борту более пяти тысяч человек, отошел от причала Вентспилса 29 октября 1944 года в 3 часа дня. Гигантское судно сопровождали два маленьких сторожевика.

«Бремерхавен» был огромным и вместительным судном, но откатывающаяся телега войны требовала все более спешной транспортировки, поэтому на палубах были возведены новые деревянные надстройки, которые сделали сложную палубную и траповую систему парохода еще сложнее, но зато дали место новым сотням раненых, бегущих и увозимых.

На этом пароходе нас должны доставить в Данциг.

Весь предыдущий день, который мы провели под крышей пакгауза, шла погрузка судна. На разные уровни — от уютных кают верхней палубы до удушливых трюмов, находившихся на десяток метров ниже ватерлинии,— набилось народу всякого сорта: латышские коллаборационисты, которые убегали, латыши, которые терпеливо ждали поражения немцев и не собирались уходить из родного дома; литовцы, которые бежали на запад от «восточных варваров», и литовцы, которых теснимые Красной Армией немцы варварски гнали из отчего дома; эстонцы, которые боялись возмездия, и эстонцы, которых, будто скот, гнали из своих домов; немецкие оккупационные служащие, балтийские немцы и по крайней мере тысяча тяжело раненных немецких солдат.

В воскресенье, 29 октября, с утра у борта «Бремерхавена» выстроилась новая очередь людей с вещами. Дважды, словно отлив, всех отбрасывало назад — люди оставляли вещи и сломя голову бросались искать убежища между толстыми стенами. Проносилось звено советских штурмовиков. Стихал гул, и приливная волна беженцев снова устремлялась на борт парохода.

Первые сырвесцы взошли на палубу лишь в полдень, когда свободные места оставались только в самых нижних трюмных каютах. На гигантское судно нельзя было поместить больше ни одного человека. Мать, отец и сестра взяли вещи, и мы пошли назад в каменный пакгауз. Пришлось ждать следующего судна.

«Бремерхавен» в сопровождении двух крошечных сторожевиков направился в устье гавани. Погода была хорошая, море зеркальное, и высокая палубная надстройка виднелась еще долго. «Эту посудину ждет бомба»,— думали многие, провожая взглядом пароход.

30 октября, когда до Данцига оставалось три часа ходу, из-за белых осенних облаков, которые медленно плыли над спокойным морем, спикировали самолеты, обстреляли пароход и сбросили бомбы.

Это было вражеское судно без всяких охранных знаков, огромный пароход, могущий быть лишь военным транспортом, и его следовало уничтожить.

Глубоко в трюмных каютах не слышали даже гула самолетов. Ощутили только, как вздрогнуло судно. Затем погас свет. Спустя четверть часа свет загорелся снова, но лишь на несколько минут.

Машины застопорили.

Кто-то сумел отыскать свечу. В мерцающем свете смотрели сырвесцы друг на друга, безмолвно спрашивая, какой еще ждать беды.

Пожилой мужчина, плававший в молодости на судах, ощупью пробрался к двери, что вела на первую палубу, но там его остановил вооруженный солдат:

— Ни шагу дальше, или буду стрелять!

За спиной солдата металась стена огня, гудящая и рокочущая подобно огненному смерчу.

Снизу, из трюма, никого не выпускали. На первых порах тут было безопаснее всего.

Стало так жарко, что начала оплывать свеча. Проникала гарь, давило удушье. Все лишнее было снято, пуговицы расстегнуты, тело от жары и страха покрылось липким потом.

Через три часа после воздушной атаки очередь на спасение дошла до трюма.

Только бы на воздух! Только бы остаться в живых!

Старый, парализованный человек хватался за подол молодой женщины, страх и жажда жизни гнали женщину наверх, старик стаскивал ее назад, она стряхивала с себя его руки и била по ним, она хватала ртом чадящий воздух, с верхней палубы доносился рокот огня, слышались крики и команды, становилось все жарче, но старик не отпускал ее платья, так сильно хотелось ему жить, и руки судорожно цеплялись за женщину. Парализованный и беспомощный, Трийн Пыльд из Мяэбе так и остался в трюме — ни у кого не было времени вынести его наверх.

Анна Ыунаппу из Ийдекюла задохнулась там же. У Эммы Лепик из деревни Лябара был большой чемодан, и она не пошла наверх, потому что тогда чемодан остался бы в трюме. Она сгорела вместе с чемоданом. В огне осталась и Рээт Тиммерманн из Мяэбе.

Когда жена Хиндрика Прууля с дрожащими и плачущими детьми на руках добралась до палубы, все горело и трещало. Слышались приказы немцев.

Человеческие следы шли по крови, сверху на кровь оседал мелкий серый пепел.

Раненный в ногу солдат, простоволосый, в распахнутом мундире, сидя тащил себя к другому борту, он двигался спиной вперед, отталкиваясь руками, стонал и скрежетал зубами, от ноги тянулась кровавая полоса. Люди в панике бежали мимо, кто-то с чемоданом, отпрянув от внезапно вспыхнувшего рядом пламени, наступил на его негнущуюся, окровавленную ногу. Солдат вскрикнул, будто свалился в пропасть; каким-то немыслимым чудом вытянув туловище, он кулаком ударил мужчину в живот изо всей силы, так что тот ничком свалился на окровавленную железную палубу.

Женщина с детьми не знала, где спасение.

Оба ребенка плакали.

У другого борта рядом с бушующей огненной стеной сновали люди.

На палубе горели чемоданы.

Тлел одинокий костыль.

В крови валялась женская туфля.

Надо было достичь противоположного борта, туда, наверное, подошло спасательное судно, однако на пути через палубу, где еще можно было пройти, лежал солдат с окровавленной головой и обгоревшими руками.

С верхней палубы неслись немецкие команды. Они предназначались не для нее, она не понимала их.

— Я боюсь! Я боюсь! Я боюсь! — кричал ребенок. Он так прижимался к матери, что толкал ее.— Мама! Мама!

Она уже собиралась переступить через солдата, но тут на грудь ему упал факел, какой-то горящий кусок дерева, и пылал там тихо и ярко.

Что-то рушилось, кто-то кричал, но не было ни одного человека, кто бы ей помог.

Сверху все еще раздавались ясные и спокойные распоряжения, но она не понимала их.

— Я боюсь, мама! — дрожал ребенок.

Младший еще не разговаривал.

Она все же должна была перебраться через палубу к другому борту.

Гарь перехватывала дыхание, слезились глаза, стеной прибли-

жался огонь, оставляя ее в туннеле, посреди которого лежал солдат с головней на груди; и вдруг она испугалась смерти. Она теперь не верила, что там, за огнем и дымом, кто-то есть.

— Мама! Я горю! Мама! Мама! Я горю!

Она схватила кричащего ребенка под мышку.

На что-то надо было решиться!

Она не видела никого, кроме лежащего солдата.

Была только теплая и пылающе-розовая стена, к которой можно было прислониться, и она пошла к этой стене — один ребенок на руках, другой под мышкой; она метнулась сквозь стену и потом еще дальше, запнулась обо что-то и упала, и было так нестерпимо больно, что она подтиснула детей под себя, на пахнувшую кровью, раскаленную палубу, и прикрыла их, сама уже охваченная огнем.

19 октября 1944 года был ясный, безоблачный день. Солнце из-за прозрачного осеннего воздуха казалось по-летнему ярко-слепящим. Начиналось свежее, тихое утро.

Лежавшие в окопах и защитных рвах на линии Унгру — Пагила немцы щурились, глядя на восток.

Солнце поднялось еще выше и повисло над окопами 249-й Эстонской стрелковой дивизии — чистое и скорбное.

И в тот же миг разверзлась вселенная; земля раскалывалась, содрогалась, и крошился камень, солнца не было, лишь какие-то желтоватые сумерки просачивались сквозь плотный воздух, которым невозможно было дышать — он состоял из дыма, ядовитых взрывных газов,— гул все усиливался, словно начал действовать давно потухший вулкан, который разорвал земную кору и родил огненный вихрь смерти.

Тут был ад, но тех, кто очутился в этом аду, не мучили, не жгли, им не показывали ужасы, их сразу же оглушали и заворачивали навечно в раскаленную окровавленную землю, затем землю крошили вместе с людьми.

На отрезке фронта в два с половиной километра между деревнями Унгру и Пагила перед обедом 19 октября 1944 года по фашистам каждую минуту выпускали 1600 снарядов и мин, и так все сорок минут. Пушки и минометы стояли через шесть-семь метров.

Затем взлетела ракета и двинулась пехота и танки. Они шли через сгоревшую землю, где валялось лишь странно перекореженное оружие и жалкие обрывки колючей проволоки возле одиночных уцелевших столбов. Сгоревшая земля еще отстреливалась, еще погибали наши, и пленные, которых мы брали, долго не могли прийти в себя от ужаса.

Небо было ясное, солнце палило в зените, по узкому перешейку в сторону Сырве двигались войска, чтобы на линии Лыпе — Каймри снова надолго задержаться. На подступах к Лыу, где десант намеревался создать опорный пункт, взяли в плен тысячу гитлеровцев.

На линии Лыпе — Каймри войска находились с 24 октября по 18 ноября 1944 года. Перед столь долгим перерывом в боевых действиях с положением знакомились представители Ленинградского фронта генерал-полковники М. Попов и Г. Одинцов. Им стало ясно, что противник был в несколько раз сильнее, чем думали вначале. Верховному главнокомандующему Сталину доложили о необходимости более длительной подготовки. Соответствующее согласие было получено.

В этот отрезок времени и вмещается высылка сырвесцев. Немцы получили подкрепление, оружие, боеприпасы и очистили полуостров от гражданского населения. В начале ноября на Сырве находилось

почти 12 тысяч немецких солдат, 500 пулеметов, 300 орудий и минометов, 11 реактивных установок, 12 танков, в достаточном количестве горючее и продовольствие. Тут предполагали защищаться до зимы.

Сырвесцы были уже в «великой Германии», за колючей проволокой, когда на линии Лыпе — Каймри сконцентрировалась нужная для сокрушения фашистской силы огневая мощь. На каждый километр прорыва приходилось 250 стволов, или в общей сложности такая колонна вооружения, что если бы ее выстроить в ряд, то она протянулась бы от Сырве по всему Сааремаа до самого Муху.

Война не кончилась. Война становилась все ожесточеннее. Цена победы была уже неимоверно дорогой и поднималась все выше.

Черная нитка еле держит порванную клетчатую обложку дневника. Тетрадь подмокла, она была свернута в трубку и куда-то засунута. Часть страниц пожелтела.

К счастью, у того, кто писал, был химический карандаш, он сохранил текст. Вела дневник молодая сырвеская девушка Лийне Хююдма.

21 апреля 1945 года между записями о голодном существовании в дневнике Лийне Хююдма читаем:

«Моим наибольшим отличием остается мой характер, так не схожий с другими, я страдаю из-за него. Не с кем поделиться, да и кто поймет, что у другого на душе. Ох, эта душевная боль совсем не то, что привычное, видимое глазом страдание из-за голода или бомбежки. Когда опять придет время, чтобы стать равной со всеми? Когда исчезнет это чувство собственного унижения?»

Она освободилась от голода и унижения, вернулась на Сырве, и тут последние силы, которые держат нас среди живых, покинули ее.

На первой странице дневника записаны слова, которые, очевидно, больше всего требовались в лагерном обиходе:

«Nichts zu machen — ничего не поделаешь
schwer — тяжело
gestorben — мертвый
nur — только
wenig — мало
schlecht — плохо».

Этими словами можно было все сказать.

Зная, что Лийне Хююдма вела дневник, я отправился в деревню Мэсса к матери Лийне — Анне Усин.

День был весенний, но дул пронизывающий ветер. С высокого неба от стылых белых облаков веяло каленым холодом сходящего льда. Мы разговаривали со старой женщиной о мытарствах в Германии, и я записывал услышанное на маленьких листочках. Я сказал:

— Мучительно вспоминать все заново. Если бы тогда кто-нибудь все записал, не понадобилось бы сейчас вас расспрашивать.

— Да что там голодный человек напишет!

— Знакомые вашей дочери вспоминают, что Лийне время от времени что-то писала.

— Тетрадки у нее какие-то были...

— Может, случайно сохранились?

Она сказала:

— Долгое время валялись тут у меня на шкафу, все жаль было выкидывать, а на прошлой неделе стала прибираться, мусора набралось столько, большая часть пошла в печку.

— Ничего не осталось?

— Нет, ничего.

Я опоздал на неделю!

Какой ничтожно малой была эта неделя рядом с десятками лет, которые они пылились на шкафу.

— Вдруг случайно завалялся хоть листок?

— Могу еще посмотреть,— сказала она, подставляя табурет.

Стоя на нем, она шарила среди всякого барахла. Запыленные куски обоев, ситцевые узелки, коробка с елочными игрушками, газеты, оберточная бумага, деревянные колодки.

— Нет тут ничего.

Я спросил, не сохранились ли у нее какие-нибудь снимки или выданные при немцах удостоверения. Она показала мне фотографию дочери.

Я сказал:

— Жаль, что тетрадки эти пропали. Поездив по Эстонии, я все-таки несколько дневников отыскал, вот только самого нужного вроде бы нет. Люди вначале не хотят доверять другим свои записи, а некоторые словно боятся. Я всем объяснял, что бояться здесь нечего: не по доброй воле переселились в эту Германию, поэтому пора освободиться от тогдашнего страха.

Анна поворошила в плите. Суковатые сосновые дрова трещали и жарко горели.

Я сказал:

— Я вернул все дневники в целости и сохранности. Это ведь память и собственность людей. Я только читаю. Я хочу написать о том времени. Наша семья тоже прошла тот крестный путь, но я был такой маленький, что ничего не помню.

Она смотрела на огонь.

Я спросил:

— Где ваша дочь похоронена?

— На кладбище в Ансекюле.

— В какой стороне могила... если искать вздумаю?

Она сказала.

Складывая свои записи, я спросил, могу ли взять с собой фотографию ее дочери, чтобы переснять. О юной, круглолицей, доверчиво смотревшей в объектив девушке я посмел предположить:

— Не очень, видимо, и изменилась, когда... ушла?..

— Такое детское лицо у нее было всегда... и тогда тоже... я три года плакала и ходила по дороге и в голос звала...

Я сложил маленькие белые листочки и почувствовал, как запали мне в душу последние слова матери. Безнадежность пустынных дорог, сумерки, в которых дорога и вовсе теряется, или ослепительно-белая, росистая и светлая тропка, по которой торопливо идет молодая девушка. Я видел мать, которая всюду зовет дочку с ямочками на щечках, хотя та никогда уже не придет, а только будет уходить все дальше. Я понимал, как трудно найти такие слова, чтобы передать всю боль, ничего, кроме боли. Чтобы человек прочел и почувствовал, как отходит на второй план его собственная жизнь, давая место чувству, из которого рождается возмездие. Мне казался этот зов матери символом, криком в наше сегодня, ибо как можно жить, не зная, что бывают времена, настолько переполненные отчаянием, что оно уже не вмещается в нас, и в наши комнаты, и под нашими крышами, его нужно выкричать на пустынных дорогах...

— Тяжкие и неправедные времена,— сказал я, вставая. Почему-то попросил:— Извините.

Женщина взяла табурет.

— Постойте, я гляну еще разок.

С левого угла на шкафу она взяла тетрадь в клетчатой обтрепанной обложке и подала мне.

Она ничего не сказала.

На дворе, не утерпев даже куда-нибудь завернуть, я посмотрел, все ли страницы сохранились. На первой было написано:

«Nichts zu machen — ничего не поделаешь
schwer — тяжело
gestorben — мертвый
nur — только
wenig — мало
schlecht — плохо».

Все страницы целы, текст разборчивый. Девичий аккуратный, спокойный почерк. Внизу на последней странице увидел корявые и пляшущие буквы, выведенные старческой рукой:

«30 марта 1955 года
Сиводня халодная пагода
Дует и дымит
Всюду пално снега
Пагода халодная
Я адна».

И ее собственные инициалы: А. и У.

В Готенхафене сырвесцев встречали представители немецкого Красного Креста. Один из них произнес речь. Он объяснял нам, кто мы такие. Мы были несчастными военными беженцами, которые, спасаясь от красных, вынуждены покинуть свою землю, свои дома и имущество, отправиться на чужбину искать убежища, и великая Германия не оставит нас в беде.

Несчастье простого человека часто происходит оттого, что он не получил дипломатического образования. Он не знает, что справедливости можно требовать и окольным путем и за глаза, а вначале надо просто терпеть и кивать.

Пээтер Аннус и Лаас Сээми, едва лишь немец кончил свою речь, ответили ему от чистого сердца и напрямик: никакие мы не военные беженцы и не пугались мы красных, сами вы гонялись за нами с собаками и ружьями и из домов нас выгнали вы, немцы.

На этом разговор был кончен, и нас загнали в сарай.

Поезд тут долго стоять не должен, потому что пути свободные и рельсы целые.

Но сейчас поезд стоял.

Парнишка хотел по-большому.

Это был тот самый едва достигший конфирмационного возраста слабоумный, ради которого мать просила оставить ее на Сырве, но вынуждена была подчиниться немецкому пунктуальному гуманизму, который ни одного человека не оставлял на произвол войны. Он, глупый парнишка, действительно мог благодарить немцев, что те во имя гуманности оказались столь пунктуальными, ибо только в одном случае из миллиона ему показали бы чужие страны, везли бы на пароходах и поездах, дозволили бы переваривать скотскую еду и палили бы на глазах у него из разного оружия.

Он всюду глазел по сторонам, втянув голову и открыв рот, поразительно напоминая сверстников из гитлерюгенда, когда они, выстроившись, слушали благословения бóльших или меньших фюреров.

Но сейчас он и впрямь хотел в уборную, и его по-настоящему

подпирало, так что он уже в тамбуре теребил пуговицы, с радостным лицом поглядывая на стоявшего перед вокзалом часового, который должен ведь понимать, что парню очень нужно, и поезд стоит, и нет никакого грохота. Немец грозил пальцем, видать, он шутник, иначе с какой стати ему грозить чужому человеку пальцем, если сам стоит перед вокзалом и всю нужду справил.

Парнишка уже совсем было приготовился заняться своим делом, когда мать тоже выбралась из забитого вагона и сказала, что на станции для такой надобности должно быть отведено особое место где-то рядом, чтобы человек, если тронется поезд, не отстал от него Они отправились искать уборную, по дороге парнишка несколько раз, широко улыбаясь, оглядывался на стоявшего перед вокзалом немца, того, что грозил ему пальцем.

Уборная находилась в двадцати шагах — загаженная как внутри, так и снаружи. Возле задней стенки деревянной развалюхи мать велела сыну опуститься на корточки. Она велела сделать все быстро, пока поезд не тронулся. Поезд не спрашивает о человеческой нужде, это человек обязан свою нужду приноравливать к поезду.

Видишь, мать, он справился мигом, остается только штаны подтянуть и застегнуть пуговицы — и можно бежать назад. Пальцы уже нащупывают петли, и тут из-за угла от станционного здания, выставив штык, появляется честь по чести обмундированный, в начищенных сапогах солдат рейха. Он должен был бы отвернуть лицо — так ужасно пахнет, парнишка беспомощными от торопливости пальцами застегивает штаны. Немец утыкает штык в пупок парнишке и указывает на землю:

— Du?

Ему надо с чего-то начать, потому что его душа переполнена гневом из-за этой непостижимой гадости, из-за грязи вокруг будки вопреки всем жизненным правилам и предписаниям.

— Du? — спрашивает он еще раз и показывает на землю, на всю эту зловонную сотню кучек.— Du?

Вопрос этот не требует ответа, это просто обращенное в вопрос презрение, которое освобождает вояку от излишних объяснений. Эта загаженная уборная не умещается в порядок жизни SS, тем самым является запретной, противозаконной и наказуемой.

В мире все должно быть прекрасно, чисто и ясно — нации, государственные устройства и идеалы. Что не отвечает этому, уничтожается — нации, государственные устройства и идеалы. Должен господствовать порядок. Ради существования прекрасного, чистого и ясного и божьей справедливости должен господствовать порядок.

— Сейчас же уберешь! — гаркает солдат, уткнув штык в пупок дурачка и держа палец на спусковом крючке. Так сражаются за чистоту идей «великой Германии».

— Он больной... слабоумный,— говорит женщина солдату,— глупый... мой сын.

Пусть они не думают, пусть и не пытаются думать, что арийское требование порядка признает исключения!

Женщина тычет себе пальцем в висок, вертит, словно заворачивает разболтавшийся винтик, и показывает на сына.

— Слабоумный...— объясняет женщина.

Парнишка застегивает пуговицы, штык ему не мешает, штык уткнулся выше ширинки, прямо у пупа.

— Немедленно! — снова гаркает солдат, и это не его дело, чем они будут убирать, не станет же он доставлять сюда лопаты или вилы, его дело соблюдать порядок.

— Zug...— Женщина показывает на поезд.— Беженцы,— говорит она,— из Эстонии,— говорит она,— слабоумный,— говорит женщина,— nicht normal... Zug.

Это, конечно, ясно, что они с этого поезда и поезд действительно не останется тут, но какое ему дело, откуда они едут и куда направляются, пусть будет порядок. Эсэсовец тысячу раз прав. Раз по отношению к дураку был проявлен гуманизм уже тем, что дурака угнали с Сырве, то он должен подчиниться эсэсовскому порядку...

Паровоз дал гудок.

— Zug...— вздрагивает женщина.— Zug... — Она вся обращается в этот один-единственный Zug, который сейчас двинется со всем их барахлом и голодными сырвесцами, уйдет совсем, а они останутся здесь, за уборной, где происходит беспощадное сражение за арийскую чистоту, и женщина опускается на колени, скрестив руки, уткнувшись головой в налощенные сапоги, и снова повторяет: — Bitte, Zug, aus Estland, слабоумный... мой сын... nicht normal... слабоумный.

— Nicht unnormal,— говорит немец.— Schwein.— И показывает штыком на обоих.— Du! Und du! Schwein!

Они должны понять — они оба. Оба свиньи. Но мать и сын бегут уже как угорелые к двинувшемуся поезду, который увезет их отсюда, и на поезд они успевают — на поезд войны, который увозит их на новые муки.

24 ноября 1944 года бургомистр Нойман после обеда, когда уже смеркалось, произнес перед сырвесцами, прибывшими со станции Нойдорф на лошадях в деревню Нойенкирхен, короткую речь.

На полу Gasthaus'а [13] была уже расстелена солома, и длинный стол тянулся через помещение. Бургомистр выразил сожаление и сочувствие в связи с тем, что беспомощные младенцы и немощные старики вынуждены были оставить свои родные дома, но и они, жители Нойенкирхена, не имеют возможности оказать приехавшим полное гостеприимство, слишком много своих военных беженцев. Но, сказал он, поднимая подбородок и глядя вверх и вдаль, после победного окончания войны наш фюрер вновь отстроит ваши утраченные очаги!

Выступил также вахмистр полиции. Пусть сырвесцы ничего не боятся, мир и покой им гарантированы, и пусть постараются общими усилиями выйти из беды.

Методистский проповедник Эдуард Суурханс из деревни Лябара обратился к властям с вопросом: можно ли возблагодарить бога молитвой, потому что среди сырвесцев много пожилых верующих?

— Препятствий не имеется,— сказал бургомистр.

Тут же прочли небольшое благодарствие небу и всевышнему и пропели:

Ох, обретем бога...

Когда немецкие солдаты на Сырве тащили из хуторских дворов на солдатскую кухню свиней и телят, некоторым протестующим выдавали бумагу с подписью и печатью, которая должна была гарантировать оплату реквизированной живности. Сырвесцы принимали это за насмешку и расписки выбрасывали. Работавший фельдшером методистский проповедник Эдуард Суурханс взял данное ему ручательство с собой в Германию. Так как он владел еще и немецким языком, то в первую же неделю обратился в комендатуру города Бергена. То, что произошло дальше, удивило его самого: ему выложили сумму. Теперь

[13] Гостиница.

он был при деньгах, только деньги в то время ничего не стоили, поэтому ими так щедро и оделяли.

В Бергене за деньги можно было купить лишь искусственные воротники, эрзац-мыло и пряности. Все остальное было нормировано. Даже на покупку ложки требовалось разрешение бургомистра. Тогда Суурханс сам выписал рецепты и отправился в аптеку покупать витамины. Не было на рецептах ни печати, ни отпечатанного типографским способом имени, но латинские слова и деловой вид пришельца убедили. Витамины все же витамины. Не эрзац.

У других тоже нашлось немного денег, и, собравшись, добыли разрешение и купили телка. Из ближнего прибрежья доставали рыбу. Хватало картошки, капусты и моркови. Дети получали по карточкам цельное молоко. Для благодарственных молитв разрешали использовать даже деревенскую церковь. Беженцы пребывали на чужбине и были бездомны, но оставались сытыми, а надежда, получающая телесное подкрепление, живет дольше голодного упования.

Когда в 1964 году я возвращался из Берлина (Варшава давно уже осталась позади, да и Брест тоже), то вскоре — наверное, это было уже в Литве — поезд вошел в туннель. Временами в купе гас свет на какую-то секунду, но я всегда вздрагивал. Я не знал, чего я боюсь, то ли что в середине темного туннеля на нас наскочит другой поезд, что мы застрянем в кромешной темноте или еще что-то случится. Позднее, проезжая из Лиона в Гренобль, во французских Альпах, я ощущал то же самое. Я спрашивал себя: откуда этот глупый страх?

Я успокаивал себя: никто ведь по доброй воле не пойдет в темноту или под землю, вот и возникает чувство сопротивления. Я не знаю, какой длины туннель, сколько времени ехать по нему. Если бы я все это знал, то не вздрагивал бы. Если когда-нибудь еще мне придется проезжать туннель, надо заранее выяснить его длину, чтобы точно знать, сколько продлится дорога в темноте.

В 1970 году я возвращался из Варшавы.

Впереди был тот же туннель.

Я был очень спокоен, когда локомотив исчез в темной глотке земли. Затем темный зев заглотнул весь состав, стук колес усилился, свет погас, я сказал себе: это на мгновение, свет загорится снова; так повторялось несколько раз. Когда мы поехали дальше по долине, я долго чувствовал, как колотится сердце. Не скачуще и с болью, а с ослабевающей, уходящей тревогой.

В Харьюмаа, в деревне Набала потомственный железнодорожник Андреас Тоодо получил перед рождеством 1944 года письмо. Последнюю почтовую весточку в этот дом принесли несколько месяцев назад, в самом начале октября, когда сражавшийся в Эстонском стрелковом корпусе сын Вальтер написал из Виртсу, что на следующее утро они направляются на Сааремаа и через две недели он будет дома.

Младший сын Андреаса Харальд подпал под оккупационную мобилизацию и теперь может где-нибудь повернуть свою винтовку в сторону родного брата. Правда, никто не знал, жив ли Харальд,— многие погибли в этом ошалелом отступлении, которое сейчас катилось на запад.

Но Вальтер был на родной земле, и стояла теплая осень, и старый человек думал о разных делах, которыми они с Вальтером займутся. Надо добыть пиломатериалы, чтобы отремонтировать дом, и привезти их, да и картошку за это время надо бы выкопать.

А на Сааремаа тем временем шло сражение. Лишь в конце ноября пришла весть об освобождении Сырве — последние немцы будто бы отстреливались, находясь по грудь в воде, пока их всех поодиночке не перещелкали.

В семье Тоодо продолжали ждать сына, и когда наконец узнали, что корпус отправился в Латвию, то решили, что и Вальтер там. Война — где найти время для писем, и военная почта — она теряет письма.

Уже снег выпал, когда перед рождеством наконец пришло письмо. Было оно на имя Андреаса Тоодо, короткое и ясное:

«Ваш сын, начальник радиостанции, младший сержант Тоодо Вальтер Андреасович, родом из волости Сауэ, Харьюмаа, ЭССР, в бою за социалистическую родину, оставаясь верным воинскому долгу, проявив геройство и мужество, погиб 12 октября 1944 года при осуществлении десантной операции из Рижского залива на полуостров Сырве. Его тело осталось в море.

Настоящая справка является документом для ходатайства о назначении пенсии».

Внизу стояла подпись Харьюмааского военного комиссара старшего лейтенанта Плукка.

В то же самое время в Хемнице Лийне Хююдма записала в клетчатой тетради:

«20 декабря, среда.

Со станции пришлось идти в лагерь пешком.

Барак был холодным, как подвал.

21 декабря, четверг.

Когда нас утром около шести разбудили, в комнате снова было холодно.

После скудного завтрака пошли на кухню чистить картошку.

22 декабря, пятница.

Сегодня прошли «вошебойку».

24 декабря, воскресенье.

Ради рождества на ужин к кофе дали сахару.

На краю верхних нар зажгли три свечки.

Сидели вдевятером. Бабушка читала вслух Евангелие. Вся жизнь, кажется, стала руинами...»

На острове Рюген, в Нойенкирхене, в деревенском Gasthaus'е, методистский проповедник Эдуард Суурханс читал сырвесцам утешительную проповедь. Они молились вместе, чтобы скорее кончилась война и они вернулись на Сырве. По сути, они молили бога, чтобы он скорее покончил с Гитлером.

В нашем лагере — в находившейся в «Польском коридоре» деревне Клейн-Лубс — справляли елку. В больших белых корзинах немки принесли пряники и яичные булочки. Елка была украшена, свечи сияли. Было как на настоящем рождестве. Хором пели:

Как мило елочка сияет...

Потом пели по-немецки:

O Tannenbaum, o Tannenbaum...[14]

Было как на настоящем рождестве. Благоговейно, свято и безутешно.

[14] О елочка, о елочка.

Тоска усиливалась и оборачивалась гневом, потому что в этот вечер впервые за два месяца, проведенных на чужбине, нам показали, чего нас лишили. Почему эта елка должна гореть далеко от родины? Почему в недели с кониной, обратом и свекольным супом втиснули один вечер с булочками?

Луизе Ааслайд думала в рождественский вечер в лагере Дрейхвитц о своем отчиме Юхане Муньте. После первого репового супа он занедужил и больше не встал, его зарыли на кладбище в Самтенсе, прямо против ворот, под большой елью.

Весь род отчима когда-то взял себе новую фамилию Муньт. Один только Юхан сказал: «Уж я как-нибудь без точек[15] угожу на кладбище в Ямая».

Не угодил, думала Луизе Ааслайд. Теперь она осталась с детишками совсем одна. Лайне было семь, Айме — пять, Юри — два года. Четвертый, у которого еще не было имени, уже напоминал о себе — все сильнее шевелился он под сердцем. Этот росший в материнском лоне человек ничего не хотел знать о том, что мир воюет и хоронит, голодает и бьет вшей,— его время уже подошло. «Когда?» — думала Луизе Ааслайд в рождественский вечер, лежа на полу в бараке на соломенной трухе.

О страхе.

Об этом случае я все же должен поговорить, ибо он подтверждает мои мысли о природе трагического.

Над морем стояла августовская, предосенняя прохладная и ясная тишина, когда мы отправились ставить сети. Были мы вдвоем, потому что настоящий сетестав еще не начался; прошел сенокос и жали первые снопы хлеба. Погода стояла хорошая, и мы отправились вдвоем — я и поселившийся недавно на острове латыш. Под ярким закатным и спокойным солнцем мы проплыли с десяток миль от берега в открытое море. Тогда я еще не собирался писать о войне. Только что вернувшись из больницы, я поправлялся после воспаления легких и не мог выносить солнечного света, козырек кепки все время был надвинут на глаза. Мне еще не было двадцати.

Поставили сети и остались в открытом море на ночь — брезент сверху, ритмично плескавшаяся волна под боком.

Под утро потянуло ветром, бившаяся о лодку волна уже не дала заснуть, мы принялись выбирать сети раньше намеченного. Первую грядку выбрали просто: рыбы было мало и сети легкие. Время от времени латыш подбавлял оборотов. И снова мы тянули тяжелую лодку вдоль сети навстречу волне.

Руки содраны в кровь.

Третью сеть затаскивали в лодку насквозь промокшие, обессиленные и потные.

Погода оставалась бодрой и свежей, солнце переливалось на зеленых волнах, ветер тащил космы облаков, будто овечьи хвосты. Грузила последней сети уже стукались о борт, когда крутая волна перекинулась через корму — мотор зачихал, задымил, засипел и заглох.

Когда спустя десять лет, замышляя книгу о войне, я думал о боли и страхе, когда я искал сходную ситуацию для вживания в материал, я вновь и вновь вспоминал эту рыбалку...

Якорь с грохотом полетел через борт, лодка стояла носом к ветру. Я стал выкачивать воду. Латыш вывернул свечи, протер их и прокалил, зачистил получше концы проводки, проверил карбюратор и снова стал

[15] Имеется в виду написание буквы «ü».

крутить маховик. Мотор злобно фырчал и сипел подобно промокшему человеку, металлические части клацали, будто зубы на холоде.

Волна поднималась.

Был рассветный час, ветер свежий и порывистый.

Латыш снова вывернул свечи, опять прокалил их, снова подсосал. Мотор сипел.

В нашем положении не было ничего особого или исключительного: и до этого приходилось в открытом море прокаливать свечи и оживлять мотор. Особенным было лишь то, что латыш очень плохо знал мотор. До этого он ни разу своими руками не разбирал полностью мотора и не собирал его.

Ветер сильнее подавал голос.

Латыш как безумный крутил маховик.

Куча металла сопротивлялась. Латыш вытирал рукавом пот, волосы кудлатые, рубашка на груди расстегнута, штаны засаленные, руки красные и распухшие.

— Должен бы завестись, но не заводится,— сказал он.

Гребни волн взмывали все круче и выше. Ветер уносил одни тучи и приносил новые.

Если возникшую картину на мгновение остановить и приблизить к глазам, то увидим высокие грузные волны, взметнувшиеся дугой брызги — это разбивается гребень волны, бурый отблеск воды,— ведь солнце скрыто за тучами; груда мокрых сетей на дне лодки, бледный после болезни юноша, сидящий на передней банке за тяжелыми, на два мужика, веслами и удерживающий лодку против волны, посреди лодки — средних лет тяжело дышащий человек с растрепанными волосами, безмолвный мотор. Ветер задувает с суши, время еще раннее, гребни волн вздымаются все выше.

Картину эту можно счесть тревожной, но не трагичной. Происшедшее даже можно назвать величественным, потому что в необъятности моря всегда есть величие, особенно перед грозой или штормом.

Но тут латыш перестает метаться, копошится окоченевшими пальцами возле ширинки и справляет в море малую нужду.

Я вижу это словно сегодня: матово отсвечивающее, уже остро пахнущее предштормовое море, человек брызжет по ветру подпиравшую, теснившую его струйку. Ветер треплет волосы, и ворот рубашки полощется, море давит на тяжелые весла в моих руках, груда сетей на дне лодки, в высоких резиновых сапогах хлюпает вода, безмолвный мотор, но человек удовлетворяет свою нужду — и это снижает трагичность, делает все обыденным.

Через несколько часов вдали, из горбатого, временами уже злобно вскидывавшегося моря появится другая лодка — и снова четко, будто сейчас, вижу еще издали белозубый рот на смуглом, обветренном, блестевшем от воды лице. С той лодки — ее мотор стучит ритмично — спрыгивает в нашу сама уверенность. «Пошел дальше!» — кричит молодой мужчина своим товарищам и склоняется над нашим заглохшим мотором, абсолютно убежденный, что он заведется, и товарищи его отваливают, лодка исчезает между волнами... Гаечным ключом он что-то отвертывает, сушит, прокаливает и соскребывает, руки мои на веслах онемели, бессильные и бескровные, и тут мотор заговаривает: фыркает, чихает и начинает ритмично, охотно и радостно тукать. Лодка разворачивается навстречу шторму, все прошло, обыденность отвергает предшествующее — ничего не случилось.

Мужчину, который прыгнул в нашу лодку, зовут Арни Юргенс. Рыбак, сейчас сорокапятилетний человек.

14 февраля 1945 года, в день, когда начало закаляться его мужество, Арни Юргенсу было всего четырнадцать лет. В Штеттинском уезде, по скользкому льду озера, закинув на спину полтеленка, несколько километров он шел против ветра на скотоводческую мызу, где дожидались голодные сырвесцы. Ноша была парнишке не под силу, лед скользкий, зимний ветер бил прямо в лицо.

Утром они — трое сырвесцев — получили приказ перегнать скот на соседнюю мызу. Без лишних слов решили, что одну животину оставят себе. В частом ельнике недалеко от дороги куском веревки и двумя брючными ремнями привязали телка к дереву.

Они знали, что это опасно.

Но в животах урчало.

Когда они торопливо возвращались назад, у них перехватило дух — навстречу им по лесной дороге шел телок с обрывками ремней на шее.

Они потащили его за собой на берег озера.

Заклание свершилось быстро.

И вот Арни Юргенс тащит мясо.

Временами ползет, волоча за собой полтуши, затем шагает согнувшись, защищая лицо от ветра; нужно спешить, то, что он делает, запрещено и наказуемо; нельзя остановиться — его ждут, тяжело, а мясо не бросишь, Арни пытается толкать мясо перед собой по скользкому льду, но не во что упереться, и он снова взваливает ношу на плечи, горбится под тяжестью навстречу непогоде, а шея ноет, и глаза слезятся, и нужно быть начеку, чтобы никто не увидел; молодой и голодный волк бежит с овцой, оскалив зубы, настороженный и злой.

И все же в этой картине нет трагического. Есть лишь обостренная голодом жажда жизни.

Правда, за уступку первозданному инстинкту — есть, чтобы не умереть,— можно получить пулю. Тут же, без долгих слов, так что и разогнуться не успеешь. Кому какое дело, что он ребенок и голоден?

Война есть война.

Так, постепенно я начинаю видеть и понимать, что нет надобности философствовать о смерти, голоде и трагическом, хотя некоторые философы и заверяют, что именно смерть придает жизни возвышенный смысл.

Есть ситуации, когда о жизни и о смерти следует говорить самыми простыми словами.

Сон пришел только за полночь. Около одиннадцати Сента еще кормила своего грудного ребенка и меняла ему пеленки, и Линда слышала тихий детский лепет перед сном, он и усыпил ее.

Утром не успели отхлебнуть и кофейной жижицы, как всех выгнали из холодного, затхлого, пропахшего кислятиной помещения в поле, делать им там было нечего, кроме как жаться на сыром и стылом ветру и смотреть, как двое мужчин роют лопатами ямы.

Говорили, что один из них поляк, другой француз. Они не выполнили какой-то приказ. Их должны были расстрелять. Всех остальных согнали смотреть, как люди сами рыли себе могилу. Пусть посмотрят, тогда, может, не будут дураками.

Семидесятилетняя, сгорбленная Линдина мать, которая почти ничего не видела и уже десять лет ходила согнутая, как рыболовный крючок, спросила у дочери, зачем они сюда пришли, пожаловалась, что по дороге промочила ноги и они теперь на ветру сильно мерзнут, она хочет домой — стоять тут больше не может.

Мужчины, оба коренастые, невысокие, рыли молча, ни на кого

не глядя, серая земля с легким шорохом скатывалась с краев глубоких ям, земля тут была хорошая, камней мало, и особого труда выкопать ямы не составляло. Никто не шелохнулся, только сын Сейи, паренек лет шестнадцати, пару раз высморкался. Когда ямы были вырыты, всем велели уходить, но поляк с французом и каратели остались на месте. Немцы закурили, разговаривая между собой, поляк смотрел по сторонам и вверх, француз, руки в карманах, стоял возле лопаты и кучи земли.

Ноги у матери были холодные и красные, и Линде пришлось долго растирать их, прежде чем старая кровь разогрелась, и мать снова спросила, зачем они ходили туда, на поле.

Ну и пойло же им принесли на обед. В тарелке она выловила два маленьких картофельных ломтика, а крупинки не попалось ни одной. От выданного вчера хлеба осталось сто граммов, Линда съела его, живот начал болеть, и она зачерпнула несколько ложек суповой водички, чувствуя, что и эта малость готова выплеснуться из желудка; Сента как раз меняла запачканные пеленки, ребенок болтал розовыми морщинистыми ножками, и Сента ему что-то говорила, в чем только она сама и ребенок могли разобраться. После обеда мать заснула, и Линда раза два тихонько щупала, не горят ли у матери щеки.

На ужин дали вареную свеклу.

Съев свою долю, Линда села к окну и увидела на дворе немцев, тех, что остались утром в поле. Она так и просидела до ночи, прислонившись спиной к чуть теплой печи, ничего не делая, почти ни о чем не думая.

Август, муж ее, улегся на солому около десяти, он курил и молча смотрел в потолок. Она думала о том, как много камней было у них на полях. Видела латаные штаны француза. Было уже за полночь, когда она стала засыпать.

В полусне почувствовала, как муж тихонько положил ей на ноги свою руку — у Августа на правой руке не было мизинца. Он гладил ее ногу, рука его продвигалась все выше, она открыла глаза и посмотрела на Августа. В темноте почувствовала взгляд мужа и услышала тяжелый свистящий храп людей и тихое оханье в другом конце барака.

— Чего тебе, Август? — спросила она непонимающе.

Схватки начались 6 января перед обедом. Она рожала четвертого ребенка и не боялась. До сих пор она была здоровой и теперь, благодарение богу, находилась под больничной крышей. Ребенок появился на свет без четверти шесть. Крупный красноватый мальчик, сморщенный, как все они. Она лежала с открытыми глазами, думая о том, как начнут разглядывать малышку старшие дети.

День медленно угасал, скромный и спокойный крещенский день.

Сирена воздушной тревоги завыла в восемь.

По коридору бежали с носилками, легкобольные поднимались и сами шли в убежище.

Луизе Ааслайд осталась в палате одна. Сирена выла непрерывно и тревожно, грохотали зенитки, от взрывов звенели стекла в окнах.

Она не боялась смерти, но беспокоилась о детях.

Села на кровати.

Перед глазами зарябило.

Прислонившись боком к стене, она подождала, пока глаза начали ясно различать дверь.

Спустила ноги на пол.

От слабости кружилась голова, Луизе чувствовала себя как на сумеречном море — все раскачивалось и раскачивалось.

Ясно различала белую дверь палаты.

Вот она уже и ухватилась за никелированный набалдашник и дотянулась до другой кровати. К следующей кровати можно ненадолго прислониться.

Сирена резала слух, видно, от этой сирены и кружилась голова.

Зазвенели стекла, будто в окно бросили камнем.

Вот и пальто ее висит ближе всех.

Она протянула руку за пальто, ее зашатало, но, слава богу, в палате столько кроватей, за какую-нибудь все равно ухватишься.

Теперь можно сунуть в рукав правую руку.

Ну вот, в руках-то сила есть, а ноги не держат.

Теперь еще левую руку.

Детей, конечно, сразу же отнесли вниз.

Доберется и она.

Так, попробуем встать.

Попробуем разок еще, с первого раза и не должно получиться. Хоть бы эта сирена замолчала, вон как гудит голова и перед глазами черно.

Она шагнула к двери, не осмеливаясь отнять руку от спинки кровати, как хорошо, что дверь рядом, только бы выйти за дверь, ничего другого и не надо, может, потом кто-нибудь подсобит.

Только нажать на ручку.

Три шага, не больше. Ну вот, ручка уже и поворачивается, только опять кружится голова, боже мой, сердце тоже колотится.

Вот теперь и человек является в белом халате, смотрит на нее и открывает вовсю рот, только ни слова сказать не может.

Что-то он все же кричит, наверно, в коридор.

Два солдата появляются с носилками. Слава тебе, боже...

Из дневника Лийне Хююдма:

«5 января.

...настроение сегодня упало. Пока сидишь дома вместе со своими, все же лучше, но стоит выйти на улицу и посмотреть вокруг, как настроение сразу падает. Все эти чудесные окрестности и все эти люди не могут привлечь человека, душа которого пребывает в родных краях.

Чужое глазу — и сердцу тоже. Не могу, не могу принять и чувствовать себя свободной.

11 января.

Работа началась примерно в половине седьмого. И нетрудно было, только день скучный, нельзя поговорить, потому что работаю рядом с чехом, военнопленным. Ни он, ни я не знаем немецкого языка, только свой, поэтому вынуждены молчать.

25 января.

Работала больше чем полдня одна у машины, взгляд застывший, ни одного слова, за многие часы ни одной улыбки. И именно в эти минуты мысли уносятся к дорогой родине. Сжимаю зубы, еле удерживаю слезы, но, несмотря на это, глаза то и дело влажнеют. Я отворачиваю лицо, вытираю грязными руками слезы и стараюсь думать о другом, хотя и не получается».

Вблизи Дрездена, в Кёнигсбрюке, в каменном бараке жили пятьдесят сырвесцев. Недельная норма хлеба составляла шестьсот граммов. Тут хозяйничала Дора, жена фанатичного гитлеровца. Говорила, что с ее мужем, который сражался за великую Германию, случилось какое-то несчастье и нужно устроить небольшую складчину, чтобы помочь ему.

Складчину устроили.

Через две недели выяснилось, что никакого несчастья не случалось. Немцы привязали Дору к жаркой печи и били ее брючными ремнями, кнутами и палками. Видно, и перед ними она провинилась...

Июль был на исходе, когда я в 1970 году приехал в Познань. Помню, в кино показывали сентиментальную ленту «Золотой октябрь» с Джиной Лоллобриджидой в заглавной роли. На одной из тенистых улиц в самом центре города я долго разглядывал рекламу. Смотрел на Джину и прикидывал, сколько ей может быть уже лет, и думал о быстро меняющейся моде.

Город был пустынным.

Едва ли он был таким пустынным в войну.

Однажды субботним утром я поспешил спозаранку из гостиницы в центр города. Сделал на трамвае длинный крюк — не мог поверить, что огромный ярмарочный город может быть таким пустынным.

У первого встречного пожилого человека я спросил по-немецки, почему этот большой город такой тихий. Он ответил мне, обильно употребляя в разговоре идиш, что по случаю воскресенья все выехали на природу и, гляньте, показал он на башенные часы, сейчас время богослужения.

Я направился в костел и просидел там всю долгую службу.

Вера отделена от жизни, обычно думаю я, вера сама по себе ничего не значит для тех, кто не придает ей значения.

Я рассматривал белую церковную стену рядом со своей скамейкой. На ней было написано, сколько духовных лиц убили фашисты в Познани и ее окрестностях. Тут же, на церковной стене, висела фотография, на которой священник стоял перед дулами винтовок. Он был поляк, и его убили в тот самый миг, когда фотограф щелкнул аппаратом.

Тот человек, который стоял на снимке среди живых, по существу, был уже мертв, он стоял еще на ногах лишь затем, чтобы те трое, которые убивали, могли увековечить себя.

Я не думал даже о несправедливости.

Я не хотел, чтобы меня считали чужим, я слушал на чужом языке молитву, которую читал пожилой, лысеющий, но с цветущим лицом мужчина, которого также поставили бы перед дулами винтовок, окажись он тут в годы оккупации.

«Человек не связан с землей, если в ней не лежит ушедший от него» — всплыла в сознании вычитанная где-то фраза.

В Польше покоится много сырвесцев. Стариков и детей. Они умерли тут с голоду.

Я бы не приехал сюда, если бы они не покоились в здешней земле. Когда-нибудь я, конечно, приехал бы, но уже иначе.

Я связан с Польшей, потому что тут покоятся ушедшие от меня.

Язык, на котором велась служба, славянский. Стараюсь уловить значение отдельных слов, но предшествующее уже не сочетается с последующим. Я связан с этой землей. На этой земле угрожали сырвесцам, когда им удавалось выбраться за колючую проволоку, чтобы попросить на каком-нибудь хуторе картошки или хлеба; в этой земле искали, из этой земли выковыривали картофелины и мерзлую свеклу.

Я связан с этой землей.

Но, может, я и теперь, по прошествии лет, услышу те же слова, то же божье благословение, которое слышал едва волочивший ноги в деревянных башмаках арестант с ввалившимися глазами, когда польская мать, не понимая ни одного слова, резала пополам последний в доме хлеб?

И вот снова Познань, Posen, как и сейчас еще говорят сырвесцы. Почти всех их, кто не распростился с душой в море или в Гданьске, везли через Познань.

Католический священник с фотографии был тогда уже расстрелян. Его расстреляли в 1942 году. Он просто был одним из шести миллионов людей низшей расы, человеком, которого необходимо было умертвить в Польше, у него была порочная кровь, он был такой ничтожный, что убийство можно было запечатлеть на фотографии — убийство во имя порядка, такое обычное, что об угрызении совести не могло быть и речи.

Еще накануне я присмотрел, что в летней гостинице «Альматури» есть интересный полутемный dancing и привлекательный бар возле него. Вернувшись из церкви, я пообедал и пошел наверх в свой номер. Хотел после обеда немного полежать и подумать, чуточку даже поспать, а вечером посидеть в баре.

Я хотел свести воедино свои мысли. Какие-то новые суждения родились в то утро, я знал, что внешние впечатления просочились глубже, и вновь подумал, что эта боль не напрасна, ибо если не сразу, если не через год, не через десять лет, то через двадцать непременно эта боль пройдет через чью-нибудь душу и обнаружит в людях удивительные ценности.

Я долго взвешивал: память войны, злая судьба сырвесцев — должен ли я и теперь, спустя три десятилетия, думать только о страданиях и смерти?

Я спросил себя: нужно ли это мертвым?

Нет, не нужно. Мертвые ни в чем не нуждаются.

Это во мне живут их страх, их муки, это я полон сочувствия, скорби и гордости за них.

Так мы связаны с теми, кто ушел от нас.

Может, отсюда начинается чувство нации, родства со своим народом — неистребимое чувство.

Логические размышления всегда ослабляют остроту страдания. Стало как будто легче. Но тут же до меня дошло: именно с сегодняшнего дня та далекая война будет всегда неразрывна с моей жизнью.

Вечером я пошел в бар. В дансинге играл оркестр, и в четырех углах чуть приподнятой над полом эстрады вокруг музыкантов кружились разноцветные огни. Позднее, когда было уже много народу, добавился здоровый запах пота. Погасли лампочки, светились только вращающиеся огни, музыка выбивала ритм за ритмом, зовя за собой.

Стало легко и просто.

Я сидел в баре, стойку плотно обступали молодые люди, которые на разных языках заказывали водку выборову, рислинг, польское пиво, коньяк в маленьких рюмочках, а музыка все играла, пока не расслабились мускулы и не притупился самоконтроль и ты почувствовал себя легким, невесомым и естественным, не принадлежащим ни вчерашнему, ни завтрашнему дню. Девушки сидели вдоль стен на скамейках, некоторые стояли — белые юбочки выше колен, ноги загорелые, коричневые колени высоко обнажены, на ногах открытые босоножки.

Народу было много, танец ритмичный, я повел свою партнершу к бару, держась за руки, мы протиснулись сквозь толпу к стойке, и я заказал две стопки русской водки и какую-то воду, мы пили, и не могли отдышаться, и, улыбаясь, смотрели друг на друга.

Я предложил ей на выбор свои наполовину выученные иностранные языки, она выбрала английский, и я рассказал ей, что я из Тал-

лина, что бывал в Польше и раньше, во время войны, что это было страшно, много людей умерло и они похоронены тут, в Польше, и вот теперь я снова здесь, чтобы написать об этом книгу.

Мы допили водку, потому что начался новый танец, новый ритм захватил всех, закружил в вихре огней, все мы — юноши и девушки из многих стран — были притиснуты друг к другу, грохотавший оркестр кружил гигантский улей. Полька рассказала мне, что она студентка, биолог, ей еще год учиться, летом она работает в городе, так как осенью нужны деньги, живет она неподалеку от Познани, в нескольких десятках километров отсюда.

Я спросил, выпьет ли она еще. Она сказала, что здесь, в баре, это дорого, и тогда мы, взявшись за руки, снова пошли к стойке и снова танцевали под эту чертовски хорошую музыку, народу стало еще больше, нас все стискивали, так что девушка оказалась совершенно прижатой ко мне, горячая и напрягшаяся, огни притушили, я чувствовал на лице у себя ее волосы и ощущал одновременно ее порывистое дыхание, инстинктивно нашел ее губы, она ответила — жадно, будто только этого и ждала, пахнувшие вином губы были большими и жаркими, жаждущими после долгого лета.

«Они сказали мне, что там, в ящике, возле которого безучастно стояли двое польских военнопленных, таких же бездомных и обтрепанных, как и мы, что в белом четырехугольном закрытом ящике лежит моя дочь. Вокруг застывшие кресты, и плиты, и неубранная от весеннего тлена земля — Позерицкое кладбище на Рюгене; священник подошел ко мне и моему мужу, лицо серьезное, может, даже печальное, глаза, по крайней мере, набожные, он что-то говорил нам, что могло быть только сочувствием — что еще можно сказать на кладбище, мы стояли молча, когда он говорил, потому что мы ничего не понимали.

Он взял молитвенник и стал читать.

Потом он опять подошел к нам и показал, чтобы мы уходили, и когда мы все же продолжали стоять, уставившись на ящик и лопаты, он опять заговорил на своем языке и все показывал, что этот ящик больше не откроют, а закопают в землю — для того здесь и стоят эти два поляка.

Мы пошли к воротам кладбища, но я все оглядывалась. Там, в ящике, находилась моя Леа, а я не видела ее мертвой, и я никак не могла поверить, что это правда.

Я смотрела сквозь ржавые прутья ограды, как священник спокойным шагом пошел в другой конец маленького кладбища.

Я вернулась назад.

Поляки копали яму, они не сказали ни слова, и я открыла крышку гроба.

Это был мой ребенок.

Мне сразу стало легче.

Теперь я знала, что все это правда».

Женщина бороздила картошку, когда я пришел. Спросил, не она ли хозяйка Мелита Мяги, и получил ответ, что так оно и есть. Извинился, что помешал работе, но это была последняя борозда, так что она могла пустить лошадь пастись и часок посидеть поговорить со мной.

— Хотя что я там помню,— сказала она,— прошло больше двадцати пяти лет, муж с трактором в деревне Мэсса, вот он все хорошо помнит, все имена и места, и вернее будет, если вы спросите там Косту.

Мы шли с ней почти рядом, она, полная, маленькая, на полшага впереди, я с портфелем следом. Я оглянулся назад, на поле, потому что небо в тот день было таким же высоким и радостно-ветреным, каким я себе представлял его в тот весенний пахотный день 1948 года, когда рядом, в деревне Мяэбе, провалилась лошадь, и ей пришлось, барахтаясь в оглоблях, напрячься, чтобы выбраться из ямы, и пахарь, отметив это место, начал раскапывать землю и нашел человеческие останки. Послал со школьником весточку в деревню Каави, вспомнив почему-то младшего Теху — Хермана, который пропал в 1944 году и которого считали все еще блуждавшим где-то в послевоенной Европе. Когда пришла мать Хермана Теху, то уже больше не нужно было ни гадать, ни ждать — брючный ремень и ботинки принадлежали ее сыну.

С того самого мгновения, когда я узнал об этой истории, мне хотелось увидеть лицо юноши. У матери фотографии не было — в войну все потерялось,— и я написал в Хаапсалу Альме Пяяр, которая знала его по конфирмации.

«Весной 1944 года мы три недели готовились вместе к конфирмации в церкви Ямая. Он был среднего роста. С темно-каштановыми вьющимися волосами, белым лицом и голубыми глазами. Вообще он был красивый и чудный парень, и веселый тоже».

9 октября 1944 года его отвели в Мяэбе и на последующие расспросы отвечали, что отправили в Германию.

Никто не знает, на каком месте один из сопровождавших указал, что следует свернуть с дороги. Его расстреляли вполне практичные вояки, ибо где проще всего рыть яму, как не на пахотном поле.

— Другой ребенок умер через месяц. Тогда ему было два года. Скарлатина и дифтерит, и есть было нечего. Мы спали на полове, которая быстро перетиралась в труху, так что першило в носу и ребенок вдыхал и глотал этот воздух. Однажды утром в дверях появился хозяин в хромовых сапогах и приказал: «На работу!» Я сказала, что ребенок больной. «Всё больной? Разве он еще не умер?» — «Нет».— «Тогда придется идти на работу». Но я не пошла. Подумала, пусть бьет, ну куда ты пойдешь от своего больного ребенка. Да и недолго он тянул, скоро умер. В мае пришли русские и освободили нас. Возвращались на телеге через Польшу. Еще в Куйвасту узнали, что дом наш сгорел. Только черная труба осталась... Муж ходил вокруг и смотрел, а я стала кормить ребенка...

— Какого ребенка? — спрашиваю я и пугаюсь, что она путает что-то.

— Майе.

— Майе?

— Майе родилась по дороге домой. Мы так часто ночевали под открытым небом, и я все боялась, что вдруг ребенок и родится без крыши над головой. На счастье, в тот вечер мы были в какой-то старой мызе. Но утром остальные поехали дальше, каждому хотелось домой, у кого есть время ждать из-за какой-то крошки, выживет ли еще? — и мы с мужем остались. Страх брал, что останемся одни на чужбине, никого своего рядом и никакой поддержки. Но потом нагнали уехавших. После войны двигались ведь так медленно, дороги были забиты войсками или разворочены.

Я думал, что вряд ли у них были с собой лопаты. Они расстреляли Хермана Теху, и он остался лежать ничком на осеннем карто-

фельном поле, пока кто-нибудь из них не вернулся, не вырыл яму и затем поволок или просто столкнул парнишку сапогами и завалил землей. Почему из сотен смертей именно эта приходит на память?— спрашиваю я себя в доме Мелиты Мяги. Разве не все смерти одинаковые?

Это было в декабре, когда я побывал у матери Хермана Теху.

День был облачный, машина застряла на узкой и нерасчищенной дороге, а дом стоял возле моря, одинокий, в стороне от других домов: серые стены, крытая тростником крыша, на стене скрипучие часы, кухонный стол, возле которого мы сидели, я все беспокоился, удастся ли вытащить машину, и тут вдруг эта смерть, мучительная и безысходная, и я совершенно забыл спросить — позднее себя не раз упрекал,— каким был тот ремень и как выглядели ботинки. Может, тогда я бы представил себе этот первый после дороги шаг по мягкому и сырому полю. Осень, по рассказам, была теплой и безоблачной, картошку копали в одних рубашках, леса пожелтели поздно, и парнишка ходил смотреть на шагавших по дороге солдат, и кто знает, где он нашел пистолет.

Женщина за столом сказала:

— Долго помнились они мне, эти двое погибших. Все вставали перед глазами. Потом друг за дружкой пошли другие. Они тоже были дороги. Восемь ртов...

— Так что заботы хватало...

— Я люблю детей, но забот хватает... Теперь-то и горя мало, старшие уже при деле, да и сами с мужем хорошо зарабатываем, но бывало, что и руки опускались. В ту самую первую, самую скудную послевоенную колхозную пору, когда все они были маленькими, случалось, что иногда и хлеба на стол положить не было. Сперва нам разрешили держать двух коров, но, видно, кто-то в деревне пожаловался и другую велели свести. Я, правда, спросила, что это за порядок такой, но мне сказали: как я смею вести такие враждебные разговоры? Только разве то моя вина была, что война начисто спалила землю и колхоз поначалу был просто сходом бедняков, где ты только ломил работу, а платы не получал. Детишки, те находились в интернате, но в одежде нуждались все, и слава богу, теперь выросли. Что же до этих военных дел, так спросите у мужа, он на тракторе в Мэсса, поди, найдете его, других там тарахтельщиков нет.

Направляюсь по глинистой дороге между елями в сторону Мэсса.

Там живет Лео Саар.

Изгнание сделало его инвалидом.

Но на самом деле меня еще больше гнетет судьба другого человека, женщины, которая пришла с материка на остров, жила в деревне Соодевахе и была женой Хиндрика Прууля.

Деревня Соодевахе осенью 1944 года сгорела дотла. Ни одного дома не осталось, ни один человек не живет там сейчас. Жену Хиндрика Прууля угнали с двумя детьми в Германию. Сам Хиндрик уже с пристани кинулся домой, чтобы взять что-нибудь еще, но в это время судно отчалило. За сотню миль до конечного пункта — Данцига — пароход бомбили самолеты. Судно загорелось. Женщина из Соодевахе, имени которой я не знаю, металась по палубе с детьми на руках, всюду она видела лишь огонь и панику, была ночь, вокруг темное море, шла война, где-то в пекле ее остался муж. Ничего хорошего не было и там, куда их гнали, она чувствовала, как накалялось пламя,— женщина из Соодевахе бросилась в огонь вместе с двумя детьми.

Она хотела, чтобы все скорее кончилось.

Она так и не узнала, как все было дальше.

Я устал от войны.

Иногда чувствую, что готов бросить все на половине, не писать больше ни строчки.

Такое случалось и на войне, однако войну не оставляют на половине или фронт открытым...

Когда я еще только собирался писать о сырвесцах, я однажды пришел домой позднее обычного.

В тот день уже с самого утра, особенно в переполненной и дергающейся электричке, меня тянуло к столу, именно сегодня я должен записать некоторые мысли о войне непременно, чтобы они не забылись, чтобы я знал, что они уже на бумаге и дают подкрепление новым размышлениям.

Повесил плащ в прихожей и вошел в комнату.

Жили мы уже четвертый год вчетвером в одной комнате.

Дети спали.

— Маленькая только что уснула,— сказала жена.

— Хорошо,— откликнулся я, но думал только о том, чтобы записать свои мысли.— Я включу верхний свет.

— Что ты сказал? — не поняла жена.

— Мне надо зажечь верхний свет.

— Сейчас?

— Сейчас. Именно сейчас.

— Ты же видишь, что нельзя,— ответила жена.

На кухне соседка мыла посуду.

Этажом выше громко играло радио.

Усталой жене некуда было деться: в нашей единственной комнатке, маленькой и сумеречной, она и ночью оберегала сон детей.

Я отодвинул войну.

Поел на кухне и постирал пеленки.

Но стирая в горячей воде марлю, я думал только о войне.

Мне было негде писать, и я отодвинул войну дальше еще на несколько лет, пока росли дети; в это время я начал понимать: если у тебя дети, то меняются, становятся глубже представления о войне.

Мой знакомый писатель и любитель выпить говорил мне в те годы: ты пишешь свой короткий военный роман столько времени, что он стал уже легендой. И поведал мне, за какое время, по его расчетам, можно накатать роман в четыреста страниц.

Несколько дней спустя — был август — мы с дочкой шли с моря. Я рассказывал ей о своих дядьях, о каждом самое важное.

— Один мой дядя остался на войне, когда был еще молодым человеком, еще моложе твоего отца,— сказал я.

— А как он остался на войне? — спросил ребенок.

— Он погиб.

— А как погибают?

— В него попала пуля.

— А разве те, кто стрелял, не видели, что перед ними дядя?

Я сказал ей: на войне как раз и хотят, чтобы в человека попала пуля.

Я писал свой роман дальше.

Мои дети росли, и все труднее было оставлять тех детей, детей военной поры, под пятой войны, морить голодом, отнимать у них родителей, позволять им теряться в чудовищном хаосе войны и хоронить их.

Я уже не писал о далекой войне: я писал о себе и оберегал своих детей.

Я уже больше не думал о логичности, фатальности, абсурдности и неизбежности на войне — я был голодным, хотел есть и боялся смерти.

Все мучительнее писал о боли. Недооценить чью-то радость — просто ошибка, уменьшить боль — не понять человека, принизить его.

Я не мог спросить у матерей, которые лишились своих детей: какой была ваша боль?

Я спросил себя: что ты почувствуешь, если из дому выгонят твоих детей и уморят их голодом?

Я никогда не думал так. Я не умел так думать, потому что так не бывает. Так не может быть.

Несколько дней я пытался приучить себя к мысли, что у меня больше нет детей, но я не мог с этим свыкнуться, потому что у меня есть дети, без детей я ничто.

Я был на войне и уже не мог оттуда выбраться, теперь я был там уже вместе с детьми; держа девочек за руки, я вырвался из хаоса, но детям все время нужно было помогать, приходилось выпрашивать для них еду, давать им отдохнуть, нести на руках, оберегать от пуль, и мы шли медленно-медленно, тащились по пылающей земле.

Его могли звать Лаас, или Тидрик, или Прийду. Особого выбора и не было, потому что эти имена носило большинство мужчин на Сырве, родившихся во второй половине прошлого века,— они были работниками моря, копали канавы или корчевали можжевельник.

Он умер в 1945 году в январе, или феврале, или марте, невзгоды предыдущей жизни скрутили его, нарушилось пищеварение, и опухли ноги.

Он знал уже тогда, что умрет тут, что день этот уже недалек, но все еще жил, и его везли из одного барака в другой, с одного каменного пола на другой — на солому или навоз,— везли поездом, на лошади или на тачке, везли потому, что не могли оставить — он еще дышал, жизнь еще теплилась. Простая народная мудрость на Сырве гласила: кто больше не хочет есть картошку, тот скоро умрет. К такой мудрости на Сырве прийти было довольно просто — кроме картошки и кильки, тут особо и есть было нечего.

В Германии картошки и в глаза не видели.

Каждое утро, просыпаясь, он удивлялся, что все еще жив.

Отец его остался в море. Ловили салаку на весельной лодке на далекой морской банке, налетел сильный западный шторм — ветер, дождь и высокая волна разом,— так что даже здоровые мужики не могли удержать лодку.

Теперь он умрет в этой далекой и чужой стране, но ему, по крайней мере, уготованы могила и крест.

В городе Столпи, где мерли дети, негде было взять досок на гроб. Тогда он еще мог сам вбить в доску гвоздь, в гробу уместились три ребенка — десятилетний мальчик, трехлетняя девочка с Сырве и совсем крошечный литовский ребенок. Так их и свезли в могилу, уморенных голодом и болезнью. Когда умрет он, еще хватит сырвесцев, чтобы не оставить его где-нибудь валяться. Это они ему обещали, а если бы и не обещали, то он все равно знал, что крест над его могилой поставят. Так и останутся они с отцом вдали от родины, забытые в чужом краю, будто богу было не по душе, чтобы они стали землей на кладбище в Ансекюле.

Его отец знал еще колдовские слова, умел отводить телесные недуги и навораживать нужный ветер. Отец не раз ходил направлять ветер, чтобы лучше надувались паруса. Для этого приходилось поворачивать кресты на кладбище.

Не каждый это мог, но отец умел.

Можно было также в лесу связать макушки деревьев, чтобы ветер повернулся, но опять надо знать, какие деревья связывать.

Он помнил из рассказа отца: отправился в Ригу с Сырве на своей лодке рухнувец, связал перед тем макушки двух деревьев. Сказал сырвесцу — развяжи, когда буду в Риге. Сырвесец сделал это слишком рано. На полпути ветер повернул рухнувцу прямо в лицо, и он вернулся назад. Рухнувец снова связал макушки и наказал сырвесцу быть более понятливым. Назад он не вернулся, знать, доплыл до Риги.

Умер он после обеда. Глоток горячего чая согрел его, и он спокойно и глубоко уснул, и дыхание угасло разом, незаметно, как исчезает последнее дуновение ветерка над замерзшей водой.

Доски были неоструганные, но гроб из них получился.

Покойника не хотели оставлять на ночь в помещении рядом с живыми и в тот же вечер свезли на деревенское кладбище. В изголовье оставили место для креста, поставить же крест собирались на следующее утро, так как человек, владевший столярным ремеслом, хотел обстругать крест и даже имя написать, а сделать это лучше, когда рассветет.

Вечером, в девять часов, когда меньшие ребятишки уже спали, барак подняли на ноги и приказали собирать вещи. Сырвесцев отправили на станцию, чтобы увезти их от надвигающейся войны на запад.

Так остался и он без креста.

Зимой 1971 года я искал на деревенском кладбище вблизи Лейпцига могилы сырвесцев. В мягкие солнечные дни я ходил среди крестов и мрамора.

Читал надписи:

„Fleiß und Liebe war sein Leben", „Der Glaube tröstet, wo die Liebe weint", „Nach Mühe und Arbeit zum ewigen Frieden", „Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod" [16].

Отыскал несколько безымянных крестов и пару холмиков, которые могли быть некогда могилами.

Я знал, что они похоронены здесь, но не осталось никаких следов...

Меня не тронуло и не потрясло отсутствие даже малейшего знака. Мне вспомнился Цвейг.

Из маленького и уютного австрийского городка Зальцбурга Стефан Цвейг отправился в 1928 году в красную Россию. Невзирая на трудности и голод, молодое государство отмечало столетие со дня рождения Льва Толстого.

В «мистическом Востоке» Цвейга поразили широта, искренность и простота русских, его покорила ненасытная тяга бывшей голытьбы к культуре и знаниям.

Но больше всего потрясла его могила Льва Толстого.

Nulla crux, nulla corona[17], говорит он себе. Он видел саркофаг Наполеона под мраморными колоннами церкви Инвалидов,

[16] «Усердие и любовь были его жизнью», «Вера утешает там, где плачет любовь», «После горя и труда приходит вечный покой», «Всего лишь шаг отделяет меня от смерти».

[17] Ни креста, ни венка *(лат.)*.

по-герцогски отделанное место последнего отдохновения Гёте, священные захоронения в Вестминстерском аббатстве, и все же он пишет, что ни одно из них не вызывает такого потрясения, как эта «затерявшаяся в лесу поразительно тихая, трогательно безымянная могила; только ветер шумит над ней — ни слов, ни славы».

Безвестность никогда не стала бы уделом Толстого, даже если бы его могила и вовсе исчезла.

Его боль за истину, мечта о справедливости и муки о том, чтобы с честью прожить свою жизнь, вечно будут известны миру.

Надежды и страдания простого хлебопашца и рыбака, их доброта и доставшаяся им в удел несправедливость известны только близким, и постепенно след их исчезает.

Именно поэтому должны бы все они, самый беспомощный ребенок и самый дряхлый старец, эти сотни сырвесцев, умерших на чужбине, лежать под крестами с надписями и фамилиями на родном языке, и это было бы вечным укором, необходимым, пока еще идут войны и существует опасность повторения всего.

«Tot ist nur wer vergessen ist»[18] — читаю я на одном кресте.

Долго сижу на скамейке рядом с этим крестом, может, целый час, на меня, чужого человека, начинает поглядывать немолодая немка, она следит за мной, когда я время от времени что-нибудь записываю и потом просто сижу, не смотрю даже по сторонам, захваченный своими мыслями, она хлопочет возле с в о е г о креста, пепельно-серого, искрящегося каменного креста, который будет стоять здесь вечно.

В этот миг я не нахожу своим мыслям ясного выражения.

Я сижу на чужой земле, в которой покоятся ушедшие от меня люди.

Юхан Саар:

«Наступил конец месяца когда выдали новые карточки немцам дали одни карточки а нам другие где вместо свинины и говядины была помечена конина муки не было и всего другого меньше мы были недовольны этими карточками отправились с нурменийдуским Пээтером к бургомистру потребовали другие карточки бургомистр обозлился хотел нас вышвырнуть Пээтера вытолкнули за дверь меня хотели тоже выкинуть я пробрался дальше сел на скамейку и сказал что не уйду пока новые карточки не дадите тогда он вышел взял велосипед и сказал что поедет в полицию тогда я тоже вышел на улицу к другим тут вернулся бургомистр и сказал что мы должны идти в город Гамин в сельскохозяйственный отдел и там требовать себе карточки 4 марта весь немецкий эвакуир убрался из деревни вечером опять пошел к бургомистру спросить что надо ли нам тоже уходить он ответил что никакого распоряжения насчет нас нет но полицейский сказал что ни одно гражданское лицо не смеет оставаться тут все должны убраться из деревни что сюда придет войско но мы все же хотели сходить в Гамин узнать что там скажут 5 марта утром рано мы с Юханом Одером отправились 14 километров пути туда было чтобы получить новые хлебные карточки дошли хорошо сразу отправились в wause[19] *оттуда нас послали в другое вспомоществование там было полно народу посередине комнаты стоял большой круглый стол девки заполняли длинные листы бумаги получали и уходили дошел к столу и наш черед спросили чего угодно сказал что хочу обменять хлебные карточки велели пойти в сельский отдел по этому делу спросил также хлеба дали тоже клочок бумаги сказали что в одном ресторане можем по-*

[18] Мертвый лишь тот, кто забыт *(нем.)*.
[19] Искаженное от «Haus» — дом.

есть пошли сперва в сельский отдел оттуда все уже ушли взять там было нечего пошли в ресторан поесть только подобрались к столу где раздавали суп впереди мужчина еще получил на нас кончился снова — ничего взял тогда капельку молока Юхан Одер ничего не взял и все магазины и службы были закрыты весь город тащился к порту сходили и мы туда там стояли три парома которые перевозили людей на другой берег пошли снова в wause теперь приступили с другого конца стола там дали хлебные карточки взяли на 23 человека пошли тогда за хлебом за колбасой и маслом явились туда сказали что хлеб кончился и часа через два будет снова решили подождать уже время подошло уже должны были выдавать колбасу и масло но тут явился человек и запретил сказал что пока не будет хлеба другого ничего не выдавать оставалось еще четверть часа когда получили бы хлеб вдруг приходит один с вестью что русские танки прорвались к городу все вскочили выбежали из дома мы тоже кинулись бежать чтобы попасть еще к своим а русские танки уже стреляли по городу и его окраинам несколько домов уже горело и горела станция и народ бежал в панике кто куда но вот беда никого не пускают все солдаты в окопах и нам велят скорчиться в канаве пробыли там уже час но один парень немецкий и девка тоже были там с нами они поговорили с солдатами что разрешите нам уйти по берегу реки домой русские тут не увидят и солдат разрешил и мы пошли тоже с ними вместе где ползком где пригнувшись выбрались из зоны обстрела... так мы к вечеру добрались к своим были уставшие и ноги мои очень болели и сердце болело увидим ли еще своих родных или их увезли ну и радость была когда узнали что люди еще в коровнике».

Это была одна из многих смертей:

...Чувствую, как пахнет сено.

Боже, значит, еще не все кончено.

Смотри-ка, рожь высится, и пыльца пылит, будто низкий туман перемешивается с легким холодным дымом.

Я чувствую, как это пьянит голову — запахи, и краски, и вкус хлеба.

Почему это вспоминается?

Что в этом общего с голодом?

Низкий и серый клеверок, такой мягкий, что хочется погладить.

Видишь, пчелы облепили лиловый шишкарник.

Послушай, как все гудит.

Водосбор со своим синим кубком. Вдруг вспоминается дождь, синий дождь.

Свиной горох и мышиный горох[20], будто для каждой живности должен расти свой горох.

Но у лошади нет гороха, видно, лошадь посчитали слишком большой: у нее есть лошадиный подмаренник с таким приятным запахом.

Но почему пахнет сено?

Откуда сейчас этот сенный дух?

Я же знаю, что так пахнет душистый колосок.

Хочу пить, дайте мне пить, такое знойное лето, как мне жарко, прикройте, прикройте мне голову.

У меня уже нет лица.

Я умер.

Я словно морская трава, что при отливе, ссохнув, становится белесой, тонкой, как папиросная бумага, так что уже и не напоминает растение.

[20] Речь идет о чине и вике.

Был бы я хоть железной травой[21] — ей нипочем раскаленная земля и сушь.

Но я не мог тут быть даже бледной, низкой и невзрачной очанкой, которая всегда словно бы стыдится пышности других растений и цветет крохотными, притаившимися под листьями, неприметными цветочками с совершенно невидимыми для глаза желтыми сердечками.

Я будто морская трава, тонюсенькая, как папиросная бумага, совсем не похожая на живой росток.

Неужели вы так и не дадите мне пить?

У воловика лиловый цветок, дети вытаскивают и сосут его сладкие стебли.

Не тяните меня, оставьте, ради бога, во мне уже ничего нет, поверьте — одна морская трава.

Нас роняли на свалку и обочины дорог.

Кипрей!

Да, лиловые цветки кипрея, они словно ищут мусор.

Значит, я кипрей?

Никогда я не был кипреем.

Марьянник. Иван-да-марья. Фиолетовые и рдеющие в июне.

Режет глаза — такое лиловое это низкое поле. Не обвивайтесь вокруг меня, не скручивайтесь!

Будто желчь во рту.

Такая горькая.

Ой, я совсем помешался. Такой короткий и нежный он, глянь, какой маленький цветок, видишь, там, на лугу, возле берега, неужели не видишь, какой низкий, низенький золототысячник?

Видишь, там же и луговой ленок, цветы у него белые.

И материнский корень[22].

Не правда ли, красивое название?

Его нам всегда мало, материнского корня.

Как мало и дома, и родного края, и родины...

Только один, одно, одна.

Дайте пить!

Я горю.

Горячие склоны взгорков. Песчаная дорога пустоши.

Пить, пить!

Как пахнет сеном, так терпко, и сухо, и остро, мне так душно, я весь в сене.

Воздуху, воздуху!

Почему возле меня сейчас нет никого?

Куда вы уходите?

Не ходите в клевер, его сейчас будут косить!

Вернитесь!

Вы не видите, как уже замахнулась коса.

Наточенная, кроваво-острая коса!

Видишь, как срезается мягкая трава, и не больно, зеленая, зеленая трава.

13 апреля 1971 года я шел из деревни Мэсса с дневником Лийне Хюудма в портфеле.

Чуть стершиеся на первой странице слова «schwer», «gestorben», «schlecht» связывались в моем сознании с мучительным представлением о матери, зовущей на стылой, темной дороге свою дочь.

Я стоял на дороге, ждал машину, чтобы ехать в Сымера, и подумать не мог, что через два часа узнаю о смерти Юхана Смуула.

[21] Тысячелистник.

[22] Горечавка.

В Сымера в туберкулезном санатории ждала меня мать.

Болезнь матери — это, наверное, результат военных мытарств.

Голод и мучения, нервное напряжение...

Самого маленького она еще кормила грудью.

Голое поле. Три дня беспрерывно проливной дождь. Нас, детей, укрывает хотя бы ватное одеяло. Через каждые два часа отец с матерью выжимают его досуха. Сами они спят под дождем.

Не здесь ли начался туберкулез?

Целую неделю под открытым небом на пограничном пункте в Бресте — всех надо было проверить, поставить печати на документах или выдать новые.

Сидели вдвоем в маленькой палате, мать и сын. Месяц тому назад я вернулся из Берлина. Рассказываю, как там сейчас.

— На вокзале в Берлине нам давали гороховый суп,— вспомнила мама.— Всюду были развалины. Тогда я подумала: вот она, эта гордая и богатая Германия.

Мама спросила о моих детях. Сказала, что ей хорошо и покойно, температуры больше нет. Но не хочет больше оставаться в санатории.

Наши военные мучения были толчком к зарождению или обострению болезни в изнуренном организме, но прошло все же двадцать семь лет, могла быть и другая причина: долгие сырые весны и осени на острове, да и годы.

Я чувствовал: война настолько завладела мною, что я считаю началом и первопричиной всего только войну.

В декабре 1956 года ни одно лекарство не могло сбить у меня температуру и ни один стетоскоп не находил ничего подозрительного у меня в легких или сердце. Страшнее температуры мучили неведенье и беспокойство: время шло, а мне требовалось бегать, тренироваться, потому что я гонялся за рекордами.

За неделю до Нового года меня отправили на рентген, обнаружили затемнение в легком и сделали пневмоторакс.

Четыре года лечения.

Я уже не мечтал о рекордах: был больным человеком, который должен себя беречь, нельзя танцевать в пыльных помещениях, нельзя ухаживать за девушками, нельзя долго быть на ногах.

Стояло утомительно сухое лето, улитки забрались поглубже в свои ракушки, отрешились от остального мира, остались наедине с собой.

Бесконечное раздумье: почему? где начало? может, там?

Начало июня 1945 года.

В этот вечер мы вернулись назад.

Я помню дамбу на проливе, клонившееся солнце и разговор о рыбе.

Это еще не родной дом. Мы направляемся во временное жилье: мы ростки, которые могут вновь распустить листья, но не смеют пускать корни.

Дети в тот вечер попадают к дядюшкам и бабушке.

— Скоро поедите рыбы,— говорит мама.

Расхлябанная телега.

Пятую неделю в дороге.

Сестра Сальме уже четвертую неделю ходит в носках. Ни одна обувь не налезает — ноги до самых колен будто ступицы. Началось это после желтухи.

Спустя несколько месяцев вызовут врача.

Сестра лежит в амбаре, потому что там прохладнее.

Мы ждем на крыльце дома. Доктор, выходя из амбара, закрывает за собой дверь.

Он отзывает отца в сторону, и они медленно шагают, разговаривая.

Мне не хватит слов, чтобы передать мучения отца, в ушах которого звучало: «Надежды нет...»

Из дневника Лийне Хююдма:

«11 марта, воскресенье.

Урезают все, не знаю, будут ли после такой еды носить ноги. Сегодня еще была возможность сварить мучную кашу — удалось снова поесть. А что делать военнопленным, которые не могут выйти за колючую проволоку? Сегодня какой-то парнишка копался на свалке, выискивал картофельную кожуру и тут же съедал ее. Мы с мамой отослали ему свою вечернюю порцию хлеба.

13 марта.

Говорят, что теперь будем получать наполовину меньше хлеба. Всего $2^1/_2$ кг в неделю.

14 марта.

...даже утром не удалось поспать дольше, потому что вторая смена встает в обычное время. Поднялись и мы. Взяли немного хлеба. Голод не стал меньше, но остатки хлеба убрали со стола, что поделаешь, вечером тоже надо что-то поесть».

«— Что вы пихаетесь так, видите, никому нет места. Это не узел, это мой ребенок, я же не брошу его.

— Вы бы отдали своего ребенка на руки тем, кто сидит в вагоне!

— Может, и отдала бы, но он такой маленький, кто захочет взять чужого ребенка, мне никто не предложил сесть, а вагон набит так, что и дохнуть нечем. Простоим, крошка, эту ночь на ногах.

К утру мы должны быть в городе Креуц, только что ты смыслишь в этом, ты же такая маленькая.

Ты и не знаешь, что мама твоя — как рыба, кинутая на берег: и жарко, и воздуху нет совсем, только хватаешь ртом темноту, да оно и лучше, что не знаешь, в одеяльце тебе хорошо, этой духоты и тесноты ты не чувствуешь.

Вон через головы смотрит в мою сторону обросший щетиной мужик такими глазами, будто он понимает и хочет помочь, не иначе есть свои дети, но здесь нам, крошка, никто не поможет, дите, конечно, не проспит ночь так, чтобы не обмочиться и глаза у этого человека будто спрашивают: что будешь делать, когда ребенок жалобно заплачет и захочет, чтобы его завернули в сухое?

Они же не знают, что ты не заплачешь.

Когда нас привезли в Данциг и мы приютились на складе военных припасов, на сквозняке, в одном конце дети, в другом торпеды, тогда ты проплакала всю ночь и не дала мне спать, да я бы и не заснула — так было холодно и так болело сердце. Видать, тогда ты эту боль в себя и впитала вместе с материнским молоком, и не была ты мокрой, а все хныкала.

В Позени пришлось целый день пробыть в бане, там-то тебя и прохватило, сразу в жар бросило, и такие красные и горячие были у тебя щечки, и ты все махала маленькими ручонками. Ты же видела, какой Берлин был разбомбленный. Большой город, но совсем некогда было оглядеться, только возле вокзала немного и походили, да еще да-

ли порцию супа из ржаных отрубей с простоквашей. Ты и не знаешь, что такое суп, но подумай, и я уже не помню, когда ела настоящий суп.

В Ольденбурге, возле голландской границы, куда нас вначале привезли, еще по ту сторону Люненбургских пустошей, там давали суп из силоса, и каждый божий день в нем были черви. Еще были у всех номера на спинах, какое дело немцу до сырвесцев, все это маленькие и пронумерованные люди, которых сгоняют за колючую проволоку.

Словно ты уже не человек, а дикарь, и, может, на Сырве тебя и не окрестили бы, потому что многие уже не делают этого, но мы-то ведь не язычники, вот я и велела Раавелю, торгускому пастору, окрестить тебя.

Негде было в том Ольденбурге взять даже картошки, и мы ходили побираться.

Ох, как же это стыдно — идти за подаянием, ни за что бы не пошла, лучше смерть, но хочется жить, не знаю, отчего это человеку так жизнь люба, кругом столько горя и смерти, да и кончится ли все когда, но все равно хочется назад, на Сырве, хоть там и не осталось ничего, все голо, но там мое горе не было бы таким страшным, каждый уголок знакомый и каждое дерево, под которым можно укрыться, все свое, родное, и жила бы на первых порах хоть в землянке, все лучше, чем тут, помаленьку бы снова окрепли... Теперь люди опять с такой силой прут, говорят, человек упал в обморок, ты, крошка, не видишь ничего, вон они поднимают на руках этого обмякшего человека головой к окну, ближе к свежему воздуху, женщина какая-то, смотри, жизнь еще не оставила ее.

И смотри-ка, заросший бородой мужик опять глядит сюда, будто хочет сказать мне: постарайся все-таки устоять, у тебя дите на руках, и если с тобой что-нибудь станется, могут ребенка затоптать.

Не знаю, кто этот чужой человек, только не эстонец, но будто давний знакомый, и когда он смотрит, то становится немножко легче.

Ты такая кроха, и голоса-то не подаешь, но все будто кто рядом, и ничего-то ты не понимаешь, но это и хорошо, человек ведь не родится, чтобы с ним, как со скотиной, обходились, нам ведь здесь дают скотскую еду и полову на подстилку, какая тут разница, осталось только цепь на шею. И чего я только не напридумала для тебя, кровинка, а теперь не надо уже ничего. Ни одного платьица не успела я сшить для тебя. И видишь, как вышло, что больше и не надо.

Доведись мне так всю ночь держать на руках что другое, отекли бы руки, но тебя я никуда не дену. Всего еще эту ночь и смогу тебя держать на руках и боюсь рассвета, когда все снова проснутся и заметят, но тогда должна быть станция, и мы пойдем, и купим в городе маленький гробик, и зароем тебя в землю».

Со станции Креуц их сразу же отвезли в деревню Грос-Лубс.

Мария Каю все еще держала ребенка на руках, а в большом барачном помещении остальные уже вовсю хлопотали, устраивали постели и искали еду.

Староста лагеря сказал, что ребенка нужно похоронить. Он принес со двора ящик из-под гвоздей.

— Не положу,— сказала Мария Каю.— Сюда не положу.

На ночь глядя вместе с Лийной Куузик они отправились назад в Креуц, чтобы найти мастерскую, где, по слухам, делали гробы.

Они бродили в чужом темном городе несколько часов, прежде чем пришли к нужному месту.

Тут работали не покладая рук, чтобы успеть за смертью.

Нет, сказали женщинам, никакого гроба. Тут делают гробы только для немцев.

Это был ясный разговор. Они не были немцами, и ребенок, что умер, тоже не был арийцем.

Но ведь гроб нужен.

Ее ребенок был не хуже других. Жизнь у всех одна.

Мария села на груду досок и сказала, что никуда отсюда не уйдет. Люди стругали, заколачивали гвозди и приклеивали украшения. Смерть — аргумент окончательный. Рядом со смертью не имеет никакого значения запрет, убеждение или угроза.

Наконец все же сколотили эти шесть коротких обструганных дощечек. Много ли нужно младенцу...

Заведение это называлось «Плентервальд». Располагалось оно не рядом с центром, но аллея, которая проходила мимо, была по-берлински прямой и широкой.

Я много раз был в Берлине и каждый раз думал, что город с длинными, удобными для движения улицами не рождает ощущения уюта, зато какой простор, какая устремленность!

Как здорово было солдатам маршировать по Берлину!

Вечером в «Плентервальде» играл оркестр и на просторной четырехугольной площадке танцевали. В «Плентервальде» танцевали молодые немецкие солдаты, предварительно сдав в гардероб свои широкие ремни и черные портфели.

Солдаты пили пиво, ничего другого — немец не алкоголик какой-нибудь! — и танцевали с Mädchen[23]. Мне особенно понравилась одна стройная, с приметно интеллигентным лицом девушка лет двадцати, пленительная, голенастая, она энергично, с жаром и с чувством твистовала, и все только с солдатами, хотя тут были и штатские юноши, которые приглашали ее.

Солдат и девушка. Неисчерпаемая тема.

Долгое, нетерпеливое ожидание, которое кончается возвращением домой или вестью о смерти.

Любовь в сарае, в вагоне, горячее, трепетное тело перед жестоким сражением; безрукий или безногий калека в воротах дома, откуда отправился в путь молодой и здоровый мужчина.

В 1964 году в деревне вблизи Кехры мне показали планшет сбитого в 1944 году немецкого летчика. Планшет только что нашли на краю болота под обломками самолета. Болотная земля законсервировала историю: в планшете были полетное задание, офицерское удостоверение, карточка публичного дома и письма невесты.

В одно из писем был вложен высохший летний цветок.

«У нас прекрасная погода,— писала девушка,— все цветет и зеленеет. Тепло. В этом году будет хороший урожай».

Когда молодого офицера сбили, он знал, что дома зреет урожай, стоит тепло и все в зелени...

Я ел и разглядывал танцующих. Запивал хорошим пивом. Откусил хлеб и удивился, насколько совершенна человеческая память — сохраняются даже вкусовые ощущения.

Во время боев за освобождение Сырве осенью 1944 года неподалеку от острова Абрука село на мель немецкое транспортное судно; несколько дней волны выносили на берег бочонки с маслом и ящики с хлебом.

---

[23] Девушками.

Когда наша семья спустя два года поселилась на острове Аброка, в некоторых домах еще оставался этот хлеб.

Приготовленный для войска, завернутый в свинцовую или серебряную фольгу, хлеб этот мог храниться годами.

У него был особый, запоминающийся вкус.

И теперь здесь, в берлинском «Плентервальде», спустя двадцать семь лет я вздрогнул от воспоминания.

Можно долго сохранять хлеб. И он будет просто хлебом, но военный хлеб имеет особый вкус, который входит в кровь и остается там навечно, вспоминаясь вместе с отзвуком далекого грома, стоном беспамятного больного и доносящимся со двора треском игрушечного автомата.

Военного хлеба дожидались видевшие смерть глаза и пропахшие порохом пальцы. Зерно зрело для поддержания смерти, страшась смерти и упорствуя перед ней. В «Плентервальде» был мирный хлеб, и все же он напомнил мне тот, далекий.

Где-то пушкой рокотал барабан, военные фанфары звучали в высоких нотах аккордеона, в литургическом грохоте ударных инструментов рушились стены.

Солдаты танцевали. Красивая девочка с косичками лихо твистовала.

И вдруг я увидел тех, других, они не были солдатами, не носили хромовых сапог и не снимали с пояса узких ремешков.

Длинноволосые и неопрятные, они вяло танцевали под ритмичную музыку, равнодушно и небрежно держа своих партнерш, всем своим видом подчеркивая пренебрежение и безразличие к любым ценностям; они просто пошатывались, показывая презрение к музыке и превосходство над тем, что им предлагали...

Я снова оглядел стройную выправку танцевавших солдат, их водянисто-серые мундиры, аккуратно подстриженные волосы. Я видел здоровых молодых парней, которым надо было общаться с молодыми, жизнерадостными девушками.

Я сидел среди людей, для которых вытекающие из войны проблемы морали и совести были повседневной жизнью. Я понял тяжесть ситуации, когда вкус военного хлеба ощущает весь народ.

12 апреля 1945 года входившая в состав союзнических войск 3-я американская армия вступила в лагерь Ордурф.

То, что американцы увидели там, не могло сравниться с самыми жуткими картинами на всем военном пути от Кале до границ рейха. Американцы сохраняли иллюзию, думали, что воюют с европейцами, которые, правда, позволяли себе зверства, но лишь по отношению к евреям и не имеющим прав на военные нормы партизанам.

Командующий 3-й армией генерал Джордж С. Паттон, по всей вероятности самый смелый и самый своенравный старший офицер в сражавшихся в Европе американских войсках, человек, который ни во что не ставил обстрелы, смерть и даже стоградусные горячительные напитки, отправился лично посмотреть на смертные камеры лагеря Ордурф, о которых ему доложили штабные офицеры.

Возле последнего выхода генерал с мокрым от слез лицом склонился над землей, и его вырвало. На следующий день он распорядился послать жителей самой ближайшей к лагерю деревни, утверждавших, что они ничего не знали о происходящем там, поглядеть на все своими глазами. Кто отказывался, того приводили в Ордурф силой. Наутро местный сельский старшина и его жена повесились.

Вошь не спрашивает, русский ты, немец или эстонец. Вошь не делает никакого различия между группами крови. Скученность, необмытость и неухоженность людей придают силу вшиному миру.

Особенно хорошо чувствовали себя вши на немцах, которые защищали линию Лыпе — Каймри.

Тут было столько солдат, и красные поддавали им дни и ночи такого жару, что у них постоянно глаза оставались немытые, рубашки потные и портянки вонючие.

Солдатам выдавали от вшей липкую жидкость, которой надо было смазывать голову. Вошь следовало уничтожать.

Однако тут немецкий солдат нарушал предписания.

Он не вмазывал жидкость в голову.

По крайней мере, эти четверо обросших, с воспаленными глазами и в грязной одежде солдат, которые на пару дней были отведены с передовой в деревню Лыупыллу, чтобы прийти в человеческий образ.

Их уши оглушены грохотом тяжелых орудий, им кажется, что «катюши» все еще завывают, прочеркивая, как нечистый дух, небо огненными хвостами.

Табурет ставят посреди комнаты, на табурет кладут пустую железную крышку.

На крышку наливают липкую противовшиную жидкость.

Затем солдаты начинают искать друг у друга в голове и каждую найденную вошь суют в жидкость.

Как же они там семенят ножками и дергаются!

Тварь, а подыхать никак не хочет.

Ну и потеха!

И каждая новая вошь повторяет прежнюю забаву, так что возникает долгая радость, громкий смех стоит под сааремааской тростниковой крышей, все не смолкающий, ибо немца возвышает не простое сознание, что смерть настигает врагов рейха; занятие это столь святое и значительное, что необходимо своими глазами увидеть, как происходит смерть.

Я не хочу писать от имени этой женщины еще одну страницу в подтверждение истины, что война страшна.

Но я обманул бы себя в своем стремлении быть во всем документальным, если бы не рассказал о ней.

Потому что именно она заправляла лагерной голодной кухней, сытая и сознающая свою значимость, родом с Сырве, как и все другие, и в ответ на ропот, что пища, наверное, идет на сторону, да и готовиться могла бы лучше, она сказала:

— Я положу вам на стол дерьмо — и вы его тоже съедите.

Это был почти что единственный случай среди своих, среди державшихся друг дружки в беде и нужде сырвесцев, которые в согласии общими усилиями противостояли судьбе.

А противостояние это было нелегким, и «меню» изо дня в день оставалось неизменным.

Завтрак: 125 граммов хлеба, кофе.

Обед: пол-литра холодного репового супа.

Ужин: разбавленное водой и засыпанное отрубями снятое молоко.

Женщина эта жива и сейчас, однако после войны она ни разу не бывала на Сырве.

Среди голодающих, за чей счет она сытно кормилась, была ее родственница с четырьмя маленькими детишками, один из них слепой.

Эта женщина просила детишкам еды получше.

Бесполезно.

— Есть, есть,— ныли дети до позднего вечера, и мать пыталась уложить их, и когда бледные малыши засыпали, она каждую ночь плакала над ними, потому что точно такой же день стоял впереди.

Та, другая, снюхалась с фашистами.

Она чувствовала себя исключением.

Когда наши войска пришли в лагерь, им рассказали и о той женщине.

Ее под дулами винтовок вывели во двор для расстрела.

Гуманность должна быть разумной и справедливой: мужчины с Сырве сказали солдатам — оставьте ее, мы сами рассчитаемся с ней.

Я долго думал, искать мне ее или нет. Что-то протестует во мне против злорадства, которое возникло бы при такой встрече. Она уже стареющая женщина, война осталась позади...

Но справедливость протестует против такого рода гуманности, против прощения, и почему-то мне не столько слышится ее фраза, сколько гнетет мысль о младенце на полу, о маленьком слепом ребенке, что лежит на пыльной соломенной трухе и просит у матери есть. О ручках, о ротике, что ищут еды.

В то утро я поднялся очень рано. Не было еще шести, но солнце в комнате отсвечивало зеленью высоких раскидистых деревьев; я знал, что море где-то рядом.

Я лежал на мягкой узкой кровати в польском порту Гданьск. Меня разбудила забота.

Я собирался ехать в Штутхоф.

Мне нужно было непременно побывать там, ибо то, что случилось с сырвесцами, несравнимо с массовыми ужасами Штутхофа, история сырвесцев — это перевернувшаяся на мелководной речушке лодчонка рядом с гибелью сотен «Титаников» в Штутхофе; я уже договорился, с кем и когда отправиться в дорогу, я д о л ж е н был ехать, а сам лежал с открытыми глазами, разглядывая светлое чистое небо июльского утра, надеясь, что у меня температура или я так подвернул ногу, что и шагу ступить не могу. Я поднялся и остановился у окна, глянул на зеленые клены и на стариков, разговаривавших на скамейке возле киоска.

Зачем? — спросил я себя. Я же знаю все: видел в кино и читал в книгах.

Зачем?

Почему бы вместо этого не отправиться в одиночестве в кафе на Длуги Тарг, маленькое и уютное, сесть за угловой столик с мягкими красными стульями, прислониться спиной к теплым занавесям, чтобы видеть всех завсегдатаев и дружелюбно хлопочущего хозяина, немного выпить и просто подумать на свободе от домашней повседневности, просто б ы т ь, как мы зачастую мечтаем, но никогда не находим для этого времени.

Что мне нужно в жизни? — спрашивал я себя как раз в таких уличных кафе в Москве, Берлине, Варшаве, Хельсинки, Париже, а теперь здесь, в красивом Гданьске, и всегда находил, что, помимо всего прочего, нуждаюсь именно в этих одиноких часах, мгновениях — иллюзии полной свободы.

Зачем мне Штутхоф?— спрашивал я себя.

Я устал от войны, пестрая, искренняя Польша окружала меня романтической жаждой жизни; я любил эту страну той же любовью, с какой я всегда хочу еще раз увидеть Париж; тут я не мог думать о смерти. Было очень раннее и светлое утро. Я помню это, словно все было только вчера.

Я стоял у окна, скрытый большими кленами, я любил эту страну и хотел вернуться сюда, и мне было так трудно заставить себя одеться, сесть в машину и пуститься в дорогу — я делал все против воли...

Из дневника Юхана Саара:

«6 марта шло очищение деревни все гражданские лица уходили мы не знали что делать никто на нас внимания не обращал у каждого хватало своей заботы уводили коней и волов попросил у бога совета что делать и куда идти пусть объявится мне во сне и увидел я ночью во сне что нельзя идти туда где вода надо оставаться там где молоко рассказал утром это другим и решили оставаться в старом коровнике господь может нас здесь чудом сохранить если захочет.

7 марта началась сильная пальба в деревне и кругом нее русские подошли к деревне и стреляли вовсю в разные стороны страх брал не знали куда деваться лежали все уткнувшись в солому вдруг один снаряд разорвался прямо перед входом в коровник поднял внутри сор и пыль осколки пробили дверь и Элли Одер закричала ее ранило в правую щеку страх взял оставаться на месте побежали все в подвал одного дома где были толстые стены но очень холодно переспали ночь только я не мог соснуть и тесно было тоже все хотели ближе друг к дружке думали что тут нам и будет общая могила всю ночь провели в молитвах к богу и говорили в мыслях с ним чтобы он уберег нас потому как снаряды все громыхали вокруг дома и разлетались стекла.

8 марта ночь была снова очень трудной все мы притихли так что и кашлянуть не смели потому что боялись немецких солдат кто знает что они подумают о нас потому как в деревне ни одно гражданское лицо оставаться не смело а мы тут настало утро и пришел новый день но это был самый трудный день потому что немец ночью подвел новое войско и установил много пушек и пошла пальба с той и другой стороны прямо пушечная дуэль страшный был день кругом горели дома к полудню утихло вдруг слышим кто-то стучится в закрытую дверь и кричит по-русски открой кто такие тут раздаются два выстрела и русский ойкает и валится наземь в другой комнате был немецкий солдат он и стрельнул ему в спину снова немного стихло никого на виду не было все попрятались кинулись мы в свой старый коровник за хлебом и кое-чем немецкий солдат тут же с ружьем навстречу чуть было не пристрелил нас спросил кто мы такие и еще спросил где русские я сказал что не знаю таимся в подвале и ничего не ведаем явились сюда чтобы взять детишкам хлеба взяли узлы и опять пошли в свой подвал все было тихо часть русских солдат прорвалась в деревню но немцы видать окружили их и постреляли потому что вдруг пошла страшная пальба и снова стало тихо настал вечер все стихло опять улеглись в подвале на пол уже две ночи не спал был уставший и заснул только жена все равно разбудила сказала что очень громко храпел но вдруг в полночь просыпаюсь все кричат Эстония Эстония это русские солдаты ворвались в подвал горящая газета в одной руке в другой автомат спросили кто мы такие ответили Эстланд еще спросили есть ли немцы сказали что нет потом спросили документы мы показали тогда всем мужикам велели выйти из подвала подумал что теперь нас наверно постреляют потому что на улице было темно но солдаты сказали ничего не бойтесь идите пошли за солдатом идти было очень трудно все было завалено деревьями и сучьями осторожно прошли по двору мызы к одному дому все окликали кто идет вошли в дом там собралось начальство один был у телефона перед другими лежала карта поздоровались с ними по-русски они спросили кто мы такие и когда объявились в Германии и что мы тут делали проверили наши документы дали каждому по сигаре и сказали что теперь вы

свободные завтра можем отправляться домой все радовались солдат отвел нас назад в подвал к другим и тут они стали очищать деревню от немцев вся деревня охватилась белым огненным морем загорелся и наш старый коровник где лежало наше добро но спасти его было нельзя ох и жалко было смотреть как гибнет добро какое мы везли с собой из дома но выйти нельзя стояла сплошная пальба и русские солдаты сказали кто выйдет того убьют так вот и рассвело и пришло утро.

9 марта утром русская батарея молчит но теперь сильно бьют немецкие батареи дома кругом горят наш дом огонь еще не тронул горький и тяжелый день его приходится еще провести тут в холодном подвале может ночью нам позволят уйти отсюда только и выйти даже не смеешь иду в коридор там лежит мертвый русский солдат крупный здоровый мужик и за углом дома двое мертвых и во многих местах немцы нужно бы выйти потому что дети плачут и хотят пить но немецкие солдаты очень зоркие чуть кто покажется на улице сразу получит пулю никто не осмеливается сходить за водой. Юхан Одер пробует бежит бегом к колодцу но тут бухает и Юхан летит с пустым ведром назад ничего не выходит снаряд рванул совсем рядом и осколок залетел в штанину возле колена ничего не поделаешь придется терпеть жажду.

10 марта пришло ночь была спокойной мы все еще в подвале временами к нам заглядывают русские парни и один сказал чтобы вечером уходили отсюда тут оставаться нельзя пойдет еще такая ли стрельба с нетерпением ждем часа когда вырвемся отсюда подошел уже вечер вдруг приходит парнишка в солдатской одежде и говорит чтобы мы за полчаса убрались отсюда откуда взять нам сейчас телегу и коня нигде не возмешь колымага для свозки мертвецов еще осталась да и та наполовину обгорелая взяли сложили вещи чтобы уйти двинулись в дорогу но ох ты горе беда нет мочи везти в страхе смертном напрягали всю свою силушку и все равно невмоготу нашли тогда старую конягу впрягли и начали двигаться но лошадь была жалкая и старая еле тащила но все же выбрались из деревни за пригорок но сердце немного успокоилось выбрались на полтора километра из деревни тут пошла очень плохая дорога конь был не в силах больше везти выхода нет кроме как искать другую лошадь одни пошли назад в деревню за лошадью я и Юхан Одер остались у телеги и еще три ребенка и две больные матери Манни Нурменийду и жена Одера ждем и ждем никто не приходит уже темно стало ох ты горюшко нет мужиков из деревни знать не разрешают двигаться в темноте и тут открывается страшная пальба немец бьет с трех боков по деревне откуда мы ушли сбросили световые бомбы вся деревня и округа осветились огнем горят дома которые еще остались сквозь огонь еще виднелась церковная башня временами находил страх что вдруг и нас заметят и станут стрелять целую ночь провели с Юханом Одером на дороге дул холодный ветер и лошадь тревожилась всю ночь водил ее по дороге взад и вперед».

Элли Одер 11 марта умирает. Четыре дня тому назад полученная рана, нервное напряжение, холод по дороге, голод и жажда отнимают жизнь. Она умирает в страшных муках, так что Юхан Одер, муж ее, опасается и преждевременных родов, но жизни в материнской утробе не суждено было увидеть военное лихо — Элли Одер умирает вместе с ребенком, на седьмом месяце беременности. После нее остается пятеро детей, старшему одиннадцать лет, младшему два года. Элли Одер похоронили в Германии в деревне Вустермитц, под вишневым деревом...

Утром 18 марта перед общим наступлением на мызу Блидене, которое планировалось на более поздний час, в атаку пошла первая рота 1-го батальона.

Предстояло завладеть ближайшим дзотом, исключительно выгодное расположение которого позволяло противнику плотным и прицельным огнем удерживать подступы ко всем остальным долговременным укреплениям.

Яростный огонь задержал роту, атака захлебнулась.

А идти вперед нужно было во что бы то ни стало — перед общим наступлением дзот необходимо было захватить.

Командир второго отделения лейтенант Якоб Кундер взял командование на себя. По пути к дзоту его тяжело ранило, и он ничком свалился в снег. Товарищи по отделению считали его мертвым.

Придя в себя, лейтенант, истекая кровью, ползет к дзоту, потом поднимается во весь рост.

Не раздается ни одного выстрела: свои и враги не верят глазам, ни одного выстрела не сделано, до дзота остается всего несколько длинных шагов; и тут ожесточенный треск немецкого пулемета разрывает тишину. Кундер приостанавливается, живое человеческое тело стало изрешеченной мишенью, но лейтенант продолжает идти, словно нет в мире силы, способной остановить человека, если ему надо спасти тех, кто идет за ним; он подходит к самому дзоту, длинный, весь в крови, и падает, закрывая своим телом амбразуру.

Сражение за Клейн-Лубс началось с первыми вечерними сумерками. Gasthaus опустел: все ринулись в убежище.

Наверху оставались только наша семья, старушка из деревни Таммуна и жена пастора Раавеля.

Этот вечер я помню сам.

Проснулся, во рту горький и едкий привкус — последствие взрыва. Рот стал ватным и смрадным. Ядовито-зеленый вкус. Позднее он всегда связывался у меня с окраской гранаты и противогаза. Смрадный привкус во рту, перекосившиеся нары и белые щепки на полу — одно из немногих моих собственных воспоминаний.

Наши бойцы пришли на следующее утро.

Их ждали и боялись.

Они были освободителями и военными. Они пришли в барак, десятки стариков и детей разглядывали их оружие.

Как раз пекли лепешки, и первые гости, два солдата, вдыхали домашний аромат съестного.

Один из бойцов спросил что-то на ломаном немецком языке.

Ему ответили на хорошем русском языке, выученном в царское время в эстонской деревенской школе.

Бойцы присели за пустой стол и выслушали нашу историю.

Иногда покачивали головой, иногда кивали.

Они сказали: не выходите на улицу, пока это опасно.

Женщины пригласили солдат прийти попозже поесть лепешек.

Они пришли через два часа, прихватив с собой десять килограммов сахара.

Молодые здоровые парни с аппетитом ели испеченные сырвескими женщинами румяные лепешки, рассказывали о боях и даже шутили.

Вечером полыхала в огне деревня: польские невольники отплатили за унижение.

Однажды под вечер в Gasthaus с гармошкой на плече зашли три веселых бойца, молодые и пригожие русские парни, и спросили, где тут девчата.

Девушки все попрятались в яслях коровника.

Только сестра Сальме все еще температурила, началось тяжелое воспаление легких, и лежала на нарах.

Один солдат сел на краешек нар, растянул гармошку и начал петь. Это были мелодичные и печальные русские песни, так что Сальме растрогалась и заплакала...

На четвертый день к нам наведался советский офицер со смуглым лицом, в белоснежных перчатках. Он сказал:

— Если кто-то будет беспокоить вас, то немедленно приходите ко мне, я комендант деревни. Если нужно, приходите хоть ночью. Наш долг поддерживать здесь порядок.

Он выделялся своей корректностью, опрятностью и предложенной нам защитой.

Его миссия была трудной: по разному поводу приходилось ему на стук в окошко вставать среди ночи.

Шла война.

Из ближайшего лагеря на военных машинах в деревню Клейн-Лубс привезли молодых евреек.

Ни одной из них не было и двадцати пяти. Но все они были седыми, глаза по-старчески осторожные, все они забыли и смех и громкий разговор.

Немцы оставили их в живых как трудовую силу рейха.

Родителей и младших сестер и братьев расстреляли у них на глазах.

Девушек привезли в село присматривать за голодной скотиной.

Одна из них каждый день приходила в наш Gasthaus и присаживалась на краешек нар возле матери.

Она брала на руки маленького Энно, качала его и пела ему песни. Говорила, что маленький эстонский мальчик очень похож на ее расстрелянного брата.

Из дневника Юхана Саара:

«...Мария тоже тяжело заболела в деревне нет никаких жителей всюду полно околевшей скотины свиней овец и коров лошадей и бродят они кругом тоже и орут нет людей кто бы им дал поесть коровы ходят в поле на зеленя лошадей собирают военные свиньи бегают по дворам и очень сильно визжат им пропитания взять неоткуда мебель в комнатах вся переворочена и перебита неведомо где родители дети бегают из дома в дом всюду пусто только в одной маленькой каморе находят одну старую мать в постели под одеялом иду вместе с ребятишками тоже туда смотрю и вижу что она живая но не говорит руками что-то еле показывает но я не понимаю и так она там пребывала то будто как мертвая а то опять душа в теле а через неделю нахожу в том доме еще и молодую женщину она спросила чего я желаю я спросил кто вы будете она ответила что хозяйка в этом доме я спросил а эта старая мать приходится ей матерью она ответила да но тогда я не понял была она уже мертвой или живой пошел вечером снова туда дом был пуст снова только старушка полумертвая помоложе женщина исчезла да так и осталась пропавшей и деревня была совсем обезлюдевшей только обоз русских беженцев был в одном доме в конце деревни все в домах было переворошено и всякая вещь понежней и поценней была перебита свиньи шастали из одной комнаты в другую подбирали что съедобное а некоторые околевали в свинюшниках заходили с голоду в дом и там оставались всюду была околевшая скотина и всюду стояла вонь так что не хочется никуда идти и смотреть на эту страсть».

Эта женщина схоронила грудного младенца в чужой земле.

Я спросил:

— Было ли у вас желание отомстить кому-нибудь?

Она посмотрела на меня:

— Каким образом?

— Хотели ли вы отплатить как-нибудь за обиду?

Она провела рукой по старому, но чистому и старательно выглаженному переднику.

— Когда вошли русские, все село опустело... Немцы бежали на запад. Нам велели самим искать в деревне еду и добывать одежду, смотреть за оставшейся скотиной. Дом тот стоял как раз на краю деревни, я помню, был пустой, но по виду в порядке... Когда я вошла, меня вдруг охватило такое странное чувство, что я все там разметала. Перебила посуду и окна, в подвале перевернула бочку с огурцами и разбила бутылки с вином, черенком половой щетки перебила светильники, разодрала альбомы, рассыпала соль по полу. Боже мой, даже вспоминать не хочу, что делает глупый человек... Стыдно вам рассказывать. Не записывайте этого. Я, видно, все-таки немного помешалась. Когда я вдруг услышала в другом конце дома жалостное мычание, то вернулся разум — я села в уголок дивана вся в поту и тяжело дышала, и в голове стучало, будто я спустилась с банного полка. Пошла в коровник, задала коровам сена и натаскала воды, и это было опять так, как бывает в нормальной жизни... Голодную скотину было так жалко, что я плакала. Она-то не повинна в войне.

Не у всех появлялось желание устраивать в домах погром. Со знанием дела рылись в шкафах женщины, и многие — едва душа в теле, очерствевшие и отощавшие — вдруг почувствовали, что на этом свете живут не хлебом единым. Сколько тряпья! Какой выбор!

Некоторые — это известно — привезли домой по двадцать платьев.

А вот идет мой отец — среднего роста, в очках, с маленькими усиками, он ухаживал за скотиной, потому что это было вверено ему и жене пастора Раавеля, он возвращается из деревни с немецкой энциклопедией под мышкой.

И ничего другого.

Однажды мать попросила отца: пусть принесет ей из деревни передник. Всего один передник. Дети хватаются за подол, руки грязные, а передник было бы легче стирать.

— Пропади она, корысть! — сердито сказал отец.

Когда в нашей семье иногда вспоминают «путешествие» в Германию, я всегда слышу эту короткую фразу.

Энциклопедию отец читал долгие годы, почти каждый вечер. Ему нравились справочники и кроссворды.

— Пропади она, корысть! — говорил отец резко.

Теперь двигались только на восток.

Хоть всего по нескольку километров в день, но зато в сторону далекого дома.

Так возвращаются в старые гнездовища перелетные птицы, выходят сквозь буран к родным воротам кони, выплывает на открытую воду зашедшая в половодье в пойменные травы рыба.

В поездах, на автомашинах, на лошадях, зачастую просто пешком, толкая перед собой тележку на резиновом ходу, сложив туда жалкое барахло, оставшееся после «гостевания» в гитлеровском тысячелетнем рейхе, возвращались назад сырвесцы.

По-прежнему на поля «великой Германии» двигались наши войска, в Польшу из рабства стекалась «низшая раса», и на дорогах мельтешило несчетное число мешочников, бездомных бродяг,

дезертиров из немецкой армии, которые могли в любой момент выхватить из обоих внутренних карманов по пистолету, спекулянтов, которые пировали во время чумы, и множество просто несчастных людей.

Дым сражения рассеялся, и оружие молчало, но людей продолжала пугать война, жестокость еще жила в крови, легко было поддаться желанию отомстить, гуманность, конечно, не погибла в войне, но все еще робела перед военной силой. Раны все еще кровоточили, и сердца были ожесточены. Человек смотрел на осквернённую землю выплаканными, сухими глазами.

Кто воевал и победил в войне, тот свои преимущества оплатил кровью. Сырвесцы возвращались на угольных платформах и в вагонах для перевозки скота, на крышах и подножках. На поезд попадали только тогда, когда почему-то не оказывалось тех, кто д о л ж е н был ехать. С острова Рюген до пристани Куйваасту на острове Муху Эдуард Суурханс ехал со своей семьей пятьдесят девять дней: четырнадцать дней езды и сорок пять дней ожидания.

Утром 2 мая 1945 года в сторону Ростока двигалась колонна едва тащивших ноги советских военнопленных офицеров. Молчаливо колыхавшийся строй удерживали на дороге и на ногах пятьдесят конвойных и овчарок. Чтобы людская цепь не оборвалась, дула автоматов были нацелены в каждую двенадцатую шеренгу.

Только очень близкий человек мог бы признать в бледном, остроскулом пленном в залатанной шинели Феликса Пяртельпоэга. На шее у него висела жестянка с лагерным номером, на спине были выведены буквы «SU», голова зудела, болтающиеся штаны были подвязаны веревкой.

Вчера под вечер их гнали через деревушку, где из окон уже свисали белые флаги, но при виде колонны пленных жители вышли на улицу, плевались, кидали камни и смеялись, когда попадали в кого-нибудь.

Соседу угодило в висок, он зашатался, но Пяртельпоэг успел ухватить его под руку, потому что упасть было нельзя, сразу бы пристрелили...

Возле деревни Винтри, когда Феликс Пяртельпоэг выбирался из холодного кровавого моря, его взяли в плен и отправили в лагерь. Никакой вербовки или агитации не было, весь предыдущий опыт неопровержимо показал, что советского офицера «исправляет» только могила. К его приходу таким образом было уже «исправлено» шесть с половиной тысяч человек.

В конце марта они отправились в путь: от голландской границы по сто человек в группе, по четыре в ряд, за каждой группой конвой и собаки, всего тысяча двести человек.

На ночь их запирали в огороженные колючей проволокой летние загоны для скота и приказывали ложиться. Каждый должен был лечь точно там, где он в этот момент оказывался.

Ели траву, древесную кору, щавель, сырую картошку, в редкие дни конину.

Воду пили из канав и луж.

Едва волочили ноги.

В эту неделю они не получили и крошки хлеба.

Пленный из Минска вывернул карман, но ничего не обнаружил.

Сзади раздался выстрел.

Пяртельпоэг оглянулся и тут же почувствовал между ребер дуло автомата.

Цепь тянулась, длинная и безмолвная, все ее звенья были слабыми, но цепь не рвалась.

Им осталось идти всего один день. В Ростоке, как было известно конвою, их ожидали баркасы. Военнопленных вывезут в море и утопят.

Впереди послышался гул, который перерос в грохот и затем в лязг танковых гусениц. Грохот и лязг надвигался на них с такой быстротой и мощью, что конвой растерялся.

Краснозвездные машины перекрыли дорогу.

Не было сделано ни одного выстрела.

Военнопленные смотрели друг на друга, не веря.

Пленные падали на колени, прерывалось дыхание, растирали грудь и быстро-быстро хватали ртом воздух.

Овчарки рвались вперед, потому что они привыкли сразу кидаться на людей, которые нарушали строй, и конвойные напрягали все силы, чтобы удержать собак.

Капитан-артиллерист с обгоревшим лицом, попавший в окружение в Белоруссии в начале войны, навзничь упал на асфальт и, уставившись в небо синими глазами, плакал навзрыд.

С поднятыми руками конвойные шли к головному танку.

Оружие бросали в кучу.

У немцев ничего не спрашивали: все было ясно.

Полевой суд состоялся тут же, под дулами направленных на запад танковых пушек.

Пленным дано было право решить судьбу пятидесяти врагов.

Всех их повесили.

Вальтера Тоодо вытащили из ящика, но он тут же упал ничком на устланную водорослями кромку песка.

Немецкий солдат двинул его прикладом, но Вальтер не смог даже повернуться. Он закоченел.

Получил второй удар в спину.

Тогда его подняли и потащили, и, боясь потерять сознание, он старался рассмотреть, кто же его тащил...

2 мая 1945 года, когда Пяртельпоэг и его товарищи по плену сидели на обочине дороги, а над головами медленно покачивались в мундирах вермахта повешенные, Вальтер Тоодо стоял тоже неподалеку от Ростока, в двадцати километрах к западу, и смеялся. Он был свободен уже целые сутки. А еще вчера он шел в большой колонне военнопленных к Ростоку, не подозревая, что должен быть утоплен там вместе с тремя тысячами французов и ста пятьюдесятью советскими военнопленными.

Из Штеттина к Ростоку они шли пешком, ноги были стерты до крови.

Тщедушный рябой конвойный постоянно напоминал, что свинца хватит на всех.

На десять человек через каждые два дня давали буханку хлеба. 1 мая их освободила танковая колонна. Весь конвой взяли в плен, только рябого бывшие пленные забили насмерть и еще мертвого мочалили, так как решили, что такую харю не захочет видеть даже немецкий бог.

Было 2 мая, прошли целые сутки, и Вальтер Тоодо, свободный человек, бродил по небольшой немецкой деревушке.

Во время десанта его ранило. Осколки вшились в опасной близости от позвоночника, были затронуты нервы ног, но ремень стянул рану и холодная вода уменьшила ток крови. Раненного, его отправили в тюрьму неподалеку от лиепайского порта. В ране завелись черви.

Порт постоянно бомбили, гибли лошади, конину давали даже пленным.

Бывали дни, когда наедались досыта. Это и спасло.

Осколки вынули, и здоровый организм Вальтера выдюжил.

Из Лиепаи его отправили в Северную Латвию, а в феврале погнали в Штеттин, откуда в апреле немцы начали уходить от наступающих советских войск к Ростоку.

Теперь все это позади.

Ноги в деревянных башмаках были стерты в кровь, желудок болел, но парень смеялся — что-то изменилось в воздухе, в людях и в цвете неба.

В деревне Набала у Андреаса Тоодо в тот день не было никакого предчувствия. Он не знал, жив ли мобилизованный в немецкую армию младший сын — Харальд. Время от времени перечитывал последнее письмо старшего, Вальтера, и сообщение о его гибели. Время заглушило первую боль, и что-то подкатывало к горлу лишь тогда, когда он получал пенсию за сына.

Из дневника Лийне Хююдма:

«21 апреля.

Вечером слышала небольшую историю. Бургомистр вместе с жителями вывесил белые флаги и сдал город без боя. Потом прошли английские танки, но власть в городе не была перестроена. Тогда прежние партийные деятели арестовали городского голову и казнили его на рыночной площади.

26 апреля.

После обеда шестерых послали сажать картошку. Сперва делали борозды, потом русские пленные раскладывали там навоз и мы сажали картошку. Как же злила и эта работа. По пятам ходил лагерный надсмотрщик и заново перекладывал каждую картофелину, которая не была в ряду по ниточке».

Этот вагон воришка явно оставил бы без внимания, если бы не услышал непонятного для него разговора на чужом языке.

Приглядевшись, он увидел свертки, узлы и чемоданы и понял, что терпение может окупиться.

Он разглядел одинокую молодую женщину в глубине вагона и стал следить за ней.

С котелком в руках она вышла на перрон к насосному колодцу.

Воришка тут же прошмыгнул в вагон, но именно в этот момент из другого конца вагона к выходу медленно направился плечистый старик. Никакого выбора не оставалось, парнишка схватил первый попавшийся узел и стремглав выскочил на перрон. Он несся во все лопатки, а в ушах стоял писк младенца.

Детский писк ни на метр не отставал от него.

Он слышал за собой шаги и угрозы на чужом языке.

Он бежал дальше, был он молодым и быстрым. И вдруг почувствовал, что узел зашевелился!

В него бросали камнями. Женщина с котелком в руках неслась к нему очертя голову.

Воришка кинул узел с ребенком на перрон.

Ребенок стал сегодня взрослым человеком, зовут его Притс Либлик.

Они были совсем пропащие — голодные, изнуренные болезнями, но босыми они не были.

Когда нечего было обуть, шили самодельные тапки. За последние копейки или лохмотки доставали еду, а также обувку.

Нет, ни при каких обстоятельствах они не оставались босыми.

Но на перрон в Петсери они все же вышли босиком и ступили на сырую землю, которая была уже частью той самой исконной эстонской земли, что простиралась отсюда, с восточных рубежей, на самый дальний запад, до их узкого и ветреного мыса Сырве.

Из соседнего вагона крикнули пареньку конфирмационного возраста, что на его месте христианин ни за что бы не показался на люди с такими грязными ногами.

Звали молодого человека Имант Лембер. Эта бессовестная женщина была не первой, кто советовал ему вымыть ноги. Он молчал.

Когда по весне умерла мать, он остался сиротой. Выплакав за два дня слезы, он обрел в душе прочную ненависть. На этой земле мыть свои ноги я больше не стану, сказал он в Германии, это поганая земля, проклятие я смою в Эмайыги[24].

О реке Эмайыги он знал по карте.

До Эмайыги оставались считанные версты.

— Парень, ты глухой или немой? — не отставала женщина.

— Заткнись ты, старая,— сказал он по-взрослому, возвращаясь к вагону.

Глупые речи ему не нравились.

Четыре раза у них отбирали по дороге лошадь и давали другую — похуже.

За первого, красивого вороного коня, которого стреножили на пригорке возле леса и который, по сути, никому не принадлежал, отдали золотое кольцо и длинный вязаный шарф.

Они пустились в дорогу всемером, и все их пожитки уместились на телеге и еще восьмидесятилетняя Рээт и шестимесячный сосунок на задке. Они готовы были идти пешком следом за лошадью хоть через всю Польшу, лишь бы поближе к родному дому.

Но уже через два часа выпрягли из оглобель их хорошего коня и дали взамен другого.

И эту лошадь грех было хаять. Дали ей напиться и пощипать часок травку, и пошагала она дальше без понукания.

А теперь, в этой тихой долине между рекой и лесом, забрали и последнюю конягу — взяли молодые вооруженные ребята, поляки, и никакой животины взамен, только перекинулись между собой несколькими словами да громко посмеялись. Когда они под стук копыт и гиканье исчезли, Тийдрик взялся за одну оглоблю, а Лаас за другую, бабы подталкивали сбоку, и, ни слова не говоря, потащились по дороге дальше на восток.

Сидевшая на задке телеги старая Рээт начала слезать — дорога шла в гору и она видела, как напряглись у мужиков на шее жилы и скрючились спины, будто они против волны затаскивали в лодку сети,— и Роози окликнула мужиков:

— Придержите чуток! Рээт хочет сходить до ветру.

Старая женщина сползла с телеги и осталась стоять возле заднего колеса, ухватившись сморщенной и высохшей рукой за грядку.

— Ну давайте.

Старческая бессильная рука толкала телегу в гору в сторону востока.

— Давайте снова потихоньку.

Лаас, невысокий, кряжистый и сильный, обросший черной бородой, грохнул оглоблю оземь:

---

[24] Самая большая река в Эстонии. Дословно Мать-река.

— Ты, Рээт, хочешь, чтобы тебя перед смертью отходили еще вожжами!

Он поднял старуху на телегу и опять взялся за оглоблю.

— Старые люди сходят с ума,— бурчал он, таща телегу.

Под вечер они достигли полусгоревшей польской деревни.

Остановились возле первого двора, где все четыре кирпичные постройки были в целости.

На дворе соседнего дома сидели советские солдаты. Играла гармошка. Сырвесцы объяснили хозяину, что хотели бы переночевать.

Тот ответил, что негде.

— У нас грудной ребенок и слабая старая женщина,— показали они на телегу.

— Нет места, не могу взять.

— Куда же мы пойдем?

Хозяин сердито что-то сказал по-своему и распахнул двери сарая, где хранился полевой инвентарь. Указал рукой: располагайтесь.

В сарае, одна половина которого была пуста, сквозняк кружил на земляном полу мусор, обдавало сыростью и плесенью.

Сидевший возле гармониста солдат в пилотке поднялся и медленно подошел. Он слышал весь разговор и видел беспомощность беженцев.

Ребенок на телеге плакал, старая Рээт куталась на вечернем холодном ветру в одеяло.

— Мы безбожники,— сказал русский,— а у вас есть великий бог. Ваш бог прощает вам ваши дела, а нас никто не прощает, поэтому у нас никогда не оставляют детей и стариков в сарае.

Он сказал поляку:

— Войдем!

Солдат осмотрел все пять комнат двухэтажного дома и сказал:

— Внизу освободишь одну комнату. И вскипяти чай.

Он сказал также сырвесцам, что станция отсюда недалеко и через несколько дней должен быть эшелон.

На другой день он пришел поглядеть на малыша. Качал его на руках и говорил что-то на своем языке.

Лаас предложил русскому водки, которая еще у него оставалась, но тот отказался, сказал: вам она больше нужна.

Потом сырвесцы направились на станцию.

Собственно, это была не станция, а груда развалин, которые были некогда станцией.

Три дня и три ночи дожидались они под открытым небом поезда; почти все дни шел дождь, но уйти было нельзя, поезда ждали с минуты на минуту.

Наконец поезд — уголь на открытых платформах — пришел, и они забрались со своими узлами прямо на уголь, но эшелон еще целый день не трогался с места, и они не осмеливались сойти с угля: вдруг поезд двинется.

Ребенок кашлял и метался в жару.

Старая Рээт больше не разговаривала.

Под вечер сквозь белую стену проливного дождя они, к удивлению, увидели с в о е г о солдата.

Он сказал, что отведет Роози с ребенком в конец поезда, там прицепили дополнительный вагон. Они двинулись под дождем вдоль липкого полотна: дождь, мазут, кривые шпалы. И вдруг Роози охватил страх, она боялась мундиров, любых мундиров, чем дальше они уходили к концу эшелона, тем сильнее становился страх, и она повернулась кругом и сломя голову бросилась бежать назад через скользкие рельсы, только бы к своим, ведь ни в чем нельзя быть уверенным на после-

военной земле, и она снова забралась на черную груду угля и плакала, дрожа от холода и страха.

Но русский вернулся и сказал: ну иди же, не то посадят других; он сказал, пусть Роози возьмет с собой сестру, и они пошли, а Роози все плакала, пока тепло вагона не уняло дрожь и ребенок не уснул.

Русский ушел, еще раз глянув на малютку, будто вспоминая что-то.

Его они больше никогда не видели. Никто даже не спросил, как его зовут. Лишь говорили после: ребенок ему приглянулся, этот маленький мальчик. Они вспоминали этого солдата и тогда, когда через неделю мальчик умер.

Ребенка похоронили под вишнями в найденной где-то детской коляске.

Поездом ехали двое суток. И тут возвращавшаяся в Литву старуха из немок сказала: этот поезд, видно, не туда едет. Они все сошли. Четверо суток сидели под открытым небом. На четвертый вечер вернулся тот же эшелон. Они напрасно слезли, но теперь могли снова сесть — поезд и в самом деле шел туда, куда надо.

На этот раз Роози помог перенести вещи в вагон эстонец. Позднее он вернулся и принес буханку хлеба.

Сидел в пустом стылом вагоне напротив и сочувственно слушал ее рассказ. Роози впервые не боялась человека в мундире, потому что он говорил на своем, эстонском языке. Потом он сел на скамейку рядом с ней и, задышав прерывисто, обхватил Роози. Он оттеснил ее в угол, крепко прижал к себе и начал шарить рукой. Она сопротивлялась, впилась зубами в его руку. Он пригрозил ей пистолетом.

— Стреляйте,— сказала Роози,— это вы умеете.

Обозленный парень сказал:

— Пойду позову ораву мужиков и полюбуюсь тогда, что они с тобой сделают.

«Эстонец,— думала Роози,— зверь».

В один из дней мужчин гонят ремонтировать дорогу.

Поляки заверяют — поезд дальше не пойдет, пусть женщины и дети сидят в вагонах, а мужская помощь нужна до зарезу, быстрее справимся. В душе у сырвесцев сомнение; такое и раньше случалось. В один хороший момент паровоз запыхтит, и кто не успеет сесть, останется стоять в одиночестве, как возле Иерихонской дороги. Сырвесец не хочет идти.

Но сопротивление может выйти боком.

И отрезок полотна, который велят убрать, находится тут же, перед глазами, рукой подать.

Ай, черт, и все равно, поди знай...

Четверо мужиков, которые ничем не могут отговориться, идут туда, где лежит на путях всякий хлам, поляк с помощью рук и ног объясняет, что надо очистить, откатить, и сырвесцы идут и откатывают, полдня катают пустые помятые бочки из-под керосина к опушке леса. Без устали. Серьезно и с охоткой. Прилежно, как вообще присуще островитянам.

Никто им не мешает.

Мужики продолжают усиленно работать, временами переводят дух и смахивают пот, и бочки знай грохочут по рельсам.

Ева Оэсельг ехала домой мертвой.

Голод и тиф свалили ее.

Внукам нужно было есть, и она отдавала им свой кусок: ребенок ведь не знает, что нет еды, и знать не должен. Он чувствует только пустой желудок и просит у матери есть.

Она умерла от тифа, но продолжала ехать в сторону дома.

Все, кто умирает вдали от дома, возвращаются в свои края: воспоминание о них рождается вместе с вестью о смерти.

Всю войну возвращались со всех фронтов домой мертвые мужчины: под крыши своих домов и на свои поля, только они уже не работали, а бродили окрест; будто дом вдруг стал чужим, они прятались, о них лишь говорили, а сами они являлись поговорить с живыми во сне, когда никто не видел и не мешал им. Так они жили годами, молодые, здоровые и невидимые — в шкафах хранили их одежду, в изголовье кроватей ставили полевые цветы и за столом держали свободным место, пока постепенно не свыклись, что никогда больше они не сядут за стол, не попросят чистую рубашку.

Ева Оэсельг лежала мертвая на вагонной лавке и ехала в сторону дома.

Когда сказали, что так нельзя, что поезд для живых и что это антисанитарно, ее похоронили в Риге.

Так что и она явилась домой невидимой.

В начале августа проповедник Эдуард Суурханс был в Курессааре. На Сырве никакой регулярный транспорт не ходил, а ему надо было добраться в находившуюся рядом с Сырве деревню Лябара. Он знал, что дом его цел, но занят военными. Часть пути он проехал на случайных машинах, а там дошагал пешком. Спелый августовский день стоял на Сырве как образ спокойного счастья — все уже поспело, но еще ничто не увяло. День сиял, а на Сырве была безутешная для человеческого глаза картина: развалины, поля и леса полны военного хлама, вокруг бывших жилищ братские могилы и разросшиеся сорняки. Эдуард думал о боге, который должен дать людям новые силы и терпение все начать сначала, в муках и не зная устали.

Так шел Эдуард Суурханс к своему дому, привычно огибая поворот за поворотом, будто он и не отсутствовал столько месяцев, словно идет из молельни или с покоса домой, где его ждет семья.

Перед домом прохаживался солдат с винтовкой.

Ворота были распахнуты настежь, открывать их и не потребовалось, и он сразу же ступил на двор.

Из дома вышел майор и вопросительно посмотрел на него.

Эдуард Суурханс почувствовал себя здесь чужим, ничего не значило, что его трудом и заботой возведен этот дом, и от этого вдруг сдавило дыхание, сердце начало колотиться.

— Это мой дом,— сказал он по-русски.

Ему казалось, что эти три слова должны были все объяснить офицеру. Ничего большего он не хотел сказать и ответа не требовал, понимал: где войско стоит, там оно и будет стоять.

— Это был ваш дом? — спросил офицер.

— Да, я тут жил.

— Ясно,— сказал офицер, и больше ему тоже нечего было говорить. Определили штаб военной части в пустующий дом, не он это решал, и не его дело было теперь объясняться.

Суурханс не собирался возвращаться сюда с семьей. У него было намерение обосноваться в Тарту. Он сказал офицеру, что это его дом, с тихой надеждой, что если офицер и не станет сочувствовать, то хотя бы скажет: такая уж она, война.

Но офицер очень много перевидел, какая она, эта война, и молча курил.

Эдуард Суурханс сказал офицеру, что сегодня он уже не успеет обратно в Курессааре — нет транспорта, а утром можно и пешком отправиться. Может, позволят ему где-нибудь в уголочке переночевать?

— Нельзя,— сказал майор.— Это запрещено.

Суурханс ждал, что он скажет: «Но...»

Офицер ничего не сказал.

— Тут штаб,— проговорил офицер и вошел в дом Эдуарда Суурханса.

Солдат с винтовкой смотрел на него безучастно, ибо его все это не касалось, раз никакого приказания ему не дано было.

Суурханс повернулся к воротам.

Из дома торопливо вышел молодой лейтенант. Он сидел перед открытым окном и слышал разговор Суурханса и майора.

— Приходите сюда вечером в десять,— сказал лейтенант.— Точно в десять.

Суурханс вопросительно смотрел на лейтенанта.

— Да-да,— повторил лейтенант.— Тогда темно, не увидят.

Эдуард Суурханс поблагодарил лейтенанта.

Бродя вокруг, он не переставал удивляться, какой голой и пустынной была эта земля, бывшая многолюдная волость, как грустно выглядело все в надвигавшихся сумерках, какими призрачными становились кричащие остовы труб. Люди жили в банях, сараях и хлевах.

На всю землю распростерся вечер, удивительно спокойный и ясный, будто данный на то, чтобы еще острее стала боль и острее робкое горькое счастье, что цела сама земля, потому что землю невозможно уничтожить, земля останется, перетерпит, выждет и вновь готова родить, растить хлеба и травы...

Было минута в минуту десять, когда молодой русский лейтенант провел его на чердак.

Сено было прошлогоднее, сухое, пылящее и с лежалым запахом.

Сперва Суурханс просто сидел на трухе, привыкая к полутьме, потом разровнял сено и лег, натянув на себя пиджак.

Было так тихо, что сердце начало стучать и колотилось все сильнее.

Он был у себя дома.

«Это мой дом»,— повторял он мысленно и не думал ни о чем другом.

Он чувствовал, как сильно колотится сердце, как жарко подступает к вискам кровь и проносятся в мозгу русские слова: «Это мой дом».

И тут он ясно услышал разговор.

Майор объяснял часовому: не вздумай дремать, правда, тепло и война кончилась, но глаз не смыкай, на посту никогда не спят, к тому же сегодня тут ходил прежний хозяин дома и тебе надо быть особо бдительным. Знаем мы этих собственников. Десятью пальцами цепляются за свое добро. Такие могут поднять в воздух дом или поджечь его.

— Ясно?— спросил майор у солдата.

— Так точно, товарищ майор!

Вера объясняла все происходящее волей божьей, и только бог мог карать, если что было не так.

Суурханс от роду был человеком мирного и тихого склада.

Он не знал внезапного гнева.

Но сейчас, здесь, когда боль бездомья, и невзгоды Рюгена, и долгая голодная обратная дорога остались позади, он пережил ярость, не требовавшую никакого объяснения или утешения, злость и вызывающее зубовный скрежет чувство отчаянной обиды против немцев. Против фашистов — это они виноваты в том, что в его доме сейчас находились военные, что ему, хозяину, не могли дать ночлега.

Он даже сочувствовал майору и лейтенанту, потому что его приход заставил их выбирать между совестью и непреложными военными законами.

Пыль сдавливала дыхание, и сердце бешено колотилось. С первыми же проблесками зари Эдуард Суурханс слез с чердака.

Ничего не сказал часовому, только кивнул ему, сложив на груди руки. Часовой тихонько спросил, нет ли закурить, но у него и впрямь не было. Он не сделал в жизни ни одной затяжки.

Он прикрыл за собой калитку и свернул на большую дорогу, которая была видна в сочившемся с востока холодном рассвете — пустая, длинная и стылая.

Старая женщина была такой слабой, что дальше Курессааре идти не могла: больные ноги не держали.

Да и не имело смысла тащиться на Сырве.

Там уже никого не было.

Пусть дочка сходит, если уж она так рвется туда, по крайности поглядит своими глазами как и что...

Так дочь и пошла, хоть и она не очень молодая и не слишком здоровая, дети в чужой земле, муж еще воюет — дождется ли она его?

Дочь знала, что в родной стороне она увидит пепелище трех сгоревших построек.

И вот она стоит на прежнем своем дворе — это был действительно их родной двор, даже часть забора цела, но вместо построек — омытые дождем черно-серые головешки, обгорелый камень и лопухи.

Но цвели лилии.

Какое чудо сохранило их, цветы нежно рдели под защитой каменного фундамента совсем как год назад, в последнее военное лето.

Да, да, да, повторяла мать, когда дочь рассказывала ей об этом.

Да, да.

Мать сказала: могла бы и принести цветы, пусть бы они напомнили о родном доме. Через неделю дочь отправилась снова.

Она боялась, что матери осталось недолго жить — ноги совсем отекли,— дочь хотела, чтобы мать порадовалась цветам.

Торопливо шагала она к пепелищу, прихватив с собой бумагу, чтобы завернуть цветы; стоял чудесный ясный день, рожь созрела.

Но острый запах выгоревшей земли ударял в нос.

Лениво гудела мошкара.

Ни одной живой души поблизости, ни одного голоса, ни одного движения, только плоские облака плывут через Сырве к морю.

Она не верила своим глазам.

Так скоро цветы не сохнут.

Она сделала еще шаг.

Цветов не было.

Ни малейших следов жизни.

Она опустилась на колени, потом совсем распласталась на раскаленной изрытой земле.

Она содрогнулась в безутешном плаче среди заброшенного пожарища, где не было ни птичьего гнезда, ни следа животных, ни даже крохотного стебелька вереска...

Когда-то давно, когда мы шли по Ориссаареской дамбе и солнце клонилось к западу,— у сестры ноги будто колесные ступицы,— моя мама еще ничего не знала о случившемся.

Мы, ослабевшие и голодные, направлялись в дом к ее брату, где нам, детям, предстояло увидеть и нашу бабушку.

С того вечера прошло лет тридцать, и мы с мамой опять идем по мягкой луговой тропке.

Стоит полное безветрие.

Удивительно тонкая, но плотная облачность закрывает солнце, не предвещая дождя.

— Ну и жара,— сказала мама.

— Мама,— спросил я,— как это было с бабушкой?

Безветренная жара наполняла воздух тяжестью; над выгоревшей от долгой засухи землей застыло розовое марево.

— Ну, это было... Это было так,— говорила она, идя передо мной.— Это случилось еще до того, как нас вывезли с Сырве.

— Тогда, в октябре?

— Да, в октябре... фронт проходил рядом с нами. Матери было уже за восемьдесят. В постели... Читала еще без очков. Третий раз перечитывала Библию...

Дом наш выходил на пролив Вяйке-Вяйн.

В начале октября 1944 года через пролив пришли бойцы-освободители Эстонского стрелкового корпуса.

Немцы возвели вблизи дома защитный рубеж.

Тут можно было ожидать ожесточенной перестрелки.

Сыновья устроили для бабушки в подполе нары из новых досок. Застелили мягкими и теплыми шубами.

— Когда начнется стрельба, мы поможем отнести старуху вниз,— сказали немцы.

Когда просвистели первые пули, время это пришло, мамин брат Яан пошел в подпол глянуть, все ли там в порядке. Немецкий солдат лежал на бабушкиных нарах и дымил.

И тут разразился частый сплошной огонь. Стреляли с суши и с моря.

Колодезное ведро, когда после посмотрели, было как решето.

Загорелись постройки.

Все было охвачено огнем и дымом.

— ...руки были сложены на груди, будто она спокойно умерла...

На высоких местах вытоптанная до земли тропка обжигала ноги.

Мы с мамой отправились поливать возле леса грядки. Все сохло. Приходилось каждый вечер черпать воду и поить землю, которая глотала и глотала влагу, подобно пожару, который все не затухал.

Я долго искал на Сырве деревню Карусте, чтобы своими глазами увидеть школьное здание, откуда нас увозили, и уходившую к мысу полоску дороги, которая в ту ночь, при ясной холодной луне, светилась далеко-далеко. У меня была с собой карта, и я шел пешком. По карте я уже должен был быть в деревне, но тут нет ни одного дома. У встречных спрашивать было неудобно: молодой человек с картой в руках, сырвесец к тому же, и не может найти деревню Карусте!

Я снова вышел на шоссе и сверил карту. Все было правильно — направление и расстояние.

И я снова пошел: деревни Карусте больше не существовало.

Оставалась только земля — Сырвемаа [25].

[25] Дословно: земля Сырве.

Война отняла у меня отчий дом, который, как я знал, находился где-то здесь, на Сырве, и где я хотел бы тихо постоять и подумать обо всем том, что меня связывает с этим местом.

У меня отняли, сровняли с землей детство, годы, когда человеческая память начинает что-то копить для будущих времен.

Тут моей памяти не было пищи, кроме частицы обычной сырвеской земли, неровной, гравистой приморской земли, которая питала ольшаники, сосны и редкий можжевельник.

В деревню Соодевахе я пошел из-за жены Хиндрика Прууля и ее сгоревших детей, чтобы увидеть деревенскую картину, которая, может быть, в самый страшный миг мелькнула в сознании молодой женщины как последняя поддержка. И снова я стоял в пункте, с абсолютной точностью обозначенном на карте как деревня Соодевахе, и смотрел на безмолвную стену леса, заросшие дороги, и пригорки, и пологие склоны, которые, казалось, природой подарены человеку для возведения очага. Женщина из Соодевахе никогда не узнает, что ее, детей и деревню постигла одна судьба — они сгорели в огне войны.

В моей записной книжке значится:

из деревни Сальме угнали Лийне Мейстер с четырьмя детьми и матерью;

в Берлине умерли ее дети:

Альвина — 11 лет,

Леонард — 13 лет,

Яак — 6 лет,

Лейде — 5 лет;

из деревни Мяэбе вывезен брат Лийне Мейстер — Прийт;

в Германии умерли его дети:

Велле — восьмимесячный,

Майе — пятилетняя (умерла в хлеву на навозе),

Вийви — четырехлетняя,

Юку — семилетний (от воспаления мозга сразу после возвращения на Сааремаа);

три брата Лийне и Прийта сражались в Эстонском стрелковом корпусе, все они погибли от немецких пуль:

Аугуст — в Великих Луках,

Андреас — в Великих Луках,

Юлиус — в Латвии.

Их мать возила с собой в Германию чемодан с одеждой трех сыновей, чтобы у молодых ребят, когда они вернутся домой, было что надеть. Не ведая о гибели сыновей, она умерла от тифа в Гродно на обратном пути, ее последней заботой было — довезти чемодан.

Немецкий уголовный закон различает две категории убийства — Totschlag и Mord. Totschlag — уничтожение партизан, саботажников, диверсантов и членов подпольных групп — за давностью уже потерял в ФРГ силу для предъявления юридического обвинения. Mord — это убийство, которое совершено в целях своекорыстия или под воздействием низменных инстинктов, или особо изуверские убийства. Эти преступления не устаревают.

Я не предъявляю юридического обвинения, потому что в этой книге не напечатаны документы, тем не менее я старался писать исключительно о достоверных фактах, и меня интересует, к какой категории убийств относится тотальное уничтожение сырвесцев. Я хочу это знать, потому что свалить все на судьбу — значит, просто забыть. Когда из домов гонят слабоумных и убогих, а молодые, полные сил люди бросаются в огонь или остаются навеки инвалидами,

старики угасают в сырых, ветреных хлевах, детей же морят голодом, и это называют спасением от красных варваров, мы имеем дело с особо изуверским убийством. Эту картину я медленно приближаю к глазам, навожу фокус, чтобы все было ясно и точно:

M o r d: vorsätzliche Tötung eines Menschen unter bestimmten erschwerenden Umständen, zum Beispiel aus Habgier, Heimtücke, Grausamkeit, zur Ermöglichung oder Verdeckung einer anderen Straftat, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs; wird in der DDR mit dem Tode oder mit lebenslangem Zuchthaus, in der Bundesrepublik mit lebenslangem Zuchthaus bestraft [26].

7 мая Лийне Хююдма записывает в дневнике:

«Кто сегодня еще живой, может, того пуля войны уже не убьет.

8 мая.

Ох, какое чувство. Мир.

...но неизвестно, что он нам принес. Странно, раньше бы не поверила, что в последний день войны на душе будет еще тяжело. Раньше я представляла это себе только радостью».

В 1945—1948 годах, судя по архивным документам, на Сырве вернулось 2908 человек. Это чуть больше половины увезенных.

Говорят, что нет таких мест, которые мы покидали бы без сожаления, что даже тех людей и те места, которые сделали нас несчастными, мы оставляем с болью в сердце.

Отчаливая на маленьком белом катере с пассажирской пристани в Гданьске в сторону Вестерплатте, где началась вторая мировая война, я сидел в плетеном кресле на корме катера, чтобы видеть все причалы, с которых в осенней стылости 1944 года сырвесцы смотрели на «обетованную землю». Отыскивая взглядом старые каменные сараи, где тогда спали, я терпеливо ожидал, что меня охватит внутреннее волнение, стресс, трепет,— я не ощущал ничего, кроме сырости воды и прохлады северо-восточного ветра.

Я не знал, под какой крышей простудился ребенок Марии Каю, я знаю только, что в другом конце сарая были сложены торпеды.

Кто может сказать задним числом, что именно между этими стенами мой отец помогал по вечерам снимать со стула на колесах и укладывать на солому старого латыша, который бредил и без конца звал своих сыновей.

Я проплывал в акватории большого порта между множеством судов из различных стран. Ждал какого-то особого душевного состояния, но ощущал лишь сырость и прохладу северо-восточного ветра.

Я спустился с кормовой палубы в салон, купил бутылку пива и уселся боком к четырехугольному иллюминатору.

Тут было тепло, пиво умиротворяло, за стеклом проплывали длинные причалы и большие суда. Было приятно и хорошо, и вдруг я почувствовал фальшь в своем стремлении во что бы то ни стало ощутить себя участником тех далеких событий, из которых я помню лишь ясную лунную дорогу и ядовитую зелень снарядного взрыва — ничего другого.

---

[26] У б и й с т в о: преднамеренное убийство человека при определенных отягчающих обстоятельствах, например жажде наживы, вероломстве, жестокости, для сокрытия или осуществления другого преступления, удовлетворения телесной похоти; наказываются в ГДР смертной казнью или пожизненным заключением, в ФРГ — пожизненным заключением.

Здесь мне, укрытому от ветра и защищенному от сырости, было хорошо.

Я был в Гданьске, в красивом портовом городе, где на Длуги Тарг есть кафе с теплыми красными занавесями.

Ничто не напоминало о войне.

Вдали прогудел пароход, и сирена, прорвав на мгновение над рейдом воздух, растворилась и угасла, будто ее и не было.

В тот день Хермана Теху и жены Хиндрика Прууля уже не было в живых.

Похоронные на майора Вольта, капитана Эйнало и рядового Зоганова отосланы.

Лийне Хююдма еще жива и ведет дневник.

Юхан Саар оставил в немецкой земле восьмилетнего сына Сиймеона.

Полковник со своими солдатами шагает через Латвию в сторону Эстонии.

Капитуляция в Карлсхорсте подписана.

Все должно бы остаться уже позади, но и в этот бесконечно долгий майский день женщина идет все дальше на восток.

Она вышла с острова Рюген. Середина мая, на Сааремаа она попадет 28 августа, но сейчас она об этом не знает, и особое удовольствие, получаемое от движения, лишь подстегивает ее.

Она идет позади сидевших на телеге сырвесцев, она ступает босиком по обжигающему асфальту и не может сойти на обочину, потому что катит перед собой детскую коляску. Асфальт просто плавится под палящим майским солнцем, так что даже легкая детская коляска оставляет за собой следы, но подошвы ног привыкли, потому что не первый день так идут и не последний, и хотя порой ей хочется попроситься на попутную машину, но нельзя — машины не задерживаются, а ей нужно молоко: выпросить, выменять или подоить бездомную корову — что дашь другого двухнедельному младенцу, грудью не накормишь, не ее это ребенок. Ее сын уже взрослый человек и воюет в Советской Армии, а этот здесь только народился, малый и слабый, все время хочет есть.

Стоит середина мая, обоз сырвесцев движется на восток, лишь 28 августа они будут дома, где их ждут последние известия этой большой войны. Итак, в этот день Мария Тийтсон еще не знает, что родного сына у нее нет, он погиб под Великими Луками. Он остался лежать лицом в снег, головой на запад, там был его дом, там, за огненной стеной, которую надо было прорвать, чтобы попасть на Сырве.

Война берет где только может, но в тот день Мария Тийтсон не знает, что пройдет еще несколько асфальтно-огненных солнечных кругов и перед глазами уже встанет лежащий в руинах Штеттин, когда она схоронит на окраине города чужого ребенка Пээтера, которого хотела довезти до Сырве и вырастить. Его зароют на окраине большого дымящегося города...

Сейчас полыхает ясный высокий майский день, война окончилась, мертвые пересчитаны, и бездомные спешат к покинутым очагам. Мария Тийтсон не может сказать, к какой нации причислить этого крошечного ребенка. Она, мать и кормилица,— эстонка, кругом эстонцы и говорят на своем островном наречии, и разве не правильно было бы считать его сырвесцем — что из того, что настоящая мать — украинка и отец — поляк...

Он — ребенок вывезенных на чужбину родителей.

Молоденькой украинке понравился одногодок — польский парень, обоим меньше двадцати, оба без родителей, оба рабочая сила рейха.

Чужой эстонской женщине доверилась девушка.

— Мария, ты моя мать,— сказала она.

Со слезами явилась она к матери, когда прошел слух, что девушек, наживших в Германии детей, на родине больше не ждут.

Как она объяснит, что ребенок нажит не с немцем, а с поляком?

Кто ей поверит?

Говорит, и плачет, и смотрит на Марию, говорит, и плачет, и смотрит на мать...

И вот теперь она идет на восток по раскаленному асфальту; день рождает впереди марево, казалось, будто на черной ленте дороги вдали сверкали лужи.

Была середина мая, домой, на Сырве, Мария попадет 28 августа, и откуда ей было знать, что дом сгорел, она катит детскую коляску и приближается к дому...

Перевел с эстонского А. ТАММ.

СУЛЕЙМАН РУСТАМ

★

Я НЕ УСТАЛ

С азербайджанского

Мне говорят: «Уж как ты там ни смейся,
а мы с тобой отнюдь не молодежь;
не без усталых в нашенском семействе,
так отчего же ты не устаешь?»

Пусть от поэта песенного чина
вселенная услышит, в чем причина
того, что не устал он, не зачах:
я отражен был в зеркале народа,
со мной дружила слов его свобода,
я видел солнце в ленинских очах —
да, потому-то я и не устал,
пусть знают все края — я не устал!

Я, как поэт с распахнутой душою,
живу народной доблестью большою,
гляжу сквозь Революции кристалл!
На всех путях мне все народы — братья,
и руки трудовые пожимать я
не устаю, доселе не устал!

На глади Каспия в зеркальном штиле
и на челе изборожденном или
на белизне листков календаря
читаю: мне усталость не досталась,
мир постигать, преодолев усталость,
все годы напролет учился я.

Вернуться в юность не спешу я снова,
я в жизни не искал пути иного,
я был частицей партии моей,
и хорошо ли, плохо ль жизнь сложилась,
а сердце вдохновенья не лишилось,
и столь же ярок свет живых идей.

Нет, я в разладе не бывал с судьбою,
ведь каждый день я брал победу с бою —
ведь в океан волшебного стиха,
ловец поэм, свои бросал я сети;
я не устал творить и жить на свете,
я не устал — и в этом нет греха!

Всю жизнь сплетал и вновь сплетать я стану
венец советскому Азербайджану;
усталости сумел противостать
я, повелитель сладкозвучной речи,
груз старости не ляжет мне на плечи,
народа сын — я не могу устать!

ГРЯДИТЕ ВСЕ ПОД СЕНЬ МОЮ!

Как вольно дышится весной,
когда в устах зачины песен,
когда в тепле еще не зной
и мир особенно чудесен.
Костюм покамест не готов,
зато задолго до рассвета
сорочку полевых цветов
кроит мне белошвейка эта!

О счастье мне поют стихи
в рассветном луговом безлюдье,
и, как кузнечные мехи,
весну я всей вдыхаю грудью.
Звенит мой тонкострунный саз,
и что ж, что мне давно за двадцать,—
весна в усмешке губ и глаз,
нельзя весне не улыбаться!

Пахну́ла небом мать земля,
цветеньем ласковым дохнула —
вновь запылали тополя
в звучаньях песенного гула,
журчат живые родники,
и туч громовых поединок
низводит молний огоньки
в сладчайшем лепете дождинок.

Опять певуний череда
и сад цветеньем озабочен,
и землю нюхают стада,
где подорожник у обочин.
В горах весна, на промыслах
весна, и вешнее приволье
в селе, где весел каждый шаг,
где маки зреют на подоле!

Вновь белый лист душою чист,
где рифмы, ритмы в пляске странной,
где вновь я вестник и горнист
моей весны, весны желанной.
И словно слышу я наказ
весны — не гомон суеслова,
а блеск весенних губ и глаз
иль колдовство живого слова.

Весна ласкает и торит
тропу в душе. И вновь я пристань

весны — ее волшебный ритм:
вновь стал я деревом ветвистым.

Я — вешний с головы до пят,
я весь окутан птичьей трелью:
приди, сестра, гряди, мой брат,
в отчизну майственно-апрелью!

Я сопричастен бытию,
меня унынье не тревожит,—
грядите все под сень мою,
кто молод и влюблен, быть может!

ГОДЫ

Исчезнувшие годы — не музей,
Где под стеклом отрады и невзгоды.
Наперекор врагам в кругу друзей
Прошли мои сверкающие годы.

В земле родной, в моих стихов саду,
В густой траве, а не в холодном пепле
И у всего народа на виду
Они преобразились и окрепли.

Привыкли отворять любую дверь,
В сердцах звуча, в глазах друзей читая,
И все они как есть со мной теперь —
Вот потому-то я их не считаю!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

НАТАЛЬЯ АСТАФЬЕВА

★

ПОМОЖЕТ СЛОВ ЖИВАЯ СВЯЗЬ...

Поможет слов живая связь
мне удержать мою любовь,
что надо мною пронеслась,
как отраженье облаков.

И удержать живую жизнь,
самодвиженье бытия...
И будет кровь в строках кружить,
хоть нет меня и нет тебя.

КАВКАЗ

Повис в горах заснеженный ручей,
поток камней остановился в беге,
и спутник мой устало о ночлеге
уже твердил,
стучась ладонью в дверь.
Вставала жизнь, как горная страна,
и полз валун по глине через тучи,
и обрывались альпинисты с кручи,
и осыпались в землю семена.
Как звезды, раскрывали лепестки
цветы колючие и просто голубые.
А на вершинах гор снега слепые
преобразило время в ледники.
Прошла война — так думал человек:
гора лежала, как разбитый череп.
Внизу, на дне Черекского ущелья,
сорвавшись с неба, пенился Черек.
Но к сердцу мне припал Донгуз-Орун,
большой хребет, сияющий на солнце,
и озеро продолговатым глазом
из ледника глядело на меня.
Мы шли туда,
где вечные снега,
где солнечные скалы и поляны,
где пьют туристы пузырьки нарзана,
пружиня на локтях у родника.
Где пастухи едят овечий сыр
и смотрят из-под шляп широкополых,
и облака висят на скалах голых,
и горы ограничивают мир.
И человек,
затерянный во льду,
где вмерзла кость медвежьего оскала,

глядит в небесный глаз, зажатый в скалах,
небесным глазом, вспыхнувшим во лбу!

***

Люблю я жизнь больше стихов
и больше всех любимых.
И теплый дождь среди цветов,
и снег в ветвях рябины.

Люблю, и жаль мне уходить,
с землею расставаться,
мне все глядеть бы, и любить,
и не налюбоваться.

Зеленых речек перезвон,
и клейкость листьев вешних,
и лес, растущий в небосклон:
ольха, сосна, орешник.
И посвист птиц, и писк птенцов,
и с пищею болотца,
и соло славок и скворцов
над зацелованным лицом
земли в объятьях солнца.

***

Недаром так поют в оврагах птицы,
над лесом — половодье голосов:
обмениваясь пищей из зобов,
все к таинству стремятся причаститься.
На ветках реполовы и чижи
торопятся нектаром обменяться.
Рябинники на гнездах суетятся,
описывая в небе виражи.
Наперебой расхватаны макушки,
и каждый здесь соперник и солист,
и горлышко, как на осине лист,
дрожит у соловья и у кукушки.
Но все сливается в один могучий хор
согласных — и свистящих и шипящих —
и гласных, но согласно с гор катящих
весенних песен яростный напор.
Варакушек, под деревом жужжащих,
малиновок, взлетевших на забор,
и чижиков, щебечущих свой вздор...
Птиц неумолчных радостный задор,
в согласии своем одну любовь хвалящих.
И дятлы барабанят, дрозд поет,
и растревоженно кричит удод,
и в колокольчики звонят синицы...
И нам с тобой пора поторопиться,
пока еще источник сладкий бьет,
пока нектар нам заливает рот
и жизнь-любовь трепещет в нас, как птица.

ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН

★

РАССКАЗЫ

Родительское собрание

1

Кажется, совсем еще недавно жили они в Докучаевом переулке, в кривеньком этом и дряхлом переулке, который вытекал на шумную, узкую, тесную Домниковку, веселую, привокзальную, чуть шальную Домниковку, ныне нареченную улицей Маши Порываевой. Но пришел конец переулку, да и всем переулкам в окрестности. Да и всей Домниковке почти тоже пришел конец. Так и не стала она по-настоящему улицей Маши Порываевой, героини Отечественной войны. Начала было выравниваться, обстраиваться, в зачине и истоке своем обзаведясь новыми домами — в зачине высотной гостиницей «Ленинградская», в истоке военной гостиницей,— да вышло решение проложить через нее Новокировский проспект. А проспект — это уже не улица, это все равно что на лесную тропу наложить магистральное шоссе. Прощай, Домниковка, прощай, Докучаев и все окрест переулочки-закоулочки с трухлявыми, изжившими свое домами. Здесь все новое будет. И проспект и все, что вблизи него. Дома-великаны встанут. Засверкает все. Поширится. Спрямится. Года три пройдет — придешь в эти места и не узнаешь ничего. Пожалеешь, что снесли? Да как сказать. Уж очень много трухи тут было. Время пришло сносить. А если чего и жаль станет, то не домишек этих погнивших, а двориков с тополями и тишины в этих двориках. А если чего и жаль, так юности своей. Но ее ведь не вернуть. Отшумела.

Еще нет никакой привычки к новому месту, к этому дому в шестнадцать этажей на бугорке и к этим белым стенам куда ни глянь. И к этому лесу совсем рядом, куда вшагивают новые корпуса. Москва ли? Все тут с иголочки, все тут непривычно глазу — нет, не угадывается тут Москва, та, где вырос, где столько лет прожил. А ведь Москва. И эти вот стены из стекла и бетона — они тоже Москва, оказывается. И надо привыкать тут жить. Женщины уже и привыкли, у них с этим быстрей. Им тут все по сердцу. Еще бы! Отдельная у каждой семьи квартира. Ванна. Кухня в пластике, балкон, а то и два. Магазины имеются. Не палатки, а великаны. И химчистка. И прачечная. И детский сад рядом. И школа. И машины подле домов не снуют. Женщины всему этому рады. Да и он, Николай Андреевич Чижов, тоже рад. Он что — не человек? Ему тоже ванна по сердцу, хотя и привык ходить в баню. И балкон ему мил, он там клетку с кенарями установил, удочки в углу поставил, всякая там снасть рыболовная сложена — польза от балкона явная. Да и обзор с него дай боже какой. Выйдешь — и весь земной шарик перед глазами. Ну, не весь, конечно, а порядочный все же кус. И хорошо, чего говорить, что сам

с семьей хозяин на кухне, в комнатах не тесно, в коридоре есть эти вот антресоли, удобнейшая штука, вроде как бы чулан, но на новый манер. Все хорошо, всему рад на новом месте Николай Андреевич. Да только вот скука. И даже не то чтобы скука, а какое-то одиночество. Скучать не приходится, квартиру надо обихаживать — там прибить, там подкрасить, на кухне, к примеру, весь линолеум перестилать пришлось. Нет, дел по дому хватает, и приятные отчасти эти дела, хоть и много мороки. Приятные, потому что — свой угол, своя совсем квартира, куда ни сунься — все для тебя, везде ты хозяин. Шутка ли, за сорок уже перевалило, а собственная квартира вот она, первая за всю жизнь. И у родителей не было, приехали в Москву из деревни, спасибо хоть комната перепала от завода, а сперва в бараке пришлось жить. Там Николай и родился. Москвич. Коренной. Но вот только нынче зажил своим домом. В одной комнате дети, в другой он сам с женой, своя кухня, все свое. Приятно это, радует. Порой и ночью вдруг подкинет, чтобы глянуть, как это все тут у него, комнаты эти, кухня и прочее. И ходит, ходит, страшась разбудить жену, детей, подолгу стоит у широкого кухонного окна, смотрит в ночь. Покуривает и смотрит. Не так уж и темно ночью за окном. Фонари, огни куда ни глянь. И какие-то все улицы поразбежались в разные стороны. Вот ведь, москвич, а не знаешь этих улиц. Будто в чужой город переехал. Да так оно и есть на деле-то, что в этих местах он и не бывал никогда. Может, проездом только, но не запомнилось. А теперь все тут его — и магазины, и парк, и кинотеатр, и пивной бар, и новый цирк неподалеку, и крытый рынок, до которого тоже близок путь, а если, поразведав, спрямить дорогу между домами, то и совсем близок. Хорошо тут. Смотрит, смотрит в окно Николай Андреевич, покуривает и сам к себе прислушивается не без удивления. Хорошее что-то в нем звучит, какая-то музыка, хотя какая же в человеке может звучать музыка, не оркестр же внутри? А вот звучит. Тихонечко, правда, не разобрать про что, а звучит. Это — радость? И мысли тоже наособицу в нем в эти минуты. Они и есть и вроде их нет. Неторопливые, не спешат поменяться — одни, все одни и те же, все про одно и то же. Хорошо, мол, хорошо здесь — вот и все мысли. Сигарета отдымила, а мысли все те же. Отошел от окна, вернулся, а мысли все те же. Хорошо тут, хорошо...

Да, а вот скучно. Дел много, а скучно. Радость на душе, а и скука там же. Как это так? Отчего?

Должно быть, оттого, что сразу вдруг приятелей всех порастерял. Кто еще там остался, в Докучаевом, на Домниковке, а кто тоже на новые места укатил, да только, жаль, не сюда, а совсем в иные московские края. Жаль, что так вышло. Жаль, что в разбивку квартиры дают обитателям старых домов. Снесли дом — вот бы и селить потом всех его жителей в одном месте. Да где там. Разброд начинается у переселенцев, по-разному всякая семья прикидывает. Кому один район надобен, кому другой. Кто на такую квартиру согласен, кто на иную. Пока торгуются со всякими там инстанциями, катаются по Москве со смотровыми ордерами, пока упорствуют, выдерживая и нажим и форменную осаду, глядишь, а уже и нет закадычного какого дружка, съехал, поддался или добился своего.

В один распрекрасный день и он тоже съехал — уехал. Сам-то он не хотел в этот район, далековато казалось. За то голосовал, чтобы поближе к центру, и еще за то, чтобы с дружками кой-какими все-таки не расстаться. А вот жена вдруг взяла и решила. Известно, жены мужскую дружбу, товарищество мужское понять не умеют. Им смешно или досадно, когда муженек весь выходной с приятелями у пивного ларька проторчит, им не понять, что это за дела такие у их благо-

верных во дворе, что за радость в этом «козле» проклятом, в этих спорах про хоккей и футбол. Вот они и досадуют, исхитряясь порушить эту мужскую компанию где смехом, а где и криком. А тут как раз случай вышел, что можно в разные концы Москвы разбежаться, всю эту дружбу-пьянку в миг один разметать. Жены и ухватились за этот случай. И так все обделали ловко, что и двух дружков вместе в новых домах не найти. Врассыпную по Москве всю компанию пустили. Кто где — и адреса нет. Да хоть бы и был. Приятель тогда приятель, когда рядом. Вышел во двор, а он тут уже. И другой, и третий. «Привет!» — «Привет!» — «Закурить есть?» — «Найдется». А если вот Колька Чиж тут, а Ванька Косой за двадцать километров, так это все одно что в разных городах они поселились, даром что считается, что живут в одном городе. В одном, да концы велики. Ну, а по телефонам переговариваться — это жены умеют. По телефону от сигареты не прикуришь и кружкой о кружку не цокнешь.

Конечно, на новом месте и новые друзья заведутся. Будет это. Да когда еще. И уж не те. Те-то смолоду заводились, когда друзьями только и обзаводятся. А там, потом — это уже не друзья, а знакомые, соседи. Поговорить — можно, даже кружечку распить можно. Но за плечами-то у этого приятельства нет ничего. Ни случаев никаких, когда дружба проверялась, ни опасности молодой, какую вместе отведали, ничего, ничего, что память бы сберегла. А без этого — какая уж дружба?

Вот и выходит, отъехал за десяток-другой километров, в том же городе и остался, а все не так, все не то. Будто кончилось что-то в твоей жизни и началось что-то. Радостно на душе, но и смутно. И не понять себя, этого тумана в себе, кури не кури.

А во дворе — да какой там двор, только название что двор, а это площадь целая, и вся она как на ладони, кустики редкие, деревца чахлые,— во дворе этом если и погулять, так только малым ребятишкам. Им тут и песочек приготовлен, качели поставлены. Добро бы качели, а то так — детский какой-то агрегат, не взлететь, но и не упасть по-настоящему. Да и во двор не выйдешь, а если и выйдешь, то затем, чтобы мимо пройти, пересечь для дела — в магазин там, в прачечную, в библиотеку. Постоять на этом дворе и в голову не придет. Зачем? Детский садик под открытым небом.

Там, в Докучаевом, что ни подворотня, то сразу и двор за ней. И в каждом дворе посидеть можно, поговорить. Идешь, а тебя окликают: «Колька! Чиж!» Даром что «Кольке», «Чижу»-то, за сорок. Да и окликателям иным и поболе. А все — Колька да Колька. И ты тоже в ответ: «Здорово, Сашок!», «Привет, Хмурик!» А Сашок уже лысый, а Хмурик — седой, и борода седая, не бреется, вишь, наш Хмурик по неделям. Скажешь, пошутишь: «Смотри, Хмурик, как бы в хиппи не зачислили. Видал по телеку?» «Видал, не зачислят. Меня наш участковый отстоит».

Так на улыбочках, на шуточках и идешь от скамеечки до скамеечки, от двора к двору. Там посидишь, тут посидишь — если и не главных приятелей встретил, то уж наверняка хороших знакомых.

Дома вокруг, что говорить, старые, трухлявые, теснота в них, да зато есть с кем словом перемолвиться.

А здесь... Хорошо здесь, но...

День нынче был у Чижова пустым пустой. Он в вечернюю заступал. Поспать бы, да не спалось. Все похаживал по квартире да покуривал. Все вот радовался да грустил. Так и солнце встретил. Царит оно тут, светило это, особенно когда выкатится из-за высокого дома в четырнадцать этажей. И ты тоже не низко стоишь, и ты тоже на десятом этаже. И все видать преотлично, как вдруг загораются стекла

в домах, красными делаются, как при пожаре,— это в дальних домах, где солнце уже показалось. А рядом пока только кромка над крышей закраснеется, только отсвет красный. И вдруг... На Докучаевом такого не было. Там домишки друг друга так обступали, что и днем в ином углу сумерки. День — вот солнце. Вечер — вот и нет его. Обыкновенно. А тут все торжественней. Потому что стены белые, высокие, дома просторно стоят. Минусов своих тут хватает, сквозняки от этой шири, дворов настоящих нет, до магазина бежать да бежать, до работы ехать да ехать — минусов хватает. Но и плюсов много. Их и перечислять нечего, они — вот они, перед глазами. Только в деревне или на рыбалке доводилось Чижову увидеть такое солнце. Но чтобы в городе... Нет, в городе такого солнца он не припомнит. И себя таким не припомнит. Вот стоит у окна, распахнув его торопливой рукой, вот дышит всей грудью, дивясь, что так сладок, так чист воздух, и смотрит, смотрит на солнце, дивясь ему, дивясь и себе, той тишине и радости, которую вдруг в себе ощутил.

— Что ты, Коля?! — тихонечко позвал себя Чижов.— Вроде и не пил вчера... Да нет, не то говорю...

Смутился Чижов от этих слов вслух, еще более от этого волнения. Ну, солнце взошло. Что за диво?! И верно, ничего особенного, если посмотреть спокойными глазами. Вот как сейчас. Да еще и во двор этот поглядеть с детскими качелями. Пусто там сейчас. Ни души. В Докучаевом по дворам уже старушки на солнце повыползали. Там уже беготня всякая началась, покрикивают из окон, кто здороваясь, кто бранясь. Тут не покричишь, не заведено. Того гляди еще и оштрафуют, если гаркнешь приятелю. Да и незачем гаркать, нет их, приятелей.

2

Он все же вышел во двор, на эту самую площадь между домами. Приостановился, оглянулся на свой шестнадцатиэтажный белостенный дом. Пришлось даже голову запрокидывать, будто на гору смотрел. Надо же, и он живет в этом доме. Вон он — балкон их. Как раз отворилась дверь и на балкон вышла жена. Его не видит, на солнце глядит. Радуется, наверное. Она, Маша его, как переехали сюда, совсем другой стала. Улыбается все и голос потише. Вслух не признается, даже критикует многое, особенно что магазины не такие удобные, как на старом месте, но про себя-то рада, и эта радость ее видна. И ребята тоже ворчат, чего-то им тут не хватает, но — рады. Да им и нельзя не радоваться. Школа под боком, вон она — их школа. И светлая, и новая, с дармовыми почти завтраками. Чего им еще? И спортивный зал имеется при школе. Вон, особняком стоит. Прямо дворец из стекла. Это для Степки, для сына, да жаль, он к спорту не тянется. Ничего, приохотится. Парень ведь. А для Катюши, для дочки, при этой школе, говорят, есть танцевальный кружок, самые настоящие балерины преподают. Катя у него плясунья. На месте не постоит. Посуду на кухне и то вприпрыг моет. А что, может, это в ней талант сказывается? Кто это так же вот — все прыгал, прыгал, а потом и знаменитостью стал? Запамятовал, про какую балерину по телевидению рассказывали,— так же вот с малолетства все плясала, плясала и в лауреаты выплясалась.

Дети... Не заметил, как подросли. Степану четырнадцатый, Катюше десять. Совсем недавно юбилей этот справили. Как же, десятилетие. Нынче что ни круглая дата, то и юбилей. А Чижовы не хуже других. Крепко попраздновали. Это еще там было, на старом месте. Так попраздновали, что мужички все в лежку. От песен стекла дрожали. Весь двор гулял. Правда, нехорошо вышло, что совсем про ребят за-

были, празднуя. Юбиляршу свою он тогда совсем из внимания упустил. И ее гостей-подружек тоже. Сперва с ними, с ребятней, был, а как выпил, так и запамятовал, ради какой радости собрались. Жаль, конечно, что так вышло. А все-таки отпраздновали дочкин юбилей, не поскупились, ни одного соседа не обнесли, весь двор гулял.

Здесь так не погуляешь. Эти четыре домика угостить — миллиона не хватит. Новыми. Здесь и за целую жизнь со всеми не перезнакомишься. Из стекла все, на виду будто бы, ан нет. Уж очень дома велики. Мало тебе, что есть у дома номер, еще номер корпуса есть, да еще номер подъезда надо знать, а то как раз лишний километр прошагаешь, да и какой этаж — тоже надо знать, чтобы сообразить, на какую кнопку в лифте нажать. Да плюс номер квартиры. А там, в Докучаевом, только спроси: «Где тут Чижов Колька обретается?» И всё, и всякий укажет. Чижов... Колька... Ну, конечно, не Колька, а Николай Андреевич, Колькой его смолоду звали, а если и сейчас так зовут, то по дружбе, в силу давнего приятельства. У себя на заводе он давно Николай Андреевич. И не Чиж уж подавно, а товарищ Чижов. Чиж — это тоже от молодых лет осталось, от приятельства. Там, в Докучаевом, с самого детства он в Чижах начал гулять. Привыкли. Он и сам привык. Чиж так Чиж, Колька так Колька. Даже сын с дочкой иной раз так его окликали. Это с досады если. С досады чего только в семье не говорится, всякое слово в строку ставить — жизни не будет. Так-то оно так, конечно. Но вот мать свою они Машкой не называют. «Мама Маша» она у них. Вот ведь как. Что-то кольнуло в сердце, ворохнулось сердце от мысли хмурой, неясной. И вспомнилось — он про это еще со вчерашнего дня все время помнил, но помнил, да в сторонку отодвигал,— а тут всерьез вспомнилось, что надо ему сегодня к двенадцати часам быть в школе, что вызван он туда на родительское собрание. Именно он вызван, отец. В Докучаевом его в школу не вызывали, мать всегда вызывали, отца — ни разу. И прочих отцов, кто из приятелей, их тоже не вызывали, а все только жен. Так и установилось там. Мол, за детишек в ответе матери. А мужички и рады. Хоть и взрослые, а школа все равно страшит. Двоечки, «неуды» эти, до сих пор во сне снятся. «К доске, Чижов, к доске». А что — к доске, когда он за учебники не брался. Некогда было. То голуби, то по дому дела, то каланчевских надо отваживать. То то, то сё. «Ну, ступай, Чижов, двойка». И ладно, отец бы только не узнал.

Чижов проследил глазами путь до школы. Неужели Степан успел набедокурить? Ведь и месяца не прошло как занятия начались. Да Степан и не из шумных у него, не из проказливых. В мать, должно быть. А вот Катя — она в него. Надо же так, из-за сына никаких забот, а дочка — сорванец сорванцом. Перепутаница какая-то вышла, если по-заводскому, не тот металл не в ту форму залит. Сын за книжками, а дочка по двору гоняет. И все прыг да скок. И в обиду себя не даст. Нет, она не даст. А сын? Мало он знает о своем сыне. Что тихий, это еще ничего не значит. Без причины в драку лезть вовсе и не обязательно. А все-таки какой он, как поведет себя, если случится причина? Рядом сын, а отцу вот неведом. Как-то так вышло, что вместе они почти не бывают. А если вместе, то только перед телевизором. Тут у них общий интерес. В хоккее — ЦСКА, в футболе — «Торпедо». Ну еще и за баскетбол сообща болеют, за сборную страны. Дочка тоже тут с ними. Только она еще и за фигурное катание болеет. За Роднину, за Ковалева. Да, у телевизора они вместе. Мать тоже на минуточку присядет. Ей тоже объяснять не нужно, кто такой Харламов, а кто Блохин. Вот тут они все вместе, когда ящик включен. А когда выключен?..

Путь до школы был недолог. Через площадь эту ребятня уже успела проторить свои стежки-дорожки. Они были проложены по строгим прямым от каждого дома. Узенькие тропки, в одну ступню, с невытоптанной, а только примятой травой. И, как стрела, прямые. Некогда им, всякий шаг на учете, всякий миг. Ну, народ! И все бегом, бегом. А куда спешить? Вот он тоже бегал, тоже дорожки прямил. Ну и что же, куда прибег? Какие такие итоги у него на сегодняшний день имеются?

Чижов замедлил шаг, чтобы легче было подумать, чтобы мысли не сбивались. Об итогах ему думать еще не доводилось. Внезапно как-то думы эти его настигли. Вот тут, на новом месте, вот посреди этой в ветреных завертях площади. С чего бы? Не старик еще, чтобы бабки подбивать.

В школу было рано, даже в магазин было рано. А в магазин-то почему рано? Вон, работает, двери стеклянные настежь. Он вдруг сообразил, что для него магазин открытым считался, когда водочный отдел открывали, стало быть, с одиннадцати часов. Он вдруг понял, что, того не желая, примкнул к стану тех добрых молодцев, что по утрам толкутся у дверей продовольственных магазинов, ожидая своего заветного часа, барабанных этих палочек, одиннадцати часов. Но ведь не был же он алкашом, прости господи, не из этих вот «детей солнца», как их прозвали в народе, поскольку к полудню ближе они только и оживлялись? Ну выпивал, ну порой, если с приятелями, и помногу выпивал, но ведь не так же, как эти вот, что толклись. И на вот, как и они, отсчет магазинного времени вел с одиннадцати. И до девятнадцати? Он вдруг глянул на все вокруг как бы со стороны и в огляд этот свой и себя вместил. Вот идет не рослый, но и не низенький, в плечах широкий, руки увесистые — работяга, одним словом. Костюмчик на нем вполне приличный, польский, за сто тридцать, сидит как пригнанный. Туфли тоже вполне приличные — что у него такие, что у какого-нибудь профессора, — чешские туфли, с женой выбирали, а у Маши вкус замечательный. Вот идет, ну, правда, галстук не модный, не лопатой, но не мальчишка ведь, сорок переступил. Вот и кудри уже не те, пополз лоб в наступление. Ничего, глаза еще синеву держат, зубы еще все свои. Еще если улыбнется да вскинет брови, так иная продавщица и про весы свои забывает. Девчата на заводе, хоть не ровня он им, женатик и так далее, а в старики его не записывают. Это по глазам можно угадать. Девчата, если старик перед ними, глазами ему об этом скажут. Глаза у них вперед слов говорят и не врут, как слова иные. Нет, девчата на работе его еще глазами не жалеют, они его еще и побаиваются. Схватит иную, поднимет над головой — визг на весь цех. Не стар, чего там. И силенка еще дай бог какая имеется. И мозги варят. И руки смекают. На заводе, в цехе знают — Чижов сделает. «Инструментальщик милостью божьей» — вот про него как один старичок инженер выразился. Забавный был старичок, таких теперь только в кинофильмах показывают, когда спецов изображают в первые годы после революции. А старичок этот еще и поныне жив, на завод захаживает. «Береги себя, Чижов,— сказал он ему, когда уходил на пенсию.— У тебя талант, руки у тебя умные. Смотри, чтобы от водки не затряслись. Стыдно, горько мне будет за тебя». Вот какой старичок. «Нет, Олег Сергеевич, руки у меня не трясутся, вот посмотрите...» — Чижов протянул перед собой руки, чуть что не вымолвив эти слова вслух. А руки-то как раз и повело. Не то чтобы они тряслись у него, нет, не тряслись, но и твердости в них привычной не было. Не выспался? Рано поднялся? Накурился?

Чижов продолжал смотреть на себя со стороны, вбирая себя самого в тот широкий огляд, каким глядел вокруг. Вот идет он, идет,

справный да ладный, не старый еще, с профессией, семейный, двоеребят у него хороших, жена хорошая,— идет, может, в магазин, а может, просто прогуливается, и вот зачем-то вдруг руки вперед выкинул, на руки свои зачем-то воззрился. Что за человек? Что за странность в нем? А это Чижов, Николай Андреевич, слесарь-инструментальщик наивысшего мастерства, местный житель, проживающий вон в том доме-великане в отдельной квартире. Удостоверьтесь, десятый этаж, пятый балкон от левого угла. На этом балконе сейчас его жена Маша стоит. Ничего не делает, просто смотрит, просто радуется, как высоко здесь жить, как просторно. А руки не трясутся у него, руки у него просто устали. Рано встал, не выспался, накурился.

Чижов подошел к магазину, к бесконечному стеклянному ряду, протянувшемуся на добрых два квартала, если по докучаевским меркам. А здесь этот магазин всего лишь половину первого этажа занимал всего лишь одного дома. Вон какой домик-то.

До одиннадцати было далеко, но Чижов, уже поймав себя на этой стыдной мысли, вошел в магазин, хотя покупать ничего не собирался. У него и сумки-авоськи с собой не было.

Он вошел в магазин, не решив еще, в какой отдел направиться, да ноги уже за него решили, повлекли его к винному отделу. Ноги или глаза? Бутылки-то не ноги приметили, а глаза. Но шагать-то начали ноги. Что же это, или он сам себе не хозяин? Глаза командуют, ноги распоряжаются. А ему-то сюда и незачем. Да и отдел еще закрыт, если уж по сути разбираться.

Отдел винный был закрыт, но возле прилавка, а точнее не возле прилавка, а чуть поодаль, какая-то все же да выстроилась очередь. Это была не стройная и упорядоченная очередь, а вроде бы кружок людей, но и не кружок, а скорее спираль. Знакомая картина! Вот они — жаждущие! Вот они, и здесь их насбиралось порядочно, в этом магазине из стекла и пластика, где чистота, и свет, и порядок.

Чижов всмотрелся в спираль-очередь. И из очереди в него вперили очи. Кто таков? Не знакомый ли?

Знакомых в этой спирали у Чижова не нашлось. И его никто не признал. Но его и не отвергли. Что-то все же углядели в нем вперившиеся очи, какую-то приметину, а может, и не одну, что позволило иным из спирали поверить, что мужичок этот, по-воскресному справный и плавный, держит путь именно к ним.

Но Чижов, угадав, что его вроде бы за своего тут признали, этому решительно воспротивился и круто сразу поворотил к другому отделу, где выставлены были торты, конфеты, печенье. Он деловито подшагнул к гнутому стеклу, за которым была выставлена вся эта благодать. Он прикинул, а не купить ли чего, хотя уже и не помнил, когда последний раз покупал в кондитерских магазинах. Сладкое — это было Машиной заботой. Как, впрочем, и все, что касалось закупки продовольствия. Он же, глава семьи, отряжался, да и то не часто, для покупки рыбы, поскольку был рыбаком, для того чтобы выбрать настоящей баранинки, когда — давно не затевали! — выезжали всей семьей за город, где и жарился шашлык, который, считалось, он был мастер готовить. Ну и, конечно, его заботой было заготавливать винцо к праздничным дням, когда ожидались гости. Вот и вся магазинная служба, какую нес он в семье. А та служба, какую нес он перед товариществом, когда по-быстрому распивалась меж друзьями бутылочка,— так разве то была служба? Миг всего — и весь припас в руках. Один за водкой, другой за колбасой, третий в кассу. Артелью пить, артелью и покупать. Вот они, артельщики, ждут своего мига.

Чижов только глаза скосил в ту сторону, где вилась спираль и негромкий шел гудок голосов. Смотри-ка, уже столковались, перезна-

комились. А ведь, наверное, из разных мест народ, сборная команда со всех московских улиц, где нынче рушат старые дома. Интересно, о чем у них разговор? Никто никого не знает, чужие друг другу. Какой уж тут разговор? Чижов равнодушно отвел глаза и снова стал рассматривать кондитерскую витрину. Изобильной она была. Иных тут сладостей он и на вкус не ведал. И уж не отведает, отохотилось. А когда-то любил сладкое. Любил, да ничего не было. Мальчишество его на военные годы пришлось, когда розовой липкой подушечке бывал рад как чуду, как подарку судьбы. Чижов поискал глазами, а нет ли тут, среди этого изобилия и богатства, его скромных розовых подушечек. Сперва не увидел, но вдруг — увидел, в самом углу, в самом низу. Он обрадовался, будто друга встретил. И, не раздумывая, ткнул пальцем.

— Сто грамм,— сказал он продавщице.— Нет, сто пятьдесят.

— Уж брали бы сразу пол-литра,— сказала остроумная продавщица, такая нарядная в своем белом халате и белом колпачке, что на нее зажмурившись только можно было глядеть.

— Вы это про что? — не нашелся Чижов, хотя обычно был боек на слово.

Продавщица только глазами повела — ну и глаза, синь-синева! — на спираль в винном отделе, а потом перевела взгляд на него, на Чижова. Мол, из тех ты, дядечка, не прикидывайся.

Обидно стало Чижову. Разве он прикидывался?

— Детство вспомнил,— сказал он, оправдываясь, хотя оправдываться ему было незачем.— Вот еще пряники... Серенькие такие... Есть?

— Эти? — Продавщица достала из-за спины на совке горстку пряников, тех самых, в сахарной глазури, сереньких, милых сердцу.

— Эти! — вырвалось у Чижова.

— Стакан или стопку? — продолжала зло шутить красавица.

— Давай стакан,— сказал Чижов. Девица ему разонравилась. Даром что сверкает, как майский день. А зубки вот с изъединой, и злые, кусачие,— лучше б не улыбалась.

Он взял свои кульки и пошел к кассе, к загородочке, где такая же сверкающая красавица уже ждала его, вперив скучающий взгляд в какую-то книжку.

Ну никак не умел привыкнуть Чижов к этим магазинам самообслуживания. Одно слово что самообслуживание. А проверка на проверке. Нет, что-то тут недодумано. И велика ли экономия? А обид сколько. У иной старушки на выходе всю сумку перетрясут. Со слезами уйдет. Выгода? Вот и его сейчас обсмотрят, не прихватил ли, случаем, к своим подушечкам да пряничкам и что-то другое. Обидно. Чижов не пошел к кассе, а двинулся вдоль рядов, решив, раз уж руки занял, так и еще что-нибудь взять, чтобы у кассирши не выглядеть мелочным покупателем. А что взять? И куда со всем этим? Сразу же и домой назад?

Он не заметил, как снова приблизился к гудящей спирали.

На него снова воззрились. И какой-то блистательно лысый, но моложавый человек, по-юному развинченный в движениях, по-юному поджарый, да, увы, не только лысый, а еще и сильно обеззубевший, быстро выдвинулся ему навстречу, дружественно протягивая руку.

Поздоровались, не представившись друг другу, поскольку все же не могли не понимать, что магазинное это было знакомство, из мимолетных, из безымянных, так сказать.

— Что это у тебя? — бесцеремонно спросил лысый-моложавый.— Что припас? — И длинным тонким пальцем колупнул обертку одного из кульков.—О, подушечки! Как угадал? Мои любимые! А это? —

И он колупнул другой кулек.— Прянички? — Он зорко глянул в глаза Чижову, а потом обернулся к спирали, возвещая: — Наш человек, с понятием! — Он подумал, поискал нужные слова, рукой даже в воздухе помахал, помогая себе: — Знает, одним словом, какая она такая жизнь. Изведал...

Затем он подхватил Чижова под руку и повлек его к спирали.

Что было делать? Не упираться же. Да и кульки мешали, прилипнув к ладони. Да и народ его сразу принял радушно, заулыбались ему навстречу, а этим пренебрегать нельзя. Люди к тебе с уважением, так и ты будь с уважением.

Как некое именитое лицо, здоровающееся по прибытии с дипломатическим корпусом, Чижов стал продвигаться по спирали, пожимая протянутые руки. А лысый шел за спиной, как то следует по протоколу, давая краткие пояснения, представляя. Вот бы послушать иному мастеру протокола, поучиться бы краткости и вместительности оценок.

— Наш, — представлял лысый-моложавый. — Может, — говорил он.— Устойчивый,— говорил он.

«Наш» и казался «нашим», тот, кто «мог» — действительно мог, если по виду судить, выпить сверх всякой меры, а «устойчивый» так по-моряцки стоял на крепких ногах, что уж, конечно, был на редкость устойчив и в свои шаткие минуты.

Про иных в спирали моложавый ничего не сообщал, обходил их молчанием. И это молчание было не менее красноречиво, чем слова. Стало быть, мелкота, нестоящий народ.

Обход был завершен, и Чижов оказался в извиве спирали, был вобран в нее, дабы ждать. Чего? Этих самых одиннадцати часов? Он возмутился и начал выбираться на волю. Но из этих плеч и спин не так-то легко было выбраться. Его не придерживали, а все же выходило, что удерживали. Он в дружеском оказался кольце, в дружеском плену.

— Куда спешишь? — спросил моложавый.— Все одно здесь это место единственное. Понастроили дворцов, а бутылку схватить человеку негде. Из каких мест сюда?

— С Домниковки. Ну, что у вокзалов.

— Знаю. Как не знать. Почти соседями были. Я с Самотеки сюда угодил. Надо же, берут людей из центра, урожденных что ни на есть москвичей, и кидают на опушку леса. Это надо же! А привычки? А друзья? А этот, как его, микроклимат?

— Верно, верно,— покивал Чижов, вдруг огорченно сообразив, что у этого закоренелого выпивохи такие же вот мысли, что и у него, те же, так сказать, неудовольствия. И он кинулся спорить:— А зато дома какие, квартиры. Чистота. Воздух. Метро сюда тянут. Народ из центра сюда просится, а не то чтобы...

Он горячился, спорил, а лысый-моложавый согласно кивал ему и улыбался, чуть что не поддакивал. С чем же спорить? Оказывается, и в защите этих мест они были единомышленниками. И минусы находили одни и плюсы одни. Да вот и рядышком у винного прилавка оказались. Чижов всмотрелся в своего собеседника, безмерно огорченный этими совпадениями. Чижов таких людей хорошо знал и, как ему казалось, сторонился их. Его друзья были иными. Хоть тоже и выпивали, а иными они были, иными. А какими? Ну, не облезлыми, не беззубыми, не такими вот быстрорукими. Нормальные люди были, уважаемый народ. А этого разве кто станет уважать? И глаза у него мутные и рука мокрая. И расхлябан как нерабочий человек.

— Работаешь-то где? — спросил Чижов, уверенный, что перед ним тунеядец.

— Как переехал, водопроводчиком здесь устроился,— охотно отозвался моложавый. — Далеко больно стало на завод ездить. Да все едино, что там железо, что тут. И техники тут не хуже, чем на заводе, понатыкано.

И чтобы покончить с разговорами этими о работе, которая свое время и без того забирает, моложавый, как две корочки паспорта, распахнул перед Чижовым ладони. Рабочие ладони оказались, с наплывами древних мозолей, с побитыми еще смолоду, когда учился, пальцами, с въевшейся в кожу соляркой.

— Да и ты, так думаю, не из интеллигенции,— сказал Чижову лысый-моложавый и сомкнул корочки-ладони, ставя точку этому их разговору.

— Не о том речь! — вслух вырвалось у Чижова.

— А о чем?

Чижов не ответил.

— А! Понял! — щербато просиял моложавый.— Нетерпеж взял, так? — Он оглянулся на часы над дверью, скорчил мину.— Да, долгонько еще ждать.— И вдруг заговорщически сощурился: — Есть выход! Есть тут одна...

И он потащил Чижова из очереди, прихватив с собой еще какого-то мужичка, совсем небольшого росточка, с бойким, развеселым лицом.

Чижов и упираться не стал. У его нового знакомца рука оказалась железной. Чижов порешил, что как только выйдут из магазина, так он отцепит эту руку. А пока он покорно шел вслед за моложавым. Тот сам подвел его к кассе, мол, плати за кулечки, а потом втроем они проследовали через стеклянные двери, и вся очередь-спираль проводила их глазами.

Сразу же у магазина Чижов прощаться надумал. Их еще видели из магазина, а Чижов наперед знал, что от спутников своих без борьбы не отцепиться. Ладно, он дал себя увлечь подальше, покорно дошел до угла, где стеклянная стена кончалась. А вот на углу остановился.

— Нет, друзья,— сказал твердо.— Мне сегодня пить не с руки.

— Да разве мы пить собрались? — Моложавый не собирался его удерживать, разжал пальцы. — Бутылочку на троих, разве ж это пить? Да еще бабенке, у которой разживемся, надо будет накапать. Разве это пить?

— Все едино,— упорствовал Чижов.— Мне к двенадцати на родительское собрание. Хорошо ли, водкой будет разить?

— На родительское?! — радостно изумился моложавый. — В нашу вот школу? — Он махнул в сторону школы.— К двенадцати? В помещении библиотеки?

Чижов кивнул.

— Так ведь и меня вызывают.

— И меня,— сказал бойколицый мужичок, и его круглые блеклые глазки заблестели от смеха.— Вот втроем и закатимся.

— Удача! — подхватил моложавый.— Прямо удача! Один-то я, признаться, робел, а тут — приятели. Так как же после этого не выпить? По стопочке, а?

— Весь класс завоняем,— не сдавался Чижов.— Сами знаете, хоть наперсток выпей, а водкой от тебя уже разит.

— Там не класс, там помещение библиотеки,— деловито прикинул моложавый.— Заглядывал я туда, батареи проверял. Все равно что зал. Сядем в уголочке, ну кто нас станет обнюхивать. Пустое говоришь, сосед. Пошли!

— Пойдем! — подхватил бойкий мужичок.— Сядем в уголочке, пригнемся.— Он просиял счастливой улыбкой.— Как в детстве! В перышки поиграем. Перышки мы там не добудем, Витяй?

— Умок на замок! — рассмеялся моложавый, которого, оказывается, звали Витяем.— Да кто же нынче перышками пишет? Шариковые в ходу.

— Жаль,— угас бойкий.— А то бы как в детстве.— Он снова просиял.— Ну в крестики-нолики сыграем.

— Там тебе дадут сыграть! — постращал Витяй.— Там с тебя за ребятишек спрос будет. У тебя, Сыр, сколько их?

— Трое. Погодки. И все парни! — гордо распрямился бойкий мужичок, которого, оказывается, окрестили Сыром.

— Почему — Сыр? — спросил Чижов.

— Ну, Сырников,— пояснил Витяй.— Да и сыр на закуску любит. Это я его так нарек. Как приехал, как познакомились, вижу, что — Сыр и Сыр.

— А он — Витяй и Витяй,— подхватил Сыр.

— А почему — Витяй? — спросил Чижов.

— Так он же Виктором Викторовичем отрекомендовался. А какой он Виктор Викторович? Витяй он. И ходит как Витяй, и рукастый. Самый что ни на есть Витяй.— Сырников, или, вернее, Сыр, был весьма доволен своим объяснением.— А тебя как звать-величать? — осведомился он, наперед прищурившись, изготовившись, чтобы творчески, так сказать, переосмыслить имя или фамилию нового приятеля.

— Чижов Николай Андреевич, — распрямляясь, отрекомендовался Чижов. И не скороговоркой, а отчеканив. Так мы себя в отделе кадров представляем или в паспортном столе. Чтобы не спутали чего, записывая. Так и знакомимся, когда хотим, чтобы нас запомнили, не спутали бы имя-отчество.

— Чижов Николай Андреевич,— уважительно повторил Сыр, а сам уже прищурился, прицелился, как бы половчей прозвать нового приятеля, как бы его подравнять к собственному своему положению, когда вот уже трое сынов у него, а он — Сыр да Сыр. Но прищурился, прицелился, а смолчал. Может, из вежливости — ведь и рюмки в честь знакомства еще не выпили, а может, что скорее всего, просто еще не отыскалась у него для Чижова кличка. Это ведь не просто — наградить человека кличкой. Надо такую сыскать, чтобы прилипла, чтобы совпала с человеком, как шестеренка с шестеренкой.

Отлегло у Чижова. Он уж напрягся, ожидая, что его сейчас Колькой окликнут или Чижом. Осточертело ему. Не до могилы ж! Какой он теперь Чиж? Кому это он тут Чиж — он, слесарь шестого разряда, отец двоих детей, проживающий с семьей в отдельной квартире? А взять жену, Машу,— она у себя на стройке с Доски почета не сходит, только фотографии меняют, когда выцветут, а так без перерыва и сколько уже лет. Какая же она Чижиха, кому это она Чижиха? Нет, с этим покончено.

3

Путь их был недолог. В том же доме, где и магазин, на первом этаже жила-поживала дворничиха, у которой — счастливый случай! — как раз припасена была для себя бутылочка. Для себя, для праздничка. Да разве знакомому человеку откажешь? И не просто знакомому. Она ведь с Витяем в одном жэке работает.

Чисто у нее было в доме, в ее комнате-квартире, мебель хорошая, телевизор из больших, еще и проигрыватель был и пылесос. А в кух-

не, куда дверь была открыта, белела бочка стиральной машины. Белел холодильник, и тоже из больших. Полки еще всякой всячиной поблескивали, а уж линолеум просто сиял, так она его натерла. Чисто, достаток во всем виден. Даже малость тесновато от этого достатка. Квартира совсем новая и мебель совсем новая, а стеснено все, насовано, как в старых коммуналках. И ковров сверх меры. Два на стенах, два на диване.

— Одна живете? — осведомился Чижов, когда познакомились и Витяй отрекомендовал его хозяйке, приврав зачем-то, что друзья они давние и закадычные.

— С дочкой. Заневестилась. Все выбирает. Принц ей нужен с «Жигулями». А по мне, был бы человек с деньгами, «Жигули» — это баловство. Вы как думаете?

Дворничиха была еще не старой. Раздалась только. А лицо крепкое, гладкое и глаза бедовые. Доводилось встречать Чижову таких бабочек. Улыбчивая, голос певучий, но своего не упустит. Добычливая. Из тех самых, что по очередям часами выстаивают, чтобы что дефицитное купить да потом и сбыть. И бутылочка у таких бабочек всегда найдется, «припасенная для праздничка». И закуска найдется. Ну, конечно, не даром. Доводилось, доводилось Чижову встречать таких бабочек. И в Докучаевом одна такая была. Смотри-ка, и здесь нашлась.

— Да вы садитесь, располагайтесь.— Медовый у нее был голос. А могла бы и гаркнуть не хуже, чем ночной сторож. Угадывалось, что могла.— И что это вы за народ, мужики. Все бы вам пить, все бы пировать. Утро еще. Чего только ваши бабы смотрят?

— Ладно, доставай,— сказал Витяй, нетерпеливый, как борзая в поле.

— Не командуй. Ты у нас по паровому отоплению командир, а не по бабам.

— Что кипяток, что ты — одна природа.

— Кабы знал, а то — хвастаешь.

— Клавушка! Клавдия Ивановна! — взмолился Сыр.— Жилы не тяни. Не свататься пришли. За поллитром.

— Какой быстрый. Я что тебе — магазин? — Клавдия Ивановна подтолкнула легонько Чижова к стулу, выждала, когда он сядет, села напротив и принялась разглядывать, подперев рукой податливый подбородок.— А в кульках-то что? — спросила она.

— Да вот,— смутился Чижов.— Взбрело вдруг в голову.— Он сыпанул из кульков на стол горстку подушечек, извлек и протянул хозяйке пряник.

— Смотри ты! — обрадовалась она и взяла пряник, прикусила мелкими крепкими зубами.

— Свой, свой он! — поспешил заверить ее Витяй.— Разве я бы другого к тебе привел?

— Пряничек, пряничек,— сказала женщина, мечтательно сузив глаза.— Эх и весело же я жила под эти прянички! — Она поднялась.— Ладно, и я с вами пригублю, черт с ней, с этой печенкой-селезенкой.

И пошла, грузноватая, но прочная еще и от мыслей каких-то своих вдруг помолодевшая, пошла, скрипя паркетинами, позванивая бокалами в горке.

— Хороша! — восхитился Сыр, счастливый, что дело двинулось, а может, и искренне восхитился — жила еще в этой раздавшейся женщине молодая стать, проглядывала, хоть и наслоила жизнь, поменяв и облик и душу.

Она вернулась с бутылкой и стаканами.

— Под конфетки, что ли? Или яишню смастерить?

— Яишня твоя весь градус спугнет,— сказал Витяй.— А тут пить-то всего ничего.

— Если когда по второй,— сказал Сыр и, перехватив из руки Клавдии Ивановны бутылку, ловко распечатал ее, склонился над стаканами.

— Мне чуть-чуть,— сказала Клавдия Ивановна.

— Знаю.— Сыр уже разлил водку и сейчас дожимал ее последние капли. Он вдруг перестал спешить, движения его стали медленны, даже торжественны. И если что и выдавало его нетерпение, так это пальцы, сомкнувшиеся на бутылке. Он их так сжал, что побелели.

И Витяй смял в себе нетерпение. Он выпрямился и затих, ожидая, когда можно будет, должно будет взяться за стакан.

Нет, не пьяницами они были, не алкашами — они себя таковыми не считали. Ну, выпивают, ну, часто даже, но ведь а кто не пьет? И эта выдержка перед налитым стаканом — это была защита их перед самими собой. Алкаш какой-нибудь сразу б за стакан да и в рот. Нет, они не такие. Они могут выждать.

Чижов тоже знал этот миг перед тем, как запрокинуть стакан. Он тоже никогда бы не позволил себе заспешить в сей последний миг. И он всегда был доволен, что умел пересилить в себе это нетерпение перед выпивкой, а бывало, что и не терпелось. Но сейчас, подметив, как замерли Витяй и Сыр, поняв, что и они знали тот же обычай, Чижов смутился. Не хотелось ему на них походить, не хотелось, чтобы и они на него походили. А сходство было, оно было, и вот какую-то муть задувало в душу.

Клавдия Ивановна на своих старых знакомцев не смотрела. Ее Чижов занимал. Она подняла стакан до глаз, поверх кромки остро взглянув на Чижова.

— Что заскучал, мужичок?

— Да так.

— Если что, захаживай. Я таких, как ты, уважаю.

— Каких?

— А вот таких, справных. И работать умеешь, и выпить не робеешь.

— Влюбилась! — сказал Сыр.— Влюбилась в тебя баба. Готово. Ну, Чиж!

Чижов вздрогнул. Вот оно! Назвали!

А Сыр, как ни в чем не бывало, будто обмолвился и этого крещения не случилось, уже тянулся к Чижову со своим стаканом, порешив, что должная пауза выдержана.

Чокнулись. Выпили. До дна, разумеется. Пили, послеживая друг за дружкой, как кто пьет.

— Ну, Колька! — продышавшись, сказал Сыр.— Умеешь!

— А я как увидел, так сразу понял, что он нашего корня! — возбужденно заговорил Витяй.— Костюмчик на нем профессорский, да нынче костюмчиком не удивишь, я на костюмчик и глядеть не стал. Я, если хотите знать, человека с одного взгляда определяю. Пожито на свете, повидано. И в глаза не гляжу. Я по походочке. Глаза часто врут или муть в них. Врут глаза. А походочка, походочка...

— Да замолчи ты,— оборвала Витяя Клавдия Ивановна.— Стакана полного не выпил, а уж понес. Слабак ты, водопроводчик.

— Я с первого всегда такой,— сказал Витяй.— Потом выравниваюсь. Потом хоть бутылку в меня влей. Выравниваюсь.

— Видали тебя по-разному,— хмыкнул Сыр.— И после стакана и после бутылки. А он, Чиж, не врет. Правду говорит. Он, если много выпьет, вроде как бы трезвеет.

— Чумеет,— сказала Клавдия Ивановна.

— Когда это?! Где?! — вскинулся Витяй и вдруг поник, обиделся.

— Повторим? — встрепенулся Сыр.— Ты при деньгах, Николай Андреевич? А то я...— Он пригорюнился, нарочно передразнивая Витяя. Мол, что он, что я — оба на мели.

Все так, все как по писаному. Когда о деньгах зашел разговор, о том, кому платить, так он и снова Николай Андреевич, а как пить начнут, когда забывчивость не в грех, то не миновать ему и Кольки и Чижа.

— Не в деньгах дело,— сказал Чижов.— На родительское собрание идем. Или забыл?

— В крестики-нолики играть,— усмехнулся Витяй. Он поднял голову, трезво и строго поглядел на всех.— Есть для нас зарок или нет?

— Есть, есть, как не быть! — уступчиво согласился Сыр, видно, зная, что с Витяем не всегда можно спорить.— Что, прошло, отрезвел?

— Прошло.— Витяй поднялся, подошел к окну, засмотрелся на что-то, горбясь.

— Каким мастером был! — шепотом сказал Чижову Сыр, косясь на Витяя.— Да и сейчас... Все умеет... Когда трезвый... А ты, смотрю, и не почувствовал. Ни в одном, как говорят, глазу. Крепкий.

Чижов напрягся, ожидая, что Сыр непременно вплетет сейчас либо Кольку, либо Чижа. Нет, не вплел. Чувствовал, значит, когда можно, а когда нельзя. Умен был этот Сыр, умен и не прост.

— Ты что такой злой? — напрямик спросил его Чижов. Вырвалось. Не собирался спрашивать, а спросилось.— Досада какая гложет?

— Злой? Да ну? А я думал, я добрый.

— Уж ты-то добрый,— сказала Клавдия Ивановна.— Любого обсмеешь.

— Так то для шутки,— сказал Сыр и заморгал.

— Что ж, шутка — дело хорошее.— Чижов поднялся, подошел к Витяю.

— Отдай, Виктор Викторович.— Он протянул Витяю пятерку.— Столько берет?

— Столько, Николай Андреевич.

Странные сейчас были глаза у этого Витяя, у этого Виктора Викторовича. Будто всплакнул он там, у окна. Да нет, быть того не могло. Не ждались от него слезы. А вот глаза были странные, словно промытые. Что он такое особенное увидел за окном?

Чижов тоже глянул в окно.

Площадь открылась перед глазами, все та же самая площадь, легшая между новыми домами. И сама новая. С молодыми деревцами. С легкими тропками, проторенными ребятишками, прямившими себе путь в школу.

И вон она, школа, куда им сегодня идти втроем. Ребятишки там толкутся. Издали не разобрать кто да кто. Может, и его Степа и Катюша там. Красные галстуки издали видны, белые передники. Прыгают галстуки, порхают передники. Ребятня...

— Может, и твои там, Виктор Викторович? — спросил Чижов.

— Да вот не разгляжу. Вроде бы. Не разгляжу. Дочка у меня. Высоконькая. Двое старших померли. Одна осталась.

— И я не разгляжу. Двое у меня. Сын и дочь.

С ними рядом встал Сырников и тоже всмотрелся в ребячью толчею.

— Отыскал? — спросил его Чижов.— Погодков своих отыскал, товарищ Сырников?

— Не разгляжу. Там должны быть, раз перемена. Они у меня непоседы, скакуны.— И у него тоже странными глаза стали. Будто промылись.

— Ну что, отцы, повторять будете или отваливать? — насмешливо окликнула их от стола Клавдия Ивановна.— Есть еще одна, отыскалась.

— Отваливать будем, Клавдия Ивановна, отваливать,— сказал Чижов.— Нам нынче в школу.

Он взял своих новых приятелей под локти, и, теснясь, они пошли к двери.

— Пятерочка на подоконнике,— сказал Виктор Викторович, проходя мимо хозяйки.

— Конфетки, прянички свои прихватите, мужички! Ну и мужички!

Чижов оглянулся.

— Дарим. Дожуй, вспомни молодость...

И они ушли.

Подснежник

1

Владельцы маленьких и старых автомобилей всегда народ презанятнейший. Не замечали? Хитрое ли дело купить с больших достатков новый «Москвич» или новые «Жигули»?

Но если ты чуть ли не своими руками собрал машину, если купил ее почти мертвую и влил, вдул, впаял в нее жизнь — вот тут ты уже не собственник даже, а как бы соупряжник, как бы солошадник в тех немногих лошадиных силенках, коими жив сей драндулет. И, конечно же, не каждому дано свершить такой животворный подвиг. Тут смекалка нужна. Тут, того не ведая, Кулибиным надо стать наших новых и новейших дней. Не говоря уж о терпении, просто философском терпении, которое можно сравнить разве что с терпением рыболова, удящего во внутренних городских водоемах. И ведь приносят на жареху. По карасику в час, но налавливают. Это сколько ж надо выстоять? Посчитайте. А собрать машину, которая пала, поднять ее на колеса и чтобы эти колеса задвигались — это, если сравнивать, не десяток карасей надо выудить, а целый, скажем, центнер.

И поднимают все ж таки. И оживляют. И потом, что ни день, ремонт задают, похоже, что корочку на ладони подносят и из торбы кормят.

И эти вот умельцы — презанятнейшие люди.

С одним таким из них совсем недавно свела судьба Всеволода Андреевича Кудрявцева. Он был не только владельцем самой первой модели «Запорожца» — знаете, этакого самоварчика на колесах?— но он еще был подснежником. Не ведаете, что сие означает? Подснежником зовут человека, который работает не по специальности. Вернее, он-то, может, и по специальности работает, но в ведомости на зарплату числится совсем в ином качестве. Он, скажем, тренер футбольной команды на заводе, а в ведомости — мастер цеха или инженер-конструктор. Тренеров по штатному расписанию у завода нет, а мастера и конструкторы имеются. Вот и комбинируют люди. Пример

с тренером приведен как наиболее доходчивый. Наш подснежник, к примеру, будучи юристом, зарплату в своей фирме получал как электромонтер, но работал не юристом, а воспитателем в рабочем общежитии. Не было, видимо, в этом учреждении свободных штатных единиц. Зачем, спросите, дал он упрятать себя в тот весенний пористый снежок, в котором и прорастают труднодоступные для глаз подснежники?

Но прежде всего несколько слов о Всеволоде Андреевиче Кудрявцеве, которого свела судьба с подснежником. Вот уж кто был самим собой, был не подснежником, так это Всеволод Андреевич Кудрявцев. Он еще в школе наметил себе путь в жизни и им следовал, к неполным сорока годам достигнув заметного места в жизни. Воистину заметного, ибо он был международником, обозревателем, последнее время выступавшим не только в журналах и газетах, но и по телевидению. Всякий раз после выступления Всеволод Андреевич примечал, как странно, узнавая, вглядываются в него прохожие, оборачиваются и примедляют шаг. Знакомое лицо? Знаменитость какая-нибудь? Чего скрывать, эти взгляды чуть-чуть да тешили душу Всеволода Андреевича, хотя и был он серьезным человеком, серьезным делом был занят, вовсе был не суетен.

Они познакомились при чрезвычайных обстоятельствах. При тех самых, генезис которых столь тщательно, но безуспешно выясняется на страницах «Литературной газеты» и «Вечерней Москвы». Словом, Всеволоду Андреевичу позарез нужно было такси, а машины с зелеными огоньками одна за другой проносились, а если и притормаживали, так только затем, чтобы очередной таксист мог осведомиться, а не по пути ли Всеволоду Андреевичу с ним, с таксистом. Увы, Всеволоду Андреевичу было не по пути, и очередное такси уносилось в поисках попутчиков для своего водителя.

А этот самоварчик на колесах взял да остановился.

— Вам куда? — распахнув дверцу, спросил владелец самоварчика и благожелательно улыбнулся павшему духом Всеволоду Андреевичу.

Эта благожелательная улыбка потом все время промелькивала на лице Сергея, его Сергеем звали. Он вот так вот улыбался и коротко кивал, будто соглашаясь с тобой, даже когда и не соглашался, не мог согласиться. Это шло в нем от вежливости, от душевной тонкости. Но сперва-то, конечно, Всеволод Андреевич всего этого не углядел в нем, а только увидел, что человек готов ему пособить и что у человека этого симпатичное лицо — моложавое, сухощавое, с синими, умными, внимательными глазами. И вот с улыбкой.

Всеволод Андреевич начал было объяснять, куда ему да что у него за дело, но Сергей прервал его.

— Садитесь,— сказал он.— По ходу пьесы разберемся.— И тогда и представился: — Сергей. А по батюшке — Андреевич.

— И я тоже Андреевич,— почему-то обрадовался Всеволод Андреевич,— Всеволод.

Он втиснулся в самоварчик, и они покатили.

Кто не ездил на «Запорожцах» — съездите хоть разок. Во-первых, ты сразу же оказываешься чуть ли не у самой земли. Во-вторых, тебя сразу обступают со всех сторон великаны. Я уж не говорю о грузовиках, которые начинают казаться самодвижущимися домами, но даже обыкновенные «Волги» превращаются в настоящие громады. И ты, почти касаясь земли, катишься среди этих великанов, крошечный, но бойкий какой-то, помолодевший, без возраста. Совсем как собачонка среди огромных псов. Разок-другой испытать такое полезно, от зазнайства излечивает, как бы познаешь истинные свои размеры.

2

Они покатили, и Всеволод Андреевич сразу же изумился умелости своего водителя. И его улыбка ему все больше нравилась. И готовность куда-то ехать не торгуясь — это тоже было дорогой человеческой приметой.

— Итак? — Сергей глянул на Всеволода Андреевича, ободряя его улыбкой, но не упуская из глаз колеса соседних машин, которые близко и зловеще вращались над их головами.

— Сперва в Воентorг,— сказал Всеволод Андреевич.— Там побыстрому купим телевизор, мне нужно для дачи, мой старый сгорел, без телевизора ну никак, сами понимаете, такие все время события, ну, а потом, если не возражаете, отвезем этот телевизор, я уж присмотрел какой, ко мне на дачу, до нее недалеко и дорога хорошая, все время асфальт.

Конечно, покороче бы можно было все изложить и не на одном дыхании, но Всеволод Андреевич так долго ловил такси и так долго не было ему участия, что теперь прорвалось. К тому же его благожелательно слушали и даже с интересом. Ему кивали в тех местах, где надо было бы ставить точки, а ставились запятые, и по кивкам этим Всеволод Андреевич понял, что слушатель его с ним во всем согласен и полностью принимает его план.

И в старенькой машине тоже проглядывала благожелательность. В том, как побежала на своих колесиках к Воентorгу, в том, как поднатужился ее движок, потащив теперь уже не одного седока, а двух. Все это делалось охотно, старательно, даже самозабвенно — и потому с благожелательностью, сердечностью. Ведь именно от сердца исходят все порывы людские, и вот, оказывается, и машине они могут передаться.

Всеволод Андреевич, грешным делом, подумал было, а не потому ли так старается этот милый Сергей, что узнал его, вспомнил по какой-нибудь телевизионной передаче. Подумал, но отверг эту мысль. И выбранил себя за нее. Она была мельче этого Сергея. Он вел себя как друг давний. И даже чуть получше, чем давний друг. Давние друзья любят советовать, поучать. Давние друзья и подшутить над тобой могут, смешное углядев в твоих действиях, а Сергей без малейшей иронии вник в дело покупки и доставки телевизора на дачу. Золотой парень. Интересно бы, не спрашивая, догадаться, кто он. Он сказал: «По ходу пьесы». Актер? Он был похож на одного знаменитого актера, каким тот был, когда его слава только устанавливалась. В том актере смолоду жила доброта, эта готовность кинуться человеку на помощь. Потом, когда актер догадался, в чем его сила, когда он стал этой силой сверх меры поигрывать, она ушла от него. Страшное это дело — актерская слава. Вообще слава. Любая, в любом деле. Только начал к ней привыкать, только угрелся в ней, а ее и след простыл. И вдруг такая нагрянет холодина. Всеволод Андреевич даже ощутил этот холод, мурашки кольнули плечи, хотя в магазине было до духоты жарко и как раз тащили они вдвоем с Сергеем уже упакованный в картонный ящик телевизор, довольно-таки тяжелую махину. Упарился, а плечи вот холодком опахнуло. Чего гадать, он взял да и спросил:

— А вы кто, Сергей?

Они дотащили телевизор до машины, не без труда и всяческих уловок втиснули в нее ящик, втиснулись сами и покатили. И вот когда покатили, Сергей сказал Всеволоду Андреевичу о себе, что он подснежник, растолковав, что это означает.

— Что же, нравится вам быть воспитателем в молодежном общежитии? Кстати, что это за работа — воспитатель в общежитии?

— Работа...

Он улыбкой смягчил неопределенность своего ответа. Верно, всякая работа — работа и во всякой работе есть свое «нравится» и «не нравится».

— Нам надо выбраться к Минскому шоссе,— сказал Всеволод Андреевич.— По Можайке мимо Бородинской панорамы и ныне вставшей там Триумфальной арки. А потом свернем на Рублевское, от мигалки на Успенское. И вся дорога.

— Понял,— кивнул Сергей.— В замечательных местах у вас дача. Бывал там. Сосны у вас под самое небо. Москва-река течет. Жаль, купаться только не разрешают.

— Исхитряемся иногда. Милицейский катер проскочит, а мы в воду. Правда, занятие для более молодых. Но у нас неподалеку пруд открылся. Вот там ныряй сколько душе угодно.

— Пруд душе не угоден. Он, наверное, непроточный?

— Воду часто спускают.

— Не то. Живого хода нет.

— Любите воду?

— Как не любить? И воду, и солнце, и чтобы ветерок. Море люблю. Через пару недель у меня отпуск. Рвану туда, к Черному, с сыном. Прокалимся до самых костей. Я потому и левачу. Коплю на отпуск.

— А почему в отпуск без жены? Ведь вы женаты?

Всеволод Андреевич задал вопрос и тотчас осудил себя за него. Ну, помог человек тебе купить и подвезти телевизор, а к чему расспросы? Женат ли, нет ли, нравится ли работа, не нравится — зачем в душу-то лезть? Любим мы это — задавать вопросы случайно повстречавшемуся человеку. И такие, что впору другу задать, да и то с осторожением. Исповедуйся, случайный человек, а хочешь, так и исповедуй. Сидит это в нас.

— Умерла у меня жена,— сказал Сергей, посматривая с прищуром вдаль.

— Беда, беда,— сказал Всеволод Андреевич и так же с прищуром, как Сергей, посмотрел вдаль.— А сын? Трудно с ним одному управляться?

Спросил и понял, что переступил черту. Куда-то нам можно со своими вопросами, а куда-то уже и нельзя. Исповедуйся, изволь, но не исповедуй.

И он отвернулся от Сергея с той поспешностью, как если бы назад отшагнул, поняв, что ступил в запретное. Будто бы и не было шага, и не было вопроса. Но след остался.

Сергей молчал, гнал машину, упершись глазами в сизую полосу асфальта. Казалось, в небо уходила эта сизая полоса.

Пора было сворачивать на Рублевское шоссе, в сторону Кунцева. Всеволод Андреевич собрался сказать об этом Сергею, но тот опередил его:

— Я эту дорогу знаю. Сейчас нам поворачивать.

Въехали в Кунцево, где почти ничего не осталось от деревни, от дачного поселка. Большие и красивые дома тут встали. И линия метро сюда дотянулась. Рядом с близким лесом город жил широко и, чувствовалось, дышал полной грудью.

— Хорошо тут жить,— сказал Сергей.— И в городе и на приволье.

— Далековато все же.

— От каких таких мест?

— Ну, от центра.

— Так в Москве сейчас до десятка центров. Пожалуй что и до десятка городов можно насчитать. Человеку не охватить теперь всей Москвы. Я вот на колесах, а Москва для меня — это то, что я пеший охватить могу, ногами намерить.

— Пешком можно и сейчас Москву пересечь.

— Можно, конечно, денька за три. С ночевками. Это уже целая страна.

— Громадные города не от нас начались. Взять Токио, Лондон.

— Так я же не осуждаю.— Он улыбнулся, покивал, готовый отступить и уступить.— Видно, иначе нельзя, век такой. Чем мы хуже?

С недавних пор, когда начал выступать по телевидению, Всеволод Андреевич проговаривал, готовясь, свои речи перед зеркалом. Не все, конечно, не всю программу, а с десяток-другой фраз, чтобы посмотреть на себя со стороны. Ведь со стороны теперь на него глядели миллионы. Даже бывалые комментаторы советовались с зеркалом перед выступлением. Мысль есть, фраза найдена, ну, а что творится с губами, бровями? Обнаружилось многое в себе от незнакомца. Оказывается, губы у него иной раз тщеславились, выпячиваться начинали, а то вдруг смешно складывались трубочкой, ребячливый выказывая нрав. И смешно подрагивали щеки, когда думал, что говорит решительно. И брови порой вели себя невпопад. Чему-то дивились, когда сам он не удивлялся, о чем-то горевали, когда в проговариваемой фразе и тени горечи не было. Получалось, что человек не властен над своим лицом. Требовалась работа, актерская работа, чтобы лицо твое совпадало со словом, с изреченной мыслью, чтобы верило вместе с тобой в то, что ты говоришь. И не вышучивало тебя этими губами трубочкой или безволием щек. Зеркало давало первые уроки, но стал он приглядливее не только к себе, но и к другим. Осваивалась новая профессия, рождалась новая наблюдательность.

Сергей говорил, а Всеволода Андреевича занимали не только его слова, но и лицо. Оно совпадало со словами. Тут разнобоя не было, слова не умалялись гримасками, подмигиваниями, им сопутствовала улыбка, но улыбка, говорят, душа лица, и душа эта была отворена. Славный парень. От природы наделенный талантом искренности. Вот бы кому вести телевизионные передачи. Сразу бы состоялся этот пресловутый контакт со зрителем, это вожделенное соприсутствие в каждом доме, в каждой семье — эффект присутствия, про который столько твердят объявившиеся уже теоретики телевидения.

— Вы никогда не были актером? — спросил Всеволод Андреевич.— Ну хотя бы в самодеятельности?

— Что вы! — Сергей даже руки вскинул над баранкой, будто за голову хотел схватиться.— На людях выступать для меня мука.

— А пошли в юристы.

— Другое дело.— Он помрачнел.— Так ведь ушел.

— Или вот стали воспитателем в молодежном общежитии.

— Я там речей не держу. Там с речами делать нечего.

— Но толковать-то, внушать приходится?

— Разговариваю, конечно. Все больше с глазу на глаз. Что можно сказать с глазу на глаз, того не скажешь при людях. Вдруг сразу обидным это для человека выходит. Согласны со мной?

— Согласен.

Да, он был согласен с Сергеем. С тем бесспорным, про что он говорил, и с его лицом, которое было правдивым до последней черточки, не поигрывало в простоту или там в самоуничижение, не угождало, не поддакивало, а жило правдой слов, правдой этого человека до самого его донышка. Откуда такой?

Они ехали, сидя близко к земле, и совсем иначе открывалось все

вокруг, будто добрее с ними стала природа, доверчивее к ним, как доверчива она к велосипедисту, въезжающему в проселок. Мимо мчались большие сверкающие машины. Те, напротив, казались заносчивее обычного. И само шоссе уподобилось быстроводной реке с тревожным проблеском течения, скользящего к близкому водопаду. Да, мир стал вдруг новым. И все потому, что ехал в крошечном «Запорожце»? И спутник твой был вот таким, каким был? А — каким?

Есть люди, рассматривая которых рассматриваешь себя. Это люди, взысканные удачей, талантливые, яркие, победоносные. Но Сергей-то этот был не таким. Где там! А вот Всеволод Андреевич, рассматривая его, невольно всматривался в себя. И вопросы, вопросы начались к самому себе, в вопрошающую — или взыскующую? — вступал он полосу.

— От мигалки влево,— сказал он.

— Перемены тут у вас,— сказал Сергей.— Вон какой из стекла пост отгрохали. Художника бы туда. Такой обзор!

— Обзор что надо. Сколько вам лет, Сергей?

— Тридцать пять. Много?

— Мне почти сорок. Много?

— Я так и подумал, что сорок. А меня все в мальчишках держат. Ну от силы двадцать восемь дают.

— Радоваться надо.

— Так если бы за внешность, а то за сущность.

— Как?

— Не тяну свыше двадцати восьми. Ничего не успел свыше.

— А я успел, по-вашему?

— Вам — сорок.

— Такова моя сущность?

— Да.— Сергей улыбнулся добро и соглашаясь и как бы шагнул с этой улыбкой из зоны серьезного в зону беспечальную, где не спорят, не присматриваются, не сравнивают.

— Это хорошо? — попытался удержать его в серьезном Всеволод Андреевич.

Сергей улыбнулся ему той же улыбкой и не ответил.

3

Шоссе ввело их в деревню, когда-то кем-то нареченную не без вызова. Раздоры — вот как звалась эта деревня. Что за раздоры? Какие могли быть тут раздоры? В какие времена?

Никто, с кем бы в первый раз ни приезжал к себе на дачу Всеволод Андреевич, не упускал этого названия, красовавшегося при въезде на транспаранте. И обязательно начинались расспросы: «Почему Раздоры? Когда начались?» И шутки непременно шутились: «А нынче как тут у вас — все раздорничаете? Как вы уживаетесь-притираетесь в своих Раздорах?»

Разумеется, и Сергей, едва миновали транспарант, спросил Всеволода Андреевича:

— Давно хотел узнать, почему Раздоры?

— Толком не знаю. Говорят, что некогда крестьяне судились из-за каких-то тут земель с местным помещиком. Ну вот и Раздоры. Долго, видно, шла тяжба, оставила след в душах. Такова легенда. А так ли было на самом деле, нет ли — не знаю.

— Что ж, легенда подходящая.

— Я историк, мне надобны факты. Давно собирался порыться в архивах, старые краеведческие книжки полистать, да все нет времени. Легенда же часто результат не трудных размышлений, а сколь-

зящей по поверхности логики. Истина же требует усилий мозга, исследования, сопоставлений, словом, волевого напора. С истиной трудно. Ее надо добывать, защищать.

Говоря все это, Всеволод Андреевич поймал себя на мысли, что ему хочется понравиться Сергею, произвести впечатление. А зачем, собственно? Сейчас они повернут от магазина влево, потом спустя двести метров снова влево — и стоп, приехали. А там, свершив еще небольшое усилие по транспортировке телевизора от калитки до дачной веранды, свершив затем нехитрый обряд передачи из рук в руки, ну, скажем, десятки, предстоит им расстаться на веки вечные. И какая важность, что будет думать о нем этот, спору нет, милый человек, погоняя свой самоварчик назад, к Москве? Да и станет ли думать? Заработал — и дальше, дальше, дабы подхватить нового клиента, дабы копились денежки, чтобы рвануть в отпуск к вожделенному Черному морю и прокалиться там до самых костей.

— Вон там впереди магазинчик по правую руку,— сказал Всеволод Андреевич.— Прямо перед ним дорожка влево. Нам туда.

Свернул. Самоварчик покатил, въезжая во внутренние порядки дачного поселка, в котором прошли и детство и юность Всеволода Андреевича, где знал он всех и все его знали, хотя в последние годы жил он тут не часто, далеко порой заносило его в последние годы.

— Хорошо тут у вас,— сказал Сергей.— Тихо.

— Да, тут тихо. И все больше старики живут. Старики даже и зимуют.

— Если печка есть, отчего и не перезимовать. Москва рядом, а ее вроде нет. Снег. Сосны столетние. Лес. Речка. Хорошо!

— Вы откуда родом?

— Москвич. В Лялином переулке вырос. Знаете, у Земляного вала? Там и живу.

— Там вроде тоже тихо.

— Относительно. Садовая гудит, улица Чернышевского гудит. У нас старый дом, а стены подрагивают.

— Мы, можно сказать, соседи. Я в Потаповском живу.

— Да, совсем рядом! — обрадовался Сергей.— Где вы там?

— А вот в одном из военных домов,— сказал Всеволод Андреевич.— Знаете, по правую руку? Когда-то в них одни военные жили, отсюда и название.

— Вот и еще одно имя-легенда.

— Это не легенда, это у нас на памяти.

— А пройдет сколько-то лет, и все позабудут, почему дома ваши зовутся военными. Там и военных, может, к тому времени не останется.

— И сейчас почти никого. Дети, внуки живут тех военных. Я вот — внук.

— А кем был ваш дед?

— Комкор Василий Кудрявцев.

— Нет его?

— Нет.

— А отец?

— Комдив Андрей Кудрявцев.

— И его нет?

— Погиб в сорок четвертом.

— Простите, что все спрашиваю. Вы вот историк. А почему не военный? Как дед, как отец.

— И историку без войны не обойтись,— чуть-чуть поучая, сказал Всеволод Андреевич.— Иной историк до конца дней своих воюет, хотя

давно уже мир в тех краях, где для него война. Все исследует, кто кого и как поколотил.

— А вы что исследуете?

— Я ныне в международники угодил. Даже по телевидению, знаете ли, выступаю. Все больше про Латинскую Америку. Не доводилось слушать? Лик мой не припоминается?

Кстати спросилось, хвастовства тут никакого не было, а все-таки Всеволод Андреевич почувствовал себя неловко, когда Сергей пристально взглянул на него. Что еще подумает? Не сочтет ли бахвалом?

— Нет, не припоминается,— сказал Сергей.— Так ведь я телевизор-то не смотрю. Дома у меня его нет, а на работе в красном уголке он у нас светится только когда хоккей, футбол, фильм какой-нибудь позанятнее. Лекции ребята не слушают.

— «Международная панорама» — это не лекция.— Всеволод Андреевич слегка обиделся.— И раз уж вы воспитатель... Надо приучать.

— Устают ребята после работы. Другой и на футболе носом клюет. А приучать, полагаю, вообще ни к чему не надо.

— Как так?

— Приучать — это навязывать свой вкус, свой выбор. По какому праву?

— Так что же вы там делаете? Воспитание — отчасти и насилие.

— Не пойму, что делаю. Все делаю. Вот как раз с насилием борюсь. Знаете, в каждом общежитии всегда отыщется любитель покомандовать. Ну что ж, командуй, но только над собой. Смотрю, чтобы не было обид. За чистотой приглядываю. Завхозничаю, по сути. Работы хватает.

И еще как-то открылся перед Всеволодом Андреевичем этот владелец самоварчика на колесах. О, у него были убеждения! Он что-то там утверждал на своей работе, какую-то внедрял педагогику. Интересно бы глянуть на него, каков он в деле, в подснежниковой этой работе. А зачем, собственно? Любой встречный что-то да делает в жизни. Таксист, продавщица, дикторша, которая тебя выпускает в эфир, почтальонша, приносящая газеты,— все они, встретившись с тобой, тотчас и расстаются. У них своя жизнь, у тебя — своя. И мысли нет, чтобы погнаться за ними, остановить, пойти рядом. Как вы, мол? Что у вас там? Поделитесь со мной сокровенным. А хотите, и я с вами поделюсь. Такая мысль и не ворохнется. Мимо, мимо идут люди. Они — мимо тебя, ты — мимо них. А тут не захотелось терять человека. Вдруг померещилось, что он бы мог стать другом. Вдруг — другом? Встали рядом два слова, почти близнецы по звуку, почти исключающие себя по смыслу. Вдруг не возникают друзья, когда тебе сорок. Внезапное приятельство еще возможно, даже внезапная любовь, а друг чтобы вдруг — это уже несбыточно.

— Снова влево,— сказал Всеволод Андреевич.— Двести метров. И все.

Тянулись заборы, как бы вросшие в буйный орешник, даже калиток тут было не разглядеть. И за орешником, за соснами и березами чуть проглядывали дома. В этом поселке чванились не домами, а деревьями. Здесь еще много было скромных, скромнейших домиков, таких совсем, какими их тут поставили в самом начале тридцатых годов их первые строители. Тогда это были молодые еще люди, хотя и из племени старых большевиков.

— Здорово, здорово тут у вас,— сказал Сергей.— Славно.

Он остановил машину, угадав, у какой калитки встать.

— Верно, здесь мой дом,— сказал Всеволод Андреевич.— Как догадались?

— А по антенне телевизионной,— улыбнулся Сергей.— Дома вашего почти не видно, а антенна самая тут высокая.

— Стало быть, если я по телевидению выступаю, так и антенна должна быть у меня самая высокая?

— Стало быть.

— А ведь антенна эта уже тогда стояла, когда я и не думал, что стану обозревателем.

— В мыслях не было, а к тому шло.

— Как это?

— Объяснить не смогу, но замечал, что и до мыслей мы куда-то идем, идем, куда нас тянет. Дошли почти, а уж только тогда все мыслями обернем, вроде как упакуем. И выходит, мы не сослепу шли. Обдумывали. Загодя. И нас не ум вел, а что-то там еще такое.

— Бог?

— С усмешкой спрашиваете?

— Нет.

— Верующим вам кажусь?

— Сейчас это модно.

— Если мода, так это не вера.

В струну вытягивался разговор, и струна вот-вот могла порваться. Этот неслышный звон, когда перетягивается струна в разговоре, Всеволод Андреевич умел улавливать. Этому он в своих странствиях обучился.

— Прошу вас, помогите мне дотащить ящик до веранды,— сказал он.

Следом за Сергеем он выбрался из машины, от которой жар шел, как от истинного самоварчика. Или нет, этот старенький «Запорожец» сейчас показался Всеволоду Андреевичу дряхлой лошаденкой, едва дотащившей непомерную тяжесть, упарившейся, поводящей боками. А ее хозяин, а кучер, подснежник этот, вдруг увиделся наново, как бы из старых времен, как бы в корневом облике, повторив какого-то из своих прародителей. Невысок, рус, жаль вот только, что без бороды, но и не жаль — лицо открытое. И глаза чистейшей синевы. Сильные руки, сильнее тела и нешироких плеч. Крепкая шея в ранних морщинах. Много этих морщин и возле глаз, у губ. Родного облика человек, родное лицо, родная синева глаз. Друг?! Где там! Сейчас укатит.

Вместе извлекли ящик, который вынимался из самоварчика еще труднее, чем впихивался в него.

— Надо бы вам машину попросторней,— сказал Всеволод Андреевич, когда, запыхавшись, они все же завладели ящиком и понесли его к калитке.

— Надо бы, да не укупишь. А у вас-то что нет машины?

— При разделе имущества отошла к бывшей жене.

— Вон что.

Распахнулась калитка, и старенькая старушка вышла им навстречу. Бодрая старушка, энергичная, прибранная, вот даже в брюки обрядилась по-молодому, и седые волосы у нее аккуратными буклями были уложены под тончайшей сеткой. Калитка под ее рукой откинулась с поспешностью, да и шагнула старушка навстречу прибывшим размашисто, деловито, как человек, дорожащий своим временем.

— Всеволод, никак телевизор?

— Он самый. Знакомьтесь, Сергей, это моя тетушка.

Старушка глянула на Сергея, на его драндулет, мигом про все поняла и руки Сергею не протянула, мигом же установив должную дистанцию между собой и им.

Пришлось Всеволоду Андреевичу как бы протягивать за тетушку руку.

— Зинаида Васильевна,— сказал он и поклонился Сергею.

Смешно вышло: они тащили ящик и тут уж было не до расшаркиваний. Но Сергей тоже поклонился и даже вроде шаркнул ногой по посыпанной песком дорожке:

— Сергей.

А старушка уже была впереди, обогнала их, перехватила крепкой рукой кинувшегося навстречу фокса, который все же вырвался, бросился к Сергею, наигрывая ярость, но ткнулся в дружелюбно подставленную ладонь и смирился с этим пришельцем, занялся хозяином, подпрыгнул, коротко пролаял что-то ласковое и тут же припустил следом за хозяйкой.

— Тимка,— представил фокса Всеволод Андреевич.— При разделе имущества собачка выбрала меня. Вру, конечно, не меня, а тетушку. Вот так и живем. Старшая сестра отца, пес Тимофей восьми лет от роду, кавалер четырех больших золотых медалей, ну и я в придачу.

— Тетушка у вас боевая.

— Именно, именно. В прошлом военврач, полковник медицинской службы. И все воюет, знаете ли, еще с гражданской войны.

— На меня взглянула и осудила. Левак!

— А вы мнительный. Ранимый.

— Все, все есть.

Трудно было нести ящик вдоль узенькой дорожки, огибающей просторные клумбы. А ступить с дорожки было никак нельзя. На клумбах росли розы. И какие! Глазам не верилось, что возможны такие живые, чистые, первозданные краски, что можно так смешать их, нет, родственно сдвинуть, что земля, эта вот в древесных угольках и каким-то серым порошком посыпанная земля, может родить такое. Загляделся Сергей.

— Красота, вот красота-то!

— Все тетушка.

— А это что за деревце? Цветет кроной, как одним цветком. Никогда не видел.

— Японцы изобрели.

— И прижилось в нашем климате?

— Попробовало бы не прижиться. У Зинаиды Васильевны не покапризничаешь.

— Я уже понял. Вам-то как приходится?

— Ну, я любимый племянник. Да и оседлость обрел сравнительно недавно. То в Мексике жил, то в Колумбии, то в Перу.

Они внесли ящик на веранду, поставили, куда указала пальцем Зинаида Васильевна, и вот и пришла пора им расстаться.

Но вмешалась Зинаида Васильевна:

— Всеволод, пусть товарищ поможет тебе установить телевизор. Вам знакома эта работа, Сергей?

— Включить этот ящик дело нехитрое,— сказал Сергей.

— Тогда помогите. Я заметила, что самые нехитрые дела у Всеволода Андреевича выходят не шибко хорошо. Да, а куда старый ящик денем? Всеволод, не отнести ли его вам в маленький домик? Пусть постоит пока, а осенью отвезем в мастерскую.

— Сколько тебе нужно телевизоров?

— Но не выбрасывать же.

— Есть магазины, где принимают старые телевизоры и что-то даже за них платят,— сказал Сергей.

— Слыхала. Гроши какие-то. Нет, пусть постоит. Да и бесчело-

вечно это отправлять под штамп своего многолетнего собеседника.— Старушка подошла к старому телевизору, стоявшему на столике в углу, платочком провела по его помутненному стеклу.— Ну, братец, прощай. Отпоказывался, отболтался. Молодые люди, принимайтесь за дело.

Она отошла в сторонку, уселась в плетеное креслице, такое же ладное, как и она сама, легкое и подвижное, и стала наблюдать за усилиями мужчин, морщась и хмурясь от их неуклюжести. Но от советов вслух она удерживалась. Пускай уж, разве им втолкуешь.

Старый ящик был снят, новый установлен. Путались-путались Всеволод Андреевич и Сергей, но все же нашли куда что втыкать, и вот уже замерцала, вспыхнула таинственная полоса на экране нового телевизора, раздалась, прояснилась, и лег во всю ширь экрана столь знакомый всем круг, испещренный знаками и цифрами. И зазвучала музыка. Странная и прекрасная.

— Григ,— сказала Зинаида Васильевна.

— «Пер Гюнт»,— кивнул Сергей.— Пляска Анитры.

— Однако! — Старушка повнимательней глянула на него.— Однако! — Потом она посмотрела на Всеволода, потом перевела глаза на старый ящик, как бы навсегда прикрывший свое единственное серое веко.

— Жалкий-то какой,— сказала она про ящик.

— Вот и все,— сказал Сергей.

— Да, да,— заторопился Всеволод Андреевич и смущенно полез в карман за деньгами.— Вы меня так выручили, так выручили...

— А коли выручил, так пусть и отобедает у нас,— сказала Зинаида Васильевна.— «Пер Гюнт»! Надо же! Вы, случайно, не из музыкантов?

— Он — подснежник,— усмехнулся Всеволод Андреевич.— Верно, Сергей, оставайтесь у нас обедать! Сообразим по маленькой. А?

— Я же за рулем.

— Да, худо.

— Обойдетесь без маленькой,— сказала Зинаида Васильевна и поднялась.— Пьянству — бой. Идите руки мыть, молодые люди. А что это означает — подснежник? А это что?

Она спросила Сергея о новой мелодии, зазвучавшей из телевизора.

— Вальс Сибелиуса,— сказал Сергей.

— Он! Плакать хочется, когда слушаешь такую музыку. А вам?

— Просто слушать.

— Ну, ну, слушайте.— Она зачем-то подвинула ему свое креслице, хотя на веранде были кресла и понадежнее.— Садитесь, Сергей.

Оборвалась музыка, уплыл круг с цифрами, и на экран вплыла торжественноликая красавица. Она опахнула всех ресницами, развела уста и начала рассказывать о предстоящей программе передач, и не было важней дела на земле, чем то, которое она делала.

— Что за манера прерывать музыку! — возмутилась Зинаида Васильевна.

— Погоди, тетя Зина, послушаем, как она меня объявит,— сказал Всеволод Андреевич.

— Ах вот почему ты поспешил с этим телевизором! А я уж радовалась, что недельку передохну. Мил собеседник, да уж больно речист.

— Погоди, тетя. Вот!

— В девятнадцать сорок пять,— промолвила красавица, еще както построжев в преддверии важного известия,— «Сегодняшние проблемы Латинской Америки». Выступление журналиста-международни-

ка Всеволода Андреевича Кудрявцева... В двадцать пятнадцать,— красавица чуть улыбнулась навстречу новому известию,— передача для самых маленьких...

— Сперва надо разобраться, кто да кто из нас самый маленький,— сказала Зинаида Васильевна и выключила телевизор, последив, как дрогнуло и истаяло лицо красавицы.— Хороша! Ты знаком с ней, Сева?

— Естественно.

— Пригласил бы как-нибудь. Вдруг она еще и смеяться умеет. И вообще, мила и проста. Это телевидение вас всех притворялами делает. Ну, ну, прости. А за ящик спасибо. Громадный, дорогой. Угодил!

— Пойми тебя! — недовольно буркнул Всеволод Андреевич.

— И не старайся. Сама себя не пойму. Обедать, обедать, молодые люди! Сергей, вы окрошку уважаете? — И старушка дружелюбно кивнула Сергею, уведомляя его о своем расположении.

— Уважаю! — просиял Сергей.

4

Они ели окрошку, и этот квас с луком и еще там с чем-то их объединил. Малость бывает нужна человеку, чтобы почувствовать себя на седьмом небе. Эта окрошка, не московской выпечки хлеб, вдруг напомнивший детство, кусты жасмина, затенившие одну из сторон веранды сплошным белым цветом, и эти розы, и еще высокое небо с недвижными облаками, и какой-то звук далекий, и тишина, тишина — все было радостью, наполняло душу радостью, тишиной.

— Чего еще человеку надо? — вырвалось у Сергея. Он смутился: поймут ли. Поняли, не ответили.

Чуть погодя старушка сказала, читая мысли своего любимого племянника:

— А вы погостите у нас, Сергей. Куда спешить? Так полагаю, выходной у вас?

— Выходной.

— Вот и подышите чистым воздухом. На речку сходите. В лес. Кстати, и Тимку погоняете. Ему надо, жиреть стал.

Услышав свое имя, пес вскочил и напрягся, вникая в разговор. Заветных слов он не услышал, но радость и его коснулась, то предвкушение радости, что приходит вслед за словом «гулять».

— На него смотри, от него все зависит,— сказал Тимке, указывая на Сергея, Всеволод Андреевич.— Один не пойду. Проси, умоляй остаться. Мол, побродим, человек. Ведь интересно ж, чем там пахнет, в лесу и у реки. Не притворяйся бесчувственным. Интересно, интересно. И вдруг да кого встретим. Оставайся!

Тимка коротко взлаял, уставившись на Сергея.

— Надо же, понял! — умилилась Зинаида Васильевна.— Знаете, Сергей, иногда мне этот пес кажется чертовски умным созданием. Он нацелен на главное. Еда, прогулка, то бишь свобода, мир в доме. Стоит нам только повысить голос, как он сбегает от нас куда-нибудь под кровать. Ему больно от нашего крика и жаль нас, глупых.

— Если позволите,— сказал Сергей,— если не помешаю, я бы остался. На часок-другой...

— Просим! Умоляем! Тимка, скажи! — Всеволод Андреевич радостно вскинул руку, и пес подпрыгнул, залился счастливым лаем, поняв, что пробил час его радости.

Быстро дообедали, подгоняемые лаем, вызвенившимся нетерпением,— никакими силами нельзя было сейчас унять Тимку,— и вот

шагают они втроем по дорожке, теснимой вековыми соснами, и Тимка тянет, тянет на поводке, увлекшись чтением острых и прекрасных запахов.

— Свою нерукотворную книгу листает,— сказал Всеволод Андреевич.— И тут же ответ дает. Пошла переписка.

Следом за псом и он тоже устремлялся то туда, то сюда, кружил и если не принюхивался, то уж посматривал во все стороны. И напряглись его глаза, покой этих благословенных мест не проникал в них.

А Сергей проникся этим покоем. Он с дорожки не сходил. Ожидая, оглядывался и все касался суеверно ладонью каждого дерева, до которого мог дотянуться, и тогда вскидывал голову и тянулся глазами к далекой вершине, казавшейся дальше от земли, чем от неба.

Кружа и как бы разрываясь на части, ибо множество всяческих нагрянуло на него дел — вон сколько надо было ответов писать,— пес все же вел их, тянул на поводке в свою сторону, к своей цели. Похоже, этот маршрут был знаком и Всеволоду Андреевичу. И не очень-то охотно шел он дорогой, избранной Тимкой, поводок все время был натянут. Но — шел. А следом за ними, молясь деревьям, двигался Сергей. Был он сейчас в том состоянии духа, когда душа все понимает, когда отклик в ней готов поспешить навстречу всякому, кто нуждается в участии. Этот всякий — и муравей, безрассудно вступивший на пешеходную тропу. Обойти муравья! И даже комар, севший на руку. Сдуть, не убить! И дятел — пестрое чудо, близко перелетевший с сосны на сосну. Примедлить шаг, не спугнуть!

Он все понимал, всех жалел. И муравья, и дятла, и этого Всеволода Андреевича, который как раз и метался, влекомый своей собакой, и тревожились, не успокаивались, ждали чего-то его глаза. Сергей понял: предстоит встреча и он понадобился в спутники. Что ж, Сергей был готов помочь, если нужна станет его помощь, душа его приготовилась.

— Куда это он все тянет? — неискренне удивился Всеволод Андреевич. Знал ведь, куда тянет пес. И шел за ним хоть и упираясь, но всерьез не препятствуя. Не хотел бы идти, куда тянул Тимка, повел бы сам, натянув поводок, переборол бы его волю.

— Знает дорожку,— сказал Сергей.— Пусть ведет. Они умнее нас в этом.

— В чем — в этом?

— Ну, в выборе пути. У них точнее ориентиры. Проще.

— Пожалуй. Что ж, доверимся ему?

— Доверимся.

— Тогда нам предстоит встреча.

— Я уж догадался.

— Не из легких, скажу я вам.

— Надо думать. О легком не предупреждали.

— Мне будет трудно, да и вам достанется.

— Нас ведь трое,— улыбнулся Сергей.

Жаль ему было этого Всеволода Андреевича, которого вел на поводке, все более возбуждаясь, пес Тимка. Мудро ли поступал пес или, может быть, опрометчиво? Он следовал своим понятиям, жил нюхом и тянул, спешил. Но те ли это понятия, какие пригодились бы сейчас Всеволоду Андреевичу, помогли бы ему разжаться? Как знать? Ответ был в конце их пути. На этой аллее, где вековые сосны перемежались вековыми березами, на которую они свернули? И где, в каком месте случится та встреча? Возле дерева, возле одной из калиток?

— А ведь мы через древний лес идем, опушкой древнего леса,— сказал Сергей.

— Верно, этот поселок строился в лесу. Жаль, падать стали часто сосны. Что ни гроза, то потери.

— Поврозь стоят, вот ветер их и валит.

— Да, вы воспитатель.

— Я как раз хотел добавить, что у людей куда сложнее. Народу вокруг много, а ты — одинок. И так бывает.

— Всяко бывает.— Всеволод Андреевич стал вдруг строже, словно разговор этот ему наскучил, да и спутник наскучил. Отгородился Всеволод Андреевич, своевольно натянул поводок и дальше — ни шагу. Назад стал поворачивать.

Пес понял, что ему не совладать с хозяином, а до цели оставалось всего ничего. И тогда пес подал голос. Если нельзя добежать, то можно позвать. И он принялся звать, повиснув на поводке, задыхаясь. Это был не лай и не вой. Это был зов.

Где-то близко скрипнула и откинулась дверь, бегущий шорох послышался за оградой, за орешником, скрипнула и откинулась калитка.

— Тимочка!

Всеволод Андреевич выпустил поводок, и пес рванулся к женщине, подпрыгнул, взлетел, онемев от счастья. Но в немоте он жил недолго. Он уселся перед ней, твердо упершись в короткий хвост, и принялся звонко лаять, выговаривая. Честное слово, можно было понять, про что он толкует. «Где пропадала?! Почему тебя надо ждать и ждать, ждать и ждать?!»

Женщина опустилась на корточки перед Тимкой, обе руки спрятав в его лохматом загривке, и молчала, ни на кого не глядя.

И на нее никто из них не глядел. Всеволод Андреевич потому, что трудно ему было глядеть. Он так и отвернулся, как отворачиваются, когда трудно глядеть, хоть и тянутся глаза, чтобы поглядеть, но им не дают воли, их утыкают в забор вот, в листву, в траву, велят следить за муравьями, ползущими у ног.

А Сергей было взглянул, да оробел. Он таких красивых женщин страшился. Таких самонадеянных, взысканных судьбой. Она была из этих, из взысканных судьбой. Такие сразу угадываются. И на них долго не поглядишь, жжет глаза, но тянет еще разок поглядеть. Сергей решился, глянул, даже заговорить решился.

— Выговаривает,— сказал он.— Где, мол, пропадала, заждался.

Она взглянула на него и сразу все увидела: и что неказист, и что одет во что-то скверное и мятое, и что оробел, и что не пара он Всеволоду, не друг его, не приятель, а так, случайный просто встречный. Но этот случайный человек взялся переводить на человеческий язык Тимкин лай, и женщина неприязненно насторожилась.

— Переводчик,— сказала она.— С собачьего. Вы, случайно, не ветеринар?

Она распрямилась, подхватив Тимку на руки, а он был тяжеловат все же, не для рук был собачкой, и потому неуклюже повис, но он был счастлив, замер от счастья.

— Нет, я не ветеринар,— сказал Сергей.— Похож?

Он улыбнулся женщине. И ей и Тимке. Тому, как они увиделись ему сейчас. Она оставалась победоносной. Она была хороша, стройна, одета во что-то яркое, дорогое и подчеркивающее, молодо блестели ее с позолотой волосы. Но этот пес, повисший и замерший у нее на руках, но Всеволод Андреевич, все еще упиравшийся глазами в заборную заросль, но странность эта, когда взгляд все тот же, но вдруг перестает обжигать,— все это пробуждало жалость.

А женщина, возможно, сейчас жалела его. Рассмотрела в нем что-то, чтобы отдарить сочувствием. Он посочувствовал ей, она — ему. Так часто бывает. И как раз в первый миг знакомства. Потом минует

этот миг, и начинается узнавание, начинают поступать дополнительные сведения, что-то прибавляет или убавляет улыбка, слово, жест. Сергей улыбнулся женщине, пожалел ее, но своей улыбкой и себя отдал ей на разбор, для оценки. Он — открылся. Это главным было в его улыбке: он — открывался.

Скосив глаза, Всеволод Андреевич приметил, что Сергей понравился, как увидел вдруг, что на Сергее очень уж жалкая курточка и что он в совсем не модных — некогда модных! — узких брюках и в узконосых ботинках.

— Знакомься, Ира,— сказал Всеволод Андреевич, гордясь своим Сергеем, но и ужаснувшись его одежде.— Это...

А кто, собственно? Всеволод Андреевич замялся, не умея растолковать, кто ему Сергей.

— Знакомьтесь, Сергей. Это...— Он опять замялся, не найдя нужных слов, чтобы представить Сергею бывшую свою жену. «Бывшая жена...» Вслух не произносилось.

Тогда они сами начали справляться с тем, с чем не справился Всеволод Андреевич.

— Верно, я — Сергей,— сказал Сергей, угадав в перекрестии взглядов, что сейчас смотрят не на него, а на его одежду и что смотреть-то не на что.— Вот, помог товарищу подбросить до дачи телевизор. А теперь хожу, любуясь вашими красотами. Славно живете.

— Славно, славно. А я — Ирина.— Она аккуратно поставила Тимку на землю, на все его четыре лапы, распяленные от удовольствия.— Когда-то была женой этого товарища. Скажите, Сергей, вы в машинах разбираетесь?

— Смотря в каких. У меня «мыльница».

— Как?!

— «Запорожец» самого первого выпуска. В народе его «мыльницей» зовут. Похож.

— А я его «самоварчиком» про себя окрестил,— рассмеялся Всеволод Андреевич.— Тоже похож. И знаешь, Ира, а сам Сергей не кто-нибудь, он — подснежник.

— Да, да,— покивал Сергей, радуясь, что Всеволод Андреевич повеселел и что перестали они разглядывать его брюки дудочкой и узконосые башмаки.

— Господи, сколько сразу новых понятий! Какой образный ряд! — Ирина тоже развеселилась.— Подснежник, вы — подснежник? Как это? Растолкуйте.

— Юрист по образованию, зарплату получает как электромонтер, а работает воспитателем в молодежном общежитии,— сказал Всеволод Андреевич.— Словом, спрятался человек.

— Спрятался человек? — Она поморщилась.— Ты понял, что сказал?

— Ну, как подснежник. Найди-ка попробуй по весне подснежник. В талом снегу, под валежником. Найди-ка.— Всеволод Андреевич все еще посмеивался, придерживая, не отпуская этот веселый миг в трудной для него встрече.

— И вы так думаете, что спрятались? — в упор поглядела на Сергея Ирина.

Он тоже прямо поглядел на нее, но от ног к лицу, как всегда смотрят мужчины на женщин. А ее взгляд уже скользнул от лица его к ногам, как всегда смотрят женщины. Где-то в пути их взгляды встретились и подружились. Никто он ей, никто она ему, но узелок завязался. Видно, был у этого Сергея дар связывать незримые нити человеческого общения, дар общительности, что ли, хотя он не ка-

зался общительным,— было сразу видно, что он застенчив, не находчив. Он и ответил ненаходчиво:

— Я про себя не думаю. Избегаю.

— Зажмурились?

— Ну.

Он ей нравился — невзрачный этот подснежник.

— Может, зайдете? — сказала она и протянула руку к своему дому, приглашая и прося этим движением.— Всеволод, зайдешь? — Для него она рукой не повела, опустила руку.— Тимка, милости прошу.— Она пошла к калитке, потянув поводок, и Тимка как-то боком, боком затрусил у ее ног, оглядываясь на хозяина.

— Зайдем, пожалуй,— сказал Всеволод Андреевич Сергею.— Взглянем, что у нее там с машиной.— Голос у него был тусклым, да и шагнул он к калитке нехотя.

— Зайдем,— кивнул Сергей, глядя, как идет эта стройная молодая женщина, независимо шагая в пестреньких своих брючках, как семенит рядом с ней Тимка, все оглядываясь, будто деля себя надвое, и как вышагивает с отрешенным видом Всеволод Андреевич.

5

От калитки открылся почти такой же дом, что у Всеволода Андреевича и его тетушки. Не очень большой, не очень нарядный, выстроенный без затей. Вот только окна в нем были прорезаны большие, нынешние. И такие же удивительные розы жили на клумбах. Но японского деревца, цветшего всей кроной как одним цветком, тут не было. А за домом зеленела просто лужайка в обрамлении нескольких старых, почти черных берез. У Всеволода Андреевича за домом тянулись рядами старые раскидистые яблони.

— Где вам больше нравится? — оглянулся Всеволод Андреевич.— У нас или здесь?

Вопрос был не прост. Сергей понял: на чью-то сторону ему предложено встать, чью-то линию тянуть. А какой он судья, ну какой?!

— Не пойму,— вслух подумал он.

— Ну, ну, не понимайте,— легко отступился от него Всеволод Андреевич и вдруг напрягся, увидев грузную седую женщину, шедшую им навстречу.

Она была слишком стара, чтобы быть матерью Ирины, но поразительным было их сходство, молодой и старой, то сходство, когда в молодом узнаешь былое, а в старом провидишь будущее.

— Всеволод Андреевич?..— Старая женщина, разглядев, кто был перед ней, тоже остановилась.— Это как же понять?

— Бабушка! — издали крикнула Ирина. Она далеко отошла, а теперь возвращалась.— А я тебя ищу.

— Это как же понять? — обернулась к ней женщина.

— Очень просто, все очень просто.— Ирина подошла, встала со своей бабушкой рядом, плечом нашла ее плечо.— Встретились, позвала в дом. Соседи как-никак.

— Как-никак... Объяснила! Что ж, здравствуйте, сосед.

— Здравствуйте, Евгения Павловна.

— А ты, Тима, что молчишь, хвост поджал? Неловко тебе? Еще бы! У собак ведь совесть есть. А совесть не раздваивается.

— Ты так говоришь, бабушка, будто нас кто-то обидел, а мы гордые, и мы обид не прощаем. Пойми, просто все изжило себя, наш брак изжил себя, а теперь и наша ссора себя изжила, остыла. Вот и все.

— Поняла, поняла.

Две похожие женщины, кровно похожие, стояли рядом, и было больно смотреть в их лица — в будущее одной и в прошлое другой.

— А это кто? — спросила Евгения Павловна, кивнув на зажмурившегося Сергея.

— Мой новый знакомый,— сказала Ирина.

— В Москве мы почти соседи,— сказал Всеволод Андреевич.

— Я попросила Сергея посмотреть машину,— сказала Ирина.— Что-то там в моторе происходит.

— Занятно, наш Тимка сразу же принял Сергея как своего,— сказал Всеволод Андреевич.

— Так, так,— покивала им Евгения Павловна.— Ничего не поняла. Что ж...— Она поглядела на Сергея, и чуть потеплели ее глаза, разбиралась эта старая женщина в людях.— Что ж, и я поведу себя, как Тимка. Милости прошу, Сергей... А по батюшке как?

— Да просто Сергей.

— Просто, просто. Все-то у вас просто. Тимка, разожмись! Ну что ты, право?

Евгения Павловна повернулась и пошла к дому, грузно, но и гордо ступая. В ее осанке гордость жила, побеждая рыхлость и слабость тела, ватную непослушность ног.

И все смотрели, как она шла, и не двигались с места, будто выжидая должную дистанцию. Первым двинулся в путь Тимка. Разжался наконец. Нет, он не повеселел и не замелькал хвостом, но как-то все же освоился и затрусил следом за хозяйкой дома, принюхиваясь и вспоминая. Двинулся и Всеволод Андреевич. Не стоять же столбом. И он тоже чуть что не принюхивался.

— Правда, похожи? — мелькнув улыбкой, спросила Ирина у Сергея.

— Вспоминают,— кивнул Сергей.

— Одному, может, и кстати вспомнить, но другому...

— А вот кто похож, так это вы с Евгенией Павловной,— сказал Сергей.

— Буду такой же?

— Она была такой же.

— Что вы, куда мне до нее. Я еще помню, какой она была. Властительница. А я, что я — дамочка в брючках. Брошенная жена.

— Ведь изжило же, остыло.

— Слова! Не хочется перед вами притворяться. Слова!

Они все еще стояли на месте, и Тимка остановился, оглянулся, взлаял коротко, зовя свою бывшую хозяйку, требуя от нее, чтобы не обрывала ниточку, вдруг протянувшуюся между ней и хозяином.

— Иду, иду. А кстати, почему это мне не хочется перед вами притворяться? Как думаете?

— Незачем.

— Это — ответ?

— Конечно.

— Незачем... Какое слово горькое.

— Разве? — не понял и улыбнулся Сергей. И вдруг обрадовался: — Нравится мне ваш Тимка! Смышленый пес.

— Теперь не мой. При разделе имущества отошел к Всеволоду.

— Сам выбрал или за него решали?

— Обстоятельства решали. Бабушка стара, а я часто уезжаю.

— Что за работа у вас, если не секрет?

— Устраиваю передвижные выставки. Искусствовед, как принято говорить.

— Интересная работа.

— Издали все интересно.

— И вблизи интересная. Но нужно призвание. Ваше это дело?

— Вроде бы. Местами.— Ирина повела рукой, будто что нашаривая в воздухе.— Много глупостей, много болтовни в этом деле. Заказенено многое, облеплено словами.

— Верно, верно.

— Ну, вам виднее. Со стороны-то.— Она усмехнулась.— Со стороны всегда виднее.

Сергей покивал ей, соглашаясь:

— Верно, верно.

— Что — верно? — Она вдруг рассердилась, колко глянула.— Вранье это, что со стороны виднее! Чепуха! Самому, самому надо носом во все тыкаться, чтобы понять!

Сергей покивал ей, соглашаясь:

— Верно, верно.

— Вы так и будете все время мне кивать да поддакивать?

— Ну раз правильно говорите.

— Так я же не соглашаюсь с вами.

— Не со мной, с собой. А со мной вам незачем спорить.

— Незачем! Прилепились к словечку! Ну что вы за человек? Откуда взялись? Я будто сто лет с вами знакома. И даже покрикиваю на вас. Кто вы? Отчего вы так вырядились? Притворство? Бедность? Плевать на все? Ох, господи, учинила допрос! Ладно! Молчите! Просто мне худо, худо! Понимаете?

— Ага.

— И вам, наверное, не сладко?

— Живу.

— Поняла! Нашла! Вот оно — слово, которое все примиряет! Живу! Вот оно — это слово!

Тимка опять коротко взлаял, позвал, ибо ниточка между дорогими людьми совсем уж истончилась.

— Иду, Тимочка, бегу!

Ирина побежала по дорожке, рукой зовя Сергея, и он было тоже побежал, но тут же опомнился, увидел себя со стороны и резко оборвал этот смешной бег. Жалок он себе показался. В ушах еще не отжил звук ее голоса и ее слова: «Отчего вы так вырядились?» И хотя ответ был бы не труден — он ведь подрабатывал сегодня, а не в гости ехал,— все равно он поглядел на себя сейчас ее глазами. Повернуться бы да и назад, за калитку. Добежать до машины и рвануть отсюда. Что ему этот Всеволод, эта Ирина, их раздоры в этих Раздорах? Дома ждал сын. Мать ждала. Там было настоящее, а здесь муть какая-то. Там он был отцом и сыном, нужным и любимым, а здесь жалким оказался, вовлеченным в чужой круг для забавы, от скуки. Сергей нацелился глазом на дорожку, которая резко поворачивала назад, ступил на нее, но тут его позвала Евгения Павловна:

— Сереженька, я жду вас!

«Сереженька...» Одним этим словом старая женщина спеленала его волю, и он побрел на зов, наперед покоряясь своей нелепой участи.

— Удрать вздумали? — спросила Евгения Павловна напрямик, когда Сергей подошел к ней.— А мне тут как одной с ними? Не подумали.

— Управились бы.

— Кабы знать, с чем управляться. Вот посоветуйте, что же мне, за стол их звать, бывших-то супругов, чайком их потчевать?

— Пожалуй.

— А на мой характер, уж разъехались, так разъехались.

— Генеральский у вас характер, сразу видно.

— Вот и ошиблись. Я вдова маршала.

Они как раз вошли в дом через веранду, и первое, что увидел за распахнутыми дверями Сергей, был большой портрет маршала. Из всех героев войны это был главный герой для Сергея. Он знал этого маршала и любил с детства. Все про него знал. Про его дерзкие победы, про то, каким был он смелым, великодушным, как любили его солдаты. Вернувшись с войны, отец не уставал рассказывать маленькому Сергею о своем маршале. Это был главный человек на земле для отца. Вместе они прошли долгий путь войны — сержант Андрей Скворцов и маршал. Смерть маршала Андрей Скворцов переживал тяжко, будто мир померк. Маленькая цветная фотография вот с этого самого портрета была в их семье реликвией, хранилась в бабушкиной шкатулке вместе с орденом Красной Звезды и медалями отца. До последнего своего часа отец не расставался с этой фотографией, она стояла у него на тумбочке возле больничной койки.

Так вот в чей дом он вступил, с чьей женой и внучкой разговаривал! Тут все было свято, все для Сергея заповедно.

— Очнитесь же! — взяла его за руку Евгения Павловна. Голос ее помягчел, она была счастлива, что портрет так поразил Сергея, она поняла, что ее муж был и для этого молодого человека не пустым звуком, как для иных, для некоторых. Да, да, что для нынешних его славное имя? Они заняты собой, только собой.

— Отец рассказывал мне о вашем муже,— сказал Сергей. Он заговорил шепотом, как говорят в музейных залах.— Отец никогда не забывал его. До последнего своего дня...

— Они вместе служили? Может быть, я его знаю? — Ожил и помолодел голос старой женщины, а в лице ее зажила готовность к слезам.

— Нет, что вы. Он был солдатом, сержантом, одним из сотен тысяч.

— Но он знал маршала, встречался с ним?

— Издали видел, слышал голос.

Чуда не произошло, отец этого Сергея слишком далек был от ее мужа.

— Все равно вы для меня как родной,— сказала Евгения Павловна, померкнув и вернувшись в свое сегодня.— Вы хоть помните...

— Дед был не таким, как на этом портрете,— сказала Ирина.— Портрет не удался, как, впрочем, все у этого льстивого художника.

Ирина сидела у журнального столика в глубине большой комнаты, где даже камин был. Ее было плохо видно, и Сергей подошел поближе, чтобы ответить. Еще дальше, еще в большей затененности расположился в кресле Всеволод Андреевич, привычно повернувшись лицом к не включенному экрану телевизора. Таких громадных экранов Сергею видеть еще не доводилось. В его матовой, тусклой поверхности отражалась почти вся комната. И себя самого Сергей увидел в этом экране, но как бы в мглистой дали, из которой идти сюда и идти.

— А мне этот портрет нравится,— сказал Сергей.— Художник любил и уважал вашего деда. Это видно.

— Еще бы не любить и не уважать! — сказала Ирина.— Он же у нас национальный герой. Я с первого класса школы это бремя ношу.

— Бремя? — не понял Сергей.

— И еще какое. Я никогда не была самой собой, а была внучкой знаменитого полководца. Мои пятерки в школе и не мои вовсе. В университет я была принята чуть ли не заглазно. Да вот и муженек мне достался чуть ли не заглазно. Из прекрасной военной семьи, с прекрасным будущим, международник. Бери, Иришенька, все для тебя, все самое лучшее. Надо бы вам знать, что Всеволод в нашей среде

считался женихом из женихов, а я, видимо, первой невестой. Вот и сладились два первых номера.

— Ирина, опомнись, о чем ты говоришь?! — глухо окликнула внучку Евгения Павловна.

— Толкую на тему о портрете, бабушка. Он писался льстивой рукой, а я жила в льстивом мире. Но не стало деда, и выперла эта лесть красок, эта чрезмерность обожания, как и выперли все углы в моей жизни. Кто-то сказал из умных, что былая слава хуже ржавчины. Это касается и наследников.

— В мой огород камушек, как я понимаю,— сказал Всеволод Андреевич.— Женился, мол, по расчету.

— Но не по любви же?

— А вы, сударыня? Оказывается, чуть ли не заглазно на меня согласились.

— Оказывается. Оказывается.

Странен был этот разговор для Сергея. Не откровенностью своей при нем, постороннем,— он откровенных разговоров наслушался в жизни и знал, что как раз при посторонних-то и откровенничают,— странен был этот разговор потому, что зазвучал в музее. Здесь все было музеем. Начиная от портрета — и дальше, дальше по стенам, на которых было множество вывешено фотографий, каждая из которых была историческим документом, заполненная знакомыми и знаменитыми персонажами великой войны.

Сергей пошел вдоль стен, узнавая, удивляясь, он даже ахал тихонечко. Ахал нарочно, чтобы те двое замолчали. Ведь отболело ж все, сколько раз уже выяснялось все, обговаривалось — так зачем же здесь? Или не отболело? Эта маленькая девочка, сидящая на ручке кресла возле своего деда, трогающая пальчиком один из бесчисленных его орденов,— это она только что пожаловалась вслух на незадавшуюся жизнь? Не хотелось в это поверить, больно было поверить.

А Ирина опять заговорила:

— Не жаль, что расстались, жаль, что сходились. Смешно! Шубу покупаешь и сто раз прикидываешь, на свет выносишь, советуешься. А замуж идешь с одного кивка.

— Иришенька! — издали окликнула внучку Евгения Павловна.

Она тоже стояла у стены и приглядывалась к фотографиям, но видно было, что глаза ее ничего не различают, а вся она ушла в слух.

Всполошился Тимка, вздремнувший было посреди комнаты на ковре. Он вовсе не дремал. Он тоже слушал, строго поделив свое внимание между тремя близкими ему людьми, строго отыскав такое место, чтобы до каждого пролег равный путь. Он — слушал, и поскольку в семь раз более чуток собачий слух, чем у человека, было ему, должно быть, совсем худо от этого разговора. Вмешаться он не мог, но он мог вскочить, встряхнуться так, чтобы зубы залязгали, заскулить мог.

— Что, пошли, Тимоха? — поднялся с кресла Всеволод Андреевич.— Тянул, думал, колбаски тебе поднесут на ладони, а про тебя и забыли. Пошли!

Но Тимка за Всеволодом Андреевичем не последовал. Он сел посреди комнаты, уперся на хвост и начал лаять отрывисто и глухо.

Всеволод Андреевич остановился, повернулся к Тимке, стал внимательно его слушать.

— Ругается. Бранит на чем свет стоит. Так что же, не уходить? — Всеволод Андреевич поглядел на Ирину.

— Программа вечера еще не исчерпана,— сказала она.— В девятнадцать сорок пять некий международник выступает по телевизору. Ждать уже недолго.

— И ты будешь смотреть?

— Непременно. Мы с бабушкой всегда тебя смотрим и жалеем.

— Жалеем?

— Ну, сочувствуем.

— Вот как? Это почему же?

— Да разные тому причины. Так сразу не скажешь. Оставайся, посмотрим вместе. Вот Сергей пусть посмотрит.

— Я готов,— кивнул Сергей.— И Тимка, видно, согласен. Смолк.

— И даже разлегся опять,— сказала Евгения Павловна.— Вот кто искренен, так это Тимка. Его хоть понять можно.

— Усаживайтесь, господа, прошу.— Ирина подошла к телевизору, включила его.— Сейчас промелькнут мультяшки, а потом явится нам пророк в своем отечестве.

— Каковых не бывает,— сказал Всеволод Андреевич. Он вернулся к креслу.— Да, а как же тетушка? Она будет ждать меня.

— Сейчас позвоню ей, позову,— сказала Евгения Павловна. Она решительно шагнула к столику с телефоном, порывистыми движениями набрала номер.

В наступившей тишине было слышно, как отозвались в трубке длинные гудки, как ожил голос Зинаиды Васильевны:

— Да, слушаю. Вам кого?

Видимо, оттого, что дачи их были почти рядом, так громок, так отчетлив был голос Зинаиды Васильевны.

— Зина, это я, Евгения. Ты не удивляйся... Тут Всеволод у нас со своим приятелем. Так вот, мы ждем тебя, будем вместе смотреть выступление твоего племянника.

— Ох, бабушка! — шепотом вырвалось у Ирины. Она взглянула на Сергея, поясняя: ведь они не разговаривают с тех пор.

В трубке долго не было ответа, а потом прозвучал отрывистый голос:

— Хорошо! Сейчас буду!

Евгения Павловна опустила трубку, свела дрожащие руки и улыбнулась устало:

— «Сейчас буду»... Военная косточка!

6

Шел мультфильм. Не очень занятный, но все равно была в нем важная мысль. У этих рисованных людей и зверей всегда настоящие заботы и разговор всегда про главное. О верности, о предательстве, о смелости, о трусости. Мультяшки эти, как их назвала Ирина, они от притчи, даже если их делают заскучавшие ремесленники. Фильм, который мелькал на экране, ратовал за то, чтобы доброе в человеке всегда вознаграждалось.

Шел детский фильм, мелькала сказочка, а взрослые люди не отводили глаз от экрана, смотрели молча, сосредоточенно. Кажется, и маршал смотрел, следил за событиями.

Зинаида Васильевна как вошла, села поодаль, у дверей на веранду. Вступать сразу же в разговор ей, к счастью, не пришлось, уже включен был телевизор, и можно было, лишь кивнув с порога, сделать вид, что ее заинтересовало все происходящее на экране. Подалась вперед, уперлась подбородком в руку, ни на что вокруг не желая смотреть. Ни на племянника, неизвестно зачем очутившегося в этом доме, ни на его бывшую жену, сидящую почти рядом с ним, руку только протяни, ни на свою бывшую подругу, с которой все порвано, кончено, а тоже вот сидит, глупо уставившись на экран. И еще этот Сергей, подснежник, зачем-то извлеченный на свет божий Севой. Что задумали? Зачем собрались? Рубить так рубить. А она-то, она-то хороша! Только

кликнули — и побежала. Не нашлась что ответить. «Сейчас буду!» Безволие это, матушка!

Сергей так сидел — он в углу примостился,— что был ему виден и экран и те, что перед экраном. Он мог смотреть на их лица, не поворачивая головы, только чуть скашивая глаза. Он видел, как томится сухонькая старушка, уткнувшая подбородок в сухонькую руку. Глаза у нее беспокойно поблескивали, спрашивали, негодовали. Шибкий разговор сейчас вела про себя эта старушка.

А Евгения Павловна? И ее выдавали глаза. Экран не отсвечивал в ее зрачках, в себя ушла.

А эти двое, из-за которых, казалось, даже воздух напрягся в комнате, из-за которых даже собака извертелась и издергалась, не зная, куда голову обратить,— они были невозмутимы. Так ли? Сергей косил, вглядывался. Спокойны. Детская сказочка мерцала в их глазах.

Заканчивался фильм, прекрасную внушая мысль: злому — черепки, а доброму — награда.

Сергей перестал изучать лица, о себе задумался, ушел в свою жизнь. Надо, пожалуй, обзавестись телевизором. Для сына. Он из-за сына и не покупал телевизор, боясь, что этот ящик каждый шаг будет напоминать мальчику о его беде. Слишком много спорта исходит из этого ящика, люди на экране бегают, прыгают, кувыркаются, а парень его едва может ходить. Думалось, пусть читает книжки. Приохотился — вот пусть и читает. Умным растет, много знает уже, не по годам. Пусть таким и растет, когда слабость тела восполняется силой разума. Но нет, сын стал к соседям наведываться и жадно смотрит, как бегают, прыгают, кувыркаются. Надо купить ему телевизор. Пусть смотрит и сказки, все пускай смотрит, чем мир живет. Не защитить ему сына от горьких минут, когда будет сознавать свою немощь, сравнивая себя с теми, что на экране. И самому не спрятаться.

Кончился фильм, засветился экран, выплыла, взошла на него торжественноликая дикторша. У этой женщины все в жизни было в порядке, все о'кей! Даже глуповатым казалось ее лицо от счастья и довольства.

Увидев эту женщину, Ирина ожила, сонные ее глаза осветились.

— О сегодняшних проблемах Латинской Америки расскажет журналист-международник Всеволод Андреевич Кудрявцев,— объявила дикторша, широко раскрывая прекрасные глаза навстречу загадочной Латинской Америке и, видимо, загадочному журналисту-международнику.

— Она всегда теперь объявляет тебя? — спросила Ирина.— Вы теперь там с ней неразлучная парочка?

Дикторша еще немного померцала, удерживая неподвижную улыбку, и истаяла в эфирных глубинах.

— Что молчишь? — спросила Ирина.— Теперь тебе таиться незачем.

— Сейчас заговорю,— сказал Всеволод Андреевич.

Он как мог был безучастен ко всему, он послеживал за собой, чтобы не выдать своего интереса к надвигающемуся мгновению. А надвигался он сам на себя, вдруг возникнув крупно на светящемся экране.

Сергею показалось, что Всеволод Андреевич вошел в комнату и сел в кресло напротив, спокойно и благожелательно глянув на Сергея. Но рядом, сбоку, сидел еще один Всеволод Андреевич и смотрел на экран. На себя самого.

Все же это было два человека, а не один. У того, на экране, один просматривался характер, у этого, в комнате,— другой. Тот, на экране, был и впрямь загадочен. Он был облечен доверием, ему предстояло

выполнить некую важную миссию, он знал что-то такое, что было интересно для миллионов и чего эти миллионы без него узнать не могли. А этот, в комнате, наигрывал безразличие, но волновался, дорожа мнением тех, кто был здесь, с ним рядом, дорожа и его, Сергея, мнением. Но больше всего хотелось ему произвести впечатление на свою бывшую жену, самую главную для него сейчас зрительницу из всех возможных миллионов. Он хотел ей понравиться? Зачем? Все ведь позади у них. Может быть, он хотел причинить ей боль? Вот, мол, кого потеряла. Но, похоже, не она ушла, а он. И кажется, к той вон, что объявляла. Ничего невозможно было понять. Видно только было, как наигрывает человек безразличие.

— Полный эффект присутствия,— прокашлявшись, молвила Зинаида Васильевна. И она волновалась. Забывшись, привстала и пересела на стул поближе к двум своим Всеволодам. И тоже быстро глянула на того и на того, сравнивая.

— Тот, что на экране, многозначительней, пожалуй,— тихонько проговорила Ирина, угадывая чужие мысли.— Как это — коэффициент популярности от него исходит. Кстати, Всеволод, возрос ли у тебя этот коэффициент?

— Иришенька, помолчи,— сказала Евгения Павловна и начала сжимать ладонью вдруг заболевшие глаза. Ей без надобности был этот Всеволод — и сам он и образ его на экране. У нее глаза разболелись, потому что в насмешливом голосе ее внучки не утихала боль.

А экранный Всеволод Андреевич тем временем начал свой рассказ. Все, все он знал про Латинскую Америку. Это сразу же стало понятно слушателям. Знает человек дело, Латинская Америка для него — открытая книга. И Аргентина, и Венесуэла, и даже Суринам, о котором Сергей впервые в жизни слышал, не говоря уж о Гваделупе и Фолклендских островах,— все, все они были ведомы Всеволоду Андреевичу.

Тот знал об этих странах все, а этот, в кресле перед экраном, не знал даже и того, зачем он очутился в этой комнате и почему его так волнует мнение его бывшей жены о том, каков он на экране.

В Чили было худо. Тысячи людей томились в застенках. Убивали детей и женщин. Он знал и об этом, всезнающий Всеволод Андреевич, как убивают детей и женщин. Нет, ничего он не знает ни о том, как приходит несчастье, ни как умирают люди — дети... женщины...

...Когда опрокинулся автобус — а сперва глухой удар был и звонкий звон стекол,— когда он опрокинулся и начал сминаться, как мнется конфетная серебряная бумага, тогда закричали дети и женщины, закричали мужчины — и этот крик теперь все время в нем. Притихает, взрывается, отбегает, возвращается, но все время живет. Сейчас он вернулся, взорвался, встала в глазах полоса черного шоссе, упершаяся в лес и в небо, а он бежит по этой полосе, неся на руках женщину и мальчика, эта ноша не тяжела ему, он мог бы и взлететь с этой ношей, но не знает, куда лететь,— вокруг все черно и крик, крик.

Худо нынче и в Аргентине. Бесчинствуют террористы. Дня не проходит без жертв. Как быть? Как обезопасить людей от этих бомб, от этих выстрелов в спину? Разумеется, Всеволод Андреевич не может дать стопроцентной рекомендации, но он все же знает, что надлежит сделать прогрессивным силам страны в первую очередь. Он знает, как знают орудовцы, что в дождь нельзя ехать слишком быстро и что тормоза у машин должны быть всегда в исправности.

Куда-то в туман ушел знаток Латинской Америки, меркнуть стал сияющий экран в глазах Сергея. Он подумал было, что это из-за помех. Но и комната померкла в глазах, затянулась серой пеленой. Он страшился этих мгновений своей слабости. Его сыну нужен был силь-

ный отец, опора. И когда приходила слабость, Сергей затаивался, перемогался в одиночку.

Но сейчас он был на людях. Сергей пошарил в тумане, ища хоть какой-то для себя помощи, хоть малого просвета. Все смотрели на экран, всем было не до него, и это принесло облегчение. Только взгляд маршала приструился к Сергею сквозь туман. Полегче стало Сергею. Так вот почему отец даже в больницу взял с собой портрет маршала. Теперь Сергей понял. Вот почему! Отец готовился к страшному, и ему нужен был сильный и чистый свет в обступавшем мраке. Надо во что-то верить, в кого-то верить — изо всех сил души. Беззаветно. Преданно. До последнего вздоха. Солдат верил в своего маршала. С этой верой и умер, не смятый жалким страхом перед смертью. Может быть, он в атаку поднялся за этим лучиком света. Рванулся, а не сжался в последний миг, не пал, а выпрямился. Как знать?! По ту сторону жизни у отца было спокойное и смелое лицо.

Полегче стало Сергею, посмелей глянули глаза.

Кто-то тронул его руку. По ковру подполз Тимка и ткнулся в руку и раз и другой. Сергей быстро наклонился к Тимке, благодарный ему безмерно. От Тимки пронзительно, солнечно пахло сухим спичечным коробком. Такой запах был лишь в детстве. Только тогда так солнечно мог дышать спичечный коробок.

— Сергей, что с вами? — спросила Ирина.— Что это вы там с Тимкой целуетесь? Господи, да у вас слезы в глазах!

Как раз кончил свой рассказ о Латинской Америке Всеволод Андреевич, предательски ярко засветился экран.

Сергей поднялся. Все сейчас смотрели на него, и некуда ему было отвести глаза. Вот только на маршала можно было посмотреть, за этот лучик света ухватиться.

— Вспомнилось...— хрипло сказал Сергей. Он пошел к дверям и вдруг обернулся: — Горя вы не знаете! Вы простите меня...

Тимка кинулся следом за ним, протестующе лая.

7

Пес настиг Сергея за калиткой и лаял, лаял. Не злобно, нет, а будто выговаривая. За что? Не довел, мол, дела до конца? Как его доведешь? Пусть сами, сами.

Тимка проводил Сергея до машины, он больше не подавал голоса. Понял, что уедет человек.

— Сергей Андреевич! Сергей! — запыхавшись, подбежал к машине Всеволод Андреевич.— Куда же вы так?..— Смущенным движением, чуть ли не робким, он протянул Сергею зажатую в пальцах десятку.— Ведь помогли... Время потеряли...

Сергей спокойно взял у него деньги.

— Не много ли?

— Что вы, что вы!

— Ну, прощайте,— сказал Сергей.— Помиритесь. А?

Кургузая его машинка рывком стронулась с места, заспешила домой.

...А доброму — награда.

ЛИЛИЯ БЕЛЯЕВА

★

СЕМЬ ЛЕТ НЕ В СЧЕТ*

Повесть

— Ишь как ты на Дарью смотрел! — сказала ему жена дорогой.— Уж не влюбился? Нет? — рассмеялась беспечно.— Ничего не получится! Не ты первый!

— Оставь глупости,— оборвал он.

— Кстати, у нас есть телефон этой Дарьи? — спросил уже в прихожей, снимая с жены пальто.

— Ха-ха! Где же логика? — насмешливо, но тихо,чтобы не разбудить дочь, спросила она. — Если не влюбился, зачем телефон?

Зевнула, потянулась, подмигнула и ушла.

— Меня интересует ее муж. Ясно? — сказал он, входя следом за ней в спальню.

Встал у окна, отдернул занавеску. Огни, огни, огни... Яркие и тусклые, сияющие и мягкие... зеленые, красные... всякие. «А ведь и кроме паровозов бывали машины, пускавшие в трубу бешеное количество энергии,— подумалось Евгению Петровичу.— Пароатмосферная машина Ньюкомена, например. Она могла работать только на шахте — так много жрала угля. А воду откачивала еле-еле. Коэффициент полезного действия — две десятых процента. Лишь жалкие остатки угля шли на отопление лондонских каминов».

— Нет, правда, Дарья прелесть? Он тоже весьма ничего. Был. Лет тридцать назад,— тихонько говорила жена, расчесывая волосы на ночь.— Только как она с ним... Ты меня понимаешь? У него же протез. А она такая эстетка.

— У тебя есть номер их телефона? — возвысил голос Прозоров.

— Да, конечно. В книжке на тумбочке. Сам не догадался? — Женщина примолкла было, и Прозоров услыхал в тишине шуршание расчески в ее длинных волосах.— Вот сумасшедшая,— заговорила она опять.— Уважать его — это еще понятно. Но любить... И так! Представь, они переписываются по праздникам. Она ему письмо, он — ей. По нескольку страниц. Ну о чем, о чем писать друг другу, если пятнадцать лет вместе? Чушь, блажь. Зашла как-то — на полу сидит. Колени его обнимает и глядит на него. Как собака, ей-богу. Конечно, психоз. Даже в романах про такое не вычитаешь. А знаешь, почему у них все это? Очень просто — детей нет.

Прозоров выскочил в прихожую, захлопнул за собой дверь, трясущимися от раздражения пальцами принялся листать телефонную книгу. Клубок фиолетовой шерсти с торчащими тонкими спицами, забытый у телефона, вызвал в нем бессмысленное мгновенное отвращение. Он сбросил его на пол. Переписывал к себе номер Севастьяновых и шептал:

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

— Помолчи! Помолчи! Пожалуйста! Прошу, умоляю — ос-с-становись!

Увидел себя в зеркале: растрепанный, жалкий, с перекошенным лицом и бессмысленными глазами. Стал к зеркалу спиной.

Зачем ему понадобилось иметь при себе телефон Севастьянова? Должно быть, и сам не знал. Так, на всякий случай, что ли...

...Ночью ему снилась мать. Пьяная, косматая, она бежала за ним с веником и кричала: «А он ей письма! А она ему письма! Любовь у них! Любовь! Ну, сволочь! Ну, гады! А дети? Дети? Дети?» Он старался думать, что маленький, и несся к сараю, к зарослям паслена, рассчитывая нырнуть в них, спрятаться. Но это ему не удалось, потому что он был высоким мужчиной в тяжелом дорогом пальто и шляпе.

Подхватывался, мчался дальше, скатывался в овражек, вздыхал облегченно, и вдруг зазвенело прямо над ухом. Что такое? Пуля? Пули звенят? Мать честная — стреляют! В него. Слева, справа, сзади! Как долго это могло продолжаться? А если какая без промаха...

Вскакивает, несется не разбирая куда, потный от страха, задыхающийся, но пули упорно, насмешливо звенят следом, настигают и уже щекочут вставшие дыбом волосы, взрезывают мимолетом виски и края ушей. Мгновение — череп хрясь и размозжится, разлетится кровавыми осколками. «А-а-а-а!» — взвыл и очнулся от сна.

В прихожей звенел телефон. Дверь туда была распахнута. В темноте проема мелькнул бледно-голубой подол Ларисиного халата. У дверного косяка валялась на боку потерянная ею тапка с белым мехом внутри.

Трезвон оборвался.

— Ах это ты, Софочка! — раздался голос жены, томный, сипловатый со сна, но постепенно набирающий целеустремленность и звонкость.— Я ужасно, ужасно благодарна тебе!.. Понимаю, понимаю. Ну какая же ты умничка!

Прозоров повернул голову в сторону детской кровати. Дочь спала, укрывшись с головой одеялом. Не было видно ни ее слабых, неопытных рук, ни беззащитной худобы ее подбородка и шеи — нечто неопределенное и бесформенное. Это как-то странно обрадовало и успокоило его.

— Неужели? Да что ты? Да ну? — вдохновенно изумлялась по телефону жена.— Я понимаю, понимаю. Фирма!.. Да нет, нет, совершенно, совершенно точно! Просто блаженство! Нега! А застежки? Мечта! Очарование!

«Это о чем она так?» — подумалось Прозорову. И когда жена пришла с раскрасневшимся, сияющим лицом, он спросил ее.

— Как о чем? О перчатках. Настоящие английские! — добродушно, с неостывшим увлечением сообщила она.— Представляешь? Софочка достала. Я тебе не показывала еще? Просто чудо! Софочка — моя читательница. Такая крашеная мини-блондинка. Из соседней «Галантереи». Сименоном увлекается.

— О перчатках? «Блаженство»? «Очарование»? Такими словами?

Прозоров ногами отбросил одеяло, встал.

— Ну и что? — Жена дернула плечиком, шелковым, упитанным, заметила потерянную тапку, сунула в нее маленькую чистенькую ножку.— Обыкновенными русскими словами.

— Дур-рацкими, а не р-русскими,— прорычал Прозоров, запахи-

ваясь в халат.— Ты что, в самом деле дура голая, что даже этого не понимаешь?

Схватил не глядя со стула брюки, пошел в ванную.

— Опять за свое хамство? Да? — вскрикнула вслед женщина трагически и плаксиво, и это нисколько не тронуло его. Он остановился скорее всего по инерции.

Помолчали.

— Ну? — спросил нетерпеливо.— Ну вот,— вздохнул неопределенно, без запала уже,— мы начинаем привыкать ко взаимным оскорблениям. Они входят в наш быт как нечто само собой разумеющееся.

— Это ты все еще никак не можешь избавиться от своих свинских сахалинских привычек! — бойко, почувствовав спад его энергии, сказала жена.— А я что же, должна тебе спускать и спускать? Я тоже умею оскорбляться!

Прозоров вспомнил про эспандер. Вытащил, ушел в большую комнату и там, не снимая халата, попробовал поработать. Но терпения хватило лишь на пару минут. Мускулы, не освеженные тяжелым сном, отказывались напрягаться. Да и зачем? На кой вообще сдался ему этот эспандер?

Перед ним на стене висела картина: трамвай, похожий на крейсер, и какие-то круглые предметы около — то ли овощи, то ли фрукты, а может быть, и мотки шерсти. Вспомнил, как вывоpотило его, когда впервые обнаружил эту дешевую, беспардонную мазню. Хотел снять. А вот же — висит, присмотрелся, притерпелся. И сейчас, конечно, не поздно рвануть эту дрянь с гвоздем. Только — смысл? Все одно уж. Виси! Еще и мебель сменить собирался. С чего? На уровне... вполне мебель... со вкусом. Со вкусом того, очкарика,— вот в чем дело. Вытащить, сдать в комиссионку, найти подходящее, привезти, втащить. «Да неужто я всерьез собирался такую прорву забот на себя взвалить? Надо же!»

Сунул эспандер в карман, побрел в ванную, встал под теплый-теплый душ и вдруг подумал с холодным, бессердечным озорством: «Эх ты... Чижик... В том-то и дело, что не умеешь ты оскорбляться. Нисколько не умеешь. Не дано! Ну и прекрасно, между прочим,— одернул себя равнодушно, по привычке.— Жена и должна быть такой. Такой... снисходительной, уступчивой. Вон и в газетах пишут. В самом деле, что? Крики, истерики по всякому поводу? Лучше, что ли? Зачем? Ах, Чижик, Чижик, не умеешь обижаться, ну нисколько, ну никак. Не по твоей части, радость моя! Вот Оля...» Вздрогнул, выключил горячую воду и предоставил ледяной безжалостно сечь свое неразумное, грешное тело, в котором распоряжался уже не голос рассудка и совести, а этот второй, упорный, горячечный, опасный.

Нет! Что вы! Она не какая-нибудь, чтоб вопить или там ногами топать, вещи кидать. Тем более слезы пускать. Ничего подобного. Не дождешься. Она не замечает тебя, и только. Она занимается своим делом, и тебя для нее не существует. Будто не ты только что хлопнул дверью и громко, внятно позвал:

— Добрый день, Оля!

Бровью не поведет. Пишет, если писала, читает, если читала, играет, если играла. Чаще всего, разумеется, играет.

— Здравствуй, Оля! Это я, Оля!

— Послушай,— говорит она своему очередному ученику или ученице.— Ты стучишь по клавишам. А надо? Надо играть. Смотри на мою руку. Слышишь? Вот птичка опустилась на ветку, и ветка закачалась, закачалась... Сначала сильно, потом все слабее, слабее...

— Оля, я тебя не понимаю. Разве можно изо всякой ерунды...

— ...Птичка опустилась на ветку, и ветка закачалась, закачалась... Полегче, полегче... Вот так, умница.

Он ушел, хлопнув дверью. Но вечером какая-то безмозглая, нерассуждающая, подлая сила притащила его опять к порогу этой узкой белой двери с металлической ручкой, заляпанной старыми белилами.

— Женя! Что в ванне застрял? Опаздываешь! — прозвучал надрывный женский голос.

Спохватился, поспешно вытерся, оделся, пришел в кухню. Женщина в бледно-голубом что-то говорила ему, улыбалась чему-то. Он ел, пил, что-то отвечал и, кажется, тоже улыбался, старательно делая вид, что здесь, с ней, все обыкновенно, как всегда.

Однако на самом деле... он стучит в белую узкую неприступную дверь. Сначала согнутым указательным пальцем. Потом кулаком. Потом двумя кулаками.

Дверь молчит. Только вздрагивает под его ладонями от яростных звуков, несущихся изнутри в каком-то сумасшедшем, бешеном ритме. Он слышит устрашающее гудение перенапряженных, будто раскалившихся струн.

Обходит вокруг дома, осматривается, нет ли поблизости любопытных, и, уцепившись за подоконник, заглядывает в комнату.

Ну да, она сидит к нему спиной. Черные волосы, стянутые на макушке лентой, лисьим хвостом мечутся туда-сюда. На черной плоскости пианино на самом краю сотрясается ваза с желтыми листьями — вот-вот соскользнет и разобьется.

Он барабанит в стекло.

Но черный лисий хвост там, глубоко, за двойными рамами, как ни в чем не бывало продолжает летать слева-направо, справа-налево над прямой спиной, затянутой в желтое.

Вернулся к себе в пустые две комнаты, грохнул чайник на электроплитку. «Подумаешь! Плевал! — разорялся, шастая по скрипучим, усыхающим половицам, свирепо вгрызаясь в ломоть хлеба с салом.— Ну из-за чего?! Из-за чего?! Бешеная! Сумасшедшая! И сколько зла! Сколько зла, оказывается! У-у-у! Рябов, Рябов, Рябов... Черт его побери! А что Рябов? Что? Старикана ругнул. Сорвалось. С кем не бывает! Знал, что ли, что старикан в этот день на пенсию вышел? Рубаха белая, ордена... А у Рябова землетрясение! Да и как это практически начальнику шахты всех сторожей биографию знать? Чушь! В идеале да, конечно. А если реально? — Останавливался, чтоб лучше сосредоточиться и прочнее аргументировать, глядел в широкие мутноватые стекла, к которым лип серо-черный, тоже какой-то нечистый мрак.— А и старикан хорош! Видит — занят человек, нет, лезет со своей черепицей. Люди аварию расхлебывают, у Митрофанова завалило, у Лизунова газ потек. До черепицы тут? Нет, приперло! Рябов и гаркнул под горячую руку. И нате вам, нежности какие — инсульт.— Снова ходил туда-сюда, лил в кружку, проливал на пол кипяток, глотал его, обжигался, стонал, кривился и, как будто кому назло, опять глотал.— Ну жалко деда, ясно. Но так кто же знал?! Оборвать Рябова? Одернуть? Выругать? При деде? При всех? Мой долг? Моя обязанность? Почему именно моя? Почему именно я? Да я сам только-только от Митрофанова пришел. В глине, мокрый. Так почему, почему я оказался виноват больше всех, чуть не больше Рябова? Где логика? Где твоя логика? Ну? К черту? К черту-у!»

Это была их первая ссора. И, видит бог, он не хотел больше идти к ней. Ни за что! Есть же мера. Поунижался! Пооправдывался! Всякому

терпению приходит конец. Сама опомнится, сама пожалеет, сама вернется и покается. Да завтра же утром. Проспится и... Непременно.

Но едва рассвело и солнечный луч пробился сквозь пыльные стекла, как он торопливо вскочил с перемятой кровати и, кое-как собравшись, помчался к ней.

Ах, черт побери! Ну на кой ему это было нужно?! На кой?!

...Ее дверь была заперта. Но она-то была там, внутри. Тут, рядом. Он слышал знакомые расторопные шаги, и как по-утреннему звонко бренчит посуда в ее руках, и как частенько, чистоплотно шаркает веник у самого порога.

Постучал. Позвал. Тотчас беглый перестук унес ее в глубь комнаты, и она как растворилась там, исчезла, неприступная, бесплотная, чужая.

Он приходил к ее порогу целую неделю утром и вечером. Стучал просительно и настойчиво, робко и требовательно.

Бесполезно. Как умерла.

Ах, задуматься бы ему еще тогда, что это за человек, что за характер, что за женщина!

И вдруг поздно вечером сама впервые является к нему.

Проходит молча по пустым комнатам, останавливается возле кривоногой табуретки, тычет пальцем в белой перчатке в электроплитку, заскорузлую от пролитых в разное время консервных соусов.

На лице — в расширенных глазах, в высоко поднятых бровях — недоумение, похожее на испуг:

— И это — ты? Ты?

Он готов был провалиться сквозь землю... Он стоял перед ней дурак дураком...

Но она не унималась:

— И тебя это устраивает? Да? А не слишком ли многое тебя устраивает? Других не устраивает, а тебе нипочем! Это как понимать?

— А что? Прекрасное качество,— осмелился он сострить.— Для тех, кто понимает.

— Да ну? А я не понимаю. И вряд ли пойму. Еще не одет? Одевайся. Пошли... понимать.

Ничего не понял, но одеться поторопился. Шли рядом молча, только ночная растревоженная трава сердито шуршала под ногами. Отыскал и попытался взять ее за руку. Вырвалась, не проронив ни звука, пошла впереди, на ходу стаскивая с рук и засовывая в карман белые нарядные перчатки.

Он первым взбежал на ее крыльцо. Но она остановилась внизу и холодно сказала:

— Слезай. Дай руку.

Слез, дал руку. Она стиснула ее своими жестковатыми, сильными пальцами и уверенно повела его невидимой тропой вокруг дома, мимо каких-то куч, слегка белевших в темноте безлунной ночи.

— Оля... Оля... — умолял он ее.— Ну куда же мы? Куда?

Подвела к крыльцу своих соседей, толкнула дверь.

Он очутился в большой комнате, в зеленоватом полумраке от абажура настольной лампы. На полу крестом — бумажные полосатенькие дорожки, на окнах, на двери, на русской печи занавески в огромных ситцевых розах. Посапывает сонно, благодушно электрический самовар на столе. А на диване, что рядом с печкой, стоит будильник и громко, строго напоминает, что время не стоит, уходит, исчезает, унося с собой частицу жизни — его, твоей, моей..

Под будильником в белом сугробе подушки — ветхая, сухая, старческая голова с остренькой колючей бороденкой. Поверх темно-зеленого ватного одеяла — тощие руки с кривыми ногтями. Один старческий глаз прикрыт морщинистым веком, второй, выпуклый и зоркий, уставился на вошедших.

Прозоров вежливо, даже вкрадчиво как-то произнес «здравствуйте». Старик не ответил. Оторвал от него взгляд единственного глаза, воткнул в пустую стену напротив. Сосредоточенно стучал будильник, убежденный в необходимости спешить, действовать. Но Прозорова только раздражал этот неугомонный деловой стук, мешал думать на тему: «Зачем я тут? Что мне тут?»

В уголке, полуприкрытая простыней, висела знакомая белая рубаха. На ней тускло поблескивал старый орден Красной Звезды. «Зачем я тут? Что это она?»

А она стояла рядом, не мигая смотрела, как уныло, без охоты отрывались водяные капли с носика самовара, падали в переполненное блюдце.

За спиной стукнула дверь. С улицы вошла высокая бабка с суровым костистым лицом, поскидывала с головы платков пять, сказала, потянув Ольгу за болонью:

— Как? Видела, Васильевна? Во дворе-то? Ишь ты, привезли! Завтра и покроют. Обещались.— Бабка усадила Ольгу у стола, повернула к старику скорбное лицо, позвала протяжно, как через поле: — Стари-ик! Привезли шиферу, привезли! Что молчишь-то? Скажи хоть что! Аль не понимаешь, что говорю? А вы что ж? Пожалуйте к столу,— позвала Прозорова, а когда он сел, налила всем по чашке чая, поставила миску, полную пирогов.— Пейте, ешьте, свежее, свое.— Отпила глоток из чашки, пододвинула пироги поближе к Ольге, сказала ей шепотом: — Врачи сообщили, не должон молчать, полегчало ему, дай бог через месячишко и вовсе оправится. Ох, дура я, дура, Васильевна... Чего сама-то не пошла, чего его, старого, снарядила? По правде — надоело-то просить. То-то и не пошла. А и куда им, занятым, образованным, до нас, старых? Верно говорю?

— Нет, неверно,— сказала Ольга и прямым, бесцеремонным пальцем ткнула в него, в Прозорова.— Видите, пришел человек. Тоже с образованием. А сочувствует, переживает.

Бабка поглядела в лицо Прозорова. Он зачем-то улыбнулся. Вышло глупо. Разозлился: «Ну чего придумала! Вот уж... Никогда не знаешь, что выкинет».

— А днем-то, днем,— хвастала и горевала одновременно старуха.— Сам Рябов ить пришел. Грамоту старику принес и премию, пятьдесят рубликов. Извинения просил. Надо ж!

Ольгино лицо зарозовело...

— А старый? Промолчал. Глядеть глядел, а рта не разомкнул. Хорошо ль? Господь каких еще грешных прощает, а ты-ы? — Старуха подсела к старику, прикрыла своей живой, черной от загара рукой его белесые неподвижные пальцы.— Что ж так-то? Негоже, старый. Ох гордец! Ох упрямый! — упрекала, совестила и оглаживала мягко и аккуратно безответные стариковы пальцы.— Они же какие? Они ж, руки эти, еще в гражданскую винтовку держали. А то! И в финскую. А то! И в Отечественную. Плотничали, столярничали, детишков нянчили. А уж земли-то, земли перелопатили — и! Да я же тебе, Васильевна, рассказывала про огород наш.

— Нет, нет, расскажите еще раз. Этому человеку очень интересно. Он послушать пришел,— не сбиваясь, нагло и уверенно соврала сумасбродка и, когда он, Прозоров, зло глянул на нее, даже не отвела глаз.

Ну, ясно теперь, зачем она затащила его сюда. Так сказать, перевоспитание методом последующего общения преступника с жертвой. Ибо — что тоже абсолютно ясно — она видит в нем преступника, не меньше.

— Огород опытный из года в год садит. И чего только не выращивает! Потом на семена. Кто попросит, тому и шлет. С выгодой какой? Да нисколечки! Бесплатно все,— рассказывала старуха и не уставая гладила и гладила иссохшие, уродливые стариковы руки.— У нас почты этой! Что ты! Тоже и благодарят. С Киева благодарят, с Новгорода, с Астрахани... — Старуха вдруг съежилась, закрылась ладонями, расплакалась.— С Риги, с Рязани, с Москвы даже... все благодарят, благодарят.

— Будет, Груня,— внезапно зло произнес старик.— Чего реветь? Помер я? Нет.

Но старуха при звуке его маломощного гневливого голоса зарыдала пуще и запричитала:

— Заговорил, старый, спасибо тебе, слава богу, заговорил! Да не по тебе, не по тебе. Я по последненькому нашему, которого в землянке родила, на Брянщине. Радости! Немцев-то аккурат вчера прогнали. А он возьми и помри. Все в чурочки играл, все утро в чурочки играл. От молочка отказался — мол, ни к чему уже. Как понимал что... Потом взял и помер. Без мучениев, по-хорошему. А и что? За что б ему мучиться? Он и себя еще не успел обидеть, не то что кого.

Старик засипел, понатужился, привстал, обхватил старуху длинными костлявыми руками, позвал жалостно:

— Грунюшка, Грунятка-а! Ну не надо, уймись.— Ткнулся и глухо, виновато вроде забормотал ей в кофту: — Скажи лучше, как там капустка моя, морозец не пробрал? А? «Хибинку»?

— Не, Федюша, не пробрал,— глубоко, утомленно вздохнула старуха, освобождаясь наконец от изнурившего тело и душу гнета.— Нисколечки не пробрал.— Качнулась женственно и крепко прижала к себе плешивую старикову голову.

— Пошли,— шепнула Оля.

— Ну? — спросила нетерпеливо, задиристо, едва они вышли на воздух.— Осознал? Понял? Или как?

Она медлила спускаться с крыльца. Он стоял на земле. Она была чуть-чуть выше его, и, должно быть, это ее устраивало.

Молоденький ясный месяц, только что распеленатый, высвободившийся из туч, сиял над ее головой. Выбилась и струилась на зыбком ночном ветру прядка черных прямых волос. Глаза с остановившимся на Прозорове пристальным зрачком блистали разбойничьим вдохновением. Ну, ясно, разве она могла сомневаться в своем праве на торжество? Ей все это казалось как дважды два. И свет месяца до того тонко очертил во тьме нежную ускользающую линию ее шеи...

— Осознал! — шепнул он горячо и обреченно, выбросил руки, стиснул, поднял и прижал ее к себе. И рассмеялся от счастья чувствовать легкую, дорогую, желанную тяжесть, от счастья страдать, жить, любить, видеть над собой молоденький месяц, дышать ночным весенним воздухом, полным сочных, крепких, будоражащих запахов земли, трав, моря.— Все, все осознал! — уверял он в упоении жизнью.

— Правда? Правда? Я знала, знала! — быстро откликнулась она и сама обхватила его сильными истосковавшимися руками, и ее белый беретик упал в мокрую траву, и месяц закачался в небесах, а она расплакалась вдруг ни с того ни с сего: — Прости... прости... но... прости... тебе действительно стыдно? Ты бы теперь... после... не стал молчать? Ты бы сказал Рябову? Одернул?

— Обязательно! Непременно! Поверь! — успокаивал он ее.

Только на кой, на кой, зачем было ему все это нужно?!

— Да посторонитесь вы! Дайте же пройти! — услыхал внезапно раздраженное, будничное.

Очнулся. Едет в троллейбусе. Народу — битком. И это ему кричат, его толкают, чтоб в сторону откачнулся, не мешал, не путался под ногами. Поспешно послушно подался вбок, куда отжимали.

...И опять его нет в московском утреннем троллейбусе. Опять он на Сахалине, шагает по широкой лесной дороге. Справа между темных стволов старых лиственниц голубеет море, слева — огромный белоколонный зал — березовый лес, шелестящий блескучей, новорожденной листвой.

Утро солнечное, ветреное. В канавах кое-где еще ледок синеет. Но уже сверкает на солнце свежая лягушачья икра, молодая ель так густо пахнет смолой, что ноздрям щекотно и жарко.

Чем ближе к шахте, тем кучнее идет народ, тем громче, шутливее разговоры, дружнее хохот.

Покой в мире, дружелюбие, ясность.

И вдруг — Рябов. Взял за плечо, остановил. Носком сапожища пробует сбить мокрый глиняный бугор, не поднимая глаз, бубнит хмуро:

— Твоя-то... у-ух! Гоношистая! Сил нет! Поди, жареный петух не клевал ни разу. Вчера ворвалась в кабинет, секретаршу отпихнула. А у меня люди из области. Совещаемся. Раскричалась, наоскорбляла. Меня. Что ей? Бис-сек-три-са. Все за деда того. Пришлось в тот же день и шифер организовать, и грамоту, и... А уж не ты ли, Прозоров, подогрел ее? Не ты?

— Что вы, нет, конечно,— открестился он тотчас.

— И то... — Рябов выпустил его плечо из тисков своих железных пальцев и ухмыльнулся вдруг из-под ржавых бровей: — Куда, куда тебе, ангел! Не по твоему замаху сосенка! Скорей она тебя подогреет. Эх, мне годков тридцать бы скостить! Отнял бы, уберег. Так-то, человече! — Рябов приметил и скинул сапогом в канаву усыхающий на траве зеленоватый ячеистый лоскут лягушачьей икры и двинулся вперед споро и угрюмо, как бульдозер.

А у него, Прозорова, надолго осталось ощущение уязвленности, точно его щелкнули по носу, а он не сразу сообразил, что это оскорбительно, и не собрался ответить.

— Мне стыдиться? А чего? Что я люблю тебя? Этого? Но я тебя люблю. И городок наш маленький. И всем это видно.

И снова несется ему навстречу, разбрызгивая пенистую кромку прибоя, босая, хохочущая, с лентами морской капусты в кулаке. Обнимает, целует суматошно, лепечет всякий сумасшедший вздор, и плевать ей на все.

— Оленька, Оленька! — умоляет он.— Вон мужик в лодке.

— Какой мужик? Какая лодка? Я целый день ждала тебя, целый день! — И губами трогает ссадины на его руках.

— Но почему без туфель? Вечер же, холод!

— Бежать мешали. Бросила. Вон там.

Он видит ее покрасневшие, сморщенные от морской суровой воды ступни, еще влажную пену на щиколотках. А-а, все одно уж! И, забывая всех мужиков в лодках, садится на камень, достает свой большой носовой платок, вытирает эти ее глупые, несчастные ноги, согревает руками, за пазухой.

«Фу, ненормальные! — фыркает Прозоров, усаживаясь за свой рабочий стол.— Был ненормальный»,— добавляет сердито, предусмотрительно и лживо.

Рабочий день тянется для него утомительно долго, бессмысленно и никчемно. Ему, еще недавно такому собранному, деловитому, хочется ненавидеть себя за такое недопустимое, унизительное отношение к своим обязанностям. Он старательно сосредоточивается на телефонных разговорах, на писании бумаг, подчеркнуто озабоченно принимает посетителей, с особенным, целеустремленным выражением на лице выслушивает приказания начальника. И все-таки ловит себя на том, что теряет нить своей и чужой мысли, что память оказывается ярче, требовательнее действительности.

Он внимательно смотрит в глаза собеседника, но видит совсем другие глаза, и брови, и лоб, и волосы, черный лисий хвост, перехваченный ленточкой, и голубой след в снегу там, где ступила нога в белом легком сапожке.

«Да зачем, зачем думать мне обо всем этом? — отчаянно недоумевает он, возвращаясь издалека в текущий момент.— А вот зачем! — радуется поспешно и обосновывает второпях: — Вспоминаю, чтобы забыть, выбросить из головы. Чем больше вспоминаю, тем скорее забуду. Раз уж невозможно без этого,— изворачивается перед собой, и плохо верит себе, и еще пуще страдает от этого.— Да и что помнить-то?! Что?»

Изнуренный двойственностью своего существования, кое-как притащился домой, сел в кухне, развернул газету.

— Ешь, стынет,— напомнила жена.

Послушался. Пошевелил вилкой салат, быстро, кое-как прожевал котлеты, выпил компот, сладкий до тошноты.

— Представляешь? — звучал голос женщины, которая маячила напротив расплывчатым пятном.— Представляешь, сегодня к нам новенькая пришла в читальный зал. Кофточка из мохера, потрясающий цвет. Принесла вязание. Как только читатель отошел от барьерчика — берет и вяжет. Длинный бежевый шарф с белыми кистями. В первый же день! Представляешь? Я бы не решилась, не поступила бы так.

— Да? — сказал Прозоров, продолжая соблюдать ритуал семейного разговора. Однако голос внутри него прокомментировал рассказ женщины на свой лад: «Поступила? Даже так? Поступки... Да неужели? Постой-ка, Чижик, погоди, а какие и когда числились за тобой поступки? Были разве? Или есть? Охо-хо-хо... Действия — да, ну вроде хождения на работу, в театр, в гости. Но поступки... Нет, Чижик, увы, поступки не по твоей части. Разве что когда созналась... насчет очкарика... Но не довела, нет, раз — и на попятную, и очкарика побоку. Куда тебе! Куда!»

Ослепительно белое, душное, наваливающееся. Он по пояс прочно увяз в сыром топком снегу. По спине под ватой подкладки, мешаясь с тающим снегом, течет жидкий пот слабости и изнеможения, ноги тяжело гудят от усталости. А пурга еще в самой силе, яростно гудит, словно пламя в топке.

— Ха-ха-ха! — звучит, прерываемое гудом.

Две цепкие дружественные руки, но тоже давно изнемогшие в неравном поединке с осатаневшей природой, тщатся вытянуть его из безбрежной снежной топи. Конечно, не получается. Снег мгновенно скапливается на шапке, на плечах, и давит, и забивает ноздри, лезет в глаза. Но бедовый хохот ничуть не смирнеет, становится заливистей, вызывающей. Ну не глупая ли? Дорогу потеряли с час назад. И где теперь — то ли ближе к поселку лесорубов, где выступали, то ли к го-

роду, то ли в чистом поле. Неужели не понимает, что положение катастрофическое?

На ощупь отыскал ее исхлестанное пургой узенькое тело, поднатужился, дернул к себе. Но только пуговицы оторвал с ее набухшей влагой шубки. Разозлился на свое жалкое бессилие и вытащил девушку из сугроба, поднял, понес.

Сколько бы хватило духу нести — неизвестно, только она неожиданно задела какую-то стену, оказавшуюся стеной окраинного городского дома-новостройки.

Ощупью, посмеиваясь над слепым своим везением, отыскали дверь, надавили, легко сорвали внутренний проволочный крючок и попали в чистые неуютные коммунальные сенцы, кое-как освещенные вдовьим светом электрической лампочки. Чтобы разглядеть вблизи этот убогий обобществленный светильник, надо было подняться по узким ступеням деревянной лестницы. Они, понятно, подниматься не стали. И слабенький свет лампешки показался им очень даже симпатичным и ярким, а занозистые лестничные ступеньки уютными и удобными. Они посбивали друг с друга снег, сели на лестничку и поцеловались долго и крепко. И он осторожно провел пальцем по ее жестковатым бровям, сметая с них капли влаги; уже было ясно, что она потеряла не только свои ноты, но и конспект его лекции «Искусство эпохи Возрождения», над которым он по ее наущению честно трудился в читальне три вечера кряду.

Он напомнил ей об этом, и она снова захохотала, только тихо, чтоб не разбудить никого в доме.

— Ну чего ты? — пытался строгостью тона образумить ее и безо всякого перехода набрасывался и целовал сузившиеся от смеха глаза, защищенные колючей путаницей ресниц, от которых губам щекотно...

— Что? Прочитал лекцию? — дразнила девчоночьим вредным шепотом.— А говорил: «Ни за какие коврижки». Эх ты! А краснел-то, когда хлопали! От самодовольства, надо полагать. Ух и глупый! Ух и глупый! — И тоже безо всякого перехода гладила ладошкой его холодную щеку.

И вот тут вдруг со второго этажа по деревянной лестнице кувырком и прямо им в спину загремело ведро. Следом, они едва успели отскочить, рухнул тючок с бельем.

— Что же вы? Как же это? — оторопел и захлебнулся молодой истончившийся женский голос.

— Такую твою мать,— негромко, рассудительно отозвался баситый и, по всей вероятности, здоровенный мужчина.— Посуществовали — и будя. Моя жилплощадь. Я — хозяин.

— Да пурга же! Метет! — потерянно выкрикнула молодая женщина.

— Пурга? Ишь... А нам что за дело? — ввинтился с язвительным подвизгом торжествующий бабий вопль.

Заплакал было, но тотчас затих, как умер, ребенок.

Он еще стоял, соображая что к чему, а она, бешеная, неукротимая, как снежный вихрь, взлетела наверх, и ее внезапный яростный крик «а-а-а!» перехлестнул, утопил остальные голоса.

Испуг за нее подхватил Прозорова и мгновенно перенес на верхнюю лестничную площадку, где проходило действие.

Тут он увидел большеголового лысого дядю в галифе и в тапках на босу ногу. Голая грудь его так густо заросла черными волосами, что походила на воронье гнездо. Из карманов галифе кругло выпячивались здоровенные кулаки.

За его спиной мельтешилась тощая безбровая баба, дергала

ноздрями, то и дело облизывала острым языком тонкие губы, науськивала своего мужика на одинокую квартирантку.

А квартирантка — прехорошенькая, пухленькая, белолицая, в пуховом сером платке, с заплаканными глазами и выпяченной обиженно нижней губешкой. Ребеночка прижала головой к своему виску, и руки у нее дрожат, и кисточка на шапчонке у ребенка дрожит.

— Мотай, мотай отселева,— благодушно вроде угрожает мужик, поигрывая кулачищами в карманах.— А то моду... пеленки свои поганые стирать, свет по ночам жечь.

— Ах негодяй, кулачье недобитое! — взвилась Оля и, безоглядная, худенькая, смешная в скособоченной шапке, подступилась к мужику.

Мужик крутнул головой, оторопело выпучил глаза, вынул из карманов волосатые кувалды.

— Эта-то откуда? Э? — ошалело бормотал мужик. Поднял руку, чтоб оттолкнуть ее, что ли.

Прозоров выхватил из кармана тяжелый металлический фонарик.

— Отец! — предупреждающе охнул еще кто-то — мальчишка лет шестнадцати в выутюженном пиджаке поверх голубой шелковой майки. Он выставился из-за приотворенной двери — тыловая охрана, можно было понять.

— А-а-а! Подсвинок явился! — зло обрадовалась Оля.— С комсомольским значочком на курточке! Честь по чести! Оборону держать выставился? Давай! Жилплощадь свою от младенца оборонять вылез? Похвально! Так держать!

— Это откуда? Э? Э? — пыхтел в недоумении мужик, окончательно сбитый с толку безбоязненным лихим напором, и косился смущенно на жену, онемевшую от неожиданного вторжения посторонней опасной силы в ее тонко обдуманный план. Ведь как хотелось, представлялось? Очень просто: пурга, народу нигде, все втихую и обстряпаем. Никто и не услышит.

— Эй ты, чемпион! — Оля дернула подбородком в сторону юного здоровяка и приказала: — Сейчас же, слышишь? Сейчас же подбери вещи и отнеси в квартиру. Понятно? Или тебе разъяснение какое добавочное требуется?

Парень стоял бледный, насупившийся, ни на кого не глядел. Когда услыхал обращенные к себе злые, грубые слова, метнул в девушку затравленный взгляд. И вдруг послушно стронулся с места, побрел по тяжко заскрипевшей лестнице, подхватил тючок, ведро, прочее...

— Мать твою перемать,— выразился мужик, но когда широкоплечий угрюмый сын проходил мимо с вещами, отодвинулся, уступил дорогу.

Язва-баба успела, однако, заскочить в дверь своей квартиры и заперлась изнутри.

Парень приостановился и недолго думая грохнул в дверь ботинком, прогудел свежим, строптивым, тоскующим баском:

— Кончай, мать! Отопри, слышишь? Хватит мне... Впусти квартирантку! Ну? По горло сыт. Не отопрешь — сбегу. Хватит позориться. В чем есть уйду.

В двери писклявенько, побежденно вертанулся ключ.

Всю дорогу от того окраинного дома Олю трясло, и у него хватило сил довести ее только до своей холостяцкой квартиры.

Он силой уложил ее, вызвал «скорую». Она проболела почти две недели. Лежала у него, и он несся с работы в страхе, как бы без него чего не случилось.

Однажды, когда она добаливала уже у себя дома, он сидел, как обычно, на диване у ее ног. Она лежала на высоких подушках и, опустив ресницы, вертела золотое колечко вокруг исхудавшего пальца.

— Прошу, совсем свежий, мне специально буфетчица сберегла,— настаивал он и совал ей стакан с кефиром.

— А ты знаешь, откуда у меня колечко? — спросила вдруг, не поднимая глаз.

Он не знал.

— Какой же ты не любопытный, однако,— грустно сказала она и сдвинула брови.— Я ждала, ждала, думала, поинтересуешься. Ладно. Кольцо это мне папа подарил. Давно-о... Очень рано. Мне было тринадцать лет... Послушай! Ты! — Она уперлась в него дурным, жестоким, вызывающим взглядом.— Видел когда-нибудь, как человек падает? Ему ножом в спину — и он падает...

— Нет,— отозвался он.— Тебе не холодно? Налить чаю?

У нее побелели щеки, и он испугался, что это опять болезнь, бред.

— Не бойся, не бред,— сказала она и усмехнулась углами обесцвеченных губ.— Ножом в спину убили моего отца. При мне. Он был удивительный... Приносил в карманах сладости, хоть мне уже тринадцать лет. Читал книги вечером вслух, и кружил со мной на карусели, и рассказывал про жизнь, про войну, про товарищей. Он заступился за девушку. Мы возвращались из порта. Я встретила его после рейса... Было прохладно. Он накинул на меня китель и даже фуражку свою морскую нахлобучил. Он все смеялся, какая я смешная... Какая вся в него и смешная... Их было пятеро. Еще бы! Он был сильный, высокий, плавал как, нырял... Он крикнул мне: «Беги, дочка, беги!» Я и побежала. А когда остановилась... опомнилась... он уже на земле... какой-то старичок около... Почему? Почему послушалась и побежала?! Почему не бросилась на этих подлецов — и руками, ногами, зубами?!

— И все-таки ты — счастливая,— сказал он.— Счастливей меня.

— Я счастливая? — остывшим, насмешливым голосом спросила она.— Потому что у меня вот так погиб отец?

— И все-таки,— подтвердил он.— И потому что отец вот так и потому что... И ты не знаешь того, что знаю я...

Она рванулась к нему, обхватила, стиснула. Он почувствовал на своей щеке теплую тяжесть ее слезы. И он, может, впервые в жизни очень спокойно подумал: «Обратно в Москву? А зачем?»

Надо же... Надо же, как откровенен бывал с нею! А зачем?

— Ты что-то совсем тихий сегодня. Не заболел? — спросила жена.— Тогда проветрись, хлеб кончился.

Он самоотверженно бросился искать пустой полиэтиленовый мешочек, проворно оделся, вышел на свежий воздух.

Лиловатые майские сумерки дохнули в окаменевшее от дум лицо тополиным теплом. Стучали в полутьме каблучки девочек-прыгалок. Исходили угрожающим криком «домо-ой!» материнские голоса. Но «классики», кривовато начерченные посреди двора, не пускали, торжествуя над страхом перед грядущим возмездием.

Прозоров обошел эти волшебные «классики», подумал и обогнул корявенькую вишенку так, чтобы не давить подошвами легкий белый цвет, осыпавший грубую шкуру асфальта.

За домом на углу горел фонарь. В его свете лаково взблеснули на миг волосы девушки, убегавшей от парня. Парень, впрочем, живо догнал ее, схватил за запястье. Проходя мимо, Прозоров услышал их торопливый ласковый шепоток и следом полузвук быстрого поцелуя. На Прозорова, которому были чем-то дороги эти незнакомые люди, они не обратили ни малейшего внимания. Он был не из их молодой, полной сил и надежд команды. Это его обидело. Хотя... что ж тут такого?

Отвернулся, увидел — издалека приближается такси с зеленым огоньком. Ничейное, готовое услужить... Захотелось поднять руку, сесть и поехать. Куда?

Дальше побрел, то и дело неловко задевая прохожих, рассеянно глазея по сторонам. Улица переливалась разноцветным неоновым светом. Горели названия магазинов, кинотеатра, кафе, а на высоком здании вдали вспыхивал ритмично, слово за словом, изумрудный призыв: «Переходите улицу только при зеленом свете». У него было чувство, что он впервые идет по этой улице большого, утомительно многолюдного, незнакомого города. И зачем? Не знает.

Впереди возле заборчика из штакетника на прежнем месте стояла знакомая мороженщица в белом.Он представил ее веселые глаза, фирменную шапочку на вспененных волосах, курносый девичий носик... Захотелось подойти и убедиться, что все это так и есть. Он притулится где-то около, а она, как тогда, будет изредка посматривать на него и улыбаться. И никто никому ничего... Никаких обязательств. Никаких необходимостей. Никакой памяти.

Евгений Петрович ускорил шаг. И оторопел: при ближайшем рассмотрении мороженщица оказалась высокой худой тетей в очках на горбатом носу.

Он прошел мимо нее. Неожиданно она окликнула его настойчивым, хрипловатым от курения голосом:

— Молодой человек, купите мороженое. Последняя пачка осталась.

Он повиновался машинально. Про булочную забыл, повернул домой.

— А где же хлеб? — удивилась жена.— Уже закрыто? Какое безобразие!

Он кивнул, протянул ей подрасплавившийся в руке брикет мороженого:

— Алене вот... — И чтобы совсем убедить женщину в неопасной обыденности случившегося, спросил с фальшивым интересом: — Ты чем это занимаешься без меня?

— Ой, знаешь, в шкафу перебирала. Нашла что! — Женщина оживилась, затрещала радостно: — Альбом! Представляешь?! За седьмой класс. Ужас! Мне девочки в него писали. Хочешь почитать?

— Очень,— сказал он, кажется, вполне в унисон ее дешевенькому восторгу.

В альбоме, сшитом из нескольких школьных тетрадей в клеточку, им были обнаружены срисованные с открыток остроугольные розы и восточные женщины с косящими глазами и бровями до ушей. Все это сопровождалось четверостишиями вроде:

Прыгай, как зайка,
Резвись, как дитя,
Но знай, что наука
Полезна всегда.
1951 год.

«Тысяча девятьсот пятьдесят первый... Лето. Шестнадцать лет. Лесосплав. С утра до ночи в воде. Комары жрут. Ночами от усталости тело деревянное. Перепрыгивал через залом, бревно подвернулось — ухнул с головой в ледяную воду. Рабочие вытащили, откачали»,— сказал в нем холодный, неподкупный голос.

...На другой день, с трудом досидев в управлении положенные часы, Прозоров не отправился по обыкновению домой. Он завернул на почту и, словно это было давно и твердо решено, взял бланк для телеграммы, сел за стол и без единой заминки написал: «Сахалинская об-

ласть Снежногорск Крузенштерна 16 Смирновой О В Оля Оля Оля Где ты Где ты Отзовись Отзовись Прошу Прошу Прошу».

Телеграфистка, деловито простукав текст острием карандаша, с профессиональной безапелляционностью сказала:

— Чего вы столько одинаковых слов написали? Вычеркнуть?

— Вычеркнуть? Почему? — не понял он и покраснел. Ему показалось, что седая приемщица с пучком пожелтевших от времени волос скажет сейчас: «Потому что незачем все это. Раньше надо было думать».

Старая женщина, разумеется, ничего такого ему не сказала, но он ушел с ощущением, что услышал от нее именно эти слова.

Сначала он был терпелив и только дважды, утром и вечером, заходил на почту к окну «До востребования». Но недели через две непрерывного, взвинчивающего, изматывающего ожидания не выдержал и послал вдогонку подряд две телеграммы. «Только бы скорее! Скорее! И ничего больше не надо! Любой, но конец. Хватит! Довольно! Чтоб никаких вопросов... ясность, точка!» — убеждал себя и шагал слепо, напролом, расталкивая прохожих.

...Во дворе под вишнями стучал молоток, шаркала пила. Евгений Петрович прошел было мимо, но его окликнули:

— Сосед! А сосед!

Оглянулся и увидел электрика, того самого, у которого умерла жена и который жутко кричал тогда за стеной.

— Огонька не найдется?

Когда электрик наклонился над прозоровской зажигалкой, Евгений Петрович углядел мазок седины в его черных молодых волосах.

— Вечер какой,— сказал электрик, вглядываясь в проходящих мимо людей. Один раз затянувшись, он вертел сигарету в пальцах, как палочку.

— Хорош вечерок,— подтвердил Евгений Петрович, закуривая. Он был рад заговорить, заговориться.— Вы что тут? Плотничаете?

— Вроде. Женщины попросили. Стол под вишнями, скамейки... Как у бабушки в садочке. По-домашнему...

Он забыл курить и не сводил глаз с проходящих мимо, словно искал кого-то, и не находил, и опять искал...

«Неужели у него до сих пор так?! — ужаснулся Евгений Петрович.— И болит, и тоска, и давит, и хочется бежать, а куда, зачем, как?» Он продолжал стоять рядом с электриком, словно надеялся вот-вот каким-то непонятным образом получить от него ответы на все свои отравленные вопросы — и сейчас же все в нем как-то упорядочится, недоуменное, мучающее, лишнее отбросится, вытолкнется наружу и рассеется без следа.

— Мы с вами незнакомы толком,— сказал, чтоб как-то оправдать свое никчемное стояние. Протянул руку, назвался.

Электрик стиснул его пальцы прочно, жестко, как рукоять механизма:

— Арабов Сергей... А верно говорят, вы с Сахалина? — спросил чуть погодя.

— Верно. Был там.

— Сколько же?

— Семь лет.

— Порядком. И кем?

— Маркшейдером на шахте.

— А здесь? Покрупнее небось?

— Покрупнее...

— Ну и где вернее? Там? Тут?

— Кто его знает,— отмахнулся было Прозоров, но вдруг сам задумался.— Где? Там? Там что ж — живое дело... Понимаете?

— Понимаю. Ну а тут?

— Тут? Тоже ведь кому-то и в Москве работать надо,— отшутился старой прибауткой.

— Это точно,— улыбнулся Арабов, наклонился, принялся доколачивать низкую круглую скамейку вокруг низкого, должно быть детского, столика.

На его лбу у корней волос поблескивал пот. Рядом с ним, не поднимая головы, работал кудрявый лопоухий паренек. От усердия загнув язык за щеку, он до того старательно, медленно подпиливал доску, что смотреть тошно.

«Этот-то ясно, что, как,— размышлял Евгений Петрович, отворачиваясь от паренька.— Но Арабов... Тоже ведь усердничает, налегает... Значит, все-таки ушло, стерлось, забыл? Значит, есть предел? Или это он вид делает? Отталкивается? Защищается? Попробовать, что ли? Может, тоже отпустит?»

Скинул пальто.

— Ну, что я могу, Сергей?

— Ножки для стола в землю врыть. Идет?

— Идет.

Поплевал на руки, взялся за лопату и принялся энергично долбить, выворачивать землю. Спина загорелась, намокла горячо, слиплась с рубахой, и Евгению Петровичу показалось вдруг, что, работая вот так, беззаветно, он этим самым как-то задабривает те затаившиеся силы, от которых зависит ответ на телеграмму и все его будущее. Развороченная весенняя земля пахла вкусно, обнадеживающе.

Подкатил на своей синей «Волге» летчик из второго подъезда, поглядел на их работу, присвистнул:

— Ну, ребятки, ну даете!

Сбегал переодеться и явился, дожевывая что-то, в облезлых техасах на длинных ногах.

— А мне какой приказ, Серега?

— Крышку для стола. И будет порядок,— ответил Арабов.

Провозились до темноты, до тех пор, пока не явилась жена летчика, громкоголосая толстушка, такая же веснушчатая, как и он. Вытащила из сумки, положила на свежесбитый стол пакеты молока, пироги в газете. Сели, ели, а кудрявый паренек с летчиком и его женой пели, чокались пакетами:

Налей полней бокалы.
Кто врет, что мы, брат, пьяны?
Мы веселы просто, ей-богу.
Ну кто так бессовестно вре-ет?

Кудрявый паренек оказался их сыном.

Жена летчика, приобняв Арабова за плечи, очень правдоподобно горевала:

— Сережка! Ну где ты был раньше? Ну неужели ж я его б выбрала, конопатого?

— Ишь ты, ишь ты! А сама-то! — Летчик схватился за голову.

Их сын переводил глаза с отца на мать, лукаво прикусив губу щербатенькими плоскими зубами.

Арабов усмехался, постукивая по столу пустым бумажным пакетом.

Но Прозорова уже давно тяготила такая остановка жизни, и он жестоко рассердился про себя на беспечно болтающую женщину. Она, мнилось ему, оттолкнула от него Арабова, и потому в его груди опять набухает бесформенная, надсадная тяжесть, и давит, и гнетет, и перешибает дыхание.

Как назло, подошли старушки и бритый старик в серых валенках с галошами, долго кивали головами, похваливали работу. Старик пообещал важно:

— Завтрева утречком я все это дело отрегулирую, покрашу в зеленую светлую.

Наконец потянулись по домам. Прозоров остался сидеть. Не спешил и Арабов, неторопливо собирал инструменты. Прозоров наблюдал за ним и думал: «Простой работящий человек. Нет, вряд ли с ним до сих пор такое. Все проще. Этого не выдержать. Это и правильно. Пришло — ушло...»

— Время идет,— произнес Прозоров тихо, неопределенно, на пробу.— Все проходит...

Арабов выпрямился. Черные брови его сдвинулись.

— Думаете?

В сумраке на его черных волосах ярко белели лепестки вишен. Забрал инструменты в обе руки, отвернулся и пошел прочь.

Глядя на его удаляющуюся спину, Евгений Петрович необидчиво решил: «Что ж, значит, ему еще хуже... У него все потеряно, все... А у меня еще может быть и...»

...И снова ждал и жил надеждой.

Но однажды очнулся и понял, что ждать нечего. Отошел от окошечка «До востребования» и, вконец обессиленный, опустошенный, упал на стул, уставился бесцельно в матовое блюдо плафона, полное призрачного, мертвого света.

Никогда прежде не знакомый с такой выматывающей тоской, с такой неотступной, цепкой болью, он воспринимал и тоску и боль как нечто противоестественное, противозаконное. Поднялся и тяжелой, неустойчивой походкой выбрался на улицу. Только и на свежем вечернем воздухе ощущение не изменилось. «Да за что же? За что?» — повторял он и обводил прохожих, машины, окна домов больным искательным взглядом. Один, один в пустоте, несмотря на шум и гул огромного многолюдного города...

Вдруг кто-то тронул его за рукав:

— Евгений Петрович!

Прозоров увидел перед собой Иисусовы вислые усы, Иисусову бородку, а под ней какие-то цветики бледным облачком.

— Помните, Евгений Петрович? — жадно, весело заговорил Синицын, перекладывая букетик из руки в руку.— Помните наш разговор?

Прозоров не помнил, но кивнул.

— О Воздвиженском? Как ему шеф второй выговор? Ну и так далее?

— Ну,— нетерпеливо отозвался Прозоров.

От букетика шел приторный, назойливый запах.

— Восстановили! — торжественно провозгласил Синицын и улыбнулся широчайшей победоносной улыбкой.

— Да ну! — подыграл Прозоров.

— А вы не знали? Ничего не знали? — испуганно изумился Синицын.— Как же! Прав вышел именно Воздвиженский! А выговор шефу! Правда, устный, но все-таки! Стоило только вникнуть. И все оказалось очень просто. Наши товарищи из месткома вникли. Представляете, какой шефу пинок? — И молодой человек залился непорочным ребячьим смехом.

Вдруг утих, насупился, сунул цветы за спину, спросил не глядя и вымученно:

— Как же? А вы говорили...

Он так и не поднял глаз, но по тому, как расслабились мускулы на его лице, Прозоров догадался, что все это значило. Молодой человек

долго готовился высказать ему, Прозорову, свое «пфе», исполнить, так сказать, долг перед своей суетной совестью. И вот — дерзнул, отделался, облегчился.

— Я? Что ж я? — насмешливо переспросил Прозоров.— А ты что ж? Ты?

Синицын сморгнул ошарашенно, вытянулся и застыл с букетиком в свисшей руке. В ярком свете, падавшем из широкого окна почтового отделения, было хорошо заметно, как налилось краской его лицо и даже узенький иконописный нос прихватило. «Так-то оно и лучше».

— Витя! Витенька! — подскочила к Синицыну высокая тоненькая девушка с распущенными волосами и помахала в воздухе бумажонкой, должно быть квитанцией.

При виде ее краска на лице Синицына сгустилась, и он кинул в Прозорова такой отчаянный, беззащитный взгляд, что Прозоров неожиданно для себя протянул ему руку и девушке тоже, попрощался и отправился домой. «Мальчишка,— подумал вяло.— А шеф слегка погорел, выходит... Как говорится, правда рано или поздно...»

Когда выходил из лифта на своем девятом этаже, ему послышался ласковый, упрекающий, просительный шепот:

— Карлсо-он! Карлсо-он! Дядя Толя!

Как будто Аленка, дочь, ее голос. Вверху прошелестели вроде вспугнуто легонькие быстрые шаги. Или в ушах прошумело? «В ушах,— уверил себя.— Какой тут еще Карлсон? Он в Туркмении, в песках. Звать того, кого нет? Чушь». Хотел подняться по лестнице, проверить, убедиться. И все-таки не поднялся, оробел. Быстро надавил кнопку лифта, вместе с ним соскользнул вниз.

И снова брел по улицам, шаря потерянными глазами, бессознательно искал спасения, лекарства, которое бы вернуло ему физическое и душевное благополучие. Вдруг ему почудилось, что такое лекарство, совершенно оригинальное, всесильное, найдено. Вот оно: «Зачем, собственно, мне нужна она? Чего мне, дураку, не хватает? Страдать из-за какой-то взбалмошной, вздорной женщины! Ну что за бред! Радоваться надо! Освободился! Распутался!»

А это неизменное, связывающее, лишающее свободы ощущение, что за тобой все время наблюдают? Что каждый твой поступок оценивается? Что от тебя все время ждут неких свершений? Жить под этим грузом очень легко?!

Он продолжает без цели брести по вечерней людной московской улице, зачем-то останавливается возле винного магазина, глядит на витрину, уставленную бутылками.

— Шеф, а шеф! — позвали его и дернули за пиджак.— Присоединяйсь? Скинулись? Ага? Чего раздумался? Вино — солнечный луч, проникающий в душу. Желаешь? Луч в душу?

— А? А-а-а... Да нет уж,— отозвался Прозоров, выскочил из-под арки, перебежал улицу, вскочил в троллейбус, долго ехал, потом долго в неизвестном направлении шел пешком.

Остановился на какой-то узенькой, немощеной, как будто деревенской улочке, заросшей старыми раскидистыми деревьями. Под ними укромно ютились одноэтажные домишки с палисадниками и скамейками у деревянных ворот.

Часть домиков уже порушили. На груде щебня высился бульдозер. Белели вдали пирамиды бетонных плит и чернела нацеленная на них гигантская удочка подъемного крана. Там и сям сколько хватало света от фонаря виднелись брошенные за ненадобностью вещи: кастрюли с ржавыми дырками на дне, плетеные, еще, может, дореволюционного образца, детские коляски с огромными, почти велосипедными колесами, матрацы вспоротым брюхом вверх, откуда лезла стружка, венские

стулья с проломанными сиденьями. И все это напоминало разруху после бомбежки. Если чего и не хватало для полного впечатления, так совсем небольшого тела, перед которым он тогда стоял в сумерках. Стоял и ждал, когда оно пошевелится, потому что, по его тогдашнему разумению, всякому телу положено шевелиться.

Но это тело никак не хотело шевелиться и все лежало и лежало перед ним, неловко изогнувшееся, с запрокинутой головой, с разбросанными вкривь-вкось руками и ногами — и без лица. На месте лица — слипшиеся палые листья в красном, вязком, густом, как кисель.

Но синяя латаная рубашка с белыми пуговками, но серые в белую полоску порточки, но желтые ботинки с веревочками вместо шнурков требовали от него, от Женьки Прозорова, признать в этом нелепом, ничейном теле Гришу Грошева, друга и приятеля, с которым играли в чапаевцев, в челюскинцев и в подкидного дурака и который во всех играх был до обидного проворнее, отчаянней, смышленее его, Женьки.

Признать он не смог. Ему показалось, что если он признает Гришу Грошева в этом неподвижном уродливом теле, значит, заодно признает и то, что признать никак нельзя, невозможно, невероятно, а именно — что и с ним, Женькой Прозоровым, может легко произойти такое же и он окажется спиной на земле, неспособный пошевелиться и стереть с лица красный густой кисель с налипшими листьями.

Он убежал от бестолкового, пугающего тела в колючие заросли малины.

...Мать приткнула его к своему большому, как подушка, животу и сказала:

— Хватит. Эвакуируемся. Выбери любимую игрушку. Только одну.

Любимой его игрушкой была палка с лошадиной головой. На этой палке любил скакать и Гриша. Он не взял эту палку, даже не притронулся к ней, вообще никаких игрушек не взял. Потянул у матери из рук синий чайник и фотографию в рамке. Чайник мать ему дала нести, а фотографию вынула из рамки и сунула себе под кофту.

На фотографии были она и отец, смеющиеся, в одинаковых полосатых футболках, в обнимку.

— Ничего. Все еще вернется. Все будет по-прежнему,— сказала мать, пряча в карман пальто любимый галстук отца — серый, в косую красную полоску.— А ты у меня, Женя, молодец. Я всегда знала, что ты у меня молодец.

Старший брат Андрей по собственной инициативе заткнул себе в карман отцовы подтяжки и ту самую полосатую футболку и, будучи уже слегка грамотным, отыскал на полке любимую книгу отца, «Статистический учет», и сунул себе под ремень. Кроме того, он не забыл захватить отцовы домашние туфли, коричневые, с растоптанными задниками, на войлочной подошве. Так что если б война оборвалась внезапно и отец внезапно встретился им на какой-нибудь станции, он имел возможность приодеться в гражданское сообразно своим вкусам и привычкам.

Впоследствии Андрей постоянно выставлял эти отцовы туфли к порогу. И когда кончилась война и стало ясно, что у отца есть другие домашние туфли, как есть другая женщина вместо матери, Андрей не сдался и продолжал упорно ставить эти никчемные туфли к порогу. Мать злилась, ругалась, кидала их в угол. Андрей гнул свое: молча подбирал, подставлял под порог, садился на корточки, глядел на них и чего-то ждал. Мать не знала, что с ним делать. Впрочем, она так никогда и не узнала, что с ним делать. А если брать глубже, все они —

и мать и сыновья — так никогда и не узнали, что им делать друг с другом. Ну да это особый вопрос...

А вот что касается той фотографии, где отец и мать в одинаковых футболках, где они обнимаются и смеются... Мать прятала ее под своим матрацем. Там же, под матрацем, она хранила в конверте первые Вовкины волосенки (они же, собственно, и последние), карандашный контур Вовкиной руки на серой бумаге, который сделала сама, расправив мертвые детские пальцы на своем колене. Еще там, помнится, лежал крутой бумажный рулон из билетов военных займов, донорская книжка и первая школьная тетрадь Андрея.

Однажды мать, трезвая, причесанная, взяла ножницы и одним махом отрезала себя от отца на той знаменитой фотографии. Отца скомкала и швырнула в помойное ведро, а на себя смотрела долго, сосредоточенно и насмешливо.

По неопытности он решил, что мать совершила нечто из ряда вон выходящее, глупое и безобразное. Однако впоследствии убедился, что подобные половинки фотографий с причудливой линией среза являют собой заурядную принадлежность покинутых женщин. Между прочим, ему встречались и такие половинки, где случайно осталась необрезанной чья-то мужественная, верная рука, обхватившая женщину за талию. Но мать поработала на совесть и отрезала отцовскую руку начисто, как не бывало.

Потянуло дымом. В одном месте в развалинах дома горел костер. Это мальчишки окончательно и бестрепетно уничтожали следы обитавших здесь людей.

Прозоров подошел близко к костру и услыхал разговор.

— А в подвале череп и кинжал... Хороший кинжал, не заржавленный... Золотой потому что... — возбужденно, пугающе рассказывал худой мальчик в отцовской кожанке, сидя на донышке старого ведра.

— Настоящий? — тоненьким обиженным шепотом переспросил белобрысый мальчик с сильно оттопыренными ушами и подпрыгнул на перевернутом детском горшке.

— Еще бы не настоящий! — Худой высокомерно цвиркнул сквозь зубы слюной.

— Вот бы и нам найти! — Ушастик с надеждой в круглых щенячьих глазах оглянулся на груды битого кирпича и разной трухи.

«Поверил... До чего ж глупый»,— снисходительно подумал Прозоров, но тоже невольно повел взглядом вокруг.

— А еще... з-знаете? — сказал, заикаясь, третий, самый маленький мальчик.— За обоями в т-т-тайнике старый-старый пистолет нашли.

— Настоящий?! — Ушастик опять подпрыгнул от возбуждения.

«Глупые»,— вздохнул Прозоров, приглядываясь к тому, как огонь деловито уничтожает прочные гнутые ножки венского стула.

Хотел отвернуться от мальчишек и уйти. Но не уходилось чего-то, навертывались одна на одну отрывочные нечаянные мысли. Он и они... Они и он... Он что ж, просто-напросто видел больше закатов и рассветов, чем они? Разница возраста? А не слишком ли просто так сказать? И разве он прожил тридцать пять лет? Только-то? Не пойдет!

Мать честная! Да сколько ж в нем, однако, всего, всякого! Сколько чего потрогал, пощупал, узнал, осознал! А сколько недоглядел, недооткрыл, недосознал и по независящим обстоятельствам и потому, что помешала, остановила, усмирила каждодневная привычная суета!

А зачем? А? К чему ему столько всего? Только для того, чтобы он сейчас испытывал эту мутную, вязкую, бездарную усталость, выпотро-

шенность, потерянность? Только для этого? И беды, и знания, и опыт, и все, все?

Ему стало жаль себя. За то как будто, что он совершенно не способен вот так, как этот ушастый мальчик, вытаращив глаза, глядеть на мир и ждать от него необычайного, каких-то восхитительных подарков и откровений. За то, что он сам такой старый, потрепанный, унылый по сравнению с этими пацанами. Хотя на нем все новехонькое, наглаженное, а на них ветхие тренировочные брючата, разбитые кеды, и щеки и руки у них в грязи и саже.

«А, собственно, для чего, зачем появляются на свет такие, как я, ходят, едят, существуют?» Венский стул. Недавно — Прозоров помнит эти времена — внушительный символ семейного благополучия, материальной обеспеченности, предмет зависти соседей, вещь модная, уважаемая, сгорал в огне в одной куче с лоскутами обоев, почтовым фанерным ящиком и прочим хламом. Вокруг, радуясь силе и беспощадности пламени, сидели мальчишки. Вечные мальчишки на развалинах уходящей жизни... Так было, так будет...

Да ведь он тоже умел когда-то умиляться до слез крошечным желтым звездочкам первых безымянных весенних цветов! И однажды еще как ревел над несчастной судьбой маленького художника из книжки «Нелло и Патраш». Надо же, нищий мальчик нарисовал прекрасную картину углем. Картину признали лучшей, победителю готова огромная премия. Но ее уже некому получать. Нелло замерз, обняв верного пса, у дверей выставочного зала, не дождавшись часа своего торжества.

Та-ак... И что же вышло из Женьки Прозорова? Во что обратилась его симпатичная детская чувствительность? Ну, учился... Все учились — и он... Можно сказать, старательно. Чтоб в институт, чтоб «корочки». Чтоб и зарплата как зарплата, но ни пóтом, ни мазутом от тебя не воняет, при галстуке с утра до вечера, в белом халате. Ну и все такое прочее, соблазнительное, заносчивое.

Потому и в Бауманское не пошел, хотя намеревался. В Горный сунулся, где конкурс не слишком... Выгорело.

Выслушал в актовом зале вместе со всеми поздравление директора с осуществлением мечты, прикинул еще раз, что, в сущности, не только не прогадал, а скорее выиграл, отказавшись от Бауманского: кто-кто, а шахтеры зарабатывают будь здоров!

Тугрики... тугрики... И когда почуял запах крупных купюр, бросил не раздумывая жену с ребенком и умчался. А чтоб совесть не грызла, сумел все так повернуть, что неопытная молодая женщина осталась уверенной, будто бы это она толкнула его на такой рискованный, опрометчивый шаг. Дошлый умник, он даже не попытался объяснить ей, какие сложности неизбежны, если он отправляется на заработки, а сделал вид, будто покорился ее нетерпеливой женской воле. Да он мог сказать ей все что угодно и как угодно повернуть ее жизнь!.. Она и в самом деле не очень далекая и очень слабая. Ну а он? Муж? Что он сделал для того, чтобы она стала другой, и мог ли что сделать? Да и нужно ли ему это было?..

Прозоров передохнул, постоял, опустив голову. Ветер кинул ему в лицо дым от костра. Отмахнулся, внятно вслух произнес:

— Теперь — работа.

Как бы то ни было, он работал, приносил пользу обществу. Ну, а если бы не платили, мог бы без шахты жить? Есть ведь такие, что втянулись, завязли и не могут? Нет, он бы вполне смог. Другим чем-нибудь занялся. Живописью, может... Способности были большие, тот старик говорил. Высокий худой ленинградец, переживший блокаду. Замотал шею драным кашне, поглядел жуткими подозрительными гла-

зами, ткнул в воздух пальцем, позвал: «Прозоров! У тебя талант! Дар божий! Решай. Шестнадцать. Пора. Готов? С головой в живопись? Бедность презреть? Тысячу разочарований? Наплевать на мирскую суетность? Работать, работать, постигать, карабкаться! Приходи, жду, возлюблю!»

Он не пришел. Подумал — и не пришел.

О чем подумал? Может, о том, что старый художник ютится в узкой комнатенке со вздутыми от сырости обоями, что под ржавой железной койкой, прикрытой кусачим солдатским одеялом, у него стоит жалконький прогнутый чемоданишко с отломанными металлическими уголками и что его замечательные оранжево-голубые картины никто не покупает — и они торчат у стен, отвернувшись от мира с печальным осуждением? Или о том вспомнил, как однажды ворвалась к художнику толстая раскрашенная тетка из домоуправления и, сверкая золотым зубом, орала на него за то, что не платит вовремя за квартиру? Художник слушал ее стоя, виновато свесив измазанные краской руки, тихо, учтиво, бесправно повторяя: «Милая женщина, я постараюсь... Милая женщина, я постараюсь...» А это было тогда, когда некоторые уже повысили свой материальный уровень и навострились покупать не какие-то там кастрюльки-бирюльки, а приемники с проигрывателями, габардиновые китайские пальто на шелковой подкладке, фотоаппараты и даже мотоциклы. Когда по воскресеньям медлительно, величаво прогуливались супружеские пары в этих самых длиннополых габардиновых пальто и с супруга непременно свешивался на длинном ремне «ФЭД» или «Зоркий», сверкающий свежей кожей футляра.

Взбаламученная окаянная память не дала передохнуть — с самого потаенного дна вытолкнула вдруг отвратительное воспоминание юности. Это случилось ночью. Он, свеженький чемпион, сидел за уроками, изредка с благодарностью и уважением поглядывая на свои боксерские перчатки, висевшие на гвозде. Внезапные крики за темным окном отвлекли его. Он потушил свет, выглянул за занавеску. Так и есть: пьяная драка. Двое бьют третьего. Задернул занавеску, подумал, что надо бы выскочить, вмешаться, отнять... Пока думал, выскочили другие.

И если бы это один раз! Всю жизнь не спешил вмешиваться. Всю жизнь только и делал что «вкалывал» без особого энтузиазма, «на уровне», по необходимости, по привычке. Соблюдал нейтралитет в скользких ситуациях. То есть лгал, лгал... И надо ж, мальчишка, Синицын этот, подметил, ухватил! Не понравилось? Еще бы! Симулировал интеллигентность, гражданскую активность, благородство помыслов, волнение, возмущение? Чтоб из общего хора не выпасть? А хор-то всерьез, искренне. Это ты все норовишь сам по себе...

Хотел тормознуть, остановить бег злых сокрушительных мыслей. Но вместо этого вдруг поразился с жестокой отрадой: «Надо же, какие слова выклевываются! Какие точные, веские! Хук с правой! Хук с левой! На честность! Без подсуживания! А чего мелочиться? Все на кон!»

В самом деле, сколько взывают к гражданской совести, к долгу перед обществом, растолковывают смысл «гармонического развития личности», «активного отношения к жизни». А я между тем — вот он я. Как будто со всеми! Вот оно! Как будто! При случае ввернешь в разговор вычитанную мыслишку, фактик, засвидетельствуешь, стало быть, свой достаточный культурный уровень, политическую грамотность — и порядок, «вместе со всеми», «в общем строю».

...Где-то как-то доживает свой век больная, несчастная мать. Изредка он высылает ей небольшие деньги. «Ах, благородный сынок!» Куда! Это он собственную совесть прикармливает, не больше. Где-то

как-то выбивается в люди старший брат, который, по слухам, решил честно зарабатывать на хлеб. Может, ему надо чем-то помочь? Хоть словом родственного внимания? Хотел, хотел... знаете ли... собирался написать... Да так как-то все... Тапочки, тапотулечки... Вернувшись из детской колонии, Андрей первым делом осведомился: «Мать, где его тапочки, тапотулечки?» «Я их сожгла»,— ответила мать. «Умница»,— похвалил Андрей. «Сынок, родной, возьмись за ум! Разве можно жить, как ты живешь? Над людьми измываться? Стыд какой! Позор! — сказала мать.— Остановись, начни новую жизнь». «Ха! Я давно начал новую жизнь! — сообщил сын.— Кончил глядеть на те тапочки и начал новую жизнь. Что стыдно-то? Что?! В этой жизни, мать, все можно! Это мне те тапотулечки объяснили».

Но самое интересное — мать отцовские тапки вовсе не сожгла. Она спрятала их туда же, под свой матрац. И вполне возможно, что они и сейчас там. Ради одного этого, чтобы убедиться, стоило съездить в родной город. Сколько раз намеревался!

...И повидать, поблагодарить тех добрых людей, которые в свое время помогали ему на ноги подняться...

Людмила Александровна Нечаева, зубной врач. Величавая, надменная. Приводила грязного, голодного мальчика Женю к себе в одинокую комнатку, умывала и при свете военной коптилки резала свой пайковый хлеб на две честные доли, разливала морковный чай в великолепные фарфоровые чашки. Потом надевала на большой добрый нос старинное пенсне и читала из Некрасова, своего любимого поэта, объясняла значение слов «эмансипация», «реакционер», «деспотия».

...Скворчиха, жена дяди Фоки, тоже из той породы. Когда дядя Фока умер, отдала Женьке последнюю мужнину рубаху, и он ходил в ней долго, несколько лет, рукава засучивал и ходил.

Собирался... Надо... Совестно... Да так как-то все тоже...

Художник... О художнике он давным-давно забыл. Никакого практического смысла не было помнить о нем. Он до того ловко, основательно запамятовал, что когда ему пришло письмо из московского журнала, долго не мог сообразить, чего от него хотят. Письмо нашло его на Сахалине года три назад. В нем была просьба поделиться с читателями своими воспоминаниями о некогда безвестном, но впоследствии широко признанном художнике В. В. Горелове, который, «как Вы знаете, скончался недавно в возрасте шестидесяти пяти лет».

Его поразило несоответствие его представлений и действительности. Получалось, он знал художника вовсе не стариком, а мужчиной сорока с небольшим лет.

Он и об этом написал в журнал и о многом другом, что вынырнуло вдруг из запасливых глубин памяти, пространно написал, тщательно перечислил подробности поведения и быта своего бывшего учителя.

Когда же вручил почте толстый заказной конверт, почувствовал такое сладкое облегчение, словно выплатил старый, внезапно всплывший и очень неприятный должок.

...Мальчишки с воинственными воплями забросили в костер матрац, набитый стружками. Огонь взметнулся высоко и опасно. Прозоров очнулся от дум. «Да-а-а... Такая вот петрушка... — вздохнул он.— Впрочем, что ж, один я такой, что ли? Взять пацанов этих. Сейчас-то они чисты, милы, трогают... Только все ли они проживут достойно, совестливо, бесстрашно?» Однако думать исподтишка, коварно и недобро расхотелось, стыд пробрал.

— Мы ей конфет купили, целую коробку... зефир в шоколаде,— рассказывал ушастик.

— Много вас было? — серьезно спросил худой, в отцовской кожанке.

— Мно-ого. Все пацаны, весь класс. Мы все в нее влюбились.

— А к-какая она? — спросил, заикаясь, самый маленький.

— Да такая... У нее брат на мотоцикле ездит...

Замолчали, раздумались.

— А вы знаете,— ушастик вдохновенно оглядел друзей,— лошади мороженое едят. Еще как!

Прозоров привалился плечом к развалинам. Он стоял совсем близко от ребят, но они как будто не замечали его. Да и зачем он им?..

Костерок затухал. Мальчишки ушли. Опять Прозоров остался один на один со своей взбаламученной совестью. «Карлсо-он! Карлсо-он! Дядя Толя-я!» — отчетливо, непоправимо воскрес в памяти ласковый укоряющий зов одинокой верной души. «Не ошибся. Слышал,— признался себе с тоскливым смущением.— В пустыне? Звать того, кого нет? Еще как можно! Еще как!» И вспомнил маленький круглый рот, шевелящийся быстро-быстро в инстинктивном порыве защитить дорогого человека: «Дядя Толя хороший. Он умеет из снега лебедя делать и жирафу... У него есть скворец Кир... «Доброе утро» говорить умеет». Она пыталась ввести его в свою игру, в свою жизнь. Как старательно выговаривала в первые минуты встречи «па-па»... Не успела, не осилила. Он ушел в свою игру. «Па-па... Ты совсем-совсем рога отдаешь? Такие красивые... мои?» В серых крупных глазах ужас, она не узнавала его, отца, не признавала. Тихонько притворила дверь, ушла. От него ушла. Осудила. Пренебрегла. «Ах ты, пигалица!»

Глядя в тихо чадящие головешки костра, Прозоров с ясностью, ужаснувшей самого, подумал, что вот так же тянется к исходу и его собственное сытое, праведное, размеренное существование.

Внезапно в угольях вспыхнула какая-то свежая щепочка и на миг отодвинула границы темноты.

«Оля! — позвал Прозоров.— Ссудил бог... А за что? За какие доблести? Если в лоб, честно — это мне все с той отданной нечаянно квартиры дивиденд. «Не твоего замаха сосенка»... На что Рябов намекал? На это самое и намекал... Чужое, мол, Прозоров хапнул... лишнее... Но ведь все-таки, все-таки! — озадачил сам себя.— Все-таки избрала? Пусть я не стоил, такой-сякой, но чем-то задел, зацепил! Предпочла, загорелась? Такая девушка! Такая девушка! — возликовал запоздалой тщеславной радостью.— И меня — до одури! До мальчишества!..

Не жил — летел! Я-то! Я! Ах, черт побери. Как летел! Коробочка, компас от Рябова с тех времен... С той эпохи... Работалось как! Все нипочем! Только давайте! Чтоб все, все поняли наконец, а она прежде всего, какой замечательный, необыкновенный человек этот Женька Прозоров!

Порвал...

Когда порвал? В последнюю встречу в ее доме... когда она вернулась... оттуда? Или когда сидел в южно-сахалинском аэропорту, готовый лететь в Москву?.. Тогда... Если не вглядываться вглубь. А если без подсуживания? Раньше, давно все порвалось. Да что там! С самой первой встречи было многое ясно... И разошлось, провисло... задержалось на тоненькой, негодной ниточке. Чтобы жить по ее, надо было столько в себе перевернуть... отказаться... сломать...

Что ж получается! Что? Получается, что только на Сахалине, «в этой дыре», ты и жил по-настоящему? Сколько-то, на сколько тебя хватило, но по-настоящему. И счастлив был... там, только там»,— совершил он вдруг самое неожиданное для себя открытие, и оно-то окон-

чательно сразило его, уничтожило как бы и физически. От него в мире всего-то осталось что одинокая свербящая боль.

— М-м-м,— издал он, изнемогая от этой боли, одичалый безысходный звук.

...Со стороны тротуара донеслось два громко спорящих голоса. Прозоров уловил: «экономический эффект», «ни в какое сравнение», «обыкновенных людей полно», «функционируй!», «теряешь интерес к размышлениям о высоком, к эпистолярному слогу», «а пошел он, ваш Агафонов...». Еще где-то неподалеку безмятежно пела скрипка, посылала в мягкую темень призывные изощренные рулады. Еще дальше глухо и грубо гремели по рельсам поезда, звенели трамваи. Все шло своим чередом. Без него, без Е. П. Прозорова.

А если его не будет вовсе? Что в мире изменится? «Да ничего. Как не изменилось на Сахалине»,— подсказала ему все та же лихая сила, которая вынудила его вывернуться наизнанку. Он припомнил свой сахалинский кабинет в подробностях, вплоть до выжженного сигаретой пятна на столе, до коротковатой ножки книжного шкафа, под которую подсунул спичечный коробок. Там он сидел, чертил, подсчитывал, объяснялся с подчиненными, размышлял, тосковал. И все, вплоть до шнура от фрамуги, считал собственным, верным себе, своим привычкам. А сейчас? Сейчас там Тютюнников — на его стуле, за его столом! Хозяин. Неожиданная ревность скребанула по сердцу. И в его квартире тоже Тютюнников со своей Аллочкой. Ходят, топчутся, хлопают дверьми... Все переиначили, конечно, выскоблили, замазали, никаких следов, словно он, Прозоров, и не существовал там вовсе. «И все? И начисто? Был-был, есть-есть, нет-нет? — спросил себя с поддельным смирением.— Лишний, необязательный... Прямо взять и согласиться с этим не сходя с места? Ась?»

Ночь ответила ему свистом, хохотом, топотом ног, собачьим лаем: мимо промчалась молодая компания — парни, девчата и белый лохматый пес.

Выплыли зацепившиеся за сознание фразы: «обыкновенных людей полно», «функционируй!», «теряешь интерес к размышлениям о высоком, к эпистолярному слогу». И оказались очень кстати. «Именно, именно! — подхватил Евгений Петрович.— Обыкновенных людей тысячи тысяч! Не тщимся хватать звезды с неба, но и бюллетеним не часто, не пьем, никаких ЧП не устраиваем. Ну, ошибаемся, бывает. И опять вкалываем потихоньку на благо общества. «Давай, давай!» И даем... проценты, план... функционируем, одним словом. И чего же тут плохого? Недостойного? Для совести обременительного? Не на нас ли, на таких вот обыкновенных, рядовых людях, все и держится? И чем же я тогда хуже других, ничтожней, виноватее?! Ась?»

Последняя фраза должна была вроде окончательно утвердить Евгения Петровича в логичности выставленных аргументов и достойно завершить оправдательный акт. Нерасчетливо, голой рукой растормошил какой-то куст весь в густой мокроватой листве, накололся на шипы, но боль перенес покладисто и удовлетворенно. И вдруг она, эта с виду такая крепкая, верная фраза, как будто подломилась в середке и просыпалась пустой породой. Не довел. Ошибка в расчете. «С вагонеткой советовался, не иначе»,— говорит в таких случаях Рябов.

Евгений Петрович смутился чего-то. Особенного своего пафоса, что ли? Согласился поспешно: может, и впрямь пафос был ни к чему. Но, по существу, разве его оправдания такие уж наивные? Пусто, неопределенно, гнетет. Словно в старой штольне заблудился, пропал — вот такая белибердистика. Потянуло назад — в общее, обжитое, притершееся, к людям. Быстренько выбрался из развалин на асфальт и зашагал туда, где приветливо дребезжал трамвай.

На глаза попалась телефонная будка. Остановился, усмехнулся и кинулся к ней, словно кто-то хотел обогнать его. «Идиот, кретин, спятил!» — ругал себя, листая записную книжку в вымученном свете дальнего фонаря. Однако потребность получить отпущение грехов оказалась ожесточенней и ругательных слов и здравого смысла.

— Слушаю,— отозвался сонный недовольный Пашкин голос.— Ты, Женька? Ну отмочил! Ночь же! Два часа! Сдурел?

— Пашка! — притворяясь веселым и беззаботным, воскликнул Прозоров.— Ты меня уважаешь?

— Чо? Пьян никак?

— Не-ет. Совершенно серьезно,— обычным своим ровным голосом сказал Прозоров.— Уважаешь? Отвечай!

— Да уважаю! Уважаю! А чего нет? Шизик! Иди спи! — заверил Пашка, бросил трубку и, должно быть, тут же захрапел, захрюкал, свойский паря, сытенький, чистенький, всем довольный бодрячок.

Пашкино уважение? Дурак он, что ли, Прозоров? Чего стоит оно, Пашкино уважение! Так-к... Кому же в таком случае он может позвонить еще? Разве что Огородниковым.

«О! Огородниковы! А что? Чем? Почему? Люди как люди, не кусаются. Чего я на них окрысился тогда? Какие веские причины? Откуда? Нечто... так... из области подсознательного. Из зависти скорей всего. Недотянул, а они — пожалуйста. А ведь они, как и я... собственной волей, трудом, прилежанием... А что, если и с ними бывает? И на них накатывает? И вот эта тоска сволочная, и неуверенность, и мозги набекрень? Что предпринимают? Чем спасаются? За что цепляются, чтоб высвободиться? А может, я и впрямь сдурел? Растолкуют, посочувствуют, утвердят! Что-что? За ними ничего такого нет, не числится, чтоб подкусывало? Ой ли! Вот возьму и позвоню им сейчас. Ночь темная? А они из графов, что ли? Позвоню и убедюсь... то есть... ну, в общем, все равно, смысл ясен».

Поджег себя таким образом, подождал, пока займется пошире, и набрал номер Огородниковых.

— Слушаю,— ответил свежий женский голос.

— Вы спите? Простите, это я, Прозоров.

— Ради бога! Я работаю.

— Все равно простите. Но мне... у меня... не по себе здорово. Мысли разные лезут. И так как-то все—врасплох. Что-то вроде не то в жизни получается. Куда-то не туда вроде... У вас бывает такое? Знакомо? Накатывает?

— Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду,— ответила Огородникова, подумав,— но нервы, случается, сдают, переутомление, сна нет. Следует взять себя в руки. Постараться — и взять.

— Я и хочу взять себя в руки! — почему-то очень сердито сказал он.— Я только этим и занимаюсь, что хочу взять себя в руки! Может, и вправду блажь? Но как прицепилось-то — не отодрать! Навязалось — и держит, и водит...

— Да что прицепилось? Что навязалось? — перебила Огородникова.

— Что? — Прозоров передохнул.— Черт его знает что! Я же говорю — непонятное что-то... чушь собачья, психология... Оправдываться тянет, аргументировать! Вот дьявольщина!

— Действительно странновато, — согласилась Огородникова. — Мне встречалось подобное, но это случалось с людьми крайне неблагополучными, несобранными. Вы же при всем отличный работник, начальство о вас, я слышала, наилучшего мнения. Верно? — подсказала заботливо и подождала.

— В общем-то, да...— отмахнулся Прозоров.— Даю процент на всеобщее благо... Функционирую.

— А ирония к чему? — вдруг раздражилась Огородникова.— Это мало — добросовестно выполнять порученное дело? — Она не знала, что он уже использовал этот ход.

Ответил с насмешливым упорством:

— Ну если все дело в этом... Однако человек не только план...

— Ах, кажется, я поняла вас! — воскликнула Огородникова.— Голубчик, вы правы. Только зачем делать вид, будто только что с луны свалились? Будем честными. Что главное на сегодня в нашем обществе? Ребенок ответит: труд. Какой главный критерий оценки человека, соответственно? Его отношение к труду. Вас это не устраивает? Почему же? Видимо, на данном этапе развития нашего общества иначе и быть не может... нецелесообразно. Наконец, не мы тут и ответственны... Разумеется, судить о человеке преимущественно по его отношению к делу — не безупречный метод, есть издержки... В известном смысле подмяты все другие критерии оценки личности... Но раз уж мы сформированы заданными обстоятельствами... Одним словом, за что крепче спрашивают, на то и налегаем. Было бы иное положение вещей — и мы были бы иными, возможно, в чем-то совершеннее... А пока что ж, вполне на уровне. К чему ж комплексовать? Попусту энергию тратить? Работать надо, голубчик! В том же духе... не расслабляясь. Умному человеку работа дает все, в том числе и возможность самоутверждения. Вы меня понимаете?

— Понимаю. Спасибо. Убедительно,— сказал Прозоров.— Но... если бы... снимало. Нет, не снимает. Остается. Все равно какая-то незавершенность, неточность... Словно на меня рассчитывали, а я недотянул...

— Да кто рассчитывал? — нетерпеливо удивилась Огородникова.— Перед кем вы, собственно, вину чувствуете? Перед всем светом, что ли?

— Перед кем? — сам себя спросил Прозоров, и ожил, и завелся: — В точку! Перед кем? Вопросик-то какой вы нужный кинули! Именно — перед кем? Ну нет, не перед всем светом... Ну да! К чему! Но есть люди... И еще люди... Как у каждого, полагаю. Есть такие, над которыми я сам свысока, не считаясь... Но есть другие. Есть! Хочу — не хочу. Докопался с вашей помощью! Взял интеграл! Вы, я — мы же те, оттуда! Чего-чего не пережили! Те, которым сейчас тридцать, уже другой век. У нас с вами по живому припаяно. Связаны. С теми, кто воевал, за чьей спиной мы... ну и так далее. Так оно? Так?

— Продолжайте. Я слушаю.

— Связаны, черт возьми! Да еще как! Их поражениями жили, их победами, их ранениями, их песнями-письмами. Слишком привыкли зависеть от них. Вот! И до сих пор завишу! Абсурд? Но есть, не ушло... Нет-нет, а и оглянусь... Понимаете?

— Силюсь... Но, по-моему, вы все перепутали. Какая может быть сверхзависимость? Они сделали свое... Мы, естественно, чтим. Но к чему преувеличивать? К чему вам это понадобилось? Все назад да назад? Существуют другие, более реальные факторы. Каждый из нас от себя зависит прежде всего. Сколько прожито! Мы давно принадлежим иному времени, решаем иные, но достаточно сложные проблемы. Очевидность! Вы, голубчик, простите, не выпили?

— Нет... Вот вам как-то все ясно: сзади, спереди... Навсегда... А ведь и другие есть... Они, может, не воевали, а живут иначе... И работают...

— Ложитесь-ка, голубчик, спать. Утром, на свежую голову... Проснетесь в своей квартире... Уверяю вас, вы поймете, как я права...

Напускаете на себя... придумываете... Простите, с каждым случается... самоконтроль отказал... спать, чем скорее, тем...

Воскресло ощущение, словно он вознамерился взять высоту с первой попытки, но сбил планку и шлепнулся мордой в опилки.

— Да как же придумываю? — проговорил сквозь зубы, отряхиваясь, готовясь к новому разбегу.— Если тоска! Тесно! Нуждаюсь!

— Примите димедрол. Есть? Вот и прекрасно. Одной таблетки вполне достаточно.

— Очень извиняюсь...— сказал он.— Очень-очень... Но как вам удалось? Такое спокойствие... уверенность?

— Голубчик, а как же без спокойствия? Иначе и жить нельзя.

По изменившемуся голосу женщины Прозоров догадался, что Огородникова улыбается.

— Понятно,— сказал он.— Простите еще раз.

— Ради бога.

Он опять лежал мордой в опилках. Ах поганцы! Как умеют! Как наловчились!

Вылез из будки. Мимо, скверкнув стеклянным глазом, прошмыгнула кошка. За ней вторая, третья... Должно быть, бездомные. Бездомных кошек поразвелось. Хозяева переезжают из развалюх в новые дома, в новые районы, а кошек бросают. Кошки дичают прямо в столице. Настоящие дикие кошки. Ни с кем не хотят знаться, никому не доверяют. Как-то умудряются жить сами по себе.

«Кошки... А при чем тут кошки? Кошки какие-то... Что-то в последнее время ты, Женька, совсем развинтился. Годы, что ли? Соберись, вернись в исходное положение и... Может, и впрямь димедрол, сон, «утро вечера»?.. Дьявольщина! Да что это я вовсе раскис! Тут мадам Огородникова в точку. Навертел черт-те чего! Что уж я, вовсе ничто против того же Рябова и прочих? И никогда ничего не осилю им доказать? Я справедливости хочу. Насчет доказательств — будьте уверены — ничего не скажу, выставлю все как есть, последней заветной откровенностью обрушусь. Ну уж и вы извольте! Да! От души, по-честному. Хорошенько взвесьте и поразмыслите, что, к чему, отчего. Должны понять. Стало быть, и оправдаете. Оправдаете!»

И Евгению Петровичу почудилось, что пришла-таки хмельная, безумная минута, когда он готов открыться весь, от макушки до пят, выволочь душу из потемок сомнений, развернуть — и под рябовский сапог: топчи, если заслужил! Но — какой тут Рябов? Где Рябов?

Отчаянная, несуразная, ребяческая мысль вскочила в голову. Прозоров отмахнулся от нее: «Дурак! Тоже мне... Ему-то зачем в два часа ночи выслушивать откровения какого-то полузнакомого идиота? Бросит трубку, еще быстрее Пашки...»

Остановился. Понял: «Вру». Тот, о ком он вспомнил, не бросит трубку, даже если ему звонят в два часа ночи, тем более если в два часа ночи.

Перелистал записную книжку, нашел: «Севастьянов — 160-96...» Помедлил. Вытащил сигареты, закурил. Подкинул в руке две копейки... Снял с рычага трубку, прижал, тяжелую, прохладную, к разгоревшемуся от волнения уху...

«Здравствуйте, Алексей Федорович. Не удивляйтесь, не сердитесь... Я понимаю... но все-таки два ночи. Мне нужны вы... Вам доверяю. И поверю... Я из телефонной будки. Не подумайте, что пьян. Запутался. Сам не знаю, что... Думал... и довольно долго, верил, что все... устроится, теперь навек, до гроба. Спокойная, честная, уравновешенная жизнь. В доме достаток, все есть. Жена... дочь. Все рухнуло. Раз — и в пыль. Сам себе не доверяю. Что за черт! Тяжко, гнусно.

Женщина. Ну да, тривиальная причина. Голова раскалывается. Нет, сама она никогда ничего подобного... Но я знал... всегда, чего она хочет, чем живет. Она хотела, надеялась, что я останусь с ней, то есть на Сахалине. Мужчина всегда знает, чего хочет любимая женщина. В том-то и дело, что любимая, близкая, ближе невозможно. Но странная, несомненно. Как вам объяснить? Мы познакомились... В известном смысле это тоже странно. Это случилось осенью. Я только что приехал в Снежногорск. День как работал. Попросту сидел у себя в кабинете, осматривался, свыкался. Было муторно, неспокойно, неопределенно. Ну, в общем, обычное дело... новое место, семья далеко. Ближе к сути. Выхожу в коридор. А коридор в шахтоуправлении, надо сказать, длинный, полутемный, неприглядный. Только в самом конце окно большое, во всю стену, и сияет в него солнце. Приглядываюсь — девушка у окна стоит, но смотрит не в окно, не на солнце, а прямо перед собой в казенную коричневую стену. Желтая кофточка, черная юбка, черные туфли на длинных легких ногах. Что-то... сам не пойму что... заставило меня подойти к ней.

— Вы ко мне? — спросил я ее первое, что пришло в голову.— Вы ко мне? — повторил я, но она даже не повернулась. Только глаз скосила.

— Нет, не к вам,— ответила резко.— И мне уже отказали.

Что мне оставалось делать? Нет, я не ушел. Я стал добиваться связного, вразумительного объяснения. Я был навязчивым.

Она повернулась ко мне, подняла руку, словно ударить хотела. Я увидел ее глаза... то есть... гнев в его самой последней фазе.

— Все! Хватит! — говорит и задыхается.— Им не нужно, а мне что? Больше, чем им? Только делали вид, что нужно. Ханжи несчастные, лицемеры, болтуны! Уеду! Нет, что ли? Противно! Все! — Прикрыла лицо ладонями и пошла прочь.

Я догнал ее, схватил за руку, привел к себе в кабинет, и обещал помочь, и уверял, что это в моих силах, все в моих силах. И, видит бог, я сам верил, что для нее могу все... Она поверила, объяснила: шахтком обещал отдать музшколе две освободившиеся комнаты. Учеников очень много, теснота, шум, заниматься трудно. «И представьте! Тот же шахтком, который так многословно сочувствовал нам, преподавателям, отказывается от данного слова! Комнаты, вернее, двухкомнатная квартира передается какому-то явившемуся из Москвы инженеру!»

Поверьте, я громко, с величайшим облегчением вздохнул, я был рад, что все свелось к такой ерунде. Я был счастлив уступить свою квартиру. Такое, честно говоря, случилось со мной впервые в жизни. Я тут же пошел к Рябову, он выслушал меня и долго благодарно жал мне руку:

— Родной! Умница! Душа!

Обещал через три месяца предоставить мне квартиру в новом доме. Так оно потом и было. Только и эта квартира оказалась мне ни к чему. Я переехал в нее и делал вид, что жду жену и дочь. Семь лет делал вид...

...Когда мы с ней вместе вышли от Рябова, она вдруг обняла меня и поцеловала.

Вечером после работы я пришел к ней. Она ждала меня. Нет, мы ни о чем заранее не договаривались. Но она ждала... Никакого удивления, никаких восклицаний. Я прошел в ее комнату, пошевелил желтые листья в вазе, сел на диван, отодвинув раскрытую книгу. Она села за пианино. Не спросила, люблю ли я музыку,— стала играть, уверенная, что люблю. Не знаю, что она играла в этот вечер... Я слушал, слушал... Вдруг схватил со стола лист нотной бумаги и в несколько минут

набросал ее профиль. Подошла, посмотрела на рисунок, потом в окно, за которым было темно, неясно, пасмурно, потом на меня... Я обнял ее... Такая неопытная, доверчивая, что я... испугался. «Ну что ты, что?» — спросила она.

Когда я уходил от нее одуревший от счастья, кто-то хорошим ударом сбил меня с ног.

— Сволочь! Не успел явиться — уже пакостничать! И кого выбрал! Подлюга!

Несколько ночей подряд пудовые кулаки швыряли меня на землю, встряхивали и опять швыряли. Никаких слов. Мы бились молчком. Я знал, кто меня бьет. Забойщик Батурин, здоровый, кудрявый, бас в хоре, которым она руководила. «Вниз по Волге-реке» пел. Великолепно, должен сказать. «Люди гибнут за металл...», «Уймитесь, волнения страсти». Любил ее. Очень. Когда понял, что не одолеть меня, не физически, разумеется, уехал с острова, на весь почет, на все надбавки наплевал. Решительный парень.

И вот... я и она... она и я... Изо дня в день семь лет подряд... Если бы я сказал Ларисе, что там, на острове, рисовать пытался, она бы не поверила... При ней, для нее я не рисовал. Но это только одно. Нет, что я? К чему упрекать Ларису? Только поймите, Лариса — это совсем другое... Да, пытался. Пытался рисовать, но ничего не получалось. Только в тот единственный раз я был художником, смог... Ее профиль. Легко, внезапно... Озарило и ушло. Не достоин оказался... дальше, потом. Так надо напоминать?..

Так о чем я? Да! Я и она. Целых семь лет я жил для нее одной. Делал то, что хотела она. Не стану врать. Это доставляло радость не одной ей, но и мне.

Но, согласитесь, да... согласитесь, не могло же это продолжаться вечно? Хотя бы потому, что у меня жена и ребенок, семья? Ведь правда? И я же искренне надеялся, что жизнь настоящую, нужную мне в Москве оставил... И я ведь по природе не легкомысленный человек. Меня угнетало сознание, что вот так все получается... я здесь, счастлив, и ничего мне больше не надо, а жена где-то одна... и ребенок без отца. Мысль эта все чаще стала цепляться за меня. Тем более что я, признаюсь, несколько поугас... уже не летел. Любил, но, знаете... Одним словом, выработалась своего рода привычка быть любимым... Она? Она все еще летела и не замечала, что ее любовь для меня стала несколько чрезмерной, утомительной... Я настроился на Москву, моя фантазия в этом направлении заработала.

Жестоко? Не спешите, не спешите казнить! Ну мыслимо ли бесконечно тянуться за ней, подстраиваться, приспосабливаться? Взвесил, обдумал. Один выход. Слишком разные мы с ней, и тут уж ничего не поделаешь. Рву и улетаю.

Вот в этот-то момент — надо же! — она захотела ребенка. Я, по правде, опешил. Я как-то не задумывался обо всем таком. Я любил ее, она любила меня, мне было с ней хорошо, привычно — и чего же еще? А ей, оказывается, было мало любить меня. Женщина... Говорю:

— Ни за что.

Я знаю, тут, Алексей Федорович, вы меня не поймете. Прошу лишь, не перебивайте, выслушайте мои аргументы. Я-то знаю, как расти без отца, и поэтому, прежде всего поэтому сказал: «Ни за что». А она в ответ:

— Опоздал, опоздал со своим «ни за что». Ухватилась за меня, дергает, трясет, и глаза безумные, жалкие глаза. Вижу, сама не знает, что говорит, не понимает нисколько, какую беду для себя придумала. Одни пересуды чего ей стоить будут. Не мне же терпеть, ей! Как же? А ребенок, если родится? Что, безотцовщину плодить? Нищету? Ну

мог ли я с легкостью воспринять ее сообщение? Что другое имел право сказать? Я сказал, что если, если... она не... да, если она не сходит в больницу немедленно, я тотчас уеду.

Она взяла мою руку, гладит, шепчет:

— Ты не злой... не жестокий... Не верю. Меня проверяешь? Скажи! Мою решимость? Скажи!

Но я крепко держал себя в руках. Я знал, стоит мне чуть расслабиться, расчувствоваться — и все мои планы, вся жизнь к черту, кувырком. Да и кто-то ж из нас двоих должен проявить разумную твердость? Ведь правда? Верно? А она все не отпускает мою руку.

— Это мальчик... я знаю... Наш мальчик! Мой и твой! Убить его? За что?

Вот ведь до чего договорилась... Она вообще всегда умела всякое суждение до крайности доводить.

— Кого «его»? — кричу.— Разве это человек? Эмбрион! Нечто! А я? Как я? Подумала? Как я жить буду, если знаю, что где-то без меня растет мой ребенок? Зачем мне такие терзания? Я же не подлец! У меня совесть есть!

Не понимает. Глядит робко, ждет, надеется...

— Вот что,— говорю тихо, но твердо,— если ты пойдешь в больницу — остаюсь. В противном случае... собираю вещи.— И еще говорю, последнее: — Мать свою вспомни. Каково ей с тобой было? И ты туда же? Мать-одиночка? Опомнись! Остановись!

...Три дня ее в нашем городе не было. Уезжала куда-то, ну, чтоб разговоров поменьше. Это-то понять можно. Меня, однако, не предупредила куда, насколько. Показалось странным. Но главное, послушалась. Жду с нетерпением, готов благодарить, нежить. Затосковал, соскучился. Опять загорелось во мне что-то... Где же? Где? Прихожу ночью к ее темным окнам и глажу раму, стекло... До чего дошел...

На третий день вечером гляжу — свет. Рву дверь. Она. Пальто сняла, а ушанка еще на голове. Уши лохматые до плеч достают... За платье задевают. А на ней то самое пушистое, непонятного цвета... Самое теплое из всего, что у нее было. Стоит, значит, в этом своем теплом платье, в шапке заячьей, а щеки белые, и подбородок трясется... Вроде холодно ей, не согрелась еще с дороги. В пальцах варежку вертит красную, улыбается, однако, и смотрит на меня. Право, ничуть особенно не изменилась. Разве что под глазами темненько... Я как был в пальто кинулся, обнять хочу, пожалеть, приласкать, обогреть.

— Родная,— говорю,— родная ты моя. Ну ничего, ничего... Я вылечу, я умею. Совсем забудется.

Слушает. Но к себе не подпускает. Я шаг к ней — она шаг от меня. И вертит, вертит красную варежку и улыбается. И в глазах блеск, нехороший такой, нечистый, горячечный. Тут только я увидел вдруг ее сухие, спекшиеся, совсем незнакомые мне губы.

— Постой! Остановись! — крикнул я, хотя что же? Она стояла там, где стояла, и вертела красную варежку, на которую почему-то я старался не смотреть. Я упал перед ней, уткнулся лицом в ее платье... «Встань! — говорит.— Встань!» — нетерпеливо, без сожаления.

Послушался. Встал. Показалось, так будет лучше.

— Ну а теперь,— говорит,— иди.

Я заплакал. Никогда в жизни, поверьте, я не плакал, а тут... Разве ребенком...

— Поздно,— говорит,— опоздал. Встань и уходи.

С тех пор я ее не видел. Пытался — не удалось. Надеялся, что, может, проститься придет... Сидел в аэропорту, ждал, ждал... Недели три назад дал ей первую телеграмму. Потом еще, еще, еще. Не ответила. Как я и предполагал, в общем-то. Такая история... Алексей Федорович.

А теперь скажите мне, вы — мне! Что уж такого ужасного, непростительного, из ряда вон выходящего я совершил?! Что я, преступник, что ли? И разве она поступила как нормальная женщина? Помимо желаний есть же разум! Должен же быть? Ну что мне было делать? Имел ли я, я право оставаться с ней? То есть семью бросить? Ведь правда? А у меня дочь... семилетняя девочка. Вы слушаете меня? И был ли смысл? Вот именно — смысл? Что, разве я рассуждаю примитивно? Глупо? Я вернулся к семье. Да. Обеспечил! Жену, дочь... Несмотря на то... да, несмотря на то, что любил ее, только ее. И люблю. Отказался. Во имя, ради... И я не прав? Как же не прав? Почему не прав? Отвечайте!»

Но трубка молчала. Евгений Петрович Прозоров так и не решился набрать номер, который был нужен ему. Не осмелился. Не осилил. Не рискнул.

Вышагнул из будки, закурил. Руки дрожали. Первую сигарету подпалил с середины, выкинул.

Закрапал дождь, сначала едва слышно, словно на ощупь, потом громыхнул гром и полило.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

КОНСТАНТИН БАДИГИН,
Герой Советского Союза

★

ТИХИЙ ОКЕАН

Людям старшего поколения имя капитана Бадигина хорошо известно. Оно вызывает в памяти героические страницы из истории советского мореплавания. Помощник капитана комсомольского экипажа на ледоколе «Красин», участник высокоширотной экспедиции на ледоколе «Садко», капитан прославленного парохода «Георгий Седов», дрейфовавшего во льдах...

Газетные сообщения об этих рейдах читались в 30—40-х годах с захватывающим интересом. Мужественный поступок К. Бадигина, отказавшегося оставить поврежденное судно и перейти на ледокол «Ермак», пробившийся к «Седову», вызвал законную гордость его соотечественников. «Я покину борт «Седова» только после того, как он пришвартуется в родном советском порту»,— ответил молодой капитан.

В 1940 году по окончании дрейфа «Седова» К. Г. Бадигину было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1942 году К. Бадигин — начальник штаба Главсевморпути в Архангельске, затем он руководит проводками транспортов союзников во льдах Белого моря. С июля 1943 года он капитан транспортного судна на Дальнем Востоке. До конца войны Бадигин совершает рейсы из США во Владивосток с различными военными грузами.

Трудная, интересная жизнь, почти полвека связанная с морем, нашла свое отражение в документальных и художественных книгах ученого, моряка, писателя К. Бадигина «Седовцы» (переиздавалась девять раз!), «Путь на Грумант», «Чужие паруса», «Секрет государственной важности», «На затонувшем корабле», «Кольцо великого магистра», «Корсары Ивана Грозного».

Сейчас К. Бадигин работает над своими воспоминаниями для Политиздата. Отрывок из них мы печатаем ниже.

ГОРОД МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ

Во Владивосток я приехал в начале июля 1943 года. Вышел из вагона и сразу окунулся будто в молочное море. Густой приморский туман держал Владивосток в плену. Как всегда неожиданно он выполз из гнилого угла и, постепенно расширяясь, наступал на город, заполнял улицы, переулки, дворы. Туман заползал во все поры, затруднял дыхание.

На рейде невидимые корабли отзванивали сигналы, пронзительно вскрикивал портовый буксир. На Ленинской улице гудели автомашины, непрерывно звонил трамвай, проплывающий размытой тенью. Кляксами расплывались электрические лампочки, зажженные в окнах магазинов.

Город и порт Владивосток мне знаком давно. Здесь в 1932 году окончил мореходку, плавал на судах морского пароходства и на ледоколе «Красин». Здесь вступил в партию. Не раз приходилось блуждать в тумане по улицам Первой речки, разыскивая знакомый дом.

В номер гостиницы, где я остановился, пришел посыльный с приказом немедленно явиться в пароходство.

Начальник пароходства товарищ Федотов объяснил мне, что я назначаюсь капитаном на теплоход «Клара Цеткин». Знакомое название. Припомнилось, что

встречался я с этим судном в Архангельске: то ли отправлял его в Арктику, то ли выкалывал из льдов Двины.

Теплоход стоял у восьмого причала, пришвартованный кормой к берегу. Старший механик Виктор Иванович Копанев рассказал мне об аварии, которую потерпел недавно теплоход.

В апреле 1943 года судно стояло на якоре в бухте Рында. При сильных ветрах от норд-веста лоция этих мест рекомендует от ветра становиться на якорь ближе к берегу. Однако капитан решил, что в данном случае следует стать на якорь подальше от берега. Шел снег, видимость отсутствовала. Ночью сильным ветром судно сорвало с якоря и снесло на камни. Меня поразило бездействие вахтенной службы, заметившей дрейф теплохода только после того, как сорвало ленточный стопор брашпиля. Когда спохватились и дали машине ход, судно крепко сидело на камнях.

Глупая авария. Она произошла по вине людей, не выполнивших основные требования морской службы.

В результате днище судна оказалось разорванным под вторым и третьим трюмами. После того как ветер стих, его сняли с камней, завели шланги, откачали воду, поставили цементные ящики. Машина, к счастью, оказалась неповрежденной, и «Клара Цеткин» пришла во Владивосток, можно сказать, своим ходом, правда с помощью буксиров.

Несколько слов о биографии теплохода. Он построен в Ленинграде в 1933 году для перевозки лесных грузов из портов Белого и Балтийского морей в порты Англии и континента. Судно однопалубное, с баком, средней надстройкой и ютом. Помещения команды располагались в средней надстройке, на главной палубе, спардеке и бортдеке.

Всего груза вместе с запасом топлива и воды теплоход мог поднять около 6 тысяч тонн. В общем, по тем временам судно было хорошее и быстроходное. Я познакомился с его экипажем и, забегая вперед, скажу: команда оказалась отличной и мне не приходилось жалеть, что я связал с ней свою судьбу на долгие и трудные три года.

Бывший капитан теплохода, а теперь старший помощник Семен Евгеньевич Никифоров при первом же разговоре стал меня уверять, что авария пустячная и что все быстро и хорошо сделают в плавдоке.

Я был значительно моложе старшего помощника и по капитанскому стажу и по возрасту. Это ставило меня в несколько неловкое положение, и я не счел возможным вступать в обсуждение причин аварии.

На следующий день от начальника пароходства Федотова я получил официальный приказ на ремонт в Совгавани и рейсовое задание. Главный инженер пароходства Николай Георгиевич Быков дал много полезных советов, очень пригодившихся во время ремонта.

Вечером меня ждал приятный сюрприз. Приехал мой старый друг, с которым мы плавали еще матросами, Саша Аристов. Он совершил знаменитый рейс третьим помощником на пароходе «Уэлен», вступившем в бой у берегов Австралии с японской подводной лодкой. Самураи не обратили внимания на опознавательные знаки Советского Союза, напали на советское судно, надеясь на безнаказанность, но просчитались!

— Меня ранило в первой же атаке подводной лодки,— рассказывал Саша Аристов.— Четвертым выстрелом японцы разбили две лебедки, повредили палубную паровую магистраль, пробили в нескольких местах палубу. Осколки продырявили переднюю стенку надстройки. Взрывной волной свалило нашего капитана, ранило его в шею и правую руку. В общем, наделали нам японцы дел, и всего за полторы минуты. Потом лодка погрузилась. Но наша команда решила сражаться с ней до последнего. Орудийный расчет занял свои места.

— Время было светлое?

— Какое там, темнотища, время полуночное. Второй раз лодка всплыла через сорок минут и выпустила два снаряда. Третий раз лодка всплыла совсем близко — сто метров с левого борта. Но наши не зевали, пулеметчики сразу открыли огонь. Успели выстрелить и два раза из пушки. Второй снаряд угодил

прямо в лодку у переднего края рубки. В общем, угробили пиратов. Ты учти, военных у нас не было, сами управились.

— Кто пушкой командовал?

— Второй помощник Мель, а наводчиком был машинист Николаев, ну и пулеметчики не подкачали. И врач, женщина у нас, Сергеева, молодец, умело и быстро перевязывала раненых. Капитан Николай Никитич Малахов, несмотря на раны, находился на мостике до самого прихода в порт.

Нам предстоял рейс в Америку. Итак, мечта моя сбылась, я получил неплохой теплоход и был очень счастлив. Мне и не снилось, сколько ждет меня впереди неприятностей и какую трепку нервов испытаю я на первых порах.

Несколько часов я проверял карты и знакомился с лоцией приморского берега. В штурманской было тихо. На мостике раздавались шаги вахтенного. Стены поблескивали свежей краской. Два больших иллюминатора задернуты зелеными занавесками. Барограф в ящике из полированного дерева намертво прикреплен в углу штурманского стола. Четко, с металлическим звоном отбивал полусекунды хронометр, невидимый в своей бархатной пещерке.

Еще раз просмотрел список экипажа. Кроме Никифорова, старшего помощника, в нем значились Николай Дудников вторым и Роза Гельфанд третьим помощником. Старший радист — Сергей Лукьянчиков. Хорошее впечатление произвели боцман Павел Пономарев из архангельских поморов и плотник Владимир Апоницын. Секретарь партийной ячейки — старший моторист Яков Сидорович Захарченко. Больше половины экипажа работали на теплоходе несколько лет, со времени его постройки, и судно знали превосходно.

Итак, завтра в плавание. Из разговоров еще в Москве и особенно здесь, во Владивостоке, с друзьями и знакомыми я знал, что Дальний Восток хотя и значится тыловым краем, но для моряков он далеко не тыл. Те же минные поля, так же взрываются и гибнут суда, наскочив на мину или от торпеды. Атакуют моряков вражеские самолеты. Здесь нет конвоев, суда плавают в одиночку. Если капитан очутился вправо или влево от границ узкой десятимильной полосы, он может быть потоплен без предупреждения. В зависимости от груза каждое судно может очутиться в любом месте земного шара. Многие пароходы уже в этом году направлялись прямо из Америки в Архангельск и Мурманск по Северному морскому пути и через Атлантику.

Утром мы в море. Минуем маяк Поворотный. Теплоход двигается на северо-восток вдоль гористого берега. Один за другим слева по курсу возникали в лиловой дали мысы, словно кто-то невидимый переставлял декорации. На западе у самого горизонта синели величественные вершины Сихотэ-Алиня, заросшие лесом, прорезанные узкими крутыми падями. К морю ущелья-овраги мелели и раздвигались, образуя широкие разлоги.

В одном месте, совсем близко у моря, горела тайга. Тучи дыма висели над лесом. Ветер приносил на теплоход тревожный запах смолистой гари.

В море мы услышали радостную весть. Битва на Курской дуге окончилась победой наших войск. «Немецкий план летнего наступления,— гласил приказ Верховного Главнокомандующего,— надо считать полностью провалившимся. Тем самым разоблачена легенда о том, что немцы в летнем наступлении всегда одерживают победы, а советские войска вынуждены будто бы находиться в отступлении...»

Итак, еще одна легенда развеяна.

На третий день прошли траверз маяка. А вот и Совгавань. Круто повернули налево. Миновали маленький островок. Направо бухта Константиновская. Самая глубокая и спокойная бухта в Совгавани. Мне вспомнилось, как я еще матросом на пароходе «Индигирка» приходил в эти места много лет назад. Сколько нового и интересного таили для меня тогда эти берега. В том далеком плавании море совсем очаровало меня.

Я вспомнил, как мы, четверо матросов, отправились на шлюпке осматривать пустынные тогда берега бухты Константиновская и старались разглядеть в тем-

ной глубине остатки деревянного корабля. Мне казалось, что я видел палубу, фальшборт с портами для пушек...

Наконец мы пришвартовались у ветхой деревянной пристани поселка Совгавань и приступили к выгрузке. Не буду рассказывать подробности ремонта на заводе Дальневосточного пароходства, хотя все документы я бережно храню до сих пор. Но коротко, несколько слов, сказать необходимо.

В док я вошел без помощи буксира. Его пока не было в Совгавани. Закрыли нам днище быстро. Ремонтировали с помощью дублировок, подварки заклепок и подкреплений, временно обеспечивающих живучесть. Вопрос шел о летнем переходе в один из портов США, где предполагалось полное восстановление прочности и водонепроницаемости корпуса.

Помня о том, что идет война и что нам предстоит летний переход в США и там ремонт, я не настаивал на более надежном обеспечении живучести теплохода. То, что произошло дальше, перевернуло и намеченные планы, и мои представления о порядочности некоторых «работничков» ремонтных мастерских.

Я получил приказание погрузить круглый лес и идти во Владивосток, а после выгрузки отправиться снова за грузом в Совгавань. На обратном пути появилась течь.

Перед тем как приступить к погрузке в Совгавани, я решил пригласить водолазов. После осмотра оказалось, что мастерские допустили недоброкачественную сварку.

Об этих печальных обстоятельствах я сообщил начальнику пароходства. В последующем мне пришлось пережить немало неприятностей: проверку моих выводов аварийной комиссией и несправедливое обвинение в невыполнении приказа о приеме груза. На мою голову посыпались угрозы о привлечении к ответственности, об оргвыводах и т. д.

Не стану перечислять все беды, происшедшие из-за плохо проведенного ремонта. Могу только сказать, что в этот тяжелый период я особенно полюбил свое судно. Моряки, как правило, любят корабль, на котором работают. Для настоящих моряков он словно живое любимое существо. Они ухаживают за ним, держат его в чистоте и порядке, привязываются к нему как к своему родному детищу. Маленькое судно или большое, красивое современное или устаревшее, оно все равно дорого и близко. У поморов, лучших моряков России, до недавнего прошлого бытовали приметы на этот счет. Не дай бог в сердцах ругнуть свое судно, если оно плохо разворачивается, рыскает во время хода. Судно может обидеться — и тогда прощай спокойное плавание. Обращение с судном должно быть только ласковое.

Я помню, плавал в Архангельске в 1933 году со старым капитаном Хабаровым, опытным, но беспокойным человеком, с подчиненными он был строг и малоразговорчив. Иногда совсем неожиданно в самый, казалось, неудобный момент начинал делиться своими воспоминаниями, и тогда можно было услышать много интересных вещей. Швартовались мы как-то раз к пассажирской пристани, капитан Хабаров запоздал с задним ходом и с беспокойством посматривал, как движется вперед судно. От нетерпения он притопывал ногой и что-то говорил про себя. Я прислушался. «Миленький, остановись, миленький, не подведи,— твердил он.— Родименький, отблагодарю». Посулы, видно, помогли, и судно остановилось в нужном месте. Капитан Хабаров ласково погладил рукой полированные поручни на мостике.

К БЕРЕГАМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

Пока выгружали бревна, которые мы привезли из Совгавани, я старался получить в пароходстве груз на переход в США, а это дело непростое.

Предстояло погрузить около трех тысяч тонн досок и руду. Брать полный груз руды на судно, находящееся в аварийном состоянии, я считал невозможным. Но и без нее нельзя было отправляться в плавание: лес шел только до острова Адах. А на переход через Тихий океан леса не дали. Значит, полпути залатанное днище теплохода будет хлюпать по волнам и заплаты полетят сразу — в этом

я не сомневался. Руда должна притопить аварийное днище. Но она одновременно понизит центр тяжести судна и придаст ему стремительность при качке. Тоже опасно.

Долго я колебался и после бессонной ночи все же согласился принять 1200 тонн руды. Она грузилась как балласт, ее распределили тонким слоем во всех трюмах, кроме первого носового. Сверху грузили доски: лесной груз увеличивал плавучесть судна.

Утром 10 декабря 1943 года я пришел за наставлениями к начальству пароходства.

— Что ж,— сказал Василий Федорович,— о чем с тобой говорить, пожалуй что все сам знаешь... Одно скажу: будь осторожен. Не суйся в пролив в тумане.

После обеда, приняв на борт лоцмана, мы вышли за боновое ограждение и направились в бухту Находки для бункеровки. Порт находился в зачаточном состоянии. Причал едва дышал, швартоваться приходилось без буксира. Но во время войны мы привыкли обходиться «без удобств». Декабрь давал себя знать. Морозило, бухта забита намерзшим льдом. На следующий день утром, заполнив топливом цистерны, отвинтили шланги и приготовились к отходу. Пришли пограничники, явился лоцман, и снова заработала машина.

12 декабря шли с лоцманом к бухте Валентина. Радист принес мне на мостик радиограмму: «SOS. Пароход «Валерий Чкалов»... широта, долгота. Получил трещину, лопнула палуба, обшивка правого борта до ватерлинии. Положение судна чрезвычайно опасное, требуется немедленная помощь КМОР. Шанцберг».

Как всегда, при получении подобных телеграмм на душе становится тяжко. Где-то в штормовом море борются люди за свой пароход, их жизнь в опасности. Представил себе Александра Федоровича Шанцберга, с которым мы знакомы. Высокий краснолицый старик с совсем белыми волосами. Трудно им сейчас...

Я проложил на генеральной карте Баренцева моря координаты. Судно находилось далеко, где-то у Алеутских островов... На призыв откликнулось несколько ближайших к «Чкалову» судов. На следующий день началась буксировка терпевшего аварию судна, а затем произошла трагедия: судно переломилось. В конце концов обе его половины были спасены и отбуксированы в порт.

Позже мне рассказал об этой аварии Александр Федорович Шанцберг.

Вечером прошли опасные места, приходилось идти по фарватеру среди минных полей, известному только лоцману, и встали на якорь в бухте Валентина. Здесь уходил лоцман и начиналось самостоятельное плавание.

Туман — давнишний враг моряков. Мы увидели его издали: огромный белый занавес, спустившийся с неба, двигался нам навстречу. Основание занавеса медленно колыхалось в волнах. А потом судно вдруг сразу очутилось в густой молочной пелене, и с капитанского мостика с трудом можно было различить, что делалось на баке или на юте. Шесть пар глаз вахтенных силятся в такие дни пронизать туман. Каждые две минуты судовые сирены резким воем нарушают привычный и равномерный шум работающих дизелей, предупреждая встречные суда о грозящей им опасности столкновения... Широка морская дорога, и все же столкновения судов встречаются в морской практике.

Пролив Лаперуза прошли благополучно. При хороших определениях у острова Хоккайдо выход на восток не представляет трудности.

Примерно на меридиане порта Отомари увидели японский сторожевик. Он подошел совсем близко, и офицер, стоявший на мостике, стал по-русски задавать нам вопросы.

— Как называется ваше судно? — И, помолчав, добавил: — Если будете говорить неправду, арестую. Откуда идете? Какой груз? Сколько экипажа на борту? Есть ли пассажиры на борту? Сколько брутто-тонн пароход? В каком году построен пароход? Название судна передайте огнем.

Мы ответили на все вопросы, и сторожевик отошел, разрешив нам следовать дальше. Японцы стали вежливее. Наши победы под Сталинградом и на Курской дуге заметно поубавили спеси японским воякам. Раньше они вели себя нахально,

бывали случаи, заставляли советские суда заходить в их порты и держали их там неизвестно зачем. Сейчас процедура опроса происходила вполне пристойно.

Охотское море встретило нас неласково. Дул свирепый норд-вест, в левый борт ударяла волна, заливая палубу и грузовые люки. Волны быстро увеличивались, качка делалась стремительнее и злей. Ветер достиг штормовой силы.

Неприятности в море случаются, как правило, ночью. В три часа второй помощник Николай Дудников разбудил меня. Оказалось, что в корпусе появилась течь...

Нерадостное, хмурое утро. Видимость всего двести — триста метров. Повалил густой снег. Сила ветра приближалась к урагану. Зыбь двигалась с северо-запада высокими валами с яростными гребнями на верхушках. Удары волн в левый борт сделались сильнее. Вода, попадая на люки, стрелы и такелаж, замерзает. Стремительная качка, крен на оба борта тридцать градусов. Картина вокруг неприглядная — краски серая и черная.

Держаться на ногах трудно.

Тревогу умеряло сознание, что в трюмах лежат сосновые доски. Если море оторвет листы на пробоинах, судно останется на плаву.

Прошло два дня. Ураганный ветер по-прежнему гнал на наш теплоход зеленовато-серые пенящиеся волны. Качка усилилась, и крен теперь достигал тридцати пяти градусов.

Мне было тогда тридцать два года, я был здоров, стремительные переваливания с борта на борт выдерживал довольно легко. Но и я в конце вторых суток отяжелел и, помню, увидел у себя в каюте... двух Копаневых. Галлюцинация, весьма озадачившая меня.

Опять тревожные вести. Вода из люка левого борта номер три откачке не поддается и через мерительную трубку проникает в туннель гребного вала. Воду спустили через открытые пробки в рецессе. Вода идет ржавая, видимо вместе с рудой.

К вечеру ветер утих до силы обычного шторма. Взяли радиопеленг Лопатки, южного мыса Камчатки. Немного отлегло от души — все-таки зацепились за точное место на берегу.

Маяк на мысе Лопатка! Сколько раз ты выручал меня в труднейшем положении, давая возможность безопасно пройти пролив. Японцы во время войны держали в своих руках всю Курильскую гряду, и несмотря на то, что между островами были превосходные, широкие и свободные от опасностей проливы, они запрещали проход через них. Мы, советские моряки, могли плавать Первым Курильским проливом между мысом Лопатка и островом Шумшу. Собственно говоря, мы владели половиной пролива, другая принадлежала японцам.

Для навигации Первый пролив не очень удобен и поэтому в мирное время использовался редко От мыса Лопатка на северо-запад шла длинная гряда каменных рифов, а посередине на всех картах значилась пятиметровая банка. Как мне рассказывали, капитан Иван Чечельницкий когда-то сидел здесь на своем пароходе, и хотя последующие промеры не обнаружили банку, обычно на картах она отмечалась, и капитаны избегали прокладывать по тем местам свои курсы. Я был уверен, что Чечельницкий сидел где-то в другом месте, однако старался, как и все, держаться от банки подальше.

В общем, эта банка Чечельницкого суживала и без того узкий пролив.

В час ночи 18 декабря увидели на северо-востоке красный проблесковый огонь. Ни на карте, ни в описании огней и знаков, ни в лоции огонь не обозначен. Весьма неприятное положение. Решил довериться маяку Лопатка, однако пришлось все же на всякий случай дать малый ход и продержаться до рассвета.

Несколько раз выходил на мостик и приглядывался к рубиновому огоньку. Всю ночь он тревожил душу. Утром проглянул берег, однако тут же скрылся за пеленой тумана. Двигаемся на ощупь, каждые пятнадцать минут берем радиопеленг Лопатки и измеряем глубину.

Современному судоводителю покажется странной наша тревога при прохо-

ждении Первого пролива: конечно, с локатором плавание в нем не представляет особых трудностей.

В проливе зыбь уменьшилась, и все мы вздохнули с облегчением. К обеду открылись берега, и я увидел стройную башню маяка Лопатка и маяк на противоположном японском берегу. Миновали благополучно и банку Ивана Чечельницкого. Теплоход вошел в Тихий океан.

Под защитой полуострова Камчатка идем почти спокойно. Ветер умеренный, и зыбь в два-три раза меньше, чем в Охотском море. Теперь наш курс вдоль побережья Камчатки. Приближались новые заботы, еще более тяжелые. Дело в том, что по грузовым документам — коносаментам,— находящимся и на судне, и по записям в вахтенном журнале видно, что наш пароход следует в Петропавловск, где ему надлежит сдать груз. Но это не так. Мы идем на остров Адах, принадлежавший американцам, и там будем разгружаться. Когда пройдем Петропавловск, путь наш — к Алеутским островам.

По международным законам военного времени японцы могли задержать наше судно и при обнаружении на нем груза, предназначенного американцам, захватить его или уничтожить. Такой же участи мог подвергнуться и сам пароход.

Прошли Авачинскую губу, в глубине которой находился Петропавловск. Берега видны хорошо. Мысы четко различаются. Неожиданно появился самолет «дуглас». Объявлена боевая тревога. Самолет сделал один круг над пароходом и улетел. Через пятнадцать минут появился снова. Опять боевая тревога, каждый занял свое место у скорострельных пушек и пулеметов. Вахтенные на мостике старательно обшаривали биноклями каждый уголок неба и моря. Взгляд штурмана следил за барашками волн: за белой пеной иногда прячется перископ. В этих широтах водятся не только мирные кашалоты, но и подводные лодки.

В четыре часа 19 декабря определились по мысам Камчатский и Африка и легли курсом на чистый восток.

Пока мы шли рекомендованным курсом в десятимильном коридоре, нас по идее должны были миновать всякие случайности войны. Ночью на пароходе зажигалась елочка (три вертикальных огня — зеленый, красный, зеленый), а днем нас могли отличать по советским флагам, нарисованным по бортам и на брезентах трюмов, и по гигантским буквам «СССР». И сверху и с моря видно, что идет пароход, принадлежащий Советскому Союзу.

22 декабря пересекли 180-й меридиан и, таким образом, будем считать 22 число «повторяющимся дважды». В полдень мы находились в западном полушарии. Определившись по солнцу, легли на курс чистый юг, прямо на остров Адах. Наступило тревожное время. Теперь японские подводные лодки или надводные корабли могли в любой миг остановить наш пароход.

Радист Лукьянчиков нарушил закон молчания, строго соблюдавшийся во время войны, и вызвал радиостанцию на Адахе. Никто нам не ответил. Радист спросил у меня разрешения повторить вызов и снова вышел в эфир. И опять никто не ответил. Вызывая американскую радиостанцию, мы обращали на себя внимание японцев. Решил больше не рисковать.

В четверг 23 декабря ночью по курсу примерно за шестьдесят миль показалось огромное зарево над островом Адах. С рассветом подошли к северной оконечности острова.

Адах относится к группе Андреяновских островов. К западу расположены Крысьи острова, среди них знаменитый Кыска. 7 июня 1942 года остров Кыска захватили японцы. Такое соседство нас не радует.

Берег приближается. Его низкая полоса выступает небольшим мысом к северу. Видны два дома, сигнальная мачта. На самом конце мыса знак в виде прямоугольной черной башни. На теплоходе подняли позывные сигналы — никакого движения. Желая обратить на себя внимание, подошли к берегу совсем близко и непрерывно гудели сиреной.

Самое странное заключалось в том, что самолеты, летавшие над нами в пургу десятками, не обращали никакого внимания на наш теплоход.

Целый день мы ходили взад и вперед на видимости сигнального поста. Целый день гудели, звали Адах по радио, давали световые сигналы — все напрасно. В любую минуту могли появиться подводные лодки японцев, потопить нас, не обращая внимания на флаги, буквально на глазах у американцев.

— Что будем делать, Константин Сергеевич? — спросил старпом Петр Николаевич Василевский, заступивший на вахту в 16.00 часов.— Ветер штормовой, несет на остров.

— Работайте малым ходом на ветер.

Волнение моря усиливалось. Наш теплоход снова стало валить с борта на борт.

— Константин Сергеевич, поступление воды в балласты снова усилилось,— доложил старший механик.

Что делать? Вместо ожидаемого отдыха в закрытом порту — болтанка и возня с откачкой балластов. Войти в закрытую военно-морскую базу без лоцмана и карты невозможно. Ожидание лоцмана, по-видимому, бесполезно и опасно.

Немного успокаивало снова разгулявшееся волнение на море. В такую погоду вряд ли подводная лодка отважится атаковать наш пароход. Подумав, решил дождаться завтрашнего утра, а пока отойти немного от берега.

За ужином обычного оживления не было. Командиры молча ели свой суп и надоевшие котлеты, пили мутный чай.

Наступил сочельник, канун рождественских праздников, 24 декабря. Мы снова подошли к острову Адах, всячески стараясь обратить на себя внимание. Часто шел снег, временами прояснялось. Летали над нами самолеты, а мы по-прежнему оставались незамеченными. Опять в машине появилась вода, и машинную команду подняли по тревоге...

В полдень терпение истощилось. Считая дальнейшее ожидание бесполезным, я решил идти к острову Акутан, открытую военную базу американцев, куда заходили все идущие в США советские суда. По пути в Акутан вода из трюма в машину все время поступала и откачивалась насосами. Входили в бухту при сильном снегопаде, при видимости от трех до четырех кабельтовых.

В пять часов вечера в воскресенье 26 декабря отдали якорь в бухте. Течь в машину из трюма номер три усилилась, откачивающие устройства работали непрерывно. Сообщили на пост о своем прибытии, просили немедленно выслать конвойного офицера. Однако никто не явился, и мы простояли в ожидании всю ночь. Утром ветер усилился, и пришлось отдавать второй якорь. Для безопасности машина работала малым ходом вперед. Течь в машине не утихает, хотя волнения в бухте нет.

Полдень 28 декабря — никаких изменений. Возмущение экипажа велико, дорог каждый час, а мы теряем время сутками. Решил спустить моторную шлюпку и отправиться на берег. На берегу в удобном и теплом домике жили офицеры, переводчики и немногочисленный обслуживающий персонал.

Меня приняли на острове гостеприимно, радушно.

Акутанская администрация крайне удивилась, услышав мой рассказ о наших мытарствах.

— Невозможно! Невероятно! Здесь, наверное, ошибка,— раздавались голоса.

Старший офицер базы обещал мне все узнать, приготовить карты для плавания. Как выяснилось позже, американцы пытались к нам приехать, но катер перевернулся на крутой волне и матрос-рулевой утонул.

Карты для плавания на базу Адах, совершенно секретные и отлично выполненные, переводчик привез только на следующий день утром. Приглядевшись, я обнаружил, что с севера остров заминирован довольно основательно, и, значит... наш теплоход целые сутки гулял по минам. Мысленно поблагодарил морского бога, что все обошлось благополучно.

— Командование базы на Адахе приносит вам извинения, капитан. Произошло недоразумение, мы все выяснили. Теперь вас встретит лоцман вот здесь.—

Переводчик показал место на карте.— На Адахе вас ждут. Не смею больше задерживать.

И переводчик, отхлебнув из рюмки крепкой лимонной настойки, заторопился к трапу.

Не теряя минуты, мы выбрали якоря и, попрощавшись гудками с пароходами, стоявшими на рейде, двинулись к выходу.

В море нас встретил крепкий юго-западный ветер и крупная зыбь.

Плавать по новым подробным картам истинное наслаждение, все идет как по маслу. Мысы появляются за мысами и вовремя исчезают. Огни светят там, где им предназначено светить. Три раза в разных местах нас запрашивали посты наблюдения. Над теплоходом не раз проносились самолеты.

31 декабря в шесть часов вечера в точно указанном месте подошел лоцманский катер. И вот наконец лоцман на борту. Теперь нас от волны защищают берега, виднеющиеся со всех сторон. Через полчаса вошли в порт, а еще через полчаса с помощью юркого буксира пришвартовываемся к отличному новому причалу.

Спущен трап, на борту появились капитаны всех степеней, полковники, подполковники, сержанты и рядовые. Американцы радушно приветствовали нас как своих союзников и поздравили с наступающим Новым годом. И здесь, на Адахе, у причала я вспомнил, что наступает новый, 1944 год.

Приняли нас без всяких формальностей. Но выход на берег экипажу запретили.

Рядом с нашим вахтенным краснофлотцем у трапа поставили армейского полисмена. Однако все, кто приходил на теплоход, пропускались без всяких ограничений. Для нужд судна любезно предоставили офицера-переводчика, который днем и ночью находился на теплоходе.

Наступил Новый год. Поздравить с праздником приходили все новые и новые люди. На острове Адах, на территории военно-морской базы, соблюдался строгий сухой закон, и поэтому желающих поздравить меня нашлось много. Визитеры сообщили, что на базе были попытки варить крепкую бражку из сока ананасов и дрожжей, однако самогонщиков посадили под арест.

На скорую руку мы приготовили встречу Нового года. У всех было одно желание: поднимая бокалы, все произносили два слова — «за победу!».

После бурных дней, проведенных в море, наступили первые часы покоя. Все радовались, что вырвались живыми и здоровыми из довольно сложного положения. Однако понимали, что рейс еще не закончен.

Поздравить экипаж теплохода с Новым годом пришли армейские музыканты. Их превосходная игра доставила нам большое удовольствие. Наши корабельные дамы, буфетчица и дневальные, а особенно третий помощник капитана Роза Земельевна Гельфанд, получили множество разнообразных сувениров. Словом, для всех нас это была памятная дата, и в эту ночь долго никто не мог уснуть. Мы словно переселились в другое царство — в царство покоя и благополучия.

Однако дело есть дело, и американские солдаты в половине второго приступили к выгрузке. Работа шла споро, сразу на все пять трюмов. К полудню прибыли водолазы для осмотра подводной части. Я просил док, однако дока командир порта не дал, ответив, что он занят. Водолазы, осмотрев днище, нашли, что дублеровка в носовой части оторвана, а поставленные для подкрепления гужены вырваны ударами зыби. Там, где торчали гужены, остались многочисленные дыры. Наши худшие опасения подтвердились.

На следующий день прибыл адъютант командующего Северотихоокеанским флотом адмирала Франка Жака Флетчера с приглашением посетить его. Адмирал принял меня и старшего помощника Петра Николаевича Василевского в своем штабе без переводчика и каких-либо других лиц. Это был высокий розовощекий и седовласый человек, типичный английский моряк. Возле его ног, как и следовало ожидать, лежал огромный дог. Вестовой принес нам по чашечке кофе, сахарницу и вазочку с печеньем. Адмирал прежде всего представил нам своего пса, затем вежливо справился о нашем здоровье и о том, как мы дошли до Адаха.

Он поблагодарил за превосходные доски, которые мы привезли, весьма пригодные для постройки аэродромов на каменистом острове. Затем спросил наше мнение: успешны ли бомбардировки с воздуха союзниками Германии и могут ли они отчасти заменить второй фронт? Мы ответили, что бомбардировки и второй фронт — вещи разные и что сейчас нужен второй фронт. Адмирал с нами согласился и твердо сказал, что его личное мнение — совершенная необходимость второго фронта, и в самом скором времени.

— Двадцать второго декабря я имел честь принимать у себя славного русского моряка капитана Шанцберга,— неожиданно сказал адмирал.— У него переломился во время жестокого шторма пароход. Он вел себя отлично. Обе половины нам удалось прибуксировать на Большой Ситхин. Весь экипаж остался жив. В Америке они получат новый пароход «Валерий Чкалов».

Затем адмирал стал жаловаться на скверный климат Алеутских островов, затрудняющий постройку порта и прочих сооружений базы.

Я сказал:

— Должен сделать заявление, адмирал, как союзник, желающий вам успеха.

— Я вас внимательно слушаю.— Командующий наклонил голову в мою сторону.

Я поведал о всех наших злоключениях при подходе к острову и попытке вызова лоцмана.

— Не понимаю только одного: как мы не подорвались на ваших минах,— закончил я свое сообщение,— пройдясь несколько раз взад и вперед по минным полям? Я огорчен как союзник, что ваши посты наблюдения и связи оказались не на должной высоте. Ведь вместо нашего судна мог находиться японский транспорт, он мог принести вам немало беды... Сколько самолетов пролетело над нашими головами!

Адмирал Флетчер выслушал меня, не проронив ни слова. Потом поблагодарил, как он выразился, за интересное сообщение и, поднявшись, стал прощаться.

И вот мы возвращаемся на теплоход. То, что мы видим, поражает нас. Превосходные бетонированные дороги, много всевозможных машин всяких типов, перевозящих грузы. Много солдат по обочинам дороги. Чувствуется, что остров густо населен военными и что здесь ведется крупное строительство.

Сопровождавший нас офицер-переводчик давал объяснения. Он уточнил, что на острове около 5 тысяч машин, больше 40 тысяч солдат-армейцев и много летчиков и моряков. Он рассказал, что остров разбит на несколько секторов и в каждом строительством ведает инженерный генерал. Строительство засекречено, то, что делается в соседнем секторе, соседи не знают, и пропуска действительны только на своей территории. Есть несколько госпиталей: для флота, для авиации и армейских частей. В госпиталях работают около полсотни женщин.

— На будущий год мы закончим строительство,— сказал водитель нашего «джипа»,— скорей бы, надоело. Вы знаете,— помолчав, сказал он,— японцы пытались захватить этот остров. В августе прошлого года через несколько дней после начала работ они высадились на западном берегу бухты Килик на шестидесяти резиновых шлюпках, по шесть солдат в шлюпке. Мы дали им высадиться и уничтожили пулеметным огнем... Да, сейчас Адах не возьмешь голыми руками. А ведь еще в прошлом году здесь никого не было. Голубые песцы — вот кто обитал на острове. Несколько человек — владельцев заповедника — приезжали сюда на летнее время. В августе мы построили первый аэродром, с этого все началось...

Я слушал водителя и вспоминал первых открывателей острова. Русские мореходы на малых парусных судах проникли сюда в начале XVIII века. Вся группа Алеутских островов от Аляски и до восточного острова Атту была открыта и обследована русскими.

Вместе с Аляской царское правительство продало в прошлом веке и Алеутские острова. Глубочайшая ошибка, но сделанного не вернешь...

По дороге остановились у небольшого магазина для солдат и офицеров. Водитель сказал, что таких магазинов на острове несколько. Большой выбор фрук-

тов и всевозможных соков и, конечно, кока-кола, продукты, обувь, одежда и разные безделушки. Выпили по бутылочке кока-колы.

Бухточка Суппер-Ков, где расположен причал, у которого мы стояли, находится в превосходном заливе Хулух. Она врезается в западный берег и служит портом военно-морской базы.

Что я увидел в порту во время нашей стоянки? Во-первых, большой причал в виде буквы «т» длиной около трехсот метров, а рядком с ним «г»-образный длиной около ста пятидесяти метров. Десятисаженные глубины у продольных причалов вполне пригодны для швартовки больших судов. Ширина причалов двадцать пять метров. Эти два причала образуют ковш для маломерных судов. Работы велись с широким размахом.

Я еще сидел в кают-компании за чаем, когда явился морской офицер в чине капитана второго ранга. Он попросил срочного конфиденциального разговора, и мы отправились с ним в каюту, прихватив по стакану чая.

— Капитан, расскажите, что произошло двадцать третьего декабря, когда вы подходили к базе.

Я понял, что адмирал Флетчер начал расследование.

— Если возможно, покажите ваш путь на карте,— попросил моряк.

Я достал старую карту с прокладкой и новую, полученную в Акутане. Посланец покачивал головой и приговаривал:

— Ай-ай, это потрясающе. Целые сутки вы ходили по минам. Ни пост, ни самолеты не заметили вас.

— Может быть, и заметили, однако не доложили по начальству, и нам пришлось идти в Акутан. Потеряно впустую восемь суток во время войны.

— Ай-ай, я разберусь, выясню.

Через час капитан второго ранга после обильных любезностей раскланялся и покинул судно. Я взял с полки книгу поинтереснее и стал читать. Через десять минут в каюту постучал еще один моряк. Этот был чином пониже. Он пришел с какой-то книгой, в которую записал мой рассказ о злополучных событиях 23 декабря.

Переводчик между тем рассказал мне о порядках на острове. Кроме сухого закона, здесь строгая военная цензура. Офицеру в чине майора поручен просмотр всей корреспонденции. В каждой части есть человек, которому передаются письма в незапечатанном виде. По большей части это священник в военной форме. О просмотре корреспонденции личному составу базы объявлено официально. Издается газета с надписью: «Вынос газеты за пределы острова категорически запрещен». Для посылки газеты военнослужащими родным и близким выпущен специальный новогодний номер.

Наконец я остался один, улегся на койку и, взяв роман Вальтера Скотта, с наслаждением стал читать.

Но снова раздался стук в дверь. Опять переводчик и с ним военный в чине армейского капитана. Форма американская, военно-воздушных сил.

Капитан представился и попросил меня рассказать о событиях 23 декабря. Пришлось все повторить. Я считал, что помогаю союзникам в войне против общего врага.

Добросовестно заполнив страничку в записной книжке, капитан с гордостью сказал:

— Наши летчики первого и сегодня, четвертого января бомбили Парамушир. С последнего полета летчики недавно возвратились. Все живы и здоровы, а бомбы оставили японцам... Приезжайте к нам в гости,— пригласил капитан.— Летом у нас хорошо, озера, речки, хорошо ловится рыба, есть форель. Даже трава растет,— закончил он с усмешкой,— похожая на овес. Лето есть лето, а сейчас январь на дворе. Как ваши первооткрыватели, русские мореходы, заметили, здесь, на острове, всегда осень. И летом может быть снег и зимой дождь. Так и живем.

Он сказал еще, что адмирал Флетчер справедлив, но строг и что все его побаиваются.

На следующий день грузовые операции закончились, буксиры немедленно отвели нас на рейд, и мы отдали якорь на глубине тридцати саженей.

Баржу привели только вечером. К девяти часам вечера взяли 66 тонн дизельного топлива и, не теряя ни минуты времени, двинулись в путь. Порт назначения — Сиэтл, там мы должны выгрузить остальной груз — руду. Как я уже говорил, руда вызывала у меня беспокойство. Плавучий груз мы, увы, оставили на Адахе. Осталась руда. Центр тяжести, и без того низкий на лесовозах, еще больше понизился.

Полученная в порту навигационная карта на январь предсказывала сильные ветры. Роза ветров была угрожающей.

Что же сказать об американцах на Адахе? Как они приняли наш теплоход, как отнеслись к нам, советским морякам?

Все делалось с душой, без всякого нажима. У нас об этих встречах остались самые хорошие воспоминания.

Рядовой американский народ явно сочувствовал советским людям. Но, с другой стороны, в Америке действовали иные силы. Мне запомнились очень назойливые вопросы переводчика о Камчатке. Он приносил секретную карту полуострова, где с большой точностью были указаны названия с русским произношением. Смысл его вопросов, касаемых Камчатки, мне показался странным.

ВЕЛИКИЙ, ИЛИ ТИХИЙ

В субботу 8 января вышли в Тихий океан. Ветер крепкий, северо-западный. Пасмурно. Кривая барометра ползла кверху, но вскоре стала падать, а ветер перешел на западный, потом к югу, набирая постепенно силу. К пяти часам утра 9 января восточный ветер достиг штормовой силы, зыбь быстро возрастала.

Молим морского бога прекратить свои забавы. Судно качает и с борта на борт и с носа на корму. Вода в трюмах прибывает. Заклинило руль. Новое испытание, ниспосланное нам, мы совсем не заслужили. Остановили машину. Через полчаса механики устранили неисправности и мы снова легли на прежний курс. Ветровая волна усилилась. Мы приближались к центру циклона.

Когда наше отнюдь не маленькое судно поднималось на волнах, часть днища оголялась и словно повисала в воздухе. В стремительном своем падении, коснувшись воды, судно испытывало удары, потрясавшие его до основания. Когда оголялся винт, машина освобождалась от связывающих ее сил, и грохот дизеля врывался в рев разбушевавшейся стихии.

Временами корабль зарывался в белую кипящую пену. Сотни тонн воды обрушивались на палубу, и неопытному человеку могло показаться, что судно никогда больше не всплывет на поверхность. Но вот нос судна опять возникал среди волн, стремительно поднимался вверх, и вода с шумом сбегала в океан через штормовые шпигаты. Вахтенный штурман записал в судовой журнал: «Жестокий шторм, 11 баллов. Зыбь до 9 баллов». В такую погоду мало кому удается заснуть после тяжелой вахты. Спать приходится по-особому, упираясь ногами в стенки каюты.

Чтобы предохранить корпус, изменил курс к югу. Хотя и адски качает, однако удары прекратились. А ветер все крепчает. К шестнадцати часам 9 января он достиг ураганной силы. Теперь речь шла о том, чтобы сохранить корабль от гибели.

Старпом Петр Николаевич проверил запасы воды и продовольствия в спасательных шлюпках. Добавили мясных консервов и галет. Петр Николаевич и боцман Павел Пономарев, помогавший старпому, прекрасно понимали, что спустить шлюпки в ревущее и грохочущее море вряд ли удастся. А я, расположившись между телеграфом и стенкой рулевой рубки, размышлял о надвигающейся катастрофе.

Корпус не выдержит... Насосы не справятся с откачкой воды. Погибнет судно, люди. Кто же виноват? Конечно, капитан. По тем временам он ни с кем

не делил вины. Недоглядел, не предусмотрел, не распорядился... — все он, капитан. Но, черт возьми, разве не предупреждал я начальника пароходства о недоброкачественном ремонте, не просил груза леса до порта назначения? — доказывал я кому-то невидимому. И тут же с досадой себе: ну и кусай теперь себе локти и утешайся тем, что ты все это предвидел и не мог ничего изменить.

Заглядывая вперед, оговорюсь, что через полтора десятка лет приказом министра ответственность капитана за аварию разделили между всеми лицами, участвующими в подготовке судна в рейс.

Но вернусь к тем штормовым временам. Петр Николаевич с трудом открыл дверь, прижатую ветром, и вошел в рубку. В это время судно стремительно повалилось на борт, он, не удержавшись, поехал по мокрому настилу и очутился у меня в объятиях.

— Запасы в шлюпках, на местах,— сказал он, отдышавшись,— и анкерки с водой.

— Лево руля судно не слушает, лево не идет! — испуганно крикнул рулевой.— Смотрите, я положил руль лево!

Действительно, аксиометр показывал всего пять градусов, и судно катилось вправо... Мы встретились со старшим помощником взглядами. Петр Николаевич молчал.

По-прежнему дул ветер от востоко-северо-востока ураганной силы. Огромные серо-зеленые волны поднимались и справа и слева, и по носу и по корме. Барометр продолжал падать.

Что делать? На этот вопрос должен дать ответ капитан, и дать немедленно.

Громко и тревожно зазвонил звонок машинного телефона. Старпом взял трубку.

— Насосы не берут воду. Уровень воды в носовых трюмах поднимается.

Судно сделалось игрушкой волн и ветра. Плавучесть его будет ухудшаться с каждым часом.

— Пойдемте посоветуемся, что делать,— обратился я к стармеху.

Судовые часы показывали без малого час ночи.

В каюте мне запомнились бархатные зеленые занавески на окнах, ложившиеся при качке почти горизонтально, и пенные потоки воды, катавшиеся с борта на борт. Что-то скрипело и постукивало внутри теплохода, словно он охал и просил помощи.

— Виктор Иванович,— без всякого вступления спросил я,— вы можете починить руль?

— Ничего не могу сделать... Даже не могу понять, в чем дело. Дьявольщина какая-то.

Стармех был бледен. На щеке темнело большое пятно машинного масла.

— Вы даже не надеетесь отремонтировать руль? Даже не указываете срока?!

— Какой срок! Если бы я знал, что ремонтировать. Руль где-то заклинило, но где?

— Что же вы предлагаете?

— Вызвать спасательный буксир и возвращаться обратно в Акутан. Необходим водолазный осмотр.

— Как думаете вы, Петр Николаевич?

— Я присоединяюсь к стармеху.

Теперь мне надо сосредоточиться и подумать как следует. Конечно, оставаться в таком беспомощном положении без надежды на исправление руля глупо. Болтаться поплавком на вздыбленном Тихом океане! Надо вызывать спасательный буксир немедленно... Но все ли ты продумал, капитан? — задал я вопрос себе. И вдруг пришла мысль: а если мы повернем на обратный курс, на запад, ветер нам будет в правый борт. Значит, руль придется откладывать вправо, а вправо он работает. Да, правильно. Так и сделаю. Чем ближе мы подойдем к

Акутану, тем дешевле обойдется государству буксировка. Я снял трубку телефона. Посмотрел на часы: 1 час 20 минут.

Мостик слушает.

— Полный ход. Курс двести семьдесят. Руль право, разворачивайтесь, я сейчас иду.

Перед моими глазами прошли все товарищи по теплоходу— матросы, мотористы, механики, штурманы. Буфетчица Варвара Андреевна, мальчишки — палубные ученики. Все они верят, что капитан знает, что делает. Присвоенное мне почетное звание еще больше заставляет верить. Некоторые из них сейчас спят, другие стоят на вахте на палубе и у машины.

Несмотря на утомительную качку, все механизмы действуют четко и непрерывно. Но почему руль работает лишь в одну сторону? Голова вспухает от мыслей.

Когда судно развернулось курсом на остров Акутан, условия, как я и предполагал, изменились. Судно слушалось.

Я был на ногах почти двое суток и теперь, когда напряжение спало, присел на дерматиновый диванчик в штурманской и мгновенно уснул.

В шесть утра меня разбудил старпом. Я сразу вскочил.

— Руль перестал заклиниваться,— сказал он, радостно улыбаясь.

— А что с ним было?

— Неизвестно. Может быть, повернуть на курс? — посоветовал старпом.— Ветер немного утих, и волна стала меньше.

Действительно, волна заметно уменьшилась. Подумав, я приказал ложиться на истинный курс 108. Спустившись в каюту, взял лежавшую на столе телеграмму с вызовом спасательного буксира и спрятал ее в ящик стола. Сейчас она, написанная по-английски, лежит перед моими глазами. Сколько было переживаний и раздумий, пока я решил написать эту телеграмму, так и не переданную.

Отлегло от сердца. Идем вперед. Чувствую движение всем своим существом. То, что было недавно, вспоминается как дурной сон.

Однако ветер не утихает. Наоборот, снова стал набирать силу. Правда, ветер юго-западный, дует в корму с правого борта, значит, попутный. Стремительная качка не прекращается ни на один миг. Каждую минуту судно переваливается с борта на борт восемнадцать—двадцать раз. Около часа ночи я с книгой в руках лежал на койке. Задремал. В головах горел ночничок, освещая слабым светом каюту. Проснулся от легкого щекотания. Сначала не мог понять, в чем дело. Но потом увидел огромную крысу, сидевшую в ногах на деревянном ограждении койки. Она осторожно скусывала кожу на моей пятке. Я шевельнулся. Мерзкое животное мгновенно исчезло. Необыкновенный случай. Мне не приходилось даже слышать о подобном нахальстве. Крысы на судах не редкость, удивляться вроде нечему. Но обычно они живут где-то внизу, в скрытых от человеческого глаза местах... Питаются крысы съедобными грузами в трюмах и запасами провизии экипажа.

В этом рейсе мы везли несъедобный груз. А вся наша провизия хранилась в судовом холодильнике. Забраться туда они не могли. Видимо, оголодали и осмелели. В Америке придется уничтожать их синильным газом.

...Ночью радист Лукьянчиков неожиданно вручил телеграмму: «SOS. Широта 53—12, долгота 160—45. Окажите помощь, судно погружается в воду. Пароход «Тымлат» КМОР. Москаленко». И сразу же еще одну телеграмму: радистка «Тымлата» прощалась со своей дочкой.

Телеграммы потрясли меня. Марк Сергеевич Москаленко вышел на своем «Тымлате» через две недели после моего отплытия.

Только в Портленде мы узнали, что произошло в те дни у берегов Камчатки. 7 января «Тымлат» прошел Первый Курильский пролив. В Тихом океане на крупной волне от северо-востока судно стало испытывать сильные удары, появилась течь, а груз руды увеличивал стремительность качки. 9 января качка продолжалась. Трюм быстро заполнялся водой, и судно получило большой дифферент на нос. Около полуночи 11 января 1944 года шторм достиг силы урагана.

В четыре часа утра волной сорвало брезент и лючины с лазового люка. Сорвало брезент и вскрыло люк номер один. Это привело к полному затоплению трюма.

На аварийный сигнал откликнулись пароходы «Киев» (капитан Г. И. Макаров) и «Выборг» (капитан Б. Гришин). Кстати сказать, оба мои однокашники. Приступили к спасательным работам. Делались попытки буксировать «Тымлат», но буксиры лопались. Якорные клюзы тонувшего парохода были почти в воде, ступица винта оголилась. С подветренного борта спустили спасательный плот, на него сошли девять человек. Плот быстро отнесло от парохода. В это время капитан Москаленко дал «SOS».

Около восьми часов утра 12 января накатившейся волной вскрыло трюм номер два, судно потеряло плавучесть и быстро затонуло. В воду «Тымлат» ушел почти вертикально. На поверхность всплыли четыре человека, которых подобрал пароход «Киев», он же подобрал и девять человек, спасшихся на плоту. Остальные нашли себе могилу на дне океана. Утонул и капитан «Тымлата» Марк Сергеевич Москаленко. Погибли тридцать пять человек, спаслись тринадцать.

...Тихий океан продолжал бушевать. Временами ощущаем сильные удары волны. Вода из отливных отверстий вытекает ржавая, коричневая, с примесью руды. Ход не уменьшаем.

Удивляюсь я крепости нашего теплохода. Ленинградские судостроители построили лесовоз на славу. Если все испытания — авария и этот тяжелый переход — пришлись бы на долю американского судна типа «либерти», оно давно бы разломилось. А мы вот идем и поломанные и потрепанные, а все же движемся вперед.

11 января в полночь мне удалось определить свое место по луне. Оказалось, левее курса на тридцать восемь миль и на двадцать четыре мили позади. Конечно, луна слишком легкомысленна для астрономических дел. За малейший просчет можно поплатиться серьезной ошибкой. Но когда нет ни звезд, ни солнца, а место весьма предположительно, то и луна — астрономическое светило.

В шесть часов утра Петр Николаевич взял секстаном несколько звезд. Горизонт оказался хороший. По трем звездам место получилось отличное. Три линии пересекались почти в одной точке. Расхождение с лунным определением — пять-шесть миль. Тоже неплохо.

Жизнь на судне невеселая. Однако если радио приносило вести о победах над фашистами, все ходили с поднятыми головами и радостно делились друг с другом услышанным.

13 января и море и ветер поутихли, однако качка продолжается. Ветер дует то с севера, то с юга, то с востока. Начались туманы, видимость совсем плохая, всего сто — двести метров. Даем сигналы.

14 января большая неприятность: вышел из строя гироскопический компас, перешли на магнитный — древнейший мореходный прибор, по которому плавали еще наши предки, Колумб и Магеллан. Хорошо, что неполадки гирокомпаса удалось устранить.

15 января утром видимость опять ухудшилась до двухсот метров. Последнее астрономическое определение — в четыре часа утра. Еще одна неприятность: оказывается, у нас нет характеристик входных радиомаяков. Радиомаяки здесь сильные, и даже с помощью нашего устарелого пеленгатора мы могли бы за сутки до подхода «ухватиться» за берег и рассчитать свое место, хотя бы и не совсем точно. Увы, надежды на хотя бы приблизительное определение при входе в залив рухнули. Радист и штурманы пробуют пеленговать, пытаясь нащупать нужные нам входные радиомаяки, однако безрезультатно. Видимость по-прежнему из рук вон плохая. Идем самым малым ходом.

Уже сутки я не ухожу с мостика. Мое черное кожаное пальто набухло влагой и основательно тяжелит плечи. Может быть, вернее повернуть обратно и дождаться улучшения видимости? Из головы не выходит недавняя авария парохода «Узбекистан». В прошлом году он шел из Портленда в Сиэтл. У входа в пролив Хуан-де-Фука (на канадском берегу) пароход погиб на камнях.

Итак, мы медленно продвигались вперед при плохой видимости, останавли-

ваясь каждый час, измеряя глубины лотом Томсона. Идем, что называется, на ощупь... Вдруг справа из тумана нам навстречу вышло большое груженое судно. Американец. Он шел параллельным курсом — это укрепило мою уверенность.

Мы разошлись всего в сотне метров.

Не замечаю, как сменяются вахты, не замечаю, что не завтракал и не обедал. Буфетчица приносила горячий кофе на мостик, я пил, обжигаясь и не отводя глаз от моря.

— Константин Сергеевич, вроде бы обратно повернуть время,— деликатно посоветовал старпом,— берег совсем близко, вон водоросли плывут, трава какая-то...

— Еще немного, Петр Николаевич,— отозвался я.— Должен открыться берег.

Положение действительно тяжелое. Наступает темнота. Если бы не встречное судно на параллельном курсе, я, наверное, не выдержал бы и повернул в море. На мостике тихо. Несколько человек молча прислушиваются и приглядываются. Здесь и вахта и подвахта. Даже радист, обладающий острым слухом, пытается услышать туманный сигнал маяка. Слышно, как шлепают по воде лопасти полуоголенного винта, шумит разрезаемая форштевнем вода.

И вдруг меня ударило будто сильным током — слева увидел проблеск маячного огня. Он открылся на высоком берегу.

— Маяк, пеленг, быстро!

Старпом бросился к пеленгатору. Он тоже увидел огонь.

— Двести восемьдесят четыре,— сразу же раздался его голос.

Мгновение понадобилось, чтобы проложить пеленг на карте. Все правильно, мы входим в пролив Хуан-де-Фука. Открывался еще один маяк, теперь на правом берегу. Место хорошее, вошли в пролив удачно. Еще десять минут — и теплоход из тумана сразу же вошел будто в другой мир: справа и слева горят десятки огней. Над головой ясное небо, видны звезды. Ни тумана, ни облаков. И без пеленгов понятно, что мы находимся в безопасности.

Вскоре отдали якорь в Порт-Анджелесе, там, где предписывала лоция. Оставив на мостике старшего помощника, я спустился в каюту, без сил свалился в кресло и долго сидел, не замечая, как с намокшего пальто на ковер стекали ручейки.

Только что все силы были напряжены до предела. Я не замечал времени. Не будь этого творческого подъема, нельзя было бы продержаться такое длительное время на ногах без сна и отдыха.

Приходилось удивляться, с каким спокойствием мои товарищи по плаванию выполняли свои обязанности. Наши палубные ученики, впервые попавшие в морскую передрягу, выдержали экзамен отлично. Стояли без всяких скидок на вахте, выполняли любую работу под руководством боцмана Пономарева. А машинная команда! Ни одной поломки, ни одной остановки двигателя по ее вине.

Вскоре на борт прибыл санитарный врач. Через тридцать минут мы получили свободную практику и снялись с рейда Порт-Анджелеса в порт Такома для выгрузки остатков руды. Всю ночь шли под проводкой лоцмана. В десять утра наш теплоход стоял у причала, прибыли таможенники и портовые власти. Все прошло гладко, без всяких осложнений. Весь экипаж получил специальные карточки, которые будут официальными документами при пребывании на американском берегу. Началась выгрузка руды.

Наш теплоход должен был следовать после выгрузки в порт Портленд на реке Колумбия. Бар Колумбии опасен, фарватер на реке узкий и извилистый. Естественно, мы не могли идти в плавание с неисправным рулем.

Все мои опасения я высказал капитану, известному полярнику Александру Павловичу Бочеку. Он был здесь «старшим на рейде».

Я просил водолазный осмотр перед переходом в Портленд. Александр Павлович сразу согласился. Вместе с инженером Мартисовым, работавшим в Сиэтле в числе советских представителей, и Николаем Брызгиным, помощником Бочека, мы вернулись в Такому. Инженер Мартисов сразу направился в рулевую. Вклю-

чили электрический привод руля. Мартисов положил руль на борт вправо, потом влево. Руль работал.

— Я гарантирую благополучный переход в Портленд,— сказал Мартисов.— Ваше беспокойство необоснованно, капитан.

Я вспылил — слишком свежи были воспоминания о переходе:

— Я повторяю: покуда не буду знать причину заклинивания руля, из Такомы не уйду. Я и так достаточно рисковал.

— Водолазы дорого стоят.

— Теплоход и люди стоят дороже.

В конце концов я добился осмотра руля и всей подводной части. Брызгин отвез меня на своей машине в Такому. На теплоходе мы поужинали и разговорились.

Оказалось, что Николай Брызгин плавал старпомом на танкере «Майкоп» (капитаном был Анатолий Васильевич Левченко), потопленном японскими бомбардировщиками у берегов острова Минданао в конце декабря 1941 года.

— Одна из бомб попала в штурманскую рубку и радиорубку. Радист Женя Дианов был убит в своем кресле у телеграфного ключа. Меня ранило. Осколками ранило еще пять человек из команды.

— Как вы попали в Минданао? Ведь это Филиппины?

— Возвращались во Владивосток из порта Сурабая на Яве, и нас застала война. Японцы объявили войну Америке, Англии и Голландии.

— Но ведь с нами Япония не воевала.

— Мы тоже так думали: ведь у нас на корме поднят флаг Советского Союза и на трюмах мы разложили флаги, чтобы видно было летчикам. Однако ничего не помогло. Бомбили, и не один раз.

Сколько было таких случаев на Дальнем Востоке!

— Самое страшное,— сказал Николай Брызгин,— безнаказанность: ведь у нас никакого оружия. Анатолий Васильевич, наш капитан, делал все что мог: уклонялся от бомб, беспрерывно маневрировал, стопорил ход. Меня до сих пор трясет от злости, когда я вспоминаю японских летчиков, хладнокровно уничтожавших безоружных людей... Был бы у нас тогда хотя бы один пулемет.

— Танкер погиб?

— Погиб. Двадцать шестого декабря сорок первого года, я никогда не забуду этот день. Наш «Майкоп» разломился посередине и ушел под воду. На спасательной шлюпке экипаж добрался до берега.

— Как отнеслись к вам, потерпевшим кораблекрушение, местные власти? Ведь там были и американские войска?

— Грешить не буду, власти приняли нас радушно. Однако никто нас не мог отправить на родину — шла война. Но когда пришли завоеватели-японцы в мае сорок второго года, начались издевательства. Дело доходило до рукоприкладства. Даже капитану довелось почувствовать отношение самураев. Однажды солдат ударил его и пытался пригнуть голову: ему показалось, что он недостаточно почтителен перед офицером-лейтенантом. Кормили отвратительно, в пище часто попадалось битое стекло.

— Надо было сообщить нашим... советским послам.

— Пытались, хотели отправить телеграмму в Токио, но японцы запретили. Они устроили поголовный допрос всей команде. Всё пытались выудить хоть от кого-нибудь признание, что «Майкоп» потопили американцы. Устанавливали правила поведения и предупреждали, что за малейшее нарушение будут «бить в морду». Наши моряки вели себя достойно. Приказы капитана выполнялись беспрекословно, никто не подписал извращенных показаний на допросах, несмотря на всякие ухищрения японцев.

Поздно вечером я проводил Брызгина в Сиэтл. Когда вернулся, решил обойти теплоход. Мне показалось, что я нахожусь в заколдованном царстве. Все мои товарищи, кроме вахтенных, крепко спали. За много дней спали раздетые, под простынями. Из каждой каюты доносился богатырский храп.

Как надо устать моряку, чтобы он не сошел на берег в иностранном порту...

Водолазы обнаружили, что три бронзовых болта подпишника оторвались и концы их выходят между пером и рамой рудерпоста. Каждый из них при сотрясении мог вывести из строя руль. В этом и была причина заклинивания. Хорошо, что я проявил упорство, добиваясь осмотра руля.

Руду выгрузили тщательно, до последней лопаты.

Прибыли портовые власти оформить отход. Мы идем в Сиэтл для пополнения топливом. По готовности тронулись к выходу в море. В десять часов вечера 20 января лоцмана снял подошедший катер, и мы легли курсом на плавмаяк Колумбия. Шли без малого сутки. Погода прекрасная, плавание, как мы говорили, «курортное».

...Плавучий маяк хорошо виден. К нам приближается лоцманский бот, белый, с развевающимся звездным флагом. Наш теплоход ложится в дрейф, и по штормтрапу поднимается худощавый жизнерадостный человек в форме морского офицера. Это лоцман.

Первые слова после обычных официальных вопросов:

— Вы слышали, капитан, что ваша армия добилась новых побед на фронте и немцам снова здорово всыпали?

Лоцман протягивает мне пачку свежих газет и журналов — такова традиция — и, отправившись в рулевую рубку, неожиданно командует по-русски:

— Полный ход, право на борт!

Наш теплоход далеко не первое судно, которое проводит этот лоцман. И он успел хорошо усвоить некоторые командные слова на русском языке.

Судно вошло в устье большой американской реки. Когда оно проходило бар, лоцман сказал мне, указывая на низкие берега с бесчисленными отмелями:

— Здесь нашли себе гибель в разное время семьдесят судов, их занесло песками. Недавно погиб и советский пароход «Вячеслав Воровский».

Об этой аварии я был наслышан еще во Владивостоке. Ее разбирали в Моринспекции совместно с капитанами стоявших в порту судов. Помню, что авария казалась мне очень странной. Большой пароход «Вячеслав Воровский» выходил с грузом из реки в море. В порту Астория приняли на борт морского лоцмана, который и повел пароход к выходу. Американец уверил капитана, что погода благоприятствует проходу. Когда судно прошло десятый буй и все опасности остались позади, лоцман решил повернуть обратно, и сделал это самовольно, без согласования с капитаном. «Лучше возвратиться на рейд порта Астория,— сказал он.— Погода!» Полагаясь на опыт лоцмана, капитан не протестовал. Да и поздно было возражать, судно ложилось на обратный курс. Получилось, что «Вячеслав Воровский» свернул с безопасного пути в узкость. Ночью на приливном течении ветром и зыбью судно выкинуло на банку, и через несколько часов пароход разломился на три части.

Был ли добросовестным человеком этот американец? Меня авария «Вячеслава Воровского» насторожила, и я постарался как следует изучить предстоящий путь.

Все чаще встречались рыбацкие лодки — парусные и моторные, выкрашенные в разные цвета. С лодок нас приветствовали люди, махая шапками.

Лоцман предупредил:

— Сейчас подойдем к карантинной станции. На борт должен подняться доктор. Старику пошел седьмой десяток. Спустите, пожалуйста, парадный трап — доктору чертовски трудно взбираться по штормтрапу.

Седой бодрый старичок — карантинный врач — быстро закончил оформление необходимых документов, радушно попрощался с нами и покинул борт.

Еще несколько часов пути по извилистой большой реке с живописными берегами. На карте я увидел: один из притоков назван Русским. И здесь побывали русские в давние времена.

После крутого поворота сразу открывается порт. Минуем знаменитые верфи, где в рекордно короткий срок строят огромные океанские суда. На берегу разбросаны громадные цистерны компании «Стандард ойл». Бросаются в глаза яркие американские рекламы. У причалов множество судов. И среди них немало

с флагом Советского Союза. На фок-мачтах этих судов по международному обычаю поднят в знак дружбы американский флаг. Люди на берегу и на пароходах, мимо которых мы проходим, оживленно приветствуют советский теплоход, благополучно пришедший в порт. Эти приветствия не случайны. Соединенные Штаты — морская держава. Значение торгового флота там огромно. Американцы знают трудности морской службы. И с уважением относятся к морякам.

Наш теплоход швартуется. И вот мы снова ощущаем под ногами твердую землю, на этот раз штата Орегон.

С БЛАГОПОЛУЧНЫМ ПРИБЫТИЕМ!

Еще не спустили трапы на причал, а с соседних судов уже раздаются возбужденные возгласы на русском языке:

— Поздравляем, ребята, с благополучным прибытием! Передайте привет стармеху. Как там Сережа Лукьянчиков поживает? Пусть ждет меня в гости!

Оказывается, наше судно встало у причала между двумя советскими пароходами. На корму судна, стоявшего рядом с нами, высыпали моряки. Они выкликали имена знакомых, и последние немедленно поднимались на палубу, чтобы обменяться приветствиями и новостями с друзьями. Ведь приятели-моряки, работающие на разных торговых судах, редко встречаются в порту, кидает их жизнь морская в разные стороны, в самые отдаленные уголки земного шара. И если уж доведется встретиться где-нибудь за океаном, то для них это немалое событие.

По трапу поднялись представители портовых властей. Впереди таможенный чиновник. Он облачен в синюю форму, напоминающую нашу военно-морскую. Низенький, улыбающийся и довольно толстый американец, сняв круглую соломенную шляпу и обтерев лысую голову платком, начал приветственный спич с многочисленными и выразительными «о'кей».

Со всеми необходимыми формальностями покончили в какие-нибудь двадцать — тридцать минут, и американцы отправились осматривать советский теплоход. Обычное удивление вызвало наличие в команде женщин — третьего помощника капитана, медика, повара, пекаря, буфетчицы, уборщицы. Расторопной и милой нашей буфетчице Варваре Андреевне, радушно принявшей гостей, американцы наговорили кучу комплиментов и все же недоверчиво допытывали нас:

— Женщины на судне? Их не укачивает? Работают хорошо? И несчастий не бывает? — Десятки вопросов, на взгляд советских людей иногда весьма странных, следовали один за другим. По старинному поверью моряков, всякая женщина, попав на торговое или военное судно, приносила ему несчастье в море...

После нескольких десятков суток пути, после штормов, невзгод сойти на берег — это то, чего с нетерпеньем ждет каждый моряк. Порт Такома, где мы стояли буквально несколько часов, в счет не шел. А сейчас в каютах моряки с особой тщательностью выбривают щеки и подбородки, мотористы беспощадно трут руки жесткой щеткой, стараясь отчистить их от машинной смазки, из рундуков вынимаются выглаженные и вычищенные костюмы — везде «готовятся к берегу».

Моряки группами спускаются по трапу. Их сразу окружают американские портовые рабочие. Начинаются дружеские похлопывания по плечу, вопросы, вопросы.

...Ошеломляющее впечатление оставляет у непривычного человека картина порта. Здесь все — в неустанном движении, стук паровых лебедок смешивается с гудками буксиров и с криками грузчиков. Под этот многоголосый аккомпанемент тысячи громадных ящиков, тюков, железных труб мелькают в воздухе, покачиваясь на крепких стропах, чтобы через минуту исчезнуть в черных проемах трюмов. Словно огромные руки, шевелятся стрелы на торговых судах. Бесконечной цепью тянутся вдоль берегов реки ряды кораблей. Черные отражения мачт колышутся на водной глади. На причалах тесно от множества платформ и авто-

мобилей с грузами. Тут же лепятся один к другому склады. И в этом на первый взгляд случайном нагромождении безостановочно снуют юркие электрокары и маневренные паровозы. Последние нещадно звенят на ходу сигнальными колоколами, ибо в Америке у паровозов, кроме гудков, колокола, которыми и пользуются обычно машинисты.

Неразбериха в порту только кажущаяся. Присмотритесь — и вы увидите во всем строгий порядок. Здесь нельзя, например, найти кучу железного лома или пустую платформу, без толку стоящую на путях. Движение, равномерное и сильное, как дыхание здорового человека, не прекращается ни на минуту ни днем ни ночью. Когда солнце спускается за рекой, порт заливается светом мощных прожекторов, и работа продолжается полным ходом.

Сюда, в Портленд — далеко не самый крупный порт в США,— стекались грузы с разных концов страны. Пестрят красные, черные, зеленые названия отправных пунктов. Нередко встречаешь знакомые адреса: «Сталинград-49», «Москва», «Киев».

...Вечереет. Лучи солнца скользят по реке, и она из желтовато-мутной днем становится розовой. На фоне угасающего дня многочисленные мосты, смело переброшенные через реку, кажутся черными и тонкими, точно нарисованные углем. Посередине реки тащится маленький колесный буксир. У него не два лопастных колеса, как у наших волжских пароходов, а всего одно широкое колесо и расположено на корме.

Медленно движется огромный океанский корабль. Он приближается к мосту. Кажется, мгновение — и мачта парохода заденет мост. Но середина моста вдруг поднимается, как поднимались в старину мосты рыцарских замков, и пароход благополучно продолжает свой путь.

Невольно наше внимание привлекают звуки бодрого военного марша. Мы видим: толпа людей стоит на причале у борта новенького, видно только сошедшего со стапелей верфи, корабля. Он причудливо раскрашен в белый, зеленый, черный цвета — камуфлирован. По трапу на судно взбираются десятки людей — старики в черных костюмах и котелках, с галстуками бабочкой, девушки в нарядных платьях, дряхлеющие женщины, дети...

— Что тут происходит? — обратились мы с вопросом к одному американцу.

— Корабль идет в свой первый рейс к театру военных действий. Вот старики пришли посмотреть. На нем придется плавать и воевать их мальчикам.

Док, в котором встало наше судно для ремонта, оказался деревянным. Конструкция его до удивления примитивна: огромных размеров затопленный деревянный ящик с толстенным двойным днищем. Когда судно входило в док, вода из ящика откачивалась, он всплывал, и корабль оказывался прочно стоящим на кильблоках, укрепленных на дне. Несмотря на простоту своего устройства, док мог принимать суда довольно внушительных размеров — в соседнем «ящике» стоял в ремонте авианосец.

Минул какой-нибудь час, и теплоход крепко встал на кильблоках в осушенном доке, совсем как на операционном столе. Еще несколько часов — и борта оделись лесами. В воздухе неумолчный стук пневматических молотков и треск электросварочных аппаратов.

На следующий день мы с инженером-американцем спустились в док осматривать днище. Печальное зрелище: наполовину оторванные и завернутые в разные стороны, наваренные сверху железные листы. Практически ремонта, сделанного в Совгавани, как не бывало. Днище оказалось в таком же дырявом состоянии, как после аварии.

Американец прошел вдоль всего днища, осмотрел пробоины, потрогал для чего-то торчавшие заусеницы. Потом удивленно уставился на меня.

— Картина для вас ясна, мистер? — спросил я.

— Картина ясна. Одного не могу понять: как вы дотянули из Владивостока до Америки и привезли еще какой-то груз? Вы должны были утонуть в Беринговом море... Скажите, какова была погода в Тихом? В январе он не любит шутить с моряками.

— Ветер ураганной силы и зыбь девять баллов.

— Такое может случаться только с большевиками, да и то один раз в сто лет. Странно, как выдержал корпус.

— Ленинградцы строят крепкие суда.

— Я вас вдвойне поздравляю с прибытием в США. Считаю, что вы родились во второй раз... Пятьдесят листов, а то и больше на днище надо сменить и флорных столько же. Ну, теперь пойдем поговорим о ремонте.

Начались жаркие дни. Американцы не тянули с ремонтом. Главным лицом на нашем теплоходе по палубной части, отвечающим за все дела, оказался мастер. Он пришел с небольшой записной книжкой. Никаких ремонтных ведомостей. Не только ведомостей, но даже портфеля у него не было. Я помню, нас несколько смутило это обстоятельство. Ремонтные ведомости мы готовили долго и мучительно. И не только мы, но и пароходство и министерство. Составляли их до предела точно — все размеры и материал. А сколько трудились, когда переводили на английский язык. Однако мастер пренебрег нашими прекрасно оформленными документами. Он обошел судно вместе со старшим помощником и сделал отметки в своей книжице. Одновременно ставил свои отметки и на всем, что подлежало ремонту, разноцветными мелками. Примерно так же обстояли дела и в машине у стармеха Виктора Ивановича Копанева.

Утром на палубе нашего теплохода появились рабочие с жестяными саквояжиками в руках — в них они принесли завтрак — и быстро разошлись по своим местам.

На судне параллельно велось несколько работ, и все с таким расчетом, чтобы закончились они в одно время и затяжка не сказалась на сроках ремонта всего корабля.

Хочется отметить, что большинство американских рабочих из тех, кого я встречал, относились к своему труду добросовестно и работали с американской деловитостью. Они очень близко принимали к сердцу события, развертывавшиеся на мировых фронтах, и с особым вниманием относились к нам, советским морякам.

Когда прошли годы, я стал думать, что каждый суровый рейс помогает делаться капитаном. Этот был тоже хорошей выучкой. После я никогда не шел на уступки, если считал необходимым для благополучного плавания добиться того, в чем был убежден.

Конечно, на все случаи морской практики трудно сразу набраться ума, однако принятое мной правило дало свои результаты: аварий с судами, которыми я командовал, не было...

Море волнует и манит миллионы людей, море воспитывает сильных и бесстрашных. Старинная мудрость говорит: море не может научить плохому. Оно поглотило немало надежд, но оно само — надежда. Даже когда океан гневается, он дает возможность человеку испытать свои силы.

В десять часов утра на борт пришли американские инженеры. Они сообщили, что наш теплоход одновременно с ремонтом будет переоборудоваться под перевозку восемнадцати больших паровозов вместе с тендерами.

— Как вы полагаете,— спросили меня,— будет ли это возможно? Нам известно, что война уничтожила часть ваших паровозов и сейчас они особенно необходимы.

— Надо подумать, дайте ваши расчеты.

— Конечно.— Один из американцев вынул из портфеля кипу бумаг и передал мне.— Мы думаем основательно расширить люки номер два и четыре,— добавил он, пока я бегло просматривал чертежи и расчеты.— Вам здесь на неделю работы, капитан, чтобы только разобраться что к чему.

Разговор продолжался три часа, и я понял, что все расчеты в основном сделаны. Конечно, я понимал значение паровозов для моей страны, разоренной фашистами. Война продолжалась, наша армия неудержимо идет вперед — сколько грузов каждый день надо отправить вслед за движущимся людским потоком!

Наш теплоход подходит для перевозки паровозов. Всю ночь мы вместе со старшим помощником Василевским разбирались в чертежах и расчетах, остав-

ленных американцами. Они оказались благоразумными людьми и все предусмотрели.

Будто не так уж сложно погрузить на большегрузное судно 18 паровозов и тендеров, ведь они весили всего 1800 тонн. Однако разместить их оказалось не простым делом. Эту задачу американцы решили неплохо, и корпус теплохода, как нам показалось с Петром Николаевичем, должен быть крепче прежнего. Кроме того, нашему судну предстояло не только залечить свои раны, но и качественно переродиться. После ремонта и переоборудования его специальность будет не только лесовоз, но и паровозовоз.

Американцы в содружестве с советским инженером В. И. Негановым несомненно вложили немало труда в проект переделки нашего теплохода и других однотипных судов под перевозку тепловозов. Однако первым, кто проделал подобную работу, был академик Алексей Николаевич Крылов. В 1922 году он был уполномочен правительством советской России приобрести и приспособить под перевозку тысячи паровозов несколько пароходов. Я не буду рассказывать всю историю. Самое главное заключалось в том, что он отлично справился с порученным делом. Паровозы весом 73 тонны каждый (в собранном виде) перевозились по указанию А. Н. Крылова в трюмах и на палубах. На пароходы «Маскинож» и «Медипренж» грузили по 20 паровозов и тендеров.

Разница с американским проектом заключалась в том, что суда академика Крылова значительно больше наших и приспособлялись только под паровозы. Весили паровозы на 20 тонн меньше, а суда использовались примерно на одну треть своей грузовместимости, наш же — на четыре пятых, что в военное время играло немалую роль. Район перевозок 1922 года, по сути дела, ограничивался портами Балтики. Вообще задача, поставленная перед Крыловым, была менее сложной, однако предложенное им расположение паровозов и тендеров в трюме и на палубе, прокладка рельсов в трюмах и подвижные поперечные платформы — все это принципиально мало чем отличалось от схемы, разработанной американцами.

В связи с предстоящими перевозками мне вспомнилась встреча с академиком Крыловым, пионером в этом трудном деле, сделавшим первые расчеты. В 1940 году, будучи в Ленинграде, я зашел к нему домой. Остался в памяти Алексей Николаевич — высокий седой приветливый старик. Мы вспомнили с ним Арктику. Алексей Николаевич отозвался с большой похвалой о достоинствах корпуса ледокольного парохода «Георгий Седов». «А вот «Челюскин» совсем другого сорта,— сказал он.— Когда Отто Юльевич Шмидт принес его чертежи, мне достаточно было десяти минут, чтобы сделать вывод. Корпус слабый. Корабль будет раздавлен при первом же сильном сжатии льда. Так я и сказал ему. Но, как видно, было уже поздно, и «Челюскин» пошел в свой рейс».

В АМЕРИКАНСКОМ ГОРОДЕ

Едва только несколько советских моряков вышли из порта, первая же проходившая мимо машина вдруг круто остановилась. Сидевший за рулем американец высунулся из окна и, вежливо приподняв шляпу, спросил с улыбкой:

— Русские моряки? Я увидел красные флажки на ваших фуражках.

Получив утвердительный ответ, он решительно объявил:

— Я вас довезу до города в моей машине, располагайтесь. Не каждому посчастливится поговорить с настоящим русским, приехавшим прямехонько из России,— заключил, смеясь, американец.

Но машина не могла всех вместить. И когда несколько минут спустя к остановке, расположенной неподалеку, подкатил длинный ярко-желтый автобус, оставшиеся моряки немедленно влезли в него.

Мчимся к городу. Впереди широкая черная лента гудрона, разделенная белой полосой. Мелькают домики, огороды, огромные рекламы, газовые колонки. На обочине шоссе — плакаты, они взывают к совести водителя: «Экономьте горючее!», «Не забывайте беречь покрышки ваших автомобилей!»

Автобус проносится по улицам пригорода. Одноэтажные и двухэтажные кот-

теджи стандартного типа утопают в вечнозеленой листве деревьев. Здесь живут почти все обитатели города: в самом городе преимущественно оффисы — конторы,— учреждения, магазины, зрелищные заведения. Это четырех-пятиэтажные здания доброй старой постройки, не один десяток лет верой и правдой прослужившие своим владельцам. Небоскребов, даже «карманных», не видно.

Улицы города, особенно в деловой его части, не блистают чистотой, многие американцы имеют скверную привычку бросать окурки, апельсиновые корки и разные бумажки прямо себе под ноги. К тому же центральные авеню и стрит довольно узки. Еще уже становятся они оттого, что у тротуаров нескончаемыми вереницами стоят автомобили. Продолжительная уличная пробка в часы пик — обычное явление даже в этом далеко не перворазрядном городе.

На окнах многих домов приклеены небольшие листики. В красном ободке на белом фоне нарисовано несколько черных пятиконечных звездочек: две, порой одна, иногда три-четыре. Мы заинтересовались, что значат эти звездочки. Прохожий словоохотливо объяснил:

— Американские семьи числом звездочек, приклеенных к стеклу или вывешенных в окнах, дают знать, сколько членов семьи находится в армии или флоте и защищает отечество. В этом гордость каждой американской семьи.

Война наложила свою печать на облик города. За последние два года сюда приехали из разных концов страны многие американцы, чтобы поступить на работу на верфях и других предприятиях, занятых производством военных материалов. На улицах стало более людно: многие из тех десятков тысяч людей, которые разъезжают по Америке в поисках более выгодной работы, нашли ее, быть может, здесь, в этих местах. И над городом, раскинувшимся на окраине Америки, пронесся вихрь военного бума. Каждый хочет использовать нынешнее время, когда нет безработицы, а заработная плата возросла, чтобы накопить немного денег на черный день.

Как-то встретился с одним пожилым американцем. Много лет он был безработным. Теперь он мойщик оконных стекол. Каждый день, несмотря на свой преклонный возраст и скверное здоровье, встает в четыре часа утра и работает до шести вечера.

— Теперь такое время,— говорит он,— когда в день могу заработать в несколько раз больше, чем раньше. Кто знает, когда мне еще раз представится такая возможность. Я уже накопил немного денег.

...Вечером улицы города заполняются фланирующей толпой: люди отдыхают после рабочего дня. Зажигаются рекламы магазинов, кино, отелей. По-прежнему, как и в былые, довоенные дни, красочная, сверкающая огнями реклама убеждает курить «только сигареты «честерфильд» или пить «лучший, утоляющий жажду напиток кока-кола». Появились и рекламы военного времени. Они просят американцев «покупать облигации военного займа».

Поздно вечером возвращаюсь на теплоход. Ложусь спать. Мысли далеко, там, где оставил родных и близких, на родине, охваченной огнем войны.

Утром мне нанес визит Менли С. Гаррис, президент и владелец моторной корпорации в Сан-Франциско, высокий пожилой мужчина с седыми коротко остриженными волосами. За завтраком он спросил меня:

— Сколько штормовых дней приходится на переход из Портленда во Владивосток?

— Трудно сказать. На пути сюда мы не встретили ни одного спокойного дня. Но это было зимой, в июле может быть совсем по-иному.

— Я буду крепить паровозы на вашем теплоходе и хочу знать условия, в которых они поплывут к вам на родину.

— Как будете крепить?

— Обыкновенно, тросами.

В моем воображении возник Великий океан во время последнего перехода.

— Думаю, это будет сложно, очень сложно. Даже невозможно,— заключил я.

Менли Гаррис рассмеялся:

— Успокойтесь, капитан, это шутка, крепление будет жестким. Я придумал оригинальный способ. Я закреплю паровозы так, что в шторм при крене в тридцать и даже тридцать пять градусов они не шелохнутся. Вот посмотрите...

Менли Гаррис вынул из портфеля несколько чертежей на голубой бумаге и показал мне.

— Нажим или удар в миллион четыреста тысяч фунтов с каждой стороны паровоза мои крепления выдержат. Их девять. Для палубных креплений поставлю кованые скобы.

Американец замолк, заметив, что я рассматриваю чертежи. Я прикидывал и так и сяк, вроде все продумано основательно.

— Как будто бы все хорошо, мистер Гаррис, однако я еще поразмыслю над вашими расчетами.

Предложить какое-либо иное решение мы не могли, однако проверить надо. Придумывали люди сухопутные, а повезем паровозы мы, моряки, и от нашего внимания зависит и благополучная доставка груза и наша жизнь. Если крепления хотя бы одного паровоза сдадут и он станет «играть» в штормовую погоду, вряд ли удастся спасти судно от гибели.

Менли Гаррис внимательно следил за мной и, вероятно, догадывался, о чем я думаю.

— Я понимаю. Конечно, надо вникать в каждую мелочь. Мы останемся на берегу и будем спокойно спать на мягких постелях, а вы повезете через океан паровозы.

— У нас есть хорошее правило в Советской стране,— сказал я.— Сложные вопросы мы обсуждаем на совещаниях вместе со всем экипажем. И сейчас пусть подумают и матросы и механики. Одна голова хорошо, а две лучше.

Менли Гаррис кивал головой.

— Превосходно, капитан, подумайте над этим... Но обратите внимание на эту вот шайбу,— он показал на чертеже,— эта полусферическая шайба обеспечит некоторую свободу при жестком креплении. При вибрациях корпуса, ударах волны, при большом крене возникающие нагрузки более равномерно распределятся в узлах крепления.

Нужно сказать, что шайба сыграла свою роль. Конечно, она не была панацеей — палубной команде приходилось прикладывать много труда, наблюдая за креплениями в море. Однако в первом рейсе и последующих повреждений растяжек и узлов крепления не было.

Время шло. Раздался звонок, буфетчица призывала к обеду.

В кают-компании у нас обедал кто-то из механиков парохода «Перекоп». Во Владивостоке я краем уха слышал о «перекопской» трагедии. Сейчас узнал подробности. Услышанное потрясло меня. На торговое безоружное судно в Южно-Китайском море напали японские самолеты. Несмотря на поднятые советские флаги, японцы дважды бомбили судно. Даже когда пароход тонул, бомбежка не прекратилась. Несколько моряков были убиты, некоторые тяжело ранены. Но на этом японские злодеяния не кончились. Когда моряки с гибнущего парохода спасались на плотах и шлюпках, а некоторые в спасательных нагрудниках, японские летчики продолжали в воде уничтожать людей из пулеметов. Оставшиеся в живых высадились на маленький островок недалеко от Борнео. Среди моряков находились тяжелораненые. С тонущего парохода удалось захватить с собой полторы сотни банок мясных консервов и две банки галет.

Я не буду описывать все лишения и тяготы, выпавшие на долю экипажа парохода «Перекоп» на этом острове. Моряки превратились в робинзонов. Даже одежду себе шили из мешковины.

Еще хуже повернулись дела после того, как японцы захватили остров. Начались издевательства, избиения, допросы. Убедившись, что моряки, спасшиеся с «Перекопа», русские, японцы развязали им руки, но оставили под стражей. Допросы с пристрастием велись до самого последнего дня. Так прошел год, еще полгода. Японцы добивались от советских моряков показаний, что «Перекоп» потоплен американскими летчиками.

Только в ноябре 1943 года, через год, перекопцы вернулись в родной порт Владивосток. Исключительное мужество моряков, самообладание капитана «Перекопа» Африкана Александровича Демидова сделало возможным возвращение экипажа «Перекопа» на родину.

В один из февральских дней 1944 года мне довелось разговаривать с Леонидом Алексеевичем Разиным, представляющим советскую закупочную комиссию на западном берегу США. Разин мне рассказал, что в Лос-Анджелесе достраивается ледокол «Северный ветер» из серии типа «уинд». По просьбе нашего правительства он передается Советскому Союзу в порядке ленд-лиза. Имеющихся ледоколов было явно недостаточно. Тем более предстояли большие перевозки из США через Берингов пролив.

Леонид Алексеевич показал мне чертежи нового ледокола. Я был очень заинтересован. Основные данные ледокола: длина 76 метров, ширина 19 метров и осадка около 8 метров; водоизмещение его 5400 тонн; общая мощность двигателей 10 тысяч сил и скорость при чистой воде 16 миль.

Прежде всего я обратил внимание на то, что подобные двигатель и дизель-электрическая установка впервые употребляются на ледоколах. Бросилось в глаза и небольшое водоизмещение. При одинаковой мощности с «Красиным», например, он был в два раза меньше. Я подумал, что меньшая масса ледокола не даст развить ему нужную инерцию для преодоления льдов... Однако дизель давал возможность запастись топливом на длительное время. Отпадали изнурительные угольные бункеровки. Такой ледокол может давать полную мощность все время, работая во льдах без героических усилий кочегарского племени.

Корпус ледокола цельносварный и, судя по чертежу, достаточно прочный. И еще очень интересная деталь: у ледокола два кормовых и один носовой гребных винта. Причем носовой винт вместе с гребным валом можно снимать в доке, когда необходимо работать ударами с разбега в тяжелых льдах. Например, в Чукотском море.

Плохо придется с механиками, подумал я. Все наши механики-ледокольщики были паровиками и с дизелями, как правило, незнакомы. А здесь не только дизель, но и электрическая установка, требующая серьезных знаний.

На вопрос Леонида Алексеевича, что я думаю о новом ледоколе, помню, я сказал:

— Много хороших качеств и один большой недостаток. В тяжелых торосных льдах он будет работать плохо, хуже, чем наши ледоколы. А вот в беломорских льдах ему не будет цены.

Вскоре я узнал, что капитан Юрий Константинович Хлебников пришел в США на своем ледоколе «А. Микоян» ремонтироваться и получил назначение на новый ледокол «Северный ветер».

Американцы дают нам по готовности еще два таких ледокола — «Северный полюс» и «Адмирал Нахимов».

В КЛУБЕ МОРЯКОВ

Недели через две после нашего прихода в Портленд офицеры конвойной службы США пригласили меня в свой клуб. Клуб как клуб: кофе, пиво и, конечно, кока-кола. А вот то, что говорилось в тот вечер, надолго осталось в памяти.

Дело было так. Обсуждались достоинства военно-морского флота США.

— У нас традиции английского флота, самого древнего и лучшего из всех флотов,— сказал американец, капитан второго ранга, самый старший из собравшихся,— мы многое взяли от него. О-о, пример отличный. А вот у вас, русских, дело обстоит иначе. Вашему флоту всего чуть больше двухсот лет. Как известно, его основал Петр Великий. А до него Россия была сухопутной державой. Конечно,— заметил он, видя, что я собираюсь возражать,— русский флот совершил много подвигов и породил отличных моряков, но традиции? Ваш император учился у голландцев, немцев, англичан... Традиции складываются веками. Вы,

наверное, знаете старый анекдот, который англичане любят рассказывать, желая подчеркнуть свое превосходство перед нами, американцами. Какой-то чикагский миллионер, приехавший в Англию, спросил у садовника, как выращиваются такие превосходные газоны. Наверное, это трудно? «Ничего нет проще,—ответил садовник.— Надо посеять траву и регулярно подстригать ее четыреста лет. И у вас будет такой же лужок». Вот так-то, друзья! — победно резюмировал мой собеседник.

Готового ответа у меня в ту пору не было. Не может быть, думалось мне, чтобы у русского государства мореплавание появилось только со времени Петра Первого. Я стал вспоминать походы по Черному морю в Константинополь. Обратился к истории нашего флота на Севере, не менее древней и богатой событиями... Известный историк А. Висковатов писал о плаваниях русских: «Вообще наши предки в XI—XII столетиях заходили на север далее, нежели все другие народы Европы, не исключая и самих норманнов».

Вот, оказывается, как обстоит дело! На Севере русские положили начало новому виду мореплавания — ледовому — и, освоив его в высокой степени, сумели исследовать не только весь европейский Север с островами, расположенными в Северном Ледовитом океане, но и значительную часть побережья Сибири.

Выходит, что у советских моряков есть свои давние традиции на флоте.

Как-то меня пригласили присутствовать на торжественном спуске со стапелей только что построенного океанского судна типа «либерти». Спуск нового корабля в Америке всегда шумный праздник. И на этот раз на торжество собрались представители дирекции, городские власти, множество приглашенных. Судно стояло на стапелях стройно, блистая свежими красками. Чистая палуба, множество труб в машинном отделении окрашены в различные цвета — каждый агрегат имеет свой цвет. Удивляешься, что такой большой корабль построен всего в какой-нибудь месяц. До войны на это тратилось по крайней мере год!

У судна была уже своя «дама» — обычай, издавна существующий в Америке. «Дама» является, как правило, женой директора фирмы, инженера, мастера или рабочего. Ей вручают большой букет и выдают документы: леди такая-то действительно «дама» такого-то судна.

Наступает торжественный момент. Перед кораблем длинная цветная лента; когда он двинется по натертому жиром помосту, лента разорвется, и перед судном впервые откроются лазурные дали морей и океанов...

Председательствующий на торжестве дал сигнал, судно заскользило по деревянным доскам, «дама» разбила о борт бутылку шампанского.

Наш ремонт был закончен 30 апреля. Последние приготовления к спуску теплохода. По сигналу докмейстера в цистерны пущена вода, и деревянный док стал медленно погружаться в воду. Еще мгновение — и наше судно на плаву.

В двадцатый раз проверены все механизмы, внимательный глаз старшего механика осмотрел каждый винтик в машине.

Нас очень беспокоил вопрос остойчивости судна во время плавания, ибо, как говорилось, на палубе будет поставлено 10 паровозов с тендерами, а каждый из них — более 100 тонн груза. Чтобы в этих условиях корабль сохранил остойчивость на океанских волнах, в трюмы, помимо паровозов, будет дополнительно взят груз, желательно самый тяжелый.

После дока предстояло закончить ремонт и переоборудование у причала. Там мы простояли еще месяц. На борт принималось разнообразное снабжение, необходимое во время плавания. Все, что принимали, внимательно осматривали.

То, что у нас в США есть враги, мы, конечно, знали, да и доказательства тому получали не раз. Расскажу про спасательные нагрудники. У наших представителей спасательные нагрудники не вызывали сомнений, и они поступили на судно. Мы решили все же их проверить, не надеясь на внешний вид: ведь могло так случиться, что жизнь наша будет зависеть от них.

Правила международной конвенции об охране человеческой жизни на море говорят, что спасательный нагрудник должен в течение двадцати четырех часов

держаться на плаву в пресной воде с грузом 7,5 килограмма железа. Мы взяли на проверку один и проделали с ним опыт в пресной воде, как того требуют правила. Нагрудник затонул через несколько минут. Тогда мы оставили в воде другой без всякого груза — он пропитался водой и затонул через сорок семь минут. В свой «опытный» бассейн бросили третий. Этот продержался чуть больше — час три минуты без всякого груза — и затонул. Вот тебе и спасательные средства! По нашему настоянию нагрудники немедленно заменили новыми, из цельной пробки, полностью отвечающими всем требованиям международных правил. Как произошло такое прискорбное событие, мы не знаем. Но, вероятно, американцы причину нашли. Мы же удвоили бдительность.

В голову приходили разные мысли. Особенно часто задумывался о воде. Допустим, нас торпедируют, судно тонет, мы успели спустить спасательную шлюпку. Нас сорок пять человек. Запас пресной воды быстро иссякнет. А дальше что? Сколько мучений испытывают моряки без воды. Пить морскую воду русская практика запрещала с давних времен. Об этом капитаны предупреждали своих людей. Мы знали много случаев, когда употреблявшие морскую воду быстро умирали или сходили с ума. А умалишенные представляли для окружающих дополнительную опасность.

В Архангельске среди стариков поморов мне приходилось слышать, что для спасения жизни надо пить рыбий сок. Причем имелся в виду сок трески, то есть обезжиренный. Кроме того, треска дает относительно много жидкости. Но достать рыбу из воды тоже не так просто. Дело требует умения и сноровки. Вспомним знаменитый дрейф четырех советских солдат в Тихом океане. Они страдали от жажды и голода, ели кожаные голенища сапог, а воспользоваться богатствами океана не могли.

Теперь мы знаем, что пить морскую воду недопустимо. Но во время второй мировой войны единого мнения на этот счет не было. Только в начале 60-х годов после большой исследовательской работы всемирная организация здравоохранения заявила о разрушительном действии морской воды на человеческий организм.

По данным научных исследований, излишек солей в организме немедленно выводится через почки. Если выпить сто граммов океанской воды, содержащей три грамма соли, то для удаления этих лишних граммов из организма потребуется сто пятьдесят граммов воды, то есть пятьдесят граммов воды организм должен выделить из своих запасов. При употреблении соленой воды в большом количестве почки не справляются с работой, и в крови быстро увеличивается содержание соли. А нервная система весьма чувствительна к действию солей.

Где же выход? Некоторые фирмы за рубежом, изготовляющие спасательное снаряжение, еще во время второй мировой войны предлагали специальные испарители, приспособленные к теплым морям. В последнее время в ходу химический способ опреснения: особые опреснительные брикеты есть в аварийном запасе моряков во всем мире. Я только всегда заботился, чтобы в неприкосновенном запасе шлюпок находились рыболовные крючки и лески. По-моему, такой запас в какой-то мере гарантирует жизнь людей.

Все это так. И все же никому не пожелаю оказаться в спасательной шлюпке в штормовом холодном море.

В эту стоянку в Портленде произошел из ряда вон выходящий случай. У одного из причалов ремонтировался большой товаро-пассажирский пароход «Ильич», принадлежавший Советскому Союзу. Я не помню сейчас всех обстоятельств, при которых он затонул, однако хорошо помню, что авария произошла по вине заводских рабочих. Несколько иллюминаторов на нижней палубе оказались открытыми, судно получило крен, внутрь проникла вода, и судно затонуло. Авария произошла ночью. Около ста советских моряков перешли в гостиницу.

Мы были уверены, что авария произошла не без помощи вражеской руки. Американское правительство признало вину и обещало предоставить новое судно. Инцидент, как говорят, был исчерпан. Однако власти отказались произвести водолазный осмотр судна и отказали в этом нашим представителям.

...Но вот трюмы и палубы полностью нагружены. Началось самое сложное — крепление паровозов. Эти дни Менли Гаррис не уходил с нашего теплохода. Он следил за приваркой каждого рычага, проверял все штанги и гайки.

— В порт Владивосток придете благополучно, капитан,— не уставал он повторять,— паровозы будут стоять мертво. Когда вернетесь под новую партию, не забудьте привезти русскую шапку из меха молодого оленя, мне этот мех очень понравился.

Я обещал привезти пыжиковую шапку. Готов был обещать все, лишь бы благополучно совершить рейс. Я тоже плохо спал в эти дни, наблюдая за погрузкой,— ведь это первое судно, переделанное под перевозку паровозов.

Итак, рейс во Владивосток. Вышли в море 16 мая. По берегу Камчатки спустились отлично, видимость не то чтобы прекрасная, но все мысы различимы, и треугольник при определении по трем или четырем пеленгам незначительный. Идем на расстоянии от берега в десяти—двенадцати милях. Но как всегда бывает при подходе к Первому Курильскому проливу, погода изменилась. Из Охотского моря через пролив выползал туман и плотно закрывал близлежащие берега. Решено с ходу входить в пролив, так меньше путаницы в счислении. Через каждые пятнадцать минут берем радиопеленг мыса Лопатка. Если бы не было в проливе течения, проходить вслепую легко. Распределение сил такое: старпом на мостике вглядывается в туман и прислушивается, не слышны ли буруны; вахтенный помощник у эхолота промеряет глубину и замечает показания лота; старший радист Сергей Лукьянчиков берет пеленги, я у карты занимаюсь прокладкой. Даже и в то время правило устава, требующее присутствия капитана на мостике при прохождении узкостей, было не всегда обоснованно. Непрерывное наблюдение за изменявшимся пеленгом и глубинами при данных обстоятельствах важнее, чем обязанности впередсмотрящего. Но чтобы устав был соблюден, на мостике стоял старпом, заменявший капитана.

Благополучно прошли банку капитана Чечельницкого.

— Лаг тридцать восемь и пять десятых. Пеленг двести. Глубина сорок девять,— раздавались голоса в штурманской рубке.

Не скажу, чтобы я чувствовал себя в то время спокойно и уверенно. Вот если бы поставить радиомаяк на мысе Сивучьем. Но о таком удобстве и не мечталось.

Охотское море на редкость спокойное, едва заметная зыбь от северо-запада. Каждый час теплоход делает двенадцать миль. Настало время, когда можно собрать экипаж на совещание. Военный помощник проводит тренировки с кормовой пушкой.

В каюту ко мне зашел Виктор Иванович.

— Как вы думаете,— сказал он, присаживаясь и закуривая,— из чего сделан табак в этих сигаретах?

— Вы имеете в виду «вингс»? — спросил я, посмотрев на пачку в его руках.

— Да, «вингс».

— Табак и есть табак, Виктор Иванович. Он может быть лучше или хуже...

— Вы ошибаетесь.

Я разорвал сигарету и стал разминать табак между пальцев. Ничего особенного.

— Сигареты как сигареты,— продолжал я упорствовать.

— Если хотите узнать, что мы курим, возьмите стакан с водой и вытряхните туда табак. Пусть простоит ночь.

Я и поступил так, как советовал старший механик. Утром увидел коричневую воду в стакане, а на дне лежали тоненькие белые полоски обыкновенной бумаги. Табака не хватало, и предприимчивые американские фабриканты решили проблему по-своему. Виктор Иванович всегда оставался верен себе. Дотошный человек и в большом и в малом. Все только курят, а Виктор Иванович курил и экспериментировал.

Рейс заканчивался. Мы подходили в сплошном тумане к проливу Лаперуза. Если проходить Первый Курильский пролив в тумане было опасно, то и пролив

Лаперуза при плавании с востока на запад представлял немало трудностей. Современный судоводитель может улыбнуться, прочитав эти строки. Как же, на всех мысах радиомаяки, на судах локаторы, а то и два! Но это сейчас, а во время войны, как известно, локаторов у нас не было и засекреченные маяки работали только для японцев.

Шел, временами останавливая машину. Всем хороши теплоходы, а вот гудков встречного судна не услышишь — слишком громко работает дизель. Приходилось останавливаться и прислушиваться. Потом снова давали ход и шли дальше. У японцев между островом Хоккайдо и Сахалином было интенсивное движение всякого рода судов, и приходилось опасаться столкновения. Для полной характеристики пролива нужно еще добавить, что там действовали сильные течения.

Наступило время, когда теплоход должен был находиться на подходе к самой узкой части пролива, разделенной вдобавок «камнем опасности» — небольшим скалистым островком. Теперь там стоит радиомаяк, а во время войны, чтобы определить свое место, мы должны были прислушиваться к реву сивучей по совету старинных лоций. Когда-то на острове обитали эти занятные животные.

Прикинув на карте приблизительно место, где должен находиться теплоход, я проложил курс вдоль берега острова Хоккайдо. До поворота в Японское море оставалось одиннадцать миль. Еще раз обдумав всевозможные варианты, решил поворачивать через двенадцать миль, нанес место поворота, отметил по лагу.

Через час произошло событие, которое я долго помнил и которое навело меня на размышления. Я сидел на диванчике в штурманской в полудреме, прислушиваясь к характерному звуку репитера, к пощелкиванию лага. Однако голова продолжала работать.

— На лаге восемьдесят три и пять десятых. Константин Сергеевич,— спросил вахтенный штурман,— можно поворачивать?

Я снова продумал все варианты нашего плавания. Место теплохода точно неизвестно, и, пожалуй, нет никаких оснований отменять принятое решение. Но какое-то подспудное чувство подсказало: надо пройти еще одну милю.

— Пройдем еще одну милю,— сказал я.— Когда будет на лаге восемьдесят четыре и пять десятых, поворачивайте.

Словно какая-то тяжесть спала с моих плеч после этих слов.

Через пять минут мы повернули на выход в Японское море, а еще через десять минут туман стал редеть, расходиться. Слева в какой-нибудь полумиле показались скалы, торчавшие из воды. Определились. Стало ясно, что произошло бы, поверни я, как намечал раньше. Теплоход немедленно сел бы на камни у японского берега. Груженный паровозами, я не смог бы открыть трюм и выгрузить часть груза для облегчения судна. Откачать воду из балластов нельзя, она входила в расчеты, центр тяжести при палубном грузе накладывался достаточно высоко. Все эти мысли промелькнули в голове при виде острых камней, торчавших из воды. Авария была так близка, и избежали мы ее, казалось, случайно... Случайно ли? Условия плавания в проливе Лаперуза хорошо известны, и, видимо, мозг помимо желания искал оптимальное решение. Теперь я, кажется, могу объяснить, как это все получилось. Иногда при работе над книгой долго обдумываешь и изучаешь весь материал, связанный со временем действия героев. Пишешь главу — и вот герои начинают как бы думать и поступать по-своему. И я, автор, берясь за перо, ничего не знал об их поступках и размышлениях. Тайны творческого процесса... Мне кажется, что и капитан так же творчески подходит к действиям на мостике.

Капитан в своем роде изобретатель и творец правильных решений в трудных условиях, только на изобретательство ему отпускается очень мало времени.

День прихода во Владивосток был солнечный. Небо голубое, ясное. Навсегда запоминает моряк те минуты, когда после многих дней штормовых невзгод в туманной дымке горизонта впервые открывается советский берег, такой родной, такой знакомый. На палубу мгновенно высыпают все люди, свободные от вахты, и долго не отрываясь смотрят на синеватую полоску суши, выступающую вдали из воды...

Но вот в белых барашках волн замелькала черная точка: она то взлетает на гребни, то опять пропадает из виду. Скоро можно уже различить очертания катера и красный флаг, развевающийся на корме.

На борт судна поднимается лоцман — первый советский человек, который приветствует нас с окончанием рейса. Его буквально засыпают вопросами:

— Много ли судов в порту? Что нового в городе? Как там наши поживают?

Лоцман машет рукой, он не в состоянии сразу ответить на десятки вопросов. Вместо ответа передает пачку газет, они мгновенно расходятся по рукам.

К борту подошел еще один катер. Это пограничники. Они привезли нам в подарок бурого медвежонка. Председатель судового комитета принял подарок, и у нас появился новый член экипажа.

Лоцман уверенно ведет судно в родной порт. Путь проходит через минные поля, и только он знает безопасную дорогу.

Мы входим в бухту Золотой Рог. Ход машине дан средний. В бинокль видны встречающие теплоход люди. Среди них заместитель министра морского флота Александр Александрович Афанасьев, начальник пароходства Георгий Афанасьевич Мезенцев и городские власти. Уже хорошо видны крыши домов, свои, родные улицы. Вон там клуб, а там дом, из окна которого, быть может, в этот момент глядят на бухту глаза близкого человека.

Лоцман изменил курс, идем параллельно причалам, впереди на якорях несколько миноносцев, стоящих у перпендикулярной пристани, они у нас по носу. Пора стопорить. И тут я с ужасом вижу, что машина работает средним ходом. Тяжело груженное судно с большой инерцией буквально рядом с причалом. Рву ручку телеграфа на стоп, полный назад, бешено работает двигатель, с замиранием сердца наблюдаю, как теплоход сбавляет ход. Миноносцы все ближе, ближе... И я, вспоминая старого капитана Хабарова, про себя повторяю как заклинание: «Миленький, остановись, миленький, не подведи, родименький, отблагодарю». И тут же подумал, что подкрашу ему мачты, чтобы был красивее. Неужели не отработает машина? Машина отрабатывает, теплоход останавливается и разворачивается вправо. Пронесло. Мы с лоцманом, не говоря ни слова, смотрим друг на друга. Мысли у нас одни и те же.

Швартовка. Сколько умения требует эта на первый взгляд простая операция. Надо умело рассчитать маневры, чувствовать свое судно и обстановку. Умение появится после многолетней практики. Моряки, оценивая хорошую швартовку своего товарища, говорят: «У него верный морской глаз». Действительно, основным инструментом пока остается натренированный глаз моряка.

Корабль медленно подползал к причалу. Вот на берег полетела выброска — длинная тонкая веревка с грузиком на конце.

Наш теплоход прижался, словно прирос к причалу. После многих штормовых дней и ночей он, хоть и ненадолго, обретет покой в порту. Мы спустили парадный трап. Подкатила «эмка» карантинного врача. Подошли пограничники и таможенники. Обособленной цветастой кучкой сбились на причале моряцкие жены с детишками.

Заместитель министра Афанасьев поблагодарил за ремонт и переделку теплохода под паровозы, поздравил с благополучным возвращением экапиж.

Долго ждет моряк, волею судьбы заброшенный в заокеанские дали, этих незабываемых минут возвращения. Наконец мы дома. Штормы, мели и камни, мины, торпеды, авиабомбы — все позади...

Нужно отдать должное владивостокским портовикам: им удалось выгрузить весь груз и все паровозы и тендеры в предельно короткий срок — за неполных семь суток. 14 июня наш теплоход снова был готов к выходу в рейс.

Паровозы принимал генерал-железнодорожник, неустанно повторявший:

— Для нас твои паровозы, Константин Сергеевич, дороже хлеба. На них мы и хлеб привезем и чего другое, что немцам не по сердцу. Подвозить на фронт много приходится. Вот окончим войну, мы тебе дадим звание почетного железнодорожника.

Каждый паровоз, выгруженный с теплохода и поставленный на рельсы, через два часа оживал и мог самостоятельно двигаться на запад.

Но торжество встречи нам несколько нарушил медвежонок. Началось с того, что он испортил званый завтрак, на который я пригласил почетных гостей. Стол в каюте накрыли на четыре человека. Большая сковородка с глазуньей из десяти яиц стояла посреди стола. Пока гостей не было, я поднялся в штурманскую. А вернувшись, схватился за голову: медвежонок сидел на сковородке и уплетал содержимое сахарницы. Тарелки, ножи и вилки валялись на полу. Я попытался выдворить нахала. Медведь бросил сахарницу и вместе с яичницей, крепко прилипшей к его лохматому заду, с ревом пустился наутек. Это было лишь начало.

В рейсе косолапый повел себя вовсе непристойно: кусал за ноги всех, кого удавалось, забирался в радиорубку, в каюты, хулиганил напропалую. Члены экипажа стали бояться выходить на палубу, а медведь боялся только щетки из черной щетины. Впоследствии пришлось расстаться с мишкой.

Неожиданная встреча. На теплоход пришел Дмитрий Прокопьевич Буторин, бывший боцман «Георгия Седова». Мы попили чайку, вспомнили ледовые авралы в Ледовитом океане. Он просил взять его четвертым помощником, место было свободно, я с радостью согласился. Дмитрий Прокопьевич прирожденный помор-мореплаватель, вместе с молоком матери всосал он многовековой опыт предков...

На следующий день Буторин стоял первую штурманскую вахту на нашем теплоходе.

Третий помощник Роза Земельевна Гельфанд уехала в Ленинград, на родину. Ее заменил Григорий Лукьянович Непогожев. Военным помощником пришел Федор Дмитриевич Зорин.

Новый начальник пароходства Георгий Афанасьевич Мезенцев пришелся по душе капитанам. Это был настоящий моряк в полном смысле этого слова и как никто другой понимал нужды и чаяния плавающего морского товарищества.

Он сообщил мне, что теплоходу дается ценный груз для перевозки.

Я обрадовался: с грузом судно более мореходно, да и рейсовый план хотелось перевыполнить.

— Повезешь шестьдесят тонн,— сказал он.

— Шестьдесят тонн? — удивился я.— Так мало?

— Мал золотник, да дорог. Пушнина.

Пушнину грузили недолго. В третий трюм, на паровозную палубу. 15 июня мы снова в море. Кроме пушнины, на борту пять пассажиров: инженер закупочной комиссии с женой и дочерью и два дипкурьера.

Что значили эти 60 тонн пушнины в долларах, я понял только в Портленде. Теплоход доставили для выгрузки к особому причалу, пушнину выгружали в специальный товарный состав. Каждый вагон тут же пломбировали. Со всех сторон вагоны окружили полицейские. На палубе около трюма тоже стояли полицейские. Портлендские газеты писали, что на деньги, вырученные от продажи привезенной пушнины, можно купить 100 пароходов типа «либерти».

После выгрузки на борту нашего теплохода побывал губернатор штата Орегон. Ему мы с удовольствием вручили подарок от экипажа — бурого медвежонка, изрядно выросшего за те три месяца, что он пробыл у нас на борту. С губернатором приехали газетные корреспонденты и фотографы. Во время церемонии вручения подарка после обмена соответствующими любезностями губернатор спросил:

— Как зовут медведя?

— Второй фронт,— ответил я, хотя медведь носил традиционное русское прозвище Мишка.

Губернатор усмехнулся, посмотрел на журналистов. Шел 1944 год. Открытие второго фронта по-прежнему оставалось делом чрезвычайной важности. Многие американцы были настроены благожелательно и требовали скорейшего открытия второго фронта. Но находились и яростные противники.

Вручить подарок оказалось нелегко. Вызвали бригаду охотников, и они с большим трудом связали медведя и погрузили на машину. Губернатор вскоре передал его в зоопарк, и там медведь получил новое имя — Большое Несчастье. Видно, Мишка остался верен себе.

КОРАБЛЬ ИДЕТ ДАЛЬШЕ

Не стану описывать все рейсы, совершенные нами из США с паровозами: они во многом схожи. Расскажу о событиях, прочно осевших в памяти.

Ожесточенные бои продолжались. На дальневосточных морях немцев вроде бы и в помине не было, а наши теплоходы и пароходы продолжали гибнуть от рук неизвестного противника. Многие моряки нашли себе могилу на морском дне. Японская военщина продолжала вести себя нагло, препятствуя всеми силами советскому судоходству.

Как-то вечером в мою каюту постучался Константин Васильевич Рычков, назначенный помощником по политической части. Во время войны морские походы, как известно, требуют особого внимания, капитану не так уж часто приходилось бывать с экипажем. Да и на стоянках в США надо быть начеку. Помполит — большая помощь. Константин Рычков сразу пришелся мне по сердцу. В этот вечер мы долго сидели с ним.

Начало нашего рейса прошло благополучно. В Охотском море шли в густом тумане, не видно даже впередсмотрящего на баке. Неслышно, крадучись нападает на мореходов извечный враг — туман. Еще недавно горизонт был чист, светило солнце. Но стоило перемениться ветру — и все наглухо окутала белая пелена. Туман давит грудь, глушит звуки. Натягиваются, как струна, снасти, все судно покрывается крупными каплями влаги. И нервы тоже натянуты до предела.

Сутки я почти не сходил с мостика, и когда вышли в Охотское море, решил побаловаться чайком и отдохнуть. Электрический чайник начал полегоньку посвистывать, а я в предвкушении чаепития перелистывал газеты, полученные перед отходом.

Звякнул телефон, засветилась зеленая сигнальная лампочка.

— Константин Сергеевич,— раздался в трубке голос радиста Лукьянчикова,— вызывает «Шатурстрой». Как быть?

— Не отвечать,— распорядился я и хотел повесить трубку. Нарушать радиомолчание строго запрещалось.

— Константин Сергеевич, «Шатурстрой» очень просит.

— Не отвечать,— повторил,— вы сами хорошо знаете наши правила.

Радист сказал «есть» и повесил трубку. Однако через три минуты снова загорелась лампочка на моем столе.

— Товарищ капитан, «Шатурстрой» настойчиво повторяет вызов, говорит...

— Запрещаю отвечать,— оборвал я,— ваша настойчивость, Сергей Алексеевич, переходит рамки...

— У них умирает человек... несчастный случай!

Я ответил не сразу. Закурил сигарету, подумал. Не так-то просто принять решение в этих условиях.

— Ладно, Сергей Алексеевич, отзовитесь.

Телефон звякнул в третий раз.

— У них нет врача. Капитан просит подойти и взять больного,— выпалил радист,— дорога каждая минута.

Наступило время действовать. Я вышел на мостик.

Туман, казалось, стал еще плотнее. Локаторов в то время на наших судах не водилось, только радиопеленг давал возможность найти пароход в молочном море. Повернули на обратный курс. Полчаса прошло в напряженном молчании.

— Слышу шум винта! — закричал невидимый в тумане матрос.

И мы на мостике услышали редкие удары лопастей полуоголенного винта. Пароход «Шатурстрой», как и мы, шел порожняком, за грузом.

На белой клочковатой стене тумана, словно на матовом стекле, возникло

темное расплывчатое пятно. Оно принимало все более отчетливую форму и превратилось в большой пароход — «Шатурстрой». Суда остановились.

Спустили шлюпку. И наш врач отправился к пострадавшему. Хорошо, что море спокойное, будто придавленное туманом. Шлюпка вернулась с кочегаром Бургаловым, белобрысым мальчишкой. Ему только что исполнилось восемнадцать лет. По дурости он сунул голову в трубу, по которой ходила чугунная бадья со шлаком. Бадья проломила ему череп. Состояние было очень тяжелое, требовалась срочная операция.

Больного уложили в лазарете, и наш теплоход развил такой ход, каким, наверное, никогда не ходил. Каждый час мы отмеривали по тринадцать с половиной миль, по тем временам это совсем неплохая скорость. Всем хотелось помочь парню.

Я зашел в лазарет. Запомнилось бледное лицо с кровавыми повязками. Глаза закрыты. В беспамятстве Бургалов повторял одно слово — «мама».

Весь путь до рыбокомбината Микояновск на западном берегу Камчатки наш врач не отходил от мальчишки и поддерживал в нем едва теплившуюся жизнь. Мы шли почти двое суток. У лазарета толпились свободные от вахт моряки. Только бы дотерпел, бедняга, до операции, думал каждый.

Пришлось основательно рассекретиться: дали телеграмму в рыбокомбинат, уполномоченному Морфлота на Камчатке и копию секретарю Камчатского окружкома партии с просьбой оказать больному немедленную помощь.

Последнюю ночь я простоял на мостике. Кожаное пальто намокло, на плечи будто кто-то гири подвесил.

В восемь утра в густом тумане, непрерывно измеряя глубину, подошли к невидимой земле Камчатке. На берег Илью Бургалова отвезли на судовой моторке, его сопровождали судовой врач и помощник капитана по политчасти. В больнице все приготовили, и Бургалова сразу положили на операционный стол.

Несколько часов мы простояли в ожидании моторки. После напряженной непрерывной работы двигателя тишина угнетала. Тяжелые капли влаги гулко шлепались на мостик и на палубу.

Вот и моторка на борту. Услышав про операцию, моряки с облегчением вздохнули. Появилась надежда на благоприятный исход. На душе у всех стало спокойнее.

В тот день мы благополучно прошли Первый Курильский пролив и вышли в Тихий океан.

От мыса Африка на восточном берегу Камчатки повернули на восток. Справа вдалеке оставались невидимыми Командорские острова. На ощупь прошли пролив Унимак между Алеутскими островами. Через двадцать суток подходили к берегам Америки, а туман и не думал уступать. Плотной стеной закрывал он от глаз все, что дальше форштевня. По счислению мы были совсем близко от плавмаяка Колумбия. Ту-ту-ту-ту — ревел в наушниках его радиосигнал, заглушая призывы остальных радиомаяков. Ту-ту-ту-ту — берегись, я близко, я близко.

В этом рейсе нас упорно преследовал туман. Ни одного ясного дня после пролива Лаперуза.

2 июля 1944 года в час дня мы подошли к плавмаяку Колумбия, и с этого времени я не сходил с мостика. Сначала проходили бар, потом шли по реке в темное время. В третьем часу ночи пришвартовались к причалу нефтяной базы для приемки топлива. В общем, устал я изрядно и решил после таможенного досмотра хорошенько вздремнуть.

Как только спустили сходни, на теплоход прибыли таможенники во главе с чиновником портлендской таможни. Краснолицый, со шрамом на щеке и выпученными голубыми глазами, он напоминал немца. Начался досмотр. Через полчаса в каюту вошел Петр Николаевич Василевский.

— Константин Сергеевич, таможенники требуют осмотра всех жилых помещений.

В практике наших отношений с портовым начальством подобных осложне

ний раньше не возникало. На советских судах контрабанду не возили, и портлендская таможня, убедившись в этом, как правило, доверяла заявлению капитана, который представлял список имеющихся на судне товаров, интересующих таможню. Однако по существующим в США правилам власти могли потребовать осмотра любого помещения.

— Пусть смотрят,— подумав, сказал я.

Через несколько минут старпом снова постучался в мою каюту.

— Они собираются вскрывать ящики в каюте стармеха,— волнуясь, произнес Петр Николаевич.— Стармех в машине. Таможенник хотел открыть ящик без хозяина. Я запретил и послал матроса за Виктором Ивановичем. Офицер не хочет ждать и приказывает взломать ящик.

Дремота мигом слетела с меня. Я спустился в каюту стармеха Копанева. Подобного безобразия нельзя допустить на советском судне. Хозяином здесь был капитан.

В каюте стармеха находились американские таможенники, старпом и два наших матроса. Рядовой таможенник, желая вскрыть запертый на замок ящик письменного стола, всовывал в щель огромный широкий палаш.

— Стоп,— сказал я таможеннику,— подождите немного, пожалуйста. Сейчас придет старший механик и откроет вам ящик.

Таможенник на мгновение задержался со взломом.

Краснолицый чиновник покраснел еще больше. С непристойными ругательствами стал грубо отталкивать меня плечом. На мне была морская форма с капитанскими нашивками, и краснолицый прекрасно знал, с кем имеет дело. Его наглость перешла всякие допустимые границы.

— Запрещаю производить осмотр, прошу таможню удалиться с судна,— сказал я, едва сдерживаясь.

Мне было известно, что если таможенники не закончат досмотр и не подпишут соответствующие документы, общение с берегом запрещается и грузовые операции никто производить не будет. Однако оберегать честь советского флага— первая обязанность капитана.

Портлендские таможенники покинули судно.

Едва дождавшись восьми часов, я позвонил дежурному портлендской таможни и заявил протест, пришлось припугнуть:

— Если конфликт не уладите до двенадцати часов дня, буду вынужден сообщить об этом советскому консулу.

В девять часов приехал чиновник таможни, превосходно говоривший по-русски, передал просьбу начальника таможни прибыть ровно в двенадцать для разбора дела. Он выслушал мое подробное объяснение. В десять я позвонил нашим товарищам из закупочной комиссии. Но, как назло, дома никого не оказалось — сегодня воскресенье. Это осложняло дело.

Ровно в двенадцать часов я был у начальника таможни. Мне и раньше приходилось встречаться с ним, заядлым филателистом,— помню, как-то я подарил ему седовскую серию почтовых марок. Седоватый типичный американец, вежливый, радушный, он мне пришелся по душе. В его кабинете, несмотря на воскресенье, собралось много людей: представители таможни, губернатора штата, полиции...

Когда я уселся в предложенное кресло, начальник таможни, перелистывая лежавшую перед ним книгу «Устав таможенной службы США», сказал:

— Знает ли господин капитан, что согласно параграфу такому-то пункта такого-то нашего устава таможенник может потребовать открыть любое помещение на судне?

— Да, это я знаю и никогда не возражал против этих правил. Но покажите мне параграф, где написано, что таможенник может толкать и непристойно ругать капитана судна. И не где-нибудь в пивном баре, а на территории советского судна.

Начальник таможни помолчал, строго посмотрел на собравшихся.

— Этого в книге не написано, вы правы, капитан. Что же вы от нас хотите?

— Я хочу, чтобы ваш чиновник извинился передо мной.

— Мы согласны.

Начальник таможни предложил чиновнику извиниться. Краснолицый начал что-то долго говорить, часто употребляя слово «мейби» — может быть. Я решил быть твердым до конца.

— Джентльмены,— сказал я, обращаясь к сидевшим.— Я плохо знаю английский язык и не совсем ясно понимаю, что сказал мне этот господин. Прошу его сказать следующее: «Ай эм сори, экскьюз ми» — я виноват, простите меня. И тогда я буду считать инцидент исчерпанным.

Чиновник вскочил со стула, стал отнекиваться и возмущаться и даже ушел из кабинета. Однако через пять минут появился и, подойдя ко мне, сказал слащаво:

— Ай эм сори, экскьюз ми.

— Считаю инцидент исчерпанным.

Так окончился единственный неприятный случай, происшедший за время моих военных плаваний в порты США.

Отношения мои со стариком — начальником таможни нисколько не испортились, наоборот, стали более устойчивыми. Он мог бы, защищая честь мундира, повести совсем другую линию, но оказался честным человеком.

Вообще я убеждался не раз: в Америке у нас много друзей, но есть и злобные враги. Приведу еще случай. Перед отходом в рейс старший механик Копанев, докладывая мне о снабжении по машинной части, сказал:

— Мистер Каген совсем обнаглел. Сегодня он привез по моей заявке инструменты и кое-какие материалы. Стал смотреть — все старое, ржавое.

— Надо отказаться.

— Я отказался, а он говорит: «Берите, стармех, что привез, пока жив старый дурак Рузвельт, обкрутил его вокруг пальца ваш Сталин. Помрет Рузвельт — и этого не будет. Вашему Советскому государству я давал бы только отбросы». Ну и понес всякую брехню. Видно, ему наши победы поперек горла.

Я рассказал об эпизоде Леониду Алексеевичу Разину, председателю закупочной комиссии.

— Вы не первый. Многие капитаны докладывали об этом ретивом снабженце. Придется принять меры.

Как там происходило дальше, я не знаю. Но мистер Каген больше не появлялся на советских судах.

В этом рейсе на пути к Владивостоку на нашем теплоходе произошло два события, о которых хочу рассказать.

Как-то перед одним из рейсов в США меня пригласил Георгий Афанасьевич Мезенцев.

— Сколько у тебя юнг?

— Семеро.

Обычно мы на судне держали пятерых учеников.

— И все же я попрошу, Константин Сергеевич, взять еще одного. Отец — партийный работник, погиб на фронте, мать умерла неделю назад. Мальчишке двенадцать лет. Обком просил передать в надежные руки.

— Что ж, Георгий Афанасьевич, место найдется.

На следующий день небольшого росточка мальчик вошел в мою каюту.

— Ученик Пименов прибыл в ваше распоряжение,— отчеканил он и вручил направление отдела кадров.

Мальчик был смышлен и расторопен. Через три дня он знал весь экипаж и в лицо и по фамилии. Знал, где и кто живет, быстро приловчился к палубным работам, однако особого пристрастия к ним не обнаруживал. Захотел учиться поварскому искусству. Наш повар обрадовался мальчишке и сразу же посадил его чистить картошку. Мальчику задание не понравилось, и он снова отправился на палубу в боцманскую команду. Побывав в Америке и освоившись на теплоходе, юнга стал грубо относиться к товарищам, и особенно к дневальной, пожилой болезненной женщине. Кажется, мы проходили Берингово море, когда она первый раз пришла жаловаться на Пименова.

— Ругается нецензурными словами, а ведь он мне во внуки годится,— говорила дневальная,— нет больше моих сил выносить.

Вызвал Пименова. Он пришел подтянутый, печатая шаг, и отрапортовал:

— Ученик Пименов по вашему приказанию явился.

— Вот что, ученик Пименов,— строго сказал я.— Почему ругаешься в столовой? Дневальная жаловалась на тебя.

Мою небольшую лекцию на моральную тему Пименов слушал молча, не спуская с меня внимательных глаз.

— Запрещаю тебе ругаться, а если будешь продолжать, пеняй на себя. Тогда расправлюсь с тобой по-иному.

— Есть перестать ругаться,— бодро ответил он.— Разрешите идти?

— Иди и помни наш разговор.

Я был совершенно уверен, что после нашего разговора он перестанет ругаться. Но получилось иначе, и дневальная через неделю снова явилась с той же жалобой. Она плакала и просила заступиться и оградить от оскорблений.

Когда дневальная ушла, я задумался. Что сделать с Пименовым? Наказать его? Как? Объявить выговор? Смешно, и подействует ли на такого шустрого мальчишку выговор? Смышленый малый понимал, что расправиться мне с ним трудно, хотя он и пренебрег приказом капитана.

В общем, задал он задачу. Думал-думал я и наконец придумал. У нашей уборщицы, худой и маленькой девушки, я попросил во временное пользование одну из ее юбок и затем потребовал к себе ученика.

— По вашему приказанию явился,— снова четко отрапортовал Пименов.

— Я предупреждал тебя, чтобы ты не ругался в столовой?

Пименов молчал.

— Отвечай, предупреждал или нет?

— Предупреждали, товарищ капитан.

— А ты продолжал ругаться.

Пименов молчал, видимо, соображая, что может последовать за таким вступлением.

— Ну вот что, раз ты не слушаешься доброго совета, снимай штаны и надень вот это.— Я взял со стола юбку.— То, что я не имею права простить юнге, смогу простить девочке.

— Юбку не надену, товарищ капитан.

— Наденешь, если я сказал. Ну!

— Не надену.

Пименов яростно сопротивлялся. И все же с него сняли штаны и надели юбку. Как только юбка была надета, он понял бесполезность дальнейшего сопротивления и смирился, тем более что его штаны я спрятал в свой шкаф.

Надо сказать, что на судах морского флота, в то время военизированных, дисциплина поддерживалась очень строгая. Невыполнение приказа капитана считалось тягчайшим проступком. «Не заметить» поведения ученика Пименова я не мог: мой предупреждающий разговор с ним известен экипажу.

Оказалось, юбка сыграла свою роль. Пименов перестал ругаться и каждый вечер приходил ко мне с просьбой простить его, отменить наказание и вернуть звание юнги. Но я был тверд. Пименов отходил в юбке ровно десять суток. Когда срок наказания кончился и он получил право носить штаны, я на всякий случай предупредил, что теперь если он непристойно будет вести себя, то наденет юбку на всю стоянку во Владивостоке.

Однако больше применять свой метод мне не пришлось.

Во время войны на каждом дальневосточном судне торгового флота плавало несколько учеников. Они проходили морскую практику, делили с нами, взрослыми, все тяготы и опасности плавания. В основном это были хорошие ребята, быстро осваивали профессию и к восемнадцати годам превращались в отличных моряков.

Когда советский флот стал быстро расти, они нам очень пригодились. Как правило, на суда брали детей, у которых погибли родители.

Закончу свой рассказ о Пименове нашей последней встречей с ним. Это случилось в середине 50-х годов. Как-то вечером в моей квартире раздался звонок. Я открыл дверь. Вошел небольшого роста пехотный лейтенант.

— Не узнаете меня, товарищ капитан?

Признаюсь, не узнавал.

— Я Пименов, тот самый, на которого вы надевали юбку во время рейса из Портленда во Владивосток. Решил переменить специальность и стать военным.

— А ты сейчас не обижаешься на меня?

— Что вы, товарищ капитан! Все правильно. Юбка оказалась, пожалуй, единственным сильным средством. Ведь я и дома не был ангелом, сносил самые суровые наказания и принимался за прежнее. А вот юбку перенести не смог.

За чашкой чая мы вспоминали с Пименовым наше дальневосточное плавание.

ВСТРЕЧА С ЭДУАРДОМ СТЕТТИНИУСОМ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Во время очередной стоянки и погрузки в Портленде от товарищей-моряков, приходивших на наш теплоход, мы узнали о новых случаях гибели советских судов в дальневосточных водах. Как всегда, враг оставался неизвестным. Прежде всего мы услышали о трагедии парохода «Белоруссия», находившегося в южной части Охотского моря в ожидании ледокола. Он шел с грузом из США во Владивосток, и дорогу ему закрывал лед в проливе Лаперуза...

Две недели стоял пароход, дожидаясь ледокола. От начальника Дальневосточного пароходства капитан «Белоруссии» Кирилл Георгиевич Кондратьев получил распоряжение следовать к острову Итуруп для оказания помощи дрейфующему пароходу «Маныч». Надо было отбуксировать в Петропавловск потерявшее управление судно.

3 марта 1944 года около восьми часов утра на судне раздался большой силы взрыв. Пароход сразу же дал крен и быстро начал погружаться в воду. При взрыве погибли четыре человека. Капитан приказал спускать спасательные шлюпки. Одна из них сразу перевернулась. Погибли одиннадцать человек. На второй шлюпке спаслись тридцать четыре человека вместе с капитаном Кондратьевым. Воды и продовольствия в шлюпке оказалось весьма ограниченное количество. Ночью поднялся шторм. Ледяная вода накрывала людей. От холода и скудного питания люди быстро слабели.

Через несколько суток шлюпку прибило к кромке льда. Вдали темнели очертания берегов. Приняли решение высадиться на лед. Одна группа во главе с капитаном двинулась по направлению к берегу, а другая, вытащив шлюпку на лед, осталась с ней до утра. Перед расставанием раздали остатки продуктов.

Подход к берегу группы капитана Кондратьева оказался невероятно тяжел. Шли по дрейфующему льду. Переходили с одной льдины на другую, ночевали в ледяных домиках. Обессиленные люди умирали один за другим. На тринадцатые сутки от гангрены ноги скончался капитан Кирилл Георгиевич Кондратьев.

До острова Итуруп из пятнадцати человек на двадцатые сутки мучительного пути добрались только двое — кочегары Яков Петрович Почернин и Иван Петрович Петровичев. Совершенно обессиленные от голода и холода выбрались они на дикий каменистый берег.

На шестые сутки бесплодных поисков человеческого жилья нашли избушку с рыболовными снастями. Там они обнаружили бутылку с соевым маслом и коробку с рисом. Немного передохнув, подкрепившись горячей пищей, моряки двинулись дальше. 29 марта, перебравшись через сопку, покрытую снегом, вышли к небольшому поселку.

Надеясь на помощь, они переступили порог японского дома.

И вот начались невероятные, ничем не объяснимые события. Японские жители известили полицию. Моряки Почернин и Петровичев, больные, едва переступавшие ногами, были подвергнуты допросу. Их обвинили в шпионаже и, вме-

сто того чтобы дать хлеба, оказать медицинскую помощь, посадили в холодный сарай и закрыли на замок. Потерпевшим бедствие на море всегда и везде оказывается помощь, здесь же над ними издевались. Сорок дней ежедневно по нескольку часов их допрашивали, выпытывая сведения военного характера. Японцы не останавливались и перед угрозой расстрела. Потом их перевезли на остров Хоккайдо. Из тюрьмы в тюрьму их возили с завязанными глазами.

Только 10 июня 1944 года японская полиция передала Почернина и Петровичева советскому консулу. Вскоре они вернулись на родину и оповестили о трагедии, разыгравшейся с экипажем парохода «Белоруссия».

Петровичев и Почернин оказались мужественными советскими людьми, не потерявшими достоинства в самых тяжелых обстоятельствах.

Гибель парохода «Белоруссия» долго обсуждалась в нашей кают-компании. Она насторожила нас. Почти все суда, торпедированные или наткнувшиеся на мину, имеют время спустить шлюпки, подать по радио «SOS», предпринять какие-то меры к спасению. Даже на торпедированных и горевших танкерах команда боролась за живучесть своего судна. Иное дело на нашем теплоходе, когда идем груженные паровозами. Если нас торпедируют или мы подорвемся на мине, никто из нас не спасется, даже если это произойдет днем. Остаться в живых может кто-нибудь только по счастливому случаю. Вряд ли наш теплоход будет тонуть шестьдесят секунд, наверное, это произойдет скорее. В общем, положение незавидное, и хотя шлюпки у нас готовы к спуску, как и на всех других судах, но надежды мы возлагали только на удачу: авось не подорвемся и нас не торпедируют. Лейтенант конвойной американской службы как-то сказал мне, провожая паровозный рейс: «Вы продержитесь на плаву, капитан, ровно сорок две секунды — советую не снимать спасательного жилета ни днем ни ночью».

Совсем недавно печальная участь постигла и пароход «Обь». Пароход шел из Владивостока с грузом угля в Петропавловск под командованием капитана С. Д. Панфилова. У берегов Камчатки в полночь пароход был торпедирован, стал стремительно крениться и носом ушел в воду. Это произошло в течение полутора минут. На судне все спали за исключением вахтенных.

При взрыве погибли капитан Панфилов, вахтенный помощник Назаренко и третий помощник Селеменева, еще не успевшая уйти с мостика.

Сигнал тревоги не был дан, колокола громкого боя не прозвучали. Пробуждение спавших было ужасным. Старпома Максимихина оглушил взрыв в его каюте. Он пришел в себя, когда забурлила вода, заполнявшая каюту. В полной темноте старпом пытался выбраться из каюты, но дверь заклинило. К счастью, в последнюю минуту он заметил чуть приоткрытый иллюминатор и с большим трудом вылез в него. Ему удалось всплыть на поверхность. Ухватившись за обломок доски, он доплыл до спасательной шлюпки. Старпом избежал страшной участи быть заживо похороненным вместе с судном на дне моря.

Спасшиеся на плотике члены экипажа, застигнутые взрывом во сне, были раздеты. К голым и босым членам экипажа «Обь» приблизилась в надводном состоянии подводная лодка и малым ходом прошла вдоль плотиков. Лодка большая, без опознавательных знаков. На крики потерпевших бедствие людей никто не обратил внимания.

Как мог моряк, командир лодки, бросить моряков в бедственном положении?! Пользуясь тем, что его имя не будет узнано, он беззастенчиво попирал самые элементарные международные нормы.

С рассветом моряки, спасшиеся с парохода «Обь», заметили полузатопленную спасательную шлюпку и перебрались в нее. На шлюпке оказалось в целости все снаряжение и неприкосновенный запас продовольствия. Днем 7 июля пост заметил ракету со спасательной шлюпки. Был выслан катер и потерпевшие бедствие доставлены на берег.

Из тридцати пяти человек команды парохода «Обь» погибли четырнадцать вместе с капитаном Панфиловым. Кроме упомянутого второго помощника Назаренко и третьего помощника Селеменевой, погибли: третий механик Мочалов, четвертый механик Бойченко, судовой медик Каморина, боцман Петров, матрос

Поливцев, кочегары Еров, Воронов, Валевич, Самотяжко, Каретников и машинист Дейнека.

Торпедирование парохода «Павлин Виноградов» произошло при обстоятельствах не менее трагических. Все дальневосточные моряки знали об этом случае. Дело было так. Пароход «Павлин Виноградов» с грузом электрооборудования шел из США во Владивосток. 22 апреля 1944 года у Алеутских островов пароход торпедировала подводная лодка. Две торпеды одновременно взорвались в районе кормовых трюмов. Взрыв оказался большой силы. Кормовые трюмы не только были вскрыты, но часть груза выброшена за борт. Из четвертого трюма выбросило на палубу бочки с ацетиленом — сразу возник пожар. Пароход быстро погружался в воду кормой. Капитан Фома Филиппович Дроздов дал команду: «Спасайся на шлюпках!» Ударом волны спасательный бот левого борта перевернуло. На нем погибли десять человек. Вместе с пароходом ушли под воду капитан Дроздов, который не мог покинуть судно, пока на нем были люди, радист А. Н. Моховцев, пытавшийся передать сигнал «SOS», и уборщица М. А. Баринова.

На следующий день в шлюпке умерли пять человек. На шлюпку, которой командовал старпом Малаксинов, взяли людей с плотов и на веслах двинулись к ближайшему острову, до которого было около семидесяти миль.

Через сутки погода прояснилась, и люди увидели Алеутские острова. Однако погода снова испортилась, поднялся встречный ветер, и шлюпку стало относить в море. Зыбь усилилась, шлюпку заливало водой. На четвертые сутки скончалась буфетчица Н. С. Тетерина, утром 27 апреля — врач А. С. Броневская и дневальная А. П. Кириченко. Раздетые моряки мучились при пятнадцатиградусном морозе.

К вечеру 27 апреля из всего экипажа парохода «Павлин Виноградов» остались в живых девять человек. Оставшиеся ослабели и едва двигались.

Помог советский пароход «Ола», он увидел потерпевших бедствие и взял их на борт. Можно представить себе радость обессиленных и отчаявшихся людей, когда кто-то из команды крикнул: «Слышу гудок парохода!»

...Мы заканчивали погрузку паровозов в трюмы. Погода стояла дождливая, и моряки сидели на теплоходе. Неожиданно подъехала машина закупочной комиссии, и сержант Подковкин вошел в каюту. Меня приглашал уполномоченный закупочной комиссии по западному берегу Леонид Алексеевич Разин.

Вопросы погрузки в разговоре не затрагивались, дело оказалось более деликатным. Леонид Алексеевич предложил принять на судне приезжающего в Портленд Стеттиниуса, заместителя президента Рузвельта по вопросам ленд-лиза. По ленд-лизу американцы предоставляли нам помощь: мы получали паровозы, самолеты, новые пароходы и теплоходы, военные корабли, ледоколы, продовольствие, разные стратегические товары.

Надо сказать, что Эдуард Стеттиниус, возглавлявший управление «Ленд-лиз корпорейшн», был верным помощником президента Рузвельта и твердо проводил политику помощи Советскому Союзу. Кроме всего прочего, благодаря благожелательному отношению Стеттиниуса мы получили по ленд-лизу несколько десятков транспортных судов и ледоколы.

Наши представители старались закупить в США на предоставленные кредиты то, чего не хватало у нас, и, конечно, старались отправить в СССР все грузы как можно скорее.

От Эдуарда Стеттиниуса зависело многое. Мне думается, что товарищи из закупочной комиссии решили остановиться на моем теплоходе главным образом потому, что он был построен в Ленинграде. Большинство стоявших в то время в Портленде судов под советским флагом было американской постройки. Некоторую роль, видимо, сыграло и то, что теплоходом командовал Герой Советского Союза.

Я решил угостить Стеттиниуса русским обедом — борщом и пельменями. К обеду в изобилии готовилась разнообразная закуска.

Гостей я принимал в кают-компании, вмещавшей четырнадцать человек. Со Стеттиниусом пришли американцы — военные и в штатском. Были наши товарищи из закупочной комиссии.

Я встретил Стеттиниуса у трапа, представился ему, показал теплоход, рассказал, как мы перевозим паровозы. Похвалил Менли Гарриса, предложившего хороший способ крепления.

Стеттиниус, среднего роста человек с приятным, располагающим лицом, живо интересовался всем, что я ему показывал. Не знаю, каков он в делах, но в обхождении мне понравился.

Наша буфетчица в кружевной наколке и белоснежном фартуке ждала гостей. Обед прошел оживленно, товарищи из закупочной комиссии между тостами рассказывали о своих делах, о неполадках в доставке и погрузке. Даже сами тосты имели деловой оттенок: сидевший рядом со Стеттиниусом секретарь что-то записывал в блокнот. Стеттиниус же обещал все исправить и дать соответствующие указания.

— Если мы в два раза увеличим вам поставки во Владивосток, справится ли порт с таким количеством груза? — неожиданно спросил он меня.

— Справимся,— смело заявил я.— Давайте больше.

— Хозяин плохо угощает гостей,— сказал кто-то.— У мистера Стеттиниуса пустая рюмка.

Мне пришла мысль угостить Стеттиниуса полярным коктейлем. Пожалуй, это было лучшее, что я мог предложить, если говорить о полярной экзотике. Когда надо погреться, прозябнув до костей, коктейль действовал безотказно.

— Надо выпить, пока не осядет смесь,— сказал я, подавая стакан,— прошу вас, мистер Стеттиниус, этот коктейль приготовлен по рецепту двух полярных капитанов — Белоусова и Бадигина.

Министр поднялся с места, поклонился, принял стакан и осушил до дна.

На следующий день я навестил по делу начальника таможни, и он мне сказал:

— По секрету, капитан: мистер Стеттиниус велел снабжать ваше судно как можно лучше. Чем вы ему так угодили?.. Нельзя ли мне попробовать ваш полярный коктейль?

Вечером ко мне зашел офицер конвойной службы США. Вид у него был взволнованный. Он снял фуражку и вытер пот.

— Капитан, хочу рассказать вам об одном чрезвычайном происшествии.

— Я слушаю.

— Три дня назад в Портленд пришел советский пароход.— Старший лейтенант назвал судно и фамилию капитана.— На палубе у него был воздушный шар.

— Воздушный шар? — удивился я.

— Японский воздушный шар,— уточнил американец.— Японцы летом посылают такие шары при попутных ветрах, и они летят на нашу землю. На шарах подвешена взрывчатка с автоматическим взрывателем. Когда шар летит над океаном, взрыватель не действует: мала температура. Если шар попадет на землю, то на солнце температура быстро поднимется и взрыватель сработает. Японцы рассчитывают на лесные пожары. Несколько раз воздушные шары действительно явились причиной пожаров. Это диверсия. Мы раньше не предупреждали советских капитанов об этой японской выдумке, и делали ошибку,— продолжал лейтенант.— И вот ваш капитан увидел у берега США снижающийся в море воздушный шар, вообразив, что нужна помощь людям, попытался взять шар на палубу. Это удалось, и капитан привез нам японский подарок. Хорошо, что в море холодно и он не успел взорваться на палубе советского судна.

Я поблагодарил за сообщение. Теперь, если увижу такой воздушный шар, буду обходить его подальше.

...Рейсы с паровозами продолжались. Штормы сменялись штилевой погодой, а штилевая погода штормами. Паровозы благополучно доставлялись во Владивосток.

Мы часто устраивали тренировки, чтобы в случае необходимости отразить нападение врага. Звенела сирена учебной тревоги. В море сбрасывалась бочка с деревянным щитом. Пушки направлялись на сброшенные предметы, и через несколько минут от бочки и щита оставались лишь мелкие щепки. Или выстреливали в небо ракету; разорвавшись, она выпускала небольшой парашют. Стрельба по таким парашютам стала излюбленным способом тренировки моряков нашего теплохода.

В одном из последних рейсов у нас на судне в Портленде произошел забавный случай. Когда теплоход был полностью погружен и рабочие крепили паровозы на палубе, стармех Копанев доложил мне о неисправности электрической части рулевого устройства. Наши старые контакторы были слабым местом и требовали неустанного внимания. Виктор Иванович попросил разрешения на ремонт сроком до четырех часов утра следующего дня. Ремонт я, конечно, разрешил, иначе теплоход не мог выйти в море.

Казалось бы, правильно, никаких нарушений в морской службе. Но за обедом в кают-компании черт дернул меня за язык.

— Сегодня понедельник, да еще тринадцатое число. В море не пойдем,— пошутил я,— отложим до вторника. Так будет надежнее.

Мои офицеры посмеялись, и тем дело кончилось. Но в кают-компании оказался представитель закупочной комиссии, наблюдавший за погрузкой.

Около пяти часов вечера рабочие закончили крепление паровозов, и палубная команда под руководством боцмана Пономарева занялась проверкой. Неожиданно подъехала машина закупочной комиссии, и Леонид Алексеевич Разин поднялся на теплоход. Его провели ко мне в каюту. Вид у него был хмурый.

— Я никогда не ожидал, что такой заслуженный капитан, как вы, и коммунист может быть суеверным человеком,— едва поздоровавшись, сказал Разин.

— В чем дело, объясните.

— Ах, вы не понимаете. По-вашему, отложить отход с понедельника на вторник — это не суеверие? Когда предполагали отход?

— Сегодня в девять часов вечера.

— Сегодня понедельник, а вы уходите завтра утром.

— Да, в четыре часа.

— Ну вот, видите. Возмутительно, необъяснимо.

— Позвольте, Леонид Алексеевич. Но почему вы решили, что я отменил отход из-за понедельника?

— Вы лично заявили об этом за обедом.

— Ах вот в чем дело. Ваш товарищ передал мои слова. Но ведь я пошутил.

— Плохие шутки. Если вы отложили отход...

— Об этом я доложу своему начальству. Но вам я хочу доказать, что не всякому дураку можно верить.

Я тоже начинал нервничать. В каюту вызвали Виктора Ивановича Копанева.

— Старший механик,— отрекомендовал я Разину.— Прошу вас, Виктор Иванович. скажите: когда теплоход сможет выйти в рейс?

— Мы ремонтируем рулевой контактор,— ответил стармех,— думаю, что управлюсь к назначенному сроку. Вы дали время до четырех утра.

— Хорошо... У вас, Леонид Алексеевич, есть вопросы к старшему механику?

— Нет, мне все ясно.— Леонид Алексеевич повеселел.— Извините за беспокойство, капитан, желаю счастливого плавания.

Мы расстались с Леонидом Алексеевичем очень благожелательно. Рейс, как я помню, прошел весьма удачно, без всяких происшествий.

В конце рейса мы услышали по радио печальное известие о смерти президента Рузвельта. Как теперь повернутся дела, думал я, как поведет себя правительство Соединенных Штатов? Франклин Рузвельт был мудрым и доброжелательным человеком, на голову возвышавшимся среди окружавших его политиков. Мне запомнились его высказывания относительно ленд-лиза: «Мы предоставили помощь на основе закона о ленд-лизе для того, чтобы помочь самим себе». А сов-

сем недавно, в мае 1944 года, он сказал: «Ленд-лиз работает на Америку на русском фронте». К этим словам прибавить нечего. Победа не за горами. Сейчас идут кровопролитные бои за Берлин. Немцы отчаянно сопротивляются.

Приятно видеть, как относятся наши моряки к труду. Во время войны каждый стал как-то старше, требовательнее к себе и к товарищам.

Экипаж нашего теплохода мало чем отличался от экипажей других пароходов и теплоходов, если только на других судах было на несколько человек больше или меньше, чем у нас. На всех советских судах моряки самоотверженно относились к своей работе и ставили государственные интересы выше своих собственных. Люди во время войны быстро узнавали друг друга, и работа шла слаженно и дружно.

Помню, когда я вернулся из Портленда, мне предложили принять «либерти», судно поновее и побольше моего теплохода, но я отказался не раздумывая. На моем старом теплоходе меня все знали, и я всех знал.

ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ ОБЪЯВЛЕНА

В прошлый рейс мы вышли 9 мая. Наш отход совпал с историческим днем победы над фашистской Германией. Собравшись на митинг, мы назвали этот рейс «рейсом победы» и обязались выполнить его на «отлично».

Война окончена. Мы победили. Победа не сразу вошла в сознание, и в первые часы и дни даже не верилось. В моей голове происходило нечто подобное тому, что происходит в курьерском поезде при внезапной остановке. Нам не довелось видеть грандиозное торжество на Красной площади. Мы слушали победные передачи по радио, осторожно пробираясь через минные поля из Владивостока к бухте Валентина.

На судовом митинге прозвучали слова благодарности нашей великой партии — организатору победы советского народа. Моряки в радостном возбуждении поздравляли друг друга. Мы гордились тем, что и полторы сотни «наших» паровозов помогали победе где-то там, на западе.

Мы вышли из Курильского пролива в океан 15 мая. Пролив проходили при хорошей видимости. Отчетливо различался погибший танкер «Мариуполь» на берегу острова Шумшу. Погода, как говорят моряки, благоприятствовала плаванию. Ветра почти нет, море гладкое, чуть колышет.

Утром, часов около пяти, мне позвонил вахтенный штурман и попросил на мостик. Море по-прежнему тихое, таким оно бывает редко. Маловетрие. Небо в кучевых облаках, на солнечном восходе они окрашены в красный цвет.

— Что вас беспокоит? — спросил я у вахтенного, оглядывая синевшие вдалеке по правому борту берега Камчатки.

— Вспыхивает, все время вспыхивает, посмотрите, Константин Сергеевич.

Я увидел яркую вспышку где-то над камчатской землей, еще одну, еще. Вспышки через короткие промежутки следовали одна за другой. Мне показалось, что я снова вижу бомбардировку. Неужели японцы? Однако мы прошли Курильский пролив благополучно. Почему не слышно никаких звуков, может быть, их заглушает работа двигателя? Проклятые выхлопы.

— Остановите машину,— скомандовал я.

Резкое перезванивание телеграфа — и машина остановилась. Тишина на море, и в воздухе яркие беззвучные вспышки. Незнакомый, едва уловимый запах, доносившийся с далекого берега. Залитые алой краской облака на востоке... Величественное зрелище, оно настораживало, вселяло тревогу.

Сон как рукой сняло. Я не мог уйти с мостика. Таинственные вспышки продолжали будоражить нервы. Зарницы? Нет. Прошло еще полчаса. Мы давно шли полным ходом и прежним курсом. И вдруг на северо-западе занялось огненное зарево. Потом столбы черного дыма поднялись кверху над далекими сопками.

Я поднялся на верхний мостик и пеленговал середину пылающего облака. Пеленг проложил на карте. Он прошел через Ключевскую сопку. Извержение

вулкана. Ведь я слыхал о том, что вулкан Ключевская сопка ведет себя последнее время неспокойно. Вот откуда незнакомый запах, все стало ясно. Не знаю, почему меня так потрясло это таинство, совершавшееся в природе. Но то, что я видел в тот день, запомнил на всю жизнь. Картина извержения сказочно красива.

А вспышки без звука все же были зарницами.

В нашем «рейсе победы» дух социалистического соревнования оказался на высоте, и экипаж выполнил все свои обязательства. К окончанию рейса оказалось семнадцать стахановцев и десять ударников.

Мы снова в Соединенных Штатах и снова встретились с нашими американскими друзьями. Прошло совсем немного времени после смерти президента Франклина Рузвельта, и как будто все осталось по-старому. На самом деле это было не так, и нам пришлось почувствовать перемену.

В закупочной комиссии в Портленде мы узнали, что президент Трумэн отменил закон о поставках в СССР товаров по ленд-лизу. Будем пока вывозить все, что было закуплено и заказано. Простые американцы удивлялись такой поспешности. Еще больше, наверное, удивлялось наше правительство, которое знало, что предстоит война с Японией.

В части судового снабжения произошли заметные ухудшения. Много самого необходимого на теплоход не отгружали. В городе на рынке и в магазинах все дешевле, чем по ленд-лизу, и лучшего качества.

На пути во Владивосток мы зашли в бухту Ахомтэн, находившуюся неподалеку от Петропавловска. Конвойный офицер сообщил о гибели парохода «Трансбалт», самого большого парохода в Советском Союзе в то время. Пароход возвращался из США с генеральным грузом около 10 тысяч тонн. Его торпедировали 13 июня 1945 года в проливе Лаперуза, можно сказать, на пороге дома. Японцы не унимались. Две торпеды попали в кормовые трюмы правого борта. После взрыва судно продержалось на плаву около десяти минут и кормой ушло в воду. Пять человек погибли вместе с судном. Радист успел передать во Владивосток «SOS» и сообщил место гибели. Девяносто четыре человека вместе с капитаном Ильей Гавриловичем Гавриловым спаслись на шлюпках.

По сути, Япония вела на море против Советского государства военные действия. С декабря 1941 года по апрель 1945 года ее подводные лодки топили суда.

По прибытии во Владивосток я виделся с капитаном Гавриловым, он был у меня в гостях и рассказал о событиях на пароходе «Трансбалт». Сам Илья Гаврилович, как говорится, остался гол и бос, все его вещи погибли на «Трансбалте». Помню, все мы, капитаны, помогали ему чем могли. Интересно отметить, что Илья Гаврилович совсем не умел плавать, три раза под ним тонули суда, но он в спасательном жилете оставался на плаву.

Наши новые паровозы, как только их ставили на рельсы, не задерживаясь уходили на запад.

Остатки груза нам предстояло выгрузить в заливе Посьета, расположенном на юг от Владивостока, в нескольких часах хода. Мы без лоцмана прошли пролив Босфор-западный среди больших и малых каменистых островков. В Посьет прибыли еще засветло и ошвартовались у единственного деревянного причала.

Конечно, первыми гостями на судне были пограничники. Врач пограничников — культурный, знающий человек. По его предложению мы поехали в ближайший колхоз. С нами поехал инструктор райкома партии и старший механик Виктор Иванович Копанев. Колхоз оказался малолюдным, худосочным. Не было удобрений, планы выполнялись плохо. Мы обратили внимание на тощие посевы овса и пшеницы. В поле в основном работали женщины. Несколько старух смотрели за малыми детьми, собранными в большом неуютном помещении клуба. С питанием детей тоже было плохо, почти всю продукцию колхоз отдавал фронту, оставляя себе только крохи.

Всю дорогу на теплоход мы молчали.

— А если нам помочь ребятишкам,— спросил Копанев, когда мы поднимались по трапу,— а, Константин Сергеевич?

Я думал о том же.

— Согласен, только посоветуемся с помполитом.

Попросили в каюту помполита К. В. Рычкова, председкома Ш. Е. Окуджаву и рассказали об обстановке в колхозе. Единодушно решили поделиться с детьми своими продуктами. Но нужно согласие всей команды теплохода. Продукты принадлежали в равной степени всем морякам. Выступать на собрании поручили мне.

Перед ужином собрали экипаж. Предложение помочь колхозным детям встретило горячую поддержку. Выступавшие предлагали оставить только самое необходимое на переход, а все остальное передать колхозу.

— Справимся, у нас и от прежнего рейса немного осталось,— поддержал судовой повар.

— Поможем ребятам,— раздавалось со всех сторон.

Грузовую машину для перевозки продовольствия предоставил райком партии. Трехтонный грузовик оказался нагруженным доверху. Мука, масло, сахар, сгущенное молоко, разные крупы, мясные консервы. От команды для передачи продуктов в колхоз поехала делегация во главе с председкома.

Конечно, не только наш теплоход поделился своими продуктами с детьми. Во Владивостоке нам рассказывали о многих случаях, когда экипажи морских судов помогали детским садам и яслям. Владивосток, как и все города Советского Союза, был на строгом военном пайке.

В новый рейс мы вышли 18 июля 1945 года. Никто не догадывался о назревавших событиях. На Ялтинском совещании трех держав Сталин дал обещание выступить против Японии через три месяца после окончания войны с Германией. Это держалось в глубокой тайне.

К плавмаяку Колумбия мы подошли благополучно, без задержек вошли в Портленд и стали под погрузку. Конвойные офицеры рассказали, что сегодня сброшена атомная бомба на город Хиросиму. Потрясающее известие. Принесли газеты. Заголовки сообщали: «Уничтожено триста тысяч человек, город разрушен до основания».

— Наконец-то мы расправились с японцами,— сказал старший лейтенант из конвойной службы.— Пусть помнят Пирл-Харбор.— Однако сказал он это не слишком уверенно.— В английском языке появился новый глагол «атомик»,— хмуро добавил он,— значит, бомбить атомными бомбами.

Через много лет, читая книгу Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, я встретил там такие строки: в ходе Потсдамской конференции «глава американской делегации президент США Г. Трумэн сообщил И. В. Сталину о наличии у США бомбы необычайно большой силы, не назвав ее атомным оружием.

В момент этой информации, как потом писали за рубежом, У. Черчилль впился глазами в лицо И. В. Сталина, наблюдая за его реакцией. Но тот ничем не выдал своих чувств, сделав вид, будто ничего не нашел в словах Г. Трумэна. Как Черчилль, так и многие другие англо-американские авторы считали впоследствии, что, вероятно, И. В. Сталин действительно не понял значения сделанного ему сообщения.

На самом деле, вернувшись с заседания, И. В. Сталин в моем присутствии рассказал В. М. Молотову о состоявшемся разговоре с Г. Трумэном. В. М. Молотов тут же сказал:

— Цену себе набивают.

И. В. Сталин рассмеялся:

— Пусть набивают. Надо будет поговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы.

Я понял, что речь шла об атомной бомбе.

Тогда уже было ясно, что правительство США намерено использовать атомное оружие для достижения своих империалистических целей с позиции силы в «холодной войне». 6 и 8 августа это подтвердилось. Американцы без всякой к тому военной необходимости сбросили две атомные бомбы на мирные густонаселенные японские города Нагасаки и Хиросиму».

На следующий день мне пришлось выехать в Сан-Франциско в советское консульство.

У паровозного причала стояли готовые к отправке паровозы. На автомашинах подвозили какой-то груз. Все шло своим чередом.

8 августа прогремела весть: СССР объявил войну Японии. Об этом кричали на все голоса утренние газеты Америки. Во второй половине дня опять потрясающее сообщение: американцы сбросили еще одну атомную бомбу, теперь на город Нагасаки. Еще триста тысяч мертвецов. Трудно найти объяснение такой жестокости.

Паровозы продолжали вползать в чрево нашего теплохода. Морские дела никогда не должны останавливаться.

Популярность Советского государства в эти дни достигла высокой точки. В городе на улицах, в кафе, автобусах только и слышно: русские, русские.

— Русские им всыплют в Маньчжурии.

— Там у японцев огромная Квантунская армия.

Хорошо помню день 11 августа. Поздно вечером американское радио передало: «Агентство Юнайтед Пресс только что сообщило из Бёрна в Швейцарии, что японское правительство обратилось с предложением безоговорочной капитуляции».

В это время я был у председателя закупочной комиссии на западном берегу США контр-адмирала Рамишвили. После беседы он предложил отвезти меня на судно.

Город трудно узнать. Несмотря на позднее время, улицы полны народу. Люди шли сплошным потоком, занимая всю проезжую часть. Машины двигались с большим трудом. Нас окружили кольцом юноши и девушки. Увидев, что в машине сидят моряки, кто-то бросил в открытое окно цветы. Двое взобрались на кузов и отплясывали какой-то танец. Контр-адмирал не на шутку испугался, что машина развалится. Около часа мы не могли проехать центр города. Со всех сторон слышались радостные возгласы, пение, музыка.

— Они празднуют конец войны, а нам предстоит еще немало боев,— сказал мне Рамишвили, когда мы вырвались из бушующей толпы.— Рейс у вас очень ответственный. Никаких конвоев не предвидится, рассчитывайте только на свои силы.

На судне заканчивались погрузочные работы. Трюмы были загружены и закрыты. Кран при свете прожекторов ставил паровозы и тендеры на палубу.

На следующий день американцы принесли нам весть, что мы пойдем не во Владивосток, а через Панамский канал в Европу, ибо плавание для советских судов по дальневосточным морям очень и очень опасно. Но все это были слухи. Мы пойдем во Владивосток обычным курсом.

Отход назначен на 15 августа. Все формальности окончены. Тепло прощаемся со знакомыми американцами. Они провожают нас с печальными лицами. Несмотря на то, что в Америке отпразднована победа над Японией, они знают, что идут жестокие бои в Маньчжурии, на Южном Сахалине и на севере Курильской гряды. Первый Курильский пролив в огне.

14 августа я получил от конвойной службы секретные документы. В них предписывалось идти в Петропавловск.

В общем, я получил кипу секретных документов, и предстояло с ними еще разобраться до выхода в рейс. На всех бумагах стояла строгая надпись: «Эти документы секретны, и они никогда ни в коем случае не должны попасть в руки неприятеля. Все инструкции и опознавательные знаки должны быть немедленно сожжены при пересечении 165-го меридиана восточной долготы».

Наконец мы распрощались с морским лоцманом, он сошел с борта у плавмаяка Колумбия. Прощаясь со мной, лоцман пробурчал:

— Советую не снимать спасательного жилета ни днем ни ночью. Желаю счастливого плавания.

Погода была ветреная, и лоцманская шлюпка долго ныряла в волнах. В океане волны становились с каждым днем все круче. Однако всех радовала штормовая

погода. На волне наш теплоход отыгрывался, как всегда, прекрасно, чуть переваливаясь, как утка. Зато в такую погоду немыслима атака подводной лодки.

Теперь мы шли тайком, без всяких огней. Флаги на бортах закрашены. Наша веселая елочка — нейтральные огни зеленый, красный, зеленый — впервые не зажигалась. Вахта неслась в десять пар глаз.

Через несколько дней миновали пролив Унимак. Ответили на запрос сторожевого корабля опознавательным сигналом и направили свой путь к порту Датч-Харбор. Далее шли строго по инструкции, оставляя черные и красные буи вправо и влево, минуя колокольные буи и цилиндрические. Лоцман вечером 23 августа ввел нас в Датч-Харбор и поставил у причала. Не зная, как пойдут дела дальше, я решил пополнить запасы горючего. Теплоход поставили к пирсу, предназначенному для приема жидкого топлива.

От командира базы на «джипе» за мной приехал конвойный офицер и повез в селение Уналашка, самый большой населенный пункт Алеутских островов. Русские промышленники основали его еще в 60-х годах XVIII столетия. Поселок расположен в глубине бухты Иллюлюк и состоит из одной широкой улицы, протянувшейся вдоль берега. На окраине две старинные русские пушки на деревянных лафетах. В селении обширный склад продовольственных и промышленных товаров, маленькая лавка, где тоже торговали кока-колой, и несколько каких-то сараев, один из них исполнял роль кинотеатра. На улице видна деревянная православная церковь. Алеуты, с которыми я встречался в селении, говорили по-русски, плохо, правда, но по-русски.

Возвратившись к пирсу, я увидел свой теплоход и обомлел. Его загрузили выше всякой меры. Заботливый Виктор Иванович, наш стармех, постарался взять топлива как можно больше. Конечно, он получил «фитиль», но не сливать же топливо обратно. Во время стоянки мы сменили глубинные бомбы, дополнили боезапасы и поставили сетку на трубу для гашения вылетающих искр.

К вечеру пришел приказ следовать в Петропавловск со строгим предупреждением: заходить в порт только в светлое время суток. Нас должен встретить лоцман и провести через минные поля. Как сказал конвойный офицер, бои на острове Шумшу продолжались.

Поздно вечером 24 августа мы снялись в Петропавловск. Надо сказать, что переход был действительно ответственный. Нас могли на пути встретить не только подлодки, но и надводные корабли японцев.

Посоветовавшись с помполитом и старшим помощником, мы решили в первую же ночь сыграть тревогу, близкую к возможным событиям. Днем старпом предупредил всех о необходимости спать одетыми и обувь ставить так, чтобы ее можно было сразу найти. Обязательно класть рядом с собой электрический фонарик. В два часа ночи загремели колокола громкого боя. Надо сказать, что предварительно были перекрыты некоторые двери и в момент объявления тревоги выключен свет. Результат таков: некоторые члены экипажа смогли выйти к своим постам только через пять-шесть минут. Конечно, большинство вышли вовремя, но те, кто не успел выйти своевременно, получили хороший урок. С этого дня с фонариками никто не расставался. Все шлюпки выведены за борт, как и обычно во время военных плаваний, и снабжены всем необходимым. Но, конечно, все понимали, как нежелательна встреча с японцами.

Тем временем погода ухудшилась. Ветер от юго-запада усилился до одиннадцати баллов. Жестокий шторм. Теплоход чувствительно валяло с борта на борт, но на этот раз чем хуже была погода, тем лучше мы себя чувствовали.

Торопились мы изо всех сил, однако не успели в светлое время подойти к условленному месту. Несомненно, отсюда начинались минные поля. Чтобы не болтаться в море и не привлекать к себе внимание врага, решили идти в расположенную поблизости бухту Моржовую.

Лето кончалось, на деревьях и кустарниках по берегам бухты пестрели листья желтоватых и красноватых оттенков. Краснела крупная камчатская рябина. Березка, рябина, милые сердцу деревья, волновали душу. Вот она, родина! Здесь нет секвойи, огромные необъятные стволы которой мы видели в штате Орегон.

Здесь нет и пышной вечнозеленой растительности. Но все в этой тихой бухте казалось прекрасным, незабываемым. Здесь мы чувствовали себя дома, спокойно, словно за стенами могучей крепости.

Бухта глубокая, но узкая. Помню, с большим трудом нам удалось развернуться и встать носом к выходу.

В этот день под проводкой лоцмана мы вошли в Авачинскую губу. Я никогда не видел столь обширного скопления советских судов в одном месте, разве только во Владивостоке; с трудом отыскал местечко для своего теплохода и встал на якорь.

На рейде сновали катера и шлюпки, моряки обменивались новостями. Новости тревожные: шли ожесточенные бои на острове Шумшу. Вечером со спущенным флагом пришел номерной военный транспорт, на нем находились раненые. Когда мы отходили из Портленда, войска Камчатского оборонительного округа приступили к штурму островов Шумшу, Парамушир, Онекотан.

Остров Шумшу, отделяющийся от Камчатки Первым Курильским проливом, был крепким орешком и считался самым укрепленным островом Курильской гряды. Все участки, доступные для высадки десанта, перекрывались огнем дотов и дзотов с подземными ходами и траншеями.

В Авачинскую бухту входили искалеченные в бою транспорты с ранеными и убитыми, а выходили груженные боеприпасами и войсками.

Прошло еще три томительных дня. Моряки, участвовавшие в штурме острова Шумшу, рассказывали о чрезвычайном упорстве японцев. Каждый метр берега был полит кровью советских солдат и моряков. Кто-то рассказывал о боцмане плавбазы «Север» коммунисте Николае Вилкове. Он повторил подвиг Александра Матросова, закрыв грудью амбразуру вражеского дота. Рассказывали, что злополучный танкер «Мариуполь», погибший на берегу Первого Курильского пролива, был тоже превращен японцами в своеобразный дот.

Все мы чувствовали, что где-то недалеко, совсем рядом, гремело тяжелое сражение. Отзвуки десантов глухо доносились до петропавловского рейда.

Но вот 2 сентября вечером в Авачинской губе вдруг раздались выстрелы. Это был салют победы над Японией. Советские войска наголову разбили Квантунскую армию. Радисты на судах приняли сообщение о безоговорочной капитуляции. Кто-то из капитанов выстрелил первым, и началось... Строчили из пулеметов трассирующими разноцветными пулями, били из орудий осветительными снарядами, кое-кто стрелял и боевыми. Салют продолжался довольно долго и с трудом был остановлен капитаном порта, выехавшим к стрелявшим судам на катере. Я не удержался и тоже выстрелил из своей пушки три раза осветительными снарядами.

Мирные жители Петропавловска, всю войну не знавшие ни обстрелов, ни бомбежек, были перепуганы неожиданной канонадой. Конечно, это было самоуправство. Но трудно было морякам удержаться — уж больно радостной была весть.

Утром получили разрешение следовать во Владивосток.

Снова море. Впервые за долгое время мы шли, не думая о японских торпедах.

Находясь в проливе Лаперуза, послали радиограмму в рыбокомбинат Микояновск с запросом о судьбе кочегара Ильи Сергеевича Бургалова. Отныне нам опасаться некого. Радиосвязь свободная. Получили ответ: Бургалов вылечился и выписался из больницы. Крестные «отцы», то есть члены экипажа нашего теплохода, очень обрадовались известию.

Опасными для нас теперь были только плавающие мины.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

★

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

(1938—1955)

Историю эстетической мысли Германии отличает одна особенность. Наряду с философами в качестве теоретиков с законченной системой взглядов здесь выступали крупнейшие художники слова XVIII—XIX веков.

Если же говорить о современности, о формировании эстетики социалистического реализма, то несомненно — передовая эстетическая мысль с наибольшей яркостью воплотилась в теоретических работах Иоганнеса Бехера и Бертольта Брехта.

Наследие Бехера-теоретика разработано более полно, чем наследие Брехта. И до сих пор, спустя двадцать лет после смерти Брехта, и в ГДР и в ФРГ появляются новые архивные материалы, посвященные театру, литературе, общим проблемам эстетики.

Архив Брехта-теоретика поистине неисчерпаем. Драгоценная россыпь мыслей о времени и о себе, смелые догадки, суждения о классиках и современниках, «чреда событий мировых», свидетелем и участником которых он был,— все это наполняет его рабочие дневники.

Но о чем бы ни говорили рабочие заметки Брехта, везде виден он сам — бесстрашный борец против реакции и фашизма, страстный поборник искусства, участвующего в этой борьбе. Да, Брехт-полемист, «спорщик» по природе с резко выраженными симпатиями и антипатиями, порой бывает несправедлив в той или иной оценке, порой противоречит себе. Но «общий прицел» его всегда точен и догадки и выводы его настолько «устремлены в будущее», что без них не обойтись и во всех дискуссиях наших дней.

Большая часть заметок, публикуемых здесь, относится к предвоенному и военному времени, то есть к годам эмиграции, когда носители и наследники великих традиций немецкой культуры находились за рубежами порабощенной фашизмом страны.

И лишь последние страницы записей говорят о возвращении на освобожденную от фашизма родину, о работе в ГДР, о встречах и контактах с новым читателем и зрителем.

На первый взгляд может удивить тот накал теоретических споров о реализме, который шел в немецкой эмиграции в 1936—1938 годах. Казалось бы, что фашистская экспансия в Восточной и Средней Европе, национально-революционная война испанского народа — вся тревожная и грозная атмосфера предвоенной Европы как будто не могла располагать к решению вопросов эстетики.

Но в действительности дело обстояло не так просто. Спор об эстетических основах современного революционного искусства, спор о сущности реалистического метода был спором об идеологическом оружии в борьбе против фашизма и войны.

И та канонизация одних лишь форм классического реализма XX века, которая была стержнем выступлений Дьердя Лукача и его единомышленников (полемика

Публикуемые материалы выбраны из изданного Вернером Гехтом двухтомного издания: Bertolt Brecht. Arbeits Journal. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main. 1973. B. 1 — 1938—1942, B. 2—1942—1955; отдельную книжку составляют «Примечания» («Anmerkungen»), подготовленные также Вернером Гехтом.

Б. Брехта с Лукачем недавно представлена в журнале «Вопросы литературы», 1975, № 8), сужала эстетические потенции и возможности современного революционного искусства, потому что такое однолинейное понимание реалистического метода отлучало от реализма, переводило в разряд декадентов тех художников и писателей революции, оружием которых был и гротеск, и гиперболическое «обобщение», и ассоциативная образность.

Борьба против суженного понимания реализма была для Брехта тем более естественна, что к разряду декадентов и формалистов, по утверждению «противной стороны», относился и он сам. И, уточняя свои позиции, свое понимание реализма, Брехт блестяще раскрыл тот, так сказать, «формализм навыворот», тот отрыв формы от содержания, на котором было основано неприятие творчества ряда художников-революционеров.

Нет, Брехт великолепно понимал, что в диалектическом единстве формы и содержания ведущим всегда было и будет содержание. «Не следует держаться за форму и сравнивать одно произведение с другим только с точки зрения формы и дистиллировать некую реалистическую форму — это чистый формализм даже тогда, когда соответствующая форма извлечена из реалистического произведения».

И десять лет спустя, уже в восточной зоне, уже войдя в контакт с новым зрителем — зрителем будущего государства рабочих и крестьян Германии,— Брехт вновь возвращается к проблеме «формы и содержания»: «Тот, кто под реализмом понимает стиль, а не позицию, тот формалист, и ничто другое. Реалистический художник — это тот, кто в художественных произведениях занимает по отношению к действительности плодотворную позицию».

С этими общими положениями, естественно, связан и автокомментарий, который касается ряда прозаических и драматургических произведений самого Брехта. Конечно, проза не занимает ведущего положения в творчестве этого многообразного и единого художника.

И все же в автокомментарии к «Делам и дням господина Юлия Цезаря», где Брехт вскрывал экономико-социальную основу политики цезаризма, есть многое, что наводит на размышления (например, запись, касающаяся Луция Сергия Катилины, в чем-то перекликающаяся с «Катилиной» А. Блока).

Роман о туи, о котором упоминается в записках неоднократно, остался в фрагментах, хотя сама тема туи занимала Брехта до конца жизни (он вернется к ней в последней из написанных им драм — «Турандот, или Конгресс обелителей»).

Туи Брехта — это буржуазные интеллигенты, для коих знания, мнения и убеждения — товар, который с наибольшей для себя прибылью сбывается верхушке правящих классов в целях укрепления основ буржуазного строя. Туи — это обелители (Weisswascher), которые даже и черного кобеля способны отмыть добела, причем с квалифицированной помощью идеалистической философии.

Любопытно, что закончить роман о туи Брехту отчасти помешал его переезд в США. «Здесь нельзя разоблачать продажу мнений,— сетует он.— Она ходит тут нагишом».

Еще более значителен автокомментарий к ряду драматических произведений Брехта. Со всей силой и убежденностью восстает он в нем против попыток буржуазной критики «интегрировать» в общий строй буржуазной культуры его собственное творчество. Нет, справедливо возражает своим «доброжелателям» Брехт, его «Жизнь Галилея» — это не проповедь, а разоблачение оппортунизма. Галилей, по мнению создавшего его художника, погубил себя дважды: первый раз — когда под страхом пытки отрекся от истины, второй — когда санкционировал тот отрыв науки от народа, который неизбежно должен сделать ее оружием в руках политиков капиталистического общества.

И драма «Мамаша Кураж и ее дети», которую буржуазная критика трактует как гимн в честь неисчерпаемой жизнеспособности женщины-самки, для Брехта (и объективно) — горькое повествование о том, как социальное устройство собственнического общества испортило превосходный человеческий материал, ввело в новые, «античеловеческие» сцепления такие качества, как жизнестойкость, ум, проницательность, способность к независимому суждению.

С великим уважением и благодарностью говорит Брехт о новом зрителе — рабочих ГДР, которые не в пример буржуазным специалистам культуры глубоко и точно поняли все, что хотел сказать драматург печальной и гневной повестью о мамаше Кураж и ее погибших детях.

Брехт в заметках своих, естественно, говорит не только о себе, но с увлечением и страстью высказывается о художниках разных времен, стран, разных «родов оружия». Тут и достаточно смелые, хотя и не слишком обоснованные догадки, например о том, что Шекспир — это не одно лицо, а целый авторско-актерский коллектив, в котором, возможно, Шекспир был «заведующим литературной частью». Тут и несколько досадливое ощущение шиллеровского пафоса. И если перейти к современникам — очень справедливое неприятие мертвого мастерства Стефана Георга, а рядом с этим явная недооценка поэзии Рильке.

Старое предубеждение против творчества обоих братьев Маннов (особенно Томаса) сквозит в нескольких записях Брехта. Но с Генрихом Манном, когда оба они ели горький хлеб изгнания в США, Брехт быстро нашел общий язык. Сблизила их прежде всего любовь к Стране Советов, вера в ее победу над гитлеровской Германией, понимание того, что советский народ ведет битву и за все человечество, за будущее нашей планеты.

Нельзя без волнения читать о том, как эти немолодые (как Брехт и Фейхтвангер) или старые (как семидесятилетний Генрих Манн) писатели по-юношески, по-детски радуются каждому успеху Советской Армии (начиная с 1941 года!), сердцем постигая мировое значение битвы под Москвой и всех действий Советской Армии. «И день и ночь на заснеженных полях под Смоленском бушует бой за достоинство человека»,— записывает Брехт в рабочий дневник 12 апреля 1942 года.

И наконец записи 1948—1955 годов, уже на родине, освобожденной, и в гостях — в Советском Союзе. Этот цикл заметок можно было бы озаглавить «Брехт — счастливый». Не потому, что в работе, в отношениях с людьми, в дискуссиях со зрителями все гладко и бесконфликтно. Нет, не все просто.

Если рабочие, которых не без известных опасений Брехт сделал первыми зрителями постановки «Мамаши Кураж», в понимании смысла пьесы превзошли все, на что можно было надеяться, то, скажем, в дискуссии с рабфаковцами взаимопонимания не получилось. Основная причина этого, по мысли Брехта (несомненно справедливой), заключается в том, что когда «продукты мысли заучиваются наизусть», само мышление хиреет. «Художественные произведения тоже не изучаются по-настоящему, особенно невнимательно относятся к самой художественности».

Неумение воспринимать литературу как специфическую форму идеологии Брехт отмечает и в монографии, посвященной творчеству Горького и его, Брехта (написанную студенткой Лейпцигского рабфака). «Идеология, идеология, идеология,— замечает Брехт.— Ни одного эстетического понятия; все в целом напоминает описание кушанья, в котором ничего не сказано о вкусе».

Однако эти проявления наивного начетничества не обескураживают Брехта: «И все-таки это лишь детские болезни, ничего более страшного».

Великолепная диалектика вкусов и суждений Брехта проявляется и в его высказываниях о нашем советском искусстве, в горячем признании и той постановки «Бани» Маяковского, которая была осуществлена в начале 50-х годов Театром сатиры, и «Горячего сердца» во МХАТе, в восхищении гением Эйзенштейна (чьи работы он видел и в США) и гением Станиславского.

50-е годы — это годы мировой славы, мирового признания Брехта, справедливой оценки всей его гигантской работы. Один из лучших исследователей Брехта, Вернер Миттенцвай, справедливо сказал о нем: «Стремление дать человеку своего времени необходимые книги и необходимый ему театр, именно те книги и тот театр, которые ему нужнее всего, и придает долгую жизнь творчеству Брехта». Думаю, что это сказано точно. Наибольшее право на жизнь в веках обретает лучший выразитель главных задач и стремлений своего времени.

Е. КНИПОВИЧ.

ДАНИЯ (20.7.38 — 15.3.39)

20.7.38

Катилина[1], бесспорно, счастливейшая находка плебса. Прескверная личность, даже если соскрести с него грязь, которой забросал его господствующий класс. Но, возможно, именно потому, что он отбросил все тормоза, именно благодаря своей полнейшей аморальности, продажности, оголтелости, отсутствию предрассудков он сумел пробиться через господствующие — господствующие также и у плебса — идейные туманности. Это была попытка мобилизовать рабов, вернее, готовность к этому (которая была готовностью на в с е). Вся цезаревская «концепция» заключена в ней в той мере, в какой она являлась концепцией city[2], с италийской программой, с проектами поселений и т. д., но плюс еще, что направлено уже против city, отмена долгов и апелляция именно к рабам. Тем самым плебс предлагал свою программу авантюристу, который и ухватился за нее. Без рабов осуществить ее было невозможно. В осуществлении ее на практике этот человек и погиб. Две тысячи лет его забрасывают грязью господствующие классы — таково следствие.

23.7.38

Работая над «Цезарем» — это я открыл теперь,— я ни одного мгновения не вправе думать, что все должно было произойти так, как произошло. Что, скажем, рабство, сделавшее столь невозможной политику плебса, нельзя было отменить. Поиски причин для всего происходившего делают историков фаталистами. Кроме всего прочего, рабство в ту эпоху уже превратилось в препятствие для дальнейшего «прогресса». Вся эта болтовня о том, что рабы нужны были потому, что не было машин, так поверхностна и безбрежна. В конце концов, общество не имело машинизации потому, что существовали рабы. Что это за общество? Разве рабам нужно было рабство, потому что у них не было машин? Рабы составляли две трети населения Италии. Мне надо показать, как, пытаясь сохранить рабство, все общество погрузилось в рабство. Ни один сенатор или банкир времен Цезаря не обладал такой личной безопасностью, свободой передвижения, возможностью проявлять политическую инициативу, как почти любой во времена Цицерона. Сенаторы и банкиры оплачивали свои пруды с рыбами утратой всякого достоинства. И никакой Цезарь, по сути, не имел власти одного из многих консулов республики.

25.7.38

Вся ц[езаревская] концепция бесчеловечна. С другой стороны, нельзя показать бесчеловечность без того, чтобы тут же не дать представления о человечности. Нельзя показать одну общественную систему, не показывая другую. И я не могу писать только с сегодняшней точки зрения, я даже должен для того времени видеть возможность другого пути. Холодный мир, холодное произведение. И все-таки я между писанием и во время писания вижу, как мы пали в человеческом отношении.

Здесь Беньямин[3]. Он пишет эссе о Бодлере. Там есть хорошие страницы, он показывает, как представление о грядущей после 48 года эпохе, лишенной истории, деформировало литературу. Версальская победа буржуазии над Коммуной. Она вычислена заранее. Ко злу приспособились. Оно обрело форму цветов[4]. Это полезно читать. Как ни странно, писать Беньямину помогает сплин.

---

[1] Катилина Луций Сергий (около 108—62 до н. э.) — обедневший римский патриций, готовивший государственный переворот. Фигурирует в незаконченном романе «Дела господина Юлия Цезаря», над которым Брехт работал в 1938—1939 годах, находясь в эмиграции в Дании.

[2] Город. Здесь — деловые круги *(англ.)*.

[3] Беньямин Вальтер (1892—1940) — немецкий критик, философ и публицист; друг Брехта.

[4] Намек на «Цветы зла» Бодлера.

Он исходит из чего-то, что называет а у р о й — связывает это со снами (снами наяву). Он говорит: когда чувствуешь на себе взгляд, даже в спину, отвечаешь на него (!). Ожидание того, что, если ты на кого-то посмотришь, он посмотрит на тебя, и создает аура. В последнее время аура, по его утверждению, стала исчезать вместе с культовостью. Б[еньямин] обнаружил это при анализе кино, где аура разрушается из-за возможности репродуцировать произведения искусства. Все это мистика — при отрицательном отношении к мистике. И в такой форме адаптируется материалистический взгляд на историю! Довольно страшно.

Вместе с Гретой[5] перевожу воспоминания Андерсена-Нексе. Они мне нравятся, несмотря на психологическое препарирование и морализацию, потому что в них еще много сырого материала. Его пролетаризм респектабелен. Но есть прекрасные места, где рисуется солидарность неимущих.

12.8.38

Материализм у нас, немцев, лишен чувственности. «Дух» у нас всегда размышляет о духе. Тела и предметы остаются неодухотворенными. В немецких песнях о вине речь идет сплошь о его духовном воздействии, даже в самых грубых песнях. Винными бочками в них не пахнет. Мир для нас невкусен. В любовь мы внесли нечто уютное, половое наслаждение для нас нечто банальное. Когда мы говорим о вкусе, мы опять-таки имеем в виду что-то чисто духовное, язык в этом давно не принимает участия, это нечто вроде чувства соответствия. Обратите внимание на это словосочетание: «чисто духовное». Достаточно прикоснуться к материи, чтобы дух у нас загрязнился. Материя для нас, немцев, в большей или меньшей степени грязь. В нашей литературе повсюду чувствуется это недоверие к телесной жизни. Наши герои собираются в компании, но не едят; у наших женщин есть чувства, но нет задниц, зато наши старцы говорят так, словно у них еще все зубы целы.

25.9.38

Очень важно для «Цезаря» — капитуляция господствующего класса Франции перед гитлеровской военной угрозой, нарушение договора, которое стерло Чехословакию с географической карты и положило конец Франции как великой державе. Они ведут только захватнические войны. Они оправдывают разбой, если сами его совершают и плоды достаются им. Во имя гешефта они в любой момент жертвуют политической властью, если действительно возникает подобная поразительная альтернатива. Война при сорокачасовой неделе[6]? Невозможно. Эти люди дают великолепный пример жестокой логики и иммунитета по отношению к кумирам. Как, защищать страну, раз это не их страна?..

25.2.39

Во введении к своей «Эстетике» Гегель исключительно хорошо пересказал аристотелевскую теорию искусства. Вот что мне кажется зерном:

«Так, например, конечной целью человеческого общежития и государства признают развитие и проявление в с е х человеческих способностей и в с е х индивидуальных сил во в с е х направлениях и сторонах. Но в отношении такого формального взгляда довольно скоро возникает вопрос, в какое е д и н с т в о должны сливаться эти многообразные проявления, какая е д и н а я ц е л ь должна быть их основным понятием и конечным устремлением. Как в отношении понятия государства, так и в отношении понятия искусства возникает потребность в цели — отчасти в о б щ е й всем частным сторонам цели, отчасти же в высшей с у б с т а н ц и а л ь н о й цели»[7].

«Жизнь Галилея» в техническом отношении большой шаг назад, равно как

---

[5] Ш т е ф ф и н М а р г а р е т (1908—1941) — сотрудница Брехта.

[6] Очевидно, имеется в виду требование Народного фронта во Франции о введении сорокачасовой рабочей недели.

[7] Г е о р г В и л ь г е л ь м Ф р и д р и х Г е г е л ь. Эстетика. М. «Искусство». 1968, т. 1, стр. 54.

пьеса «Винтовки Тересы Каррар»[8] слишком оппортунистична. Если хотеть, чтобы ощущался «этот бриз, веющий с новых берегов», эта розовая утренняя заря науки, «Галилея» следовало бы полностью переписать. Все дать более прямо, без интерьеров, без атмосферы, без сопереживания. И все построить на демонстрациях планет. Членение пьесы можно сохранить, характеристику Галилея тоже. Но эту работу, работу увлекательную, можно делать только на практике, в контакте со сценой. Сперва надо изучить фрагмент из «Фацера» и фрагмент из «Булочной»[9]. Оба эти фрагмента — самый высокий технический стандарт.

26.2.39

«Философия истории» этого Гегеля — зловещее произведение. Его метод не только позволяет ему увидеть позитивное и негативное в каждом историческом явлении, но и изобразить именно эту полярность как причину развития. Великолепно это описание формализма конституции при императорах, где богатство было «не плодом индустрии». Как замечательно на нескольких сжатых страницах выступают поворотные пункты. Например, как Гракхи стараются «заселить Италию не рабами, а гражданами». При Цезарях она обезлюдела! И как обнажаются внутренние противоречия при Цезаре, как создается империя, которая «гибнет под грузом налогов и грабежей»! Сравним упоминание во «Введении» Цезаря как «управляющего мировым духом»! В этих «духовных вождях», в этом духовном вожде неодолимо выступает перед классами, перед разложившимся сенатом и опустившимся плебсом их собственный внутренний дух! И после того как «из подорванного государства вышли эти колоссальные индивидуальности», индивидуальные черты цезарей становятся настолько незначительными, что, как говорят, «римский мир под владычеством самого жестокого и отвратительного тирана (Домициана) отдохнул». Я не продвинулся с «Цезарем» вперед, решив было, что понять его невозможно. Теперь же я получил поддержку: сюда приехала из Германии сестра Греты, жена рабочего-металлиста. Она в течение одного вечера прочитала вторую книгу и нашла ее очень интересной. Расспросы Греты показали, что она почти все поняла. Беньямин и Штернберг[10], в высшей степени квалифицированные интеллектуалы, не поняли книгу и настоятельно предлагали внести в нее все же побольше человеческого, побольше от старого романа! Здесь еще и Штефф[11], который настаивает на продолжении. Этого должно быть достаточно.

5.3.39

Интересна новейшая «реалистическая» американская литература (Кейн, Кой, Хемингуэй). Эти люди протестуют против обычного описания определенной обстановки, рассчитывают на прелесть новизны «непредвзятого» описания. Но все очень сосредоточено на формальном. Все начинается с кинофабулы (а кончается Голливудом). Кино, особенно немое, потребовало неожиданно много действия (поглотило экспрессии). Психологи пришли тогда к бихевиоризму — это психология, увиденная киноглазом. Литература теперь догоняет. Но у этих hard boiled men[12], то есть бесчувственных людей, речь идет в конце концов об изготовлении hot stuff[13], они должны порождать эмоции, эти члены великой шатии производителей эмоций, кем они являются. Они возвращаются — это самое удобное — к эмоциям как движущей силе. Они придают всем — man in the street[14], newdealtyp[15] Рузвельта, механику гаража, сельскохозяйственному рабочему, репортеру — по

---

[8] «Винтовки Тересы Каррар» — одноактная пьеса, написанная Брехтом в 1937 году. Над «Жизнью Галилея» Брехт работал в 1938—1939 годах.

[9] Брехт имеет в виду свои незаконченные пьесы «Гибель эгоиста Иоанна Фацера» и «Булочная», над которыми он работал в 1927—1930 годах.

[10] Штернберг Фриц (1895—1963) — немецкий философ и социалист.

[11] Штефан — сын Брехта.

[12] Толстокожие люди *(англ.)*.

[13] Острая продукция *(англ.)*.

[14] Простой человек *(англ.)*.

[15] Человек «нового курса» *(англ.)*.

новому мотору в 10 лошадиных сил вместе с соответствующими тормозами. Так создается обыватель со скоростным мотором внутри, романтическая натура. В сущности, это обобранный до нитки (high strung [16]), доведенный рационализацией до second spirit [17], задыхающийся, боящийся безработицы, из последних сил конкурирующий бедный черт, который выступает здесь таким героем и силачом, что сцена проламывается.

ШВЕЦИЯ (23.4.39 — 19.3.40)

4.5.39

Доклад в Стокгольмском студенческом театре. «Экспериментальный театр». Работа кажется вполне приемлемой. Конечно, я не ставил таких определенных вопросов и не проводил таких целеустремленных экспериментов, как может показаться по докладу. Я включил «в дело» эпические элементы. Позаимствовал у Театра Карла Валентина [18], у цирка на открытом воздухе. Затем кино, особенно немое кино раннего периода, которое еще не копировало театральную дрррраматургию (Чаплин). Когда выявились трудности учебного театра, этот «стиль» был использован и модифицирован. Доклад показывает внешнее развитие, рассказ об экспериментах вызывает размышления, указывает на цели и т. д. Он — хорошее вступление к статье «О новой технике театрального искусства».

11.9.39

Г[ерберт] Д[жордж] Уэллс опубликовал речь, которую он хотел произнести на конгрессе ПЕН-клуба. Ну что за исполин обывательщины! Он рассматривает гитлеров и муссолини просто как писателей. И находит их глупыми. Словно отсутствие литературной одаренности не может помешать даже самому умному показаться умным в литературном произведении. Сам Уэллс — противоположный пример. Посредством известной ловкости литературного свойства он без труда создал впечатление здравого человеческого разума...

8.12.39

Мне принадлежат:
китайская картина на свитке — «Скептик»
3 японские маски
2 китайских коврика
2 баварских крестьянских ножа
1 баварский охотничий нож
английский каминный стул
медная ножная ванна, медные кувшины, медные пепельницы, латунная ванночка
2 большие доски Неера [19] — «Старик» и «Ваал»
6 досок Неера — «Мера»
несколько оттисков «Хозяина рыб» Неера
серебряная фляжка для виски
данхилловская трубка
«Цезарь» в переплете из свиной кожи
старое издание Лукреция
полный комплект «Ойе цайт»
«Ме-ти» в кожаном переплете
старая деревянная койка
серое одеяло
стальные карманные часы

[16] Натянутый, как струна *(англ.)*.
[17] Изнеможение *(англ.)*.
[18] Валентин Карл (1882—1948) — немецкий драматург и актер, автор эстрадных программ и комедий, сам их и исполнявший.
[19] Неер Каспар (1897) — немецкий театральный художник, старинный друг Брехта, создавший декорации ко многим его спектаклям.

2 тома «Опытов»
фотоаппарат «Лейка» с театральной линзой
гипсовый и бронзовый слепок с моего лица и головы
бюст Вайгель работы Сантессон
папка с фотографиями
рукописи «Святой Иоганны», «Круглоголовых», «Галилея», «Кураж»
2 тома репродукций Брейгеля
кожаная записная книжка
кожаный кисет
черное кожаное пальто
старый круглый стол

19.3.40

Обдумываю небольшую эпическую работу «Опасения господина Койнера», нечто в манере «Кандида» или «Гулливера». Господин Койнер опасается, что мир может стать непригодным для обитания, если человеку ради того, чтобы заработать себе на жизнь, необходимо совершать слишком большие преступления или проявлять слишком большие добродетели. И господин Койнер бежит из одной страны в другую, поскольку всюду от него требуют чересчур многого — то готовности к самопожертвованию, то храбрости, или ума, или свободолюбия, или жажды справедливости, то жестокости, обмана и т. д. Во всех этих странах жить невозможно.

ФИНЛЯНДИЯ (17.4.40 — 13.7.41)

12.6.40

Кокто[20] утверждает, что идея камуфляжа танков исходит от Пикассо, который подал ее перед мировой войной французскому военному министру, для того чтобы делать солдат невидимыми. Кокто задается вопросом, не разрисовывают ли дикари свою кожу не столько для того, чтобы устрашать, сколько для того, чтобы стать невидимыми. Это хорошая мысль. Можно сделать что-либо невидимым, разрушая его облик, придавая ему неожиданную форму, причем делая его, скажем, не незаметным, а бросающимся в глаза, но непривычным!

Немцы идут на Париж.

20.6.40

В общем и целом «Добрый человек из Сезуана» закончен. Материал заключал в себе большие трудности, и многие попытки справиться с ними, предпринимавшиеся мной в течение примерно десяти лет, не удавались. Прежде всего надо было избежать схемы. Ли Гунг[21] должна быть человеком, чтобы суметь быть добрым человеком. То есть она не стереотипно добрая, совсем добрая, в каждое мгновение добрая,— не такая она и когда выступает в образе Ли Гунг. И Лао Го не стереотипно злая и т. д. Переход обеих фигур одна в другую, их постоянный распад и т. д. удался, кажется, лишь наполовину: нужно, чтобы великий эксперимент (присоединить к заповеди любви к ближнему заповедь любви к самому себе, к «ты должен быть добрым к другим» — «ты должен быть добрым к самому себе») поднялся над фабулой и вместе с тем подчинил ее себе. Нравственные обязательства необходимо социально мотивировать, однако они могут быть приписаны также особому складу (особому таланту, особым наклонностям).

Французские генералы закончили войну так же вяло, нерадиво и предательски, как ее начали французские политики...

24.6.40

Критик Хагар Олссон показала мне французский художественный журнал с «Герникой» Пикассо (все фазы). Это произвело на меня сильное впечатление,

[20] Кокто Жан (1889—1963) — французский писатель и художник.

[21] Имена Ли Гунг и Лао Го впоследствии были изменены Брехтом на Шен Де и Шой Да.

и я решил когда-нибудь сделать что-то в этом направлении. Это художественное выражение времени, астрономы которого объясняют мир картиной разрывающейся гранаты. Варварский штурм, разламывающий мир, художественный штурм, сгребающий в кучу такие обломки! Интересные романтические v-эффекты [22] при соблюдении классицистской формы.

2.7.40

Книготорговец Олсони привел с собой литературоведа, работающего над Малларме [23]. Он показывает несколько знаменитых стихотворений, которые поносятся или обожествляются, потому что в них «нет смысла». Разумеется, в них есть смысл, хотя и очень неустойчивый. Разрушение привычных связей вызывает небольшой шок, вот и все. Ошибка М[алларме] в том, что он часто слишком однородно смешивает слова (зародыши ассоциаций) конкретного и абстрактного характера. Его страх перед банальным приводит зачастую к банальностям. Его стихи постоянно требуют того, чтобы определенные слова или группы слов воспринимались конкретно, но затем решительно требуют от читателя, чтобы он не воспринимал так другие слова в той же строфе. Я пытался объяснить слушателям переключение лирики на жестикуляционность. Трудность этой попытки в том, что новые жесты кажутся недостаточно театральными (и изысканными). Затем мешает отсутствие складок на одеяниях — трудно сделать их на комбинезоне.

4.8.40

К вопросу о р е а л и з м е: принято считать, что произведение искусства тем реалистичнее, чем легче в нем узнается реальность. Такому пониманию я противопоставляю определение, согласно которому произведение искусства тем реалистичнее, чем явственнее в нем освоена реальность. Простое узнавание реальности часто затрудняется таким изображением, которое учит осваивать ее. Сахар наших химиков узнать нелегко. Это, конечно, исключительный пример, но он свидетельствует о границах (широких). Во всяком случае, надо учитывать, реалист ли художник, то есть реалистически ли он действует, когда пишет, освобождает ли он реальность от всех искажений и иллюзий и воздействует ли на реальные действия своих читателей; не следует держаться за форму и сравнивать одно произведение с другим только с точки зрения формы и дистиллировать некую реалистическую форму — это чистый формализм даже тогда, когда соответствующая форма извлечена из реалистического произведения. В качестве примера реалистического произведения искусства следует признать притчу Ленина о восхождении на высокие горы [24].

9.8.40

О сокращениях в классическом стиле: если я на одной странице достаточно много опущу, то дам читателю полный эквивалент представления о единственном слове «ночь», скажем, во фразе «Когда наступила ночь». Инфляция — смерть для любой экономики. Лучше всего пусть слова уволят свою свиту и выступят друг перед другом с таким достоинством, какое они только могут найти в самих себе. И совершенно неправильно говорить, что классики забывают о чувственных восприятиях читателя, напротив — они рассчитывают на них. Наши сенсуалисты подобны существам, обладающим лишь спинным мозгом; чтобы почувствовать что-то в подошве, они должны затопать, как Наполеоны. Читаю

[22] Verfremdungs-Effekt («эффект очуждения») — введенный Брехтом театральный термин, означающий принцип объективирования изображаемых явлений, то есть показа знакомых, примелькавшихся явлений и характеров с непривычной, «очужденной» стороны. В своих работах Брехт обычно обозначает его буквой «v».

[23] М а л л а р м е С т е ф а н (1842—1898) — французский поэт-символист.

[24] Речь идет о работе В. И. Ленина «Заметки публициста. О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе торговли, об отношении к меньшевикам и т. п.» (В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 44. стр. 415—423). Брехт неоднократно возвращался к этой работе, называя ее «образцом реалистического произведения искусства».

небольшое эссе Литтона Стрэчи[25] о Расине. Он тоже замечает, что в новейшей драматургии Расин восторжествовал над Шекспиром (почти каждая пьеса — лишь последний акт елизаветинской пьесы). Этот принцип победил даже в романе...

24.8.40

Я лишь мельком заглянул в маленький томик стихотворений Вордсворта, изданный Арнольдом. Попал на «She was a phantom of delight»[26] и подумал об этой столь отдаленной от нас вещи: сколь многогранна функция искусства и сколь осмотрительным надо быть, давая наставления. Даже такие «полочки», как «мелкобуржуазная идиллия», опасны. Существуют мелкобуржуазные тенденции, направленные на увековечение и укрепление мелкой буржуазии как класса, и существуют у мелкой буржуазии тенденции другого рода, противоречащие первым тенденциям. Мелкий буржуа, патрулирующий сегодня с охотничьим ружьем и с бутылкой, начиненной динамитом («испытанной против танков во время гражданской войны в Испании», как заверяет генерал по радио) английские поля, мог бы выдвинуть против своего Вордсворта некоторое обвинение, но именно в этой нечеловеческой ситуации

a lovely apparition, sent
to be a moment's ornament[27],—

может вызвать воспоминание о более достойных человека ситуациях. По крайней мере, в данный момент эта поэзия не служит больше тому, чтобы to haunt, to startle, to waylay[28]. Искусство — область автономии, но никоим образом не автаркии. Несколько тезисов.

1. Критерий для оценки произведения искусства — может ли оно обогатить какого-либо индивидуума новыми возможностями переживания. (В известных обстоятельствах — индивидуума, обогнавшего массу, которая, однако, в состоянии догнать его, если только известно направление движения.)

2. Могут быть обогащены такие возможности выразительности, которые, собственно говоря, не являются возможностями переживания, а скорее лишь возможностями коммуникации. (В известных обстоятельствах можно спросить, насколько «как?» связано с «что?», а «что?» связано с определенными классами.)

3. Лирика никогда не является просто выражением. Лирическая рецепция — операция, подобная, скажем, видению или слышанию, но гораздо более активная. Писание стихов следует рассматривать как человеческую деятельность, как общественную практику со всей противоречивостью, изменчивостью, как деятельность, обусловленную историей и творящую историю. «Отражать» или «держать зеркало» — вот в чем разница.

7.9.40

Гёте его время одарило больше, чем Шиллера. Он заботился о приватном, а не политическом освобождении, освобождении не коллектива, а индивидуума. Поэтому в идеологическом смысле Шиллер кажется нам более причастным нашей современности.

12.9.40

Ничто так не чуждо искусству, как старание «сделать нечто из ничего». Разумеется, в искусстве дело не обстоит таким образом, что великие занимаются только великим или все, чем они занимаются, становится великим. Суть в том, что маленькое изображается маленьким, великое — великим. В каждой теме заложено столько-то, и именно столько нужно извлечь из нее, не больше, но и не меньше. Если тема будет перегружена, всему конец. Когда тему исчерпывают полностью, немедленно создается впечатление пустоты. Углубить свою тему зна-

[25] Стрэчи Джил Литтон (1880—1932) — английский писатель, автор биографических романов.

[26] «Она была фантомом радости» *(англ.)*.

[27] Прекрасное видение, навеянное затем, чтобы украсить мгновение *(англ.)*.

[28] Наставлять, будоражить, указывать путь *(англ.)*.

чит выбить дно из своей бочки. Конечно, всякая незамеченная возможность, заложенная в какой-либо теме, яростно мстит за себя. Пусть в произведении будет сколько угодно «другого», все равно перевесит то, чего не хватило.

20.9.40

Что такое национальная литература, иначе говоря, литература вообще, я, собственно, понял лишь этим летом, когда стал больше читать по-английски. Эта великая последовательность поколений в литературном мире, эти сражения и связи, эти обновления, которые являются исправлениями, эта традиция, которая облегчает прогресс, вместо того чтобы препятствовать ему! Кажется, будто эти литераторы трех столетий живут в одном городе в одно и то же время, они знают друг друга и соперничают между собой, и есть одна биржа, которая котирует ценности, есть войны и битвы, подлинные даты, истинные монументы. И все конкретно. Речь идет о книгах, авансах и тиражах, это огромная торговля идеями и репутациями.

25.9.40

Вот что долгое время мешало моей работе для сцены: я хотел создать притчу для всеобщего наставления, но не имитируя жизнь в ее противоречивости, тем более не возбуждая чувства, чтобы тем массировать вялые души. Однако увеселение людей вполне может быть занятием и для трезвого человека, а из беспорядочного куска жизни, зачерпнутого полной лопатой, мудрый извлечет достаточно. Но это иная мудрость, она достигается при другой позиции; рассказчик все время, так сказать, поступается своим достоинством, то есть своим личным, а не общественным достоинством, он вращает глазами, его пульс учащается, и руки дрожат от алчности при сдаче и мошеннической тасовке карт. Не будь у меня такого представления об этом, я мог бы создать пьесы куда более наивные и цветистые, а также преисполненные большего отчаяния...

20.11.40

Во время дискуссии постоянно слышишь, будто драма — это совсем простая вещь, нужна только захватывающая полнокровная story [29], хорошо скомпонованная, талантливо и сильно поставленная, вещь, от которой у слушателя подкашиваются ноги и т. д. И думаешь, как мало «естественно» все это, как надуманно, искусственно, перенасыщено чувствами, превращено в отрасль торговли наркотиками, в стандартизированный товар. Но продукт определенной исторической фазы, каким бы сложным и искусственным он ни был, всегда несет на себе отблеск рожденного природой, разумного, бесспорного. Да и противоречивость заключена у него целиком внутри, как болезнь, как нечто опасное, как бы хорошо он ни знал, что ему предстоит встретиться с опасностью, которая угрожает всему. Изменение функции театра можно понять только в историческом освещении. Натурализм — вот кто столкнул вошедший в обычай театр с его новой общественной функцией.

8.12.40

Утверждение, будто Шекспир не может быть автором приписываемых ему пьес, поскольку необразованный человек не в силах написать такие пьесы, несостоятельно. Как мало нахватанных знаний нужно, чтобы создать на сцене видимость глубокой учености. Так же как актер, даже если он глуп, может играть умных людей, просто копируя их повадку, так и драматург, даже если он невежествен, может в своих пьесах демонстрировать познания. Ему не надо приобретать знания, ему надо лишь понаблюдать за знающими, и прежде всего ему незачем знать хоть на одно слово больше, чем требуется для его текста.

Что заставляет меня думать, что шекспировские пьесы создавал небольшой коллектив, так это не мысль, будто один человек не мог написать эти пьесы, потому что один человек не может быть одновременно столь поэтически одарен, разнообразно сведущ и всесторонне образован. Я только нахожу, эти пьесы чисго

[29] Фабула *(англ.)*.

технически так сконструированы, что мне видится в этом коллективная работа. Состав коллектива необязательно был всегда один и тот же, он мог работать, очень свободно меняясь, Шекспир, вероятно, был главным человеком, он мог иметь лишь случайных сотрудников и т. д., но столь же не исключено, что ведущие идеи подавались каким-нибудь высокопоставленным лицом, которое постоянно использовало Ш[експира]. Сам я склонен считать, что Ш[експир] был заведующим литературной частью. Использование старых пьес, необходимость создавать репертуар, писание ролей, рассчитанных на определенных исполнителей, текст пьес, который выглядит как суфлерский экземпляр, торопливо склеенные роли, наивная радость от театральности и изобретательное ремесленничество, то обстоятельство, что как лирика, так и размышление целиком и полностью связаны со сценой и зависимы от нее,— все это говорит, что автором был актер или руководитель театра.

19.12.40

История нового театра начинается с натурализма. Он стремится обрести новую общественную функцию. Попытка освоить реальность начинается с пассивных драматургов и пассивных героев. Установление социальной причинности начинается с изображений таких состояний, когда все человеческие действия являются всего лишь реакциями. Причинность эта носит детерминированный характер. Типична пьеса со взрывом. Над определенными людьми, семьями, группами сгустились тучи, теперь разражается гроза. Социальная среда имеет характер фетиша, она — судьба. Играется всегда лишь последний акт событий. Новая драматургия начинает с недраматического. Два лозунга: резкость изображения (веризм) и мало действия! Судорожно сохраняется трагичность, хотя несколько незначительных реформ в любое время могли бы дать облегчение. Все решающее происходит между словами, за сценой, в подтексте диалога. Активный элемент проникает в виде передовицы (хоровая декламация, зонг). Этому упрямо противостоит молодой пролетарский театр агитпропа, в котором реальность является лишь иллюстрацией.

20.12.40

Ясно, что театр очуждения — это театр диалектики. Однако до сих пор я не мог объяснить этот театр, применяя понятие диалектики: для людей театра было бы легче понять диалектику через театр очуждения, чем театр очуждения через диалектику. С другой стороны, требование так воплотить реальность, чтобы на нее можно было воздействовать, было бы почти невозможно без указания на противоречивый характер условий, событий, персонажей, в которых происходит процесс изменений, ибо без познания их диалектической природы на реальность нельзя воздействовать. V-эффект позволяет изобразить эту диалектическую природу, такова его задача; он объясняет себя через нее. Уже при составлении списка действующих лиц, который должен облегчить сценическую аранжировку, недостаточно, например, указывать только социальное качество; обозначения действующих лиц должны содержать также и критический элемент, уведомлять о противоречии. Они должны допускать полную сценическую аранжировку, то есть диалектика (противоречивость, процесс изменения) должна стать конкретной. Мировые загадки не разрешаются, а показываются.

Что касается воздействия: эмоции будут показаны как противоречивые, переходящие одна в другую и т. д. Зритель во всех отношениях становится диалектиком. Тут постоянно происходит скачок от особенного к общему, от индивидуального к типическому, от нынешнего дня ко вчерашнему и завтрашнему, тут единство несогласуемого, прерывистость безостановочного. Здесь действуют v-эффекты.

12.1.41

В любом исследовании прежде всего нельзя забывать, что *неаристотелевский театр* является всего лишь *одной* из форм театра; он слу-

жит определенным общественным целям и, что касается театра в целом, не собирается быть узурпатором. Я сам в некоторых постановках могу использовать аристотелевский театр наряду с неаристотелевским. В нынешней постановке, скажем, «Святой Иоганны скотобоен» может оказаться полезным подчас вызвать сопереживание с Иоганной (допустить — с сегодняшней точки зрения), поскольку этот персонаж проходит процесс познания, так что сопереживающий зритель с подобной позиции может очень хорошо рассмотреть основные слагаемые события. Однако ныне всегда найдутся зрители, предпочитающие смотреть на этот персонаж извне. Для них более подходит неаристотелевский театр.

31.1.41

Когда же наступит время, чтобы стал возможным такой реализм, каким ему позволила бы стать диалектика? Самоизображение определенных состояний как скрытых и находящихся во временном состоянии равновесия, но нарастающих конфликтов сегодня наталкивается на чрезвычайные трудности. Стремясь к определенной цели, пишущий исключает слишком много тенденций того положения, которое ему нужно изобразить. Нам непрестанно приходится идеализировать, ибо нам непрестанно приходится принимать одну сторону, тем самым пропагандируя ее.

1.2.41

О неаристотелевском театре: копии действительности, применяемые театром, могут быть очень неточными, и тем не менее это не отразится на цели их применения, заключающейся обычно в возбуждении определенных эмоций. То, что копии соответствуют действительности, «благосклонному» зрителю внушается уже тем, что актеры изображают событие. Иллюзия основывается на той же убедительности, которой обладает прыжок циркача, показывающий возможность этого прыжка. В сущности, зритель может проглотить абсолютно неточные копии, если применить два разных метода: технику, рассчитанную на сопереживание, и технику очуждения (на «демонической» основе).

8.3.41

По поводу «Жака-фаталиста» Дидро: примечательно, что в Германии нет никаких признаков утонченной чувствительности! Любовь там (смотри «Фауст») нечто небесное или нечто дьявольское, из этой дилеммы выходят, превращая любовь в привычку. Достаточно упомянуть Гёте и Моцарта, причем последний мудро переносит действие своих любовных драм на иностранные сценические площадки. Лирике нечего делать между неземным, высокопарным, нематериальным и стихотворными непристойностями трактирщиц. У Келлера есть некоторые заслуги в этой области, Генрих Манн рисует лишь отклонения. В средневековье единственным культуртрегером также и в этой области, кажется, было духовенство. Немецкое дворянство было не способно к наслаждению, буржуазия была идеально пуританской, то есть реально свинской. Немецкий студент «делал это», употребив такое количество пива, что других рвало бы тогда, когда он совокуплялся. Для немцев было бы полезно, если бы они получили свою первую любовную комедию (свою «Мандрагору» [30]) в какой-нибудь, скажем, драме «Лютер-и-Кеттер»!

3.4.41

Простое описание неаристотелевской драматургии должно было бы всегда исходить из потребности лучше (с большей пользой) воплотить темы, которые являются двигателем времени, чем это можно было бы сделать старым способом. Из натурализма надо было «только» исключить рок. Этот шаг потребовал великой перестройки. Вот старый глупый крестьянин. Если бедность и глупость толковать не как данность, а показывать, как они связаны и как их можно устра-

[30] «Мандрагора» — комедия итальянского писателя и государственного деятеля Никколо Макиавелли (1469—1527) с весьма вольным изображением любовных сцен.

нить, это и будет неаристотелевская драма. Господствующий театр превращал публику, состоявшую из инженеров и революционеров, просто в театральную публику (состоявшую из эстетов, пассивных потребителей). Новый превращает театральную публику (активных потребителей) в инженеров и революционеров.

12.4.41

Помимо того что белый стих живет с немецким языком в очень несчастливом браке— см. отвратности в «Тассо» [31]! — в нем для меня всегда есть что-то анахроническое, фатально феодальное. Если лишить его витиеватого, туманного и чопорного выражения придворной официальности, он сразу же становится пустым и «обычным», выскочкой. Тем не менее если я облеку в ямбы действия гангстеров и торговцев цветной капустой, что вызовет главным образом пародийное впечатление, поскольку в таком случае на свет рампы выступит лишь неуместность их барственной манеры, то затем на месте истерзанного, изувеченного, растянутого, обезображенного белого стиха образуется новый формальный материал для современного стиха со свободным ритмом, из которого многое можно извлечь.

12.4.41

Удивительно, как во время работы рукопись превращается в фетиш! Я полностью завишу от внешнего вида моей рукописи, в которую все время что-то вклеиваю и которой стараюсь придать эстетическую привлекательность. Я постоянно ловлю себя на том, что пытаюсь, лишь бы закончить страницу, обойтись совершенно определенным количеством стихов, когда требуется какое-нибудь изменение.

21.4.41

То, что эти записи содержат в себе так мало личного, объясняется не только тем, что сам я мало интересуюсь личным (и вряд ли владею подходящей для этого манерой изложения, которая удовлетворила бы меня), но главным образом тем, что я с самого начала должен принимать в расчет границы, через которые их придется перевозить, а число и плотность этих границ вообразить себе невозможно. Мысль о них тоже удерживает меня от того, чтобы выбирать иные, кроме литературных, темы.

24.4.41

Когда я думаю о своих последних пьесах и сравниваю их друг с другом, «Галилей», «Мамаша Кураж», «Страх и отчаяние», «Добрый человек из Сезуана», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Карьера Уи», я нахожу их во всех отношениях чрезвычайно разномастными. Самые жанры непрестанно меняются. Биография, притча, комедия характеров в народном духе, хроники-фарсы — пьесы стремятся в стороны друг от друга, как небесные тела в новой системе мира, созданной физикой, словно бы и здесь взорвалось какое-то ядро драматургии. При этом теория, лежащая в их основе или ими порожденная, со своей стороны очень определенно противостоит другим теориям. Нельзя, видимо, также забывать, что время сплавляет воедино разные произведения одного автора; иначе как могли бы объединиться «Разбойники», «Мессинская невеста», «Телль» или «Ифигения», «Фауст», «Клавиго» [32]?

24.4.41

Желание наделить произведение продолжительной жизнью, поначалу вполне «естественное», становится более серьезным, когда пишущий находит основания для пессимистического предположения, что для осуществления его идей (то есть тех идей, которые он представляет) может потребоваться очень долгое вре-

---

[31] «Торквато Тассо» — драма Гёте (1790).

[32] «Разбойники», «Мессинская невеста», «Вильгельм Телль» — произведения Шиллера; «Ифигения в Тавриде», «Фауст», «Клавиго» — произведения Гёте.

мя. Меры, предпринимаемые в этом направлении, никоим образом не должны, однако, ослаблять актуальное звучание произведения. По необходимости эпически широкое изображение явлений, «само собою разумеющихся» для времени написания, будет представлять для этого времени лишь ценные v-эффекты. Автаркия понятий в произведениях содержит момент критики: пишущий анализирует преходящность понятий и восприятия своего собственного времени.

9.5.41

Читаю «Бегство Шиллера из Штутгарта» Штрайхера[33]. Отмечаю различия в рабочем методе, вызванные различиями между аристотелевской и неаристотелевской драматургией. Ш[иллер] отделывает драматические сцены, также и монологи, придает большое значение «красотам» и тщательно продумывает свои эффекты. Все нацелено на то, чтобы вызвать восхищение, увлечь, очаровать — морально и эстетически. Благородные характеры, напряженные осложнения, риторические взрывы, демонстрация сильных страстей, нагромождение захватывающих дух контроверз — все это оказывает неотразимое воздействие. Убожество тотчас преодолевается — и Германия получает своего национального поэта. Феномен «театр», театр новый, возникающий вместе с v-эффектом буржуазного класса и нации, переживает ту фазу, когда изображаемая действительность полностью отрицается чисто театральными средствами (лессинговский театр был в этом отношении еще совсем другим). Живой интерес человечества к самому себе как к человечеству, который может находить выражение в театре и образует основу эмоций, выражен здесь главным образом в интересе к театру, то есть только к изображению. Попросту говоря, поэта интересует не изображаемое, то есть то, что происходит среди людей (и в них самих), а непосредственно те эмоции, которые можно вызвать изображением. Ш[иллер] каждый раз долго ищет «темы» и такие поступки, которые могли бы «передавать» его эмоции. Это не значит, что его не интересовали обстоятельства, это не значит, что у него не было наготове страстных протестов и предложений, но главное, что побуждало его писать, это театр и стремление использовать темы и эмоции для театра. Так рождается искусство, которое находится в контакте с реальностью и содержит в себе реальность, но которое полностью жертвует реальностью ради искусства.

Насколько я далек от такой позиции, свидетельствует то, что мысль сформировать grand scene мне совсем неожиданно представляется чем-то новым, каким-то интересным экспериментом. Я обычно трачу много усилий на мотивировки, постоянно проверяю, сколько из имеющихся в виду событий следует показать, и т. д., но, насколько знаю, я еще никогда не оттачивал реплики и не пытался усилить звучание какой-либо сцены. Я начинаю первой фразой и кончаю последней, ни перепрыгивая через что-то необходимое, ни придавая какой-то части особое значение. Мне кажется, это очень эпический подход. Для эпика все детали примерно одинаково достойны любви. Изображение я критикую, собственно говоря, только исходя из изображаемого.

АМЕРИКА (21.7.41 — 5.11.47)

8.10.41

Спорил с Фейхтвангером о всемогуществе историографов. Он говорит со смесью удивления и триумфа, что считает поразительным, как пишущие торжествуют над историей, как Гораций «сделал» Августа, библейские пророки «создали» царей. Это ему понадобилось для утверждения, будто мнение потомков о Гитлере «в конечном счете» определит он. Возьмем посмертную славу Цезаря. Если я противопоставляю портрет, изображенный Макиавелли, портрету Моммзена[34], то он видит лишь писателей, личности, на свой лад трактующие Цезаря. Решающим для него является «качество» их формулировок. То, что Ма-

[33] Фортепьянный мастер Андреас Штрайхер (1761—1833) в 1782 году бежал вместе с Шиллером из Карлсруэ и описал это путешествие в очерке «Бегство Шиллера из Штутгарта и пребывание его в Мангейме в 1782—1785 гг.».

[34] Моммзен Теодор (1817—1903) — немецкий историк.

Макиавелли видит в нем кондотьера, Моммзен — просвещенного монарха, идущего вместе с третьим сословием и т. д., это Ф[ейхтвангера] не интересует, поскольку туи [35] лишается всесилия.

26.10.41

Наиболее близкими к реальности мне всегда кажутся такие пьесы, как шекспировские хроники, драматизация глав летописей. Тут нет «замысла», тут не выстраивается действие, тут почти нет актуальности. Здесь лишь просвечивается достоверное, при случае делаются поправки в направлении «иначе это едва ли можно себе представить». Курсы лекций о драматургии следовало бы начинать со сравнения, например, «Короля Иоанна» с хроникой, из которой он, видимо, был почерпнут. Продолжение: королевские драмы Стриндберга. Само собой разумеется, следовало бы изучить, где в этих пьесах занимаются восславлением, где — обесславливанием.

27.10.41

Нацисты вторглись в Крым, угрожают Кавказу, Ленинграду и Москве, англичане «с беспокойством» наблюдают, но Фейхтвангер выражает самое крайнее удивление, когда кто-нибудь сомневается в том, что русские еще смогут победить. Сомнение в этом кажется ему чистым сумасбродством. Я очень этому рад.

27.10.41

Мы ужинаем у чтеца Людвига Гардта [36], и разговор заходит о Рильке, или о развитии вкуса за счет аппетита. Тут перед нами снова «утонченность» немецкой буржуазии, утонченность возвысившегося выскочки там, где нет возвышения возмутителя. Школы буржуа — феодального салона — в Германии нет. Тут нет и столицы с центральным литературным рынком, форумом. Искусство лишено жизни, жизнь — повод для искусства. Тут нет стихов с чувством, а есть стихи о чувствах. Характерно «прославленное» (разумеется, тут нет ничего похожего на подлинную славу) стихотворение Рильке о пантере. Выступает угнетенный, лишенный свободы: аристократ! Красота хищного зверя, невинность в высоком смысле, природа, которую не следует допрашивать. Обыватель воспевает данность, заявляет о своей некомпетентности, но все же спрашивает: что он должен чувствовать, попав в наши руки? Кстати, это образ не немецкой аристократии, а французской, чужой.

Разговор затем перешел на Гёте, который, во всяком случае, становясь деликатным, не превращает все в деликатесы. Интересна его неуверенность в вопросах вкуса, и еще интереснее видеть, как случайное соскальзывание в банальное — например, в строчке «умри и возродись» [37] в великом стихотворении «Хафиз» — придает целому некую стихийность!

1.11.41

Фейхтвангер рассказывает, что в «Colliers» отклонили его статью о Гитлере, потому что в ней выдается wishful thinking [38]. Он представил Гитлера как ничтожество, как не имеющий значения рупор рейхсвера, как актера, играющего роль фюрера, и т. д. Короче говоря, Г[итлер] будто не «личность». Я, у которого множество возражений против культа личности, придаю значение тому, что он — личность. Но американец вообще не понимает, как может быть ничтожеством человек, для уничтожения которого США хотят потратить 40 миллиардов. Конечно, он личность совершенно иная, чем лавали, даладье, чемберлены, галифаксы, штреземаны, брюннинги и т. д. Ф[ейхтвангер] опять упрекает их —

[35] Туи — придуманное Брехтом на китайский лад сатирическое словцо, сокращенная анаграмма из слова «Intellektueller», которым он называл интеллектуалов, лицемерно пекущихся о благе человеческом.

[36] Гардт Людвиг (1886—1947) — немецкий чтец-декламатор.

[37] Слова из стихотворения Гёте «Selige Sehnsucht», входящего не в «Книгу Хафиза», а в «Книгу певца» («Западно-Восточный диван»).

[38] Желаемое за действительное *(англ.)*.

они всё меряют успехом. А чем им мерить? Конечно, при этом снова повторяется старый вздор, будто бульварный роман имеет больший успех, чем пьеса Шекспира. В конечном счете оценка Гитлера важна лишь потому, что во всех стремлениях представить его ничтожеством она образует основу для оценки всего переворота в Германии. Тут национал-социализм рассматривается как опухоль, отклонение, заблуждение. А что с основным организмом, прямым путем, решением?

1.11.41

Нигде так не трудно писать о театре, как здесь, где в ходу только театральный натурализм.

3.12.41

Вместе с Кортнером [39], Генрихом Манном, Л[юдвигом] Маркузе [40] у Фейхтвангера. Все несколько сбиты с толку плохим стартом английского наступления в Ливии, которому предшествовали такие фанфары. Фейхтвангер настроен оптимистично, он считает, в конце концов нацисту Роммелю все же будет крышка, англичане работают медленно, без showmanship, without expenses in reason [41] и т. д. Сам же я думаю, никакое оружие не может быть таким молодым, чтобы оно не отказало в руках столь старого класса, как английская аристократия. Потом старый Манн, сияя, поддержал меня, когда я подчеркнул, что первое военное поражение нацистов — в Донецком бассейне — связано с сопротивлением ростовского гражданского населения, на которое нацисты с причитаниями жалуются. Это выглядит так, как будто ростовские рабочие разбили танковые части сковородками в лестничных клетках. Они воспринимают войну как свое личное дело, и поскольку они имеют оружие... Нацисты возмущенно называют это «незаконным», и Манн, довольный, сказал: «Да, танки позволены, сковородки — нет». Он еженедельно ходит за пособием по безработице, получает 18,5 доллара, так как его контракт с кинофирмой, как и у Дёблина, истек. Ему за семьдесят. Его брат Томас тем временем строит себе большую виллу.

23.12.41

Русские разбили гитлеровскую «величайшую армию мира»: Гитлер увольняет своих генералов и берет командование на себя. Черчилль летит в Вашингтон, чтобы совещаться с Рузвельтом.

26.12.41

Сообщают, что русские провели 1 декабря первый съезд немецких военнопленных [42].

27.12.41

Приходит Гомолка [43], мы играем в шахматы. Я рассказываю ему о «Галилее», и у меня такое чувство, будто я вспоминаю о странном потонувшем театре древних времен на погибшем континенте. Здесь можно заниматься только сбытом вечерних развлечений. Надо знать, что такое понятие «to sell» [44], когда говорят о продаже. Например, кому-нибудь «продают» остроту, денег при этом пока

---

[39] Кортнер Фриц (1892—1971) — немецкий актер, друг Брехта.

[40] Маркузе Людвиг (1894—1971) — немецкий журналист, профессор философии и истории культуры.

[41] Без театральных эффектов, без выдумки *(англ.)*.

[42] Первое совещание немецких военнопленных в Советском Союзе состоялось 8—10 октября 1941 года. На нем было принято «Воззвание к немецкому народу, подписанное 158 немецкими солдатами», положившее начало антифашистскому движению в лагерях для военнопленных. В ноябре 1941 года здесь стала выходить газета на немецком языке «Das freie Wort» («Свободное слово»).

[43] Гомолка Оскар (1901) — немецкий актер, игравший в некоторых пьесах Брехта.

[44] Продавать *(англ.)*.

не получают,— острота продана тогда, когда она вызывает смех. Покупатель — хозяин, его трудно удовлетворить, он недоверчив, пресыщен или одержим странными желаниями, всегда готов прогнать продавца как назойливую муху. Между продавцом и покупателем (слугой и хозяином) толпится целая иерархия экспертов и агентов, делающих вид, будто знают потребности и желания покупателя; в результате продавцы вообще не добираются до покупателей, а последние тоже никогда не видят перед собой продавцов. Представляется лишь товар, искалеченный и осквернённый, оговоренный и расхваленный, скроенный по мерке тела, которое само никогда не представлялось. Каждый акт продажи — это поражение, поражение продавца или покупателя, в зависимости от того, продан или нет товар. Успех автора означает провал публики. Мысль о том, что в театре можно обсуждать положение дел народа, целиком взята из воздуха, поскольку и при других видах развлечений этого не бывает.

21.1.42

На этих днях я бегло просмотрел весь дневник. Разумеется, в нем много смещений — из-за нежелательных читателей,— и мне будет трудно когда-нибудь действительно использовать эти отправные точки. Здесь соблюдаются известные границы, потому что границы-то и приходится переходить.

5.4.42

Здесь создавать лирику, даже актуальную, означает: удалиться в башню из слоновой кости. Словно занимаешься искусством ювелира. Что-то в этом есть причудливое, чудаковатое, ограниченное. Подобная лирика — это «бутылочная почта»; битва за Смоленск — это битва и за лирику.

12.4.42

И день и ночь на заснеженных полях под Смоленском бушует бой за достоинство человека.

17.4.42

Разница между романами Конан Дойля и Сименона такая же, как между аристотелевской и неаристотелевской драматургией. С[именон] сгущает атмосферу до такой степени, что она полностью утрачивает физический характер, характеры превращаются в явления природы, причинная связь скрыта, действует сама судьба, детектив прозревает, вместо того чтобы думать, мыслительный акт превращается в физиологический феномен. Таким образом, Д[ойль] намного современнее.

18.4.42

Эта страна разбивает мне роман о туи. Здесь нельзя разоблачать продажу мнений. Она ходит тут нагишом. Великий комизм людей, уверенных в том, будто они руководят, когда сами руководимы, донкихотство сознания, мнящего, будто оно определяет общественное бытие,— это, пожалуй, было характерно только для Европы.

2.5.42

Я посмотрел «Депутата Балтики» и был изрядно потрясен, так как эта небольшая история отображает классическое отношение социалистов к науке. Поскольку я сейчас делаю для Эйслера несколько заметок о музыке в кино, я отметил, что в фильме музыка использована только в двух или трех местах, в эмоциональных кульминациях. Так, подчеркнут музыкой конец (старый ученый после своей речи в Петроградском Совете, собирающемся отправиться на фронт, возвращается в свой кабинет и снова погружается в свои книги). Музыка удовлетворяется тем, что усиливает эмоцию публики, причем очень общим, стало быть, пустым образом усиливает эмоцию как таковую. Я уверен, что неподчеркнутый мощный гул уходящих советских войск, может быть, сменяющийся шоро-

хом переворачиваемых в полной тишине страниц, воздействовал бы сильнее. Общая, абстрактная музыка делает и эмоцию общей, абстрактной, лишенной конкретного содержания, и она уничтожает сама себя.

12.5.42

С Эйслером у Хоркхаймера на завтраке. Потом Эйслер предложил в качестве сюжета для романа о туи историю Франкфуртского социологического института. Богатый старик (спекулянт пшеницей) Вайль умирает, обеспокоенный господствующей в мире нищетой. В своем завещании он оставляет большую сумму для создания института, который должен исследовать причину нищеты. Причиной этой нищеты, разумеется, является он сам. Институт начинает свою деятельность в то самое время, когда кайзер тоже хочет узнать причину зла, поскольку возмущение народа растет. Институт принимает участие во Вселенском соборе.

27.7.42

Этот дневник уже одними только многочисленными записями показывает, в каком трудном положении я нахожусь, брошенный в центр мировой торговли наркотиками, среди самых последних туи этого ремесла [...]

28.7.42

Здесь я вижу, как это смехотворно и бесстыдно — говорить рабочему, что он должен читать великую литературу! Я сам не могу ее больше читать здесь, в этом окружении.

20.8.42

Я постоянно удивляюсь примитивности построения фильма. Эта «техника» обходится поразительным минимумом изобретательности, интеллекта, юмора и заинтересованности. Карабкаются от ситуации к ситуации и вводят в действие первые попавшиеся фигуры. Расчет делается на то, что актеры не могут играть, зрители — думать.

22.8.42

У франкфуртцев [45]. Райхенбах [46], как все социал-демократы, озабочен тем, чтобы «наследие» было невредимым воспринято и бесклассовым обществом. Спасение культурных ценностей не дает ему спать, а меня оно усыпляет. Бесполезно доказывать ему, что культурные ценности выполняют теперь ту же функцию, что и всякие другие ценности, то есть обрели товарный характер. Бетховенская симфония всего лишь отдает пролетария во власть остальной «культуры», которая для него является варварством. Разумеется, спасены будут только те искусства, какие участвуют во спасении человечества. Чтобы стать культурой, культура должна отказаться от своего товарного характера. «Но как сберечь понимание искусства?» Его сберегают (порождают) искусства. Музыка Шёнберга делает понятной музыку Бетховена. Пролетарии должны вместе со всем производством освободить от оков и производство художественных ценностей.

3.9.42

Иногда я смотрю теперь снова фильмы в оффисе, когда нужно оценить работу актеров. Часто думаю о гандикапах наших Кортнера и Гомолки. Это не просто вопрос overacting [47]. Американцы часто переигрывают и почти все довольно театральны. Только манера их театральности иная, вот почему наша манера

[45] Имеется в виду кружок сотрудников Франкфуртского института социальных исследований, эмигрировавшего из Германии в США. В состав его входили Теодор Адорно, Людвиг Маркузе, Макс Хоркхаймер и другие. Брехт относился к ним очень критически (см. запись от 12 мая 1942 года).

[46] Райхенбах Ганс (1891—1953) — немецкий физик и философ.

[47] Переигрывание *(англ.)*.

здесь выглядит театральной, в то время как их кажется естественной. В конце концов, американские актеры театрализируют на основе жестов и мимики, а именно — американских. Наши актеры бросаются в глаза уже как hamy[48], потому что все время играют мышцей, поднимающей брови. У американцев она неподвижна. Движения у немцев большей частью слишком резки для экрана, слишком «угловаты». Американцам присуща плавность, пластичность. А это при съемках получается лучше. Жесты и мимику надо уменьшать в масштабе 1:10, ибо главное — поясной портрет, в огромных кинотеатрах общие планы зрителям кажутся крошечными.

10.10.42

Для «Покупки меди»[49] следовало бы разработать тему «прикладной театр», то есть нужно описать несколько основополагающих примеров притворства — друг перед другом в повседневной жизни, а также несколько элементов театральной постановки в частной и общественной жизни. Как люди показывают другим людям гнев, потому что считают это уместным или выгодным, или нежность, или зависть и т. д. Важна применяемая и в частной жизни расстановка сил в различных ситуациях. Как меняются дистанции при супружеской ссоре — при какой фразе муж удаляется от жены, когда он садится и т. д.? Роль расстановки сил в повседневной драматизации социальных отношений — где и как сидит начальник? Анализ фотосъемок исторических событий. Чрезвычайное значение имеет обстоятельство, что люди считают (отчасти неосознанно, но тем не менее) театром то, что делает человек, когда он узурпирует социальное звание или думает, будто должен в своих манерах и поведении принимать в расчет более или менее условные обычаи, и т. д. Если есть в этом натуральность, то она изменчивой натуры.

24.6.43

В основном закончил «Швейка». Противоположность «Мамаши Кураж». По сравнению со «Швейком», которого я написал для Пискатора году в 27-м — чистый монтаж по роману, нынешний (Швейк во второй мировой войне) значительно острее, в соответствии со сменой оседлой тирании Габсбургов на вторжение нацистов [...]

21.7.43

[...] За эти десять лет я написал следующие пьесы:
«Круглоголовые и остроголовые»
«Страх и нищета в третьей империи»
«Жизнь физика Галилея»
«Добрый человек из Сезуана»
«Мамаша Кураж и ее дети»
«Господин Пунтила и его слуга Матти»
«Карьера Уи»
«История Симоны Машар»
«The duchess of Malfi» (обработка)
«Швейк».
Неплохой репертуар «побежденного» класса.

1.8.43

Вечером у Фиртелей[50] собрались: Т[омас] Манн, Г[енрих] Манн, Фейхтвангер, Бруно Франк, Л[юдвиг] Маркузе, Г[анс] Райхенбах и я. За четыре часа был набросан следующий текст:

[48] В данном случае — грубые *(англ.)*.

[49] «Покупка меди» — незавершенная книга Брехта, состоящая из диалогов, заключающих в себе его театрально-эстетическую программу (на русском языке опубликована в собрании сочинений Б. Брехта в пяти томах, т. 5/2. М. «Искусство». 1965).

[50] Имеются в виду Залка Фиртель — актриса и киносценаристка, и ее муж Бертольд Фиртель (1885—1953) — режиссер.

«В этот момент, когда близится победа союзных наций, нижеподписавшиеся писатели, ученые и художники немецкого происхождения считают своим долгом публично заявить: мы приветствуем выступление немецких военнопленных и эмигрантов в Советском Союзе, которые призывают немецкий народ заставить своих угнетателей безоговорочно капитулировать и бороться за сильную демократию в Германии.

Мы тоже считаем необходимым проводить резкое различие между гитлеровским режимом и связанными с ним слоями — с одной стороны, и немецким народом — с другой.

Мы убеждены, что без сильной немецкой демократии не может быть длительного мира на земле.

Томас Манн, Генрих Манн, Лион Фейхтвангер, Бруно Франк, Бертольт Брехт, Бертольд Фиртель, Ганс Райхенбах, Людвиг Маркузе».

Первую фразу прибавил Т[омас] Манн. Он считал упоминание Советского Союза несколько рискованным. В последний раз, когда я его видел, в феврале, он сказал, держа в руке тарелку с сандвичами: «Я хотел бы, чтобы русские оказались в Берлине раньше союзников». Потом я узнал, что в тот вечер он в русском консульстве записал на пластинку поздравительную речь в честь Красной Армии и его там угощали. Теперь Бруно Франк убеждал его, что неупоминание Московского комитета было бы только смешным, тогда дебаты перешли на понятие «связанные с ним слои», причем Т[омас] предлагал «сообщники», Г[енрих] — «тресты». В конце концов все согласились с вышеуказанной редакцией, и Т[омас] с удовлетворением прочитал ее внизу женщинам [51].

25.9.43

Взятие русскими Смоленска полностью изменяет положение в мире. Формирование немецкого комитета военнопленных и эмигрантов (как и конгресс русской православной церкви, который, видимо, предназначен для Балкан) оказывается сейчас частью последнего наступления.

17.10.43

Политика рабочего класса в области искусства. Чтобы завоевать господство и сохранить его, рабочему классу нужен реализм — реализм в действиях и в размышлениях. и в этом нет ничего особенного: буржуазному классу тоже нужен был и впредь будет нужен реализм. Приукрашенные военные сводки пагубны для самого командования, подправленные донесения о политической обстановке пагубны для биржевых дельцов. Соответственно своему положению буржуазия нуждается в тайных реалистических сообщениях, рабочий класс — в открытых. Что такое реалистическое искусство, скажем, в театре? Иллюзионизм? Сенсуализм? Все в разговорах собеседников, переданных прозой, с атмосферой непроглядной, как сама жизнь? Сделано столь правдоподобно, что побеждает впечатление, будто это только таким и может быть? Изображение человека всегда лишь как жертвы обстоятельств, климата, имущества, страстей, хода вещей? Тут правда «внутри», только никто не может ее выковырять. Реалистическое искусство — это искусство, которое направляет реальность против утопий, помогает реалистически чувствовать, думать и действовать.

1.11.43

Макс Райнгардт умер в Нью-Йорке. Видел в Берлине в начале 20-х годов почти все репетиции «Фантасмагории» в Немецком театре. Элементы стиля устаревали у него так же быстро, как и у других в наше время, отличающееся зияющим противоречием между искусством и жизнью, так что в жизни мало искусства, в искусстве мало жизни. Искусство не может быть чем-то естественным там, где жизнь — нечто искусственное.

[51] Томас Манн на следующий день свою подпись снял, считая, что заявление это некорректно по отношению к союзникам. В записи от 2 августа 1943 года Брехт крайне резко осуждает Т. Манна.

6.4.44

Джед Харрис, режиссер-постановщик, очень хорошо поставивший «Наш городок» Торнтона Уайлдера, заинтересовался «Галилеем». Поэтому я еще раз проверил мораль, которая вызывала у меня всегда легкое беспокойство; именно потому, что здесь я пытался следовать истории и никаких моральных интересов не имел, возникла мораль, и мне с ней не повезло. Г[алилей] так же мало может противиться искушению сказать правду, как искушению проглотить лакомое блюдо,— это для него чувственное наслаждение. И он формирует свою личность так же страстно и мудро, как и свою систему мира. В сущности, он гибнет дважды. Первый раз, когда он из-за опасности для жизни замалчивает истину или отрекается от нее; второй раз — когда он, несмотря на опасность для жизни, снова ищет истину и распространяет ее. Его уничтожает его собственное творчество. Теперь я с неудовольствием слышу, будто я счел правильным, что он публично отрекся, дабы иметь возможность тайно продолжать свою работу. Это было бы слишком плоско и слишком дешево. Г[алилей] в конечном счете уничтожил не только себя как личность, но и самую ценную часть своей научной работы. Церковь (то есть власть) защищала библейское учение исключительно для того, чтобы защитить себя, свой авторитет, свою возможность угнетать и эксплуатировать. Народ заинтересовался Г[алилеевым] учением о небесных телах исключительно потому, что страдал под гнетом церкви. Г[алилей] предал истинный прогресс, когда отрекся, он бросил народ на произвол судьбы, астрономия снова стала специальностью, областью ученых, аполитичной, изолированной. Церковь отделила эти «проблемы» небес от проблем земли, укрепила свое господство и охотно признала впоследствии новые решения.

15.6.44

Вдруг меня перестала удовлетворять Груше в «К[авказском] м[еловом круге]» [52]. Она должна быть упряма, а не непокорна, услужлива, а не добра, терпелива, а не неподкупна, и т. д. и т. д. Это простодушие никоим образом не должно означать «мудрости» (по известному шаблону), однако оно вполне совместимо с практическими склонностями, даже с хитростью и пониманием человеческой натуры. Неся на себе печать отсталости своего класса, Груше должна меньше отождествляться с ним и тем самым объективно являть собой в известном смысле трагическую фигуру («соль земли»).

20.6.44

Работаю над новой серией фотоэпиграмм. Если пересмотреть старые, частично восходящие к первому периоду войны, оказывается, что почти ничего не надо изымать (а с политической точки зрения — вообще ничего): при постоянно меняющемся ходе войны — хорошее подтверждение правильности подхода. Теперь у меня больше 60 четверостиший, и вместе со «Страхом и нищетой в третьей империи», сборниками стихов и, пожалуй, «Пятью трудностями при писании правды» это удовлетворительный литературный отчет о времени изгнания.

31.7.44

Фейхтвангер считает, Груше слишком святая. Он требует, чтобы у нее была определенная задача. В самом деле, мне кажется неудачным, чтобы свершение доброго дела воспринималось как отдельный несчастный случай. Для Ф[ейхтвангера] оно просто вытекало из одного качества — доброты. Я переделываю. Ф[ейхтвангер] живительно умен и переносит мою ругань, когда он предлагает plot [53], с философским терпением и дружелюбием.

9.8.44

Эта страна не предоставляет своим актерам славы — лишь credit и success [54].

[52] *Груше* — персонаж пьесы «Кавказский меловой круг», над которой Брехт работал в 1943—1945 годах.

[53] Действие, драматическая фабула *(англ.)*.

[54] Доверие и успех *(англ.)*.

При этом образуются огромные общины для звезд, fanmail [55] и торговли автографами как нигде, но это культ определенных человеческих типов, едва ли имеющий что-либо общее с искусством. Нет определенных ролей, в каких звезды выступали бы и конкурировали бы. Типы, которые, подобно героям не менее известных комиксов, участвуют в разнообразнейших романтических событиях, выбираются по среднему образцу и передаются в руки парикмахеров. Иной раз кто-нибудь из них меняет свою личность после многих совещаний и эскизов парикмахеров и тех, кто ведает рекламой, и делает он это ради жизни, состоящей из приемов. Здесь даже наиболее оригинальные личности, как, например, Грета Гарбо, при первой возможности уничтожаются. Пусть они и дают полные сборы в своих фильмах, но другим фильмам они ведь вредят.

20.8.44

Полистал «Имморалиста» Андре Жида, человека, который является стилем. Описание того, как имморалист лечит свой туберкулезный организм, несколько изнурительно, рассказчик задыхается сам, повседневность становится чахоточной и т. д., аморальность лишена всякой силы, она сама воспринимает себя как извращенность, и тем не менее книга, сама находясь уже в состоянии разложения (в большей степени, чем она разлагает), позволяет предощутить это. Что за литературу могла бы получить эпоха, в которую разрушилось государство, разрушилась мораль (или лучше сказать — морализм). Возможно, правда, что и литература затем разрушилась...

31.8.44

В минуты растерянности запасы души распадаются, как части смертельно пораженных империй. Взаимопонимание между частями исчезает (вдруг обнаруживается, что целое состоит из частей), они имеют лишь то значение, которое имеют сами для себя, а это значит, что их значение невелико. Может случиться, что я внезапно перестану видеть смысл в таких вещах, как музыка или политика, ближних восприму как чужих и т. д. Здоровье состоит в уравновешенности.

17.9.44

Немецкое искусство слишком тяжеловесно. Именно в эту эпоху, одну из самых страшных в истории, следовало бы научиться легкости — легкости не в бегстве, разумеется, а в изображении этой эпохи и ее ужасов. Так, обычное должно приобрести характер небывалого, небывалое — характер обычного. Тот, кто изображает холодный и кровавый пот, сам потеть не должен.

Мне это пришло в голову, когда я обратил внимание Барбары [56], которая рядом стегает одеяло, на ее капельки пота и посоветовал ей лучше больше мочь, чем она делает, нежели больше делать, чем она может, пока она не станет делать столько, сколько может.

6.11.44

Частые разговоры о музыке с Эйслером (в связи с оперой «Голиаф») и с Дессау[57], который гораздо менее закончен и менее завяз в определенной колее. Современная музыка превращает тексты в прозу даже тогда, когда они — стихи, и затем лиризирует эту прозу. Лиризация одновременно является и психологизацией. Ритм растворен (кроме как у Стравинского и Бартока). Для эпического театра это неприемлемо.

11.2.45

[...] ищу занятие и дал себе задание облечь [Коммунистический] Манифест в стихотворную форму, по типу дидактической поэмы Лукреция; решению немно-

---

[55] Письма поклонников *(англ.)*.

[56] Барбара — дочь Брехта.

[57] Дессау Пауль (1894) — немецкий композитор, написал музыку ко многим произведениям Брехта.

го способствует новая возможность организовать небольшие фотографические издания, которые не только создадут иллюзию книжечки, но обещают и критическую информацию. Манифест сам по себе как памфлет — произведение искусства; однако мне представляется возможным сегодня, когда минуло сто лет и Манифест подкреплен вооруженным авторитетом, обновить его пропагандистское воздействие, сняв памфлетный характер.

5.10.45

Крупнейшее американское телеграфное агентство АП наседает на Фейхтвангера, чтобы он писал для них о Нюрнбергском процессе. Не как журналист — у них там десятки светил репортажа,— только 4000 слов в неделю. Он отказывается. «Я не умею этого»,— говорит он. «Тогда делайте как сумеете, ведь только к вам обращаются»,— говорю я. «Вы переоцениваете процесс»,— говорит он. «Впервые в новейшей истории перед судом стоит правительство за свои преступления»,— говорю я. «Это ведь не всерьез задумано»,— говорит он. «Потому вы и должны пойти,— говорю я,— надо напомнить о преступлениях этого правительства также и против собственного народа». «Вы так субъективны,— говорит он,— попробуйте понять и меня». «Вы оказались в счастливом положении— вас приглашают говорить, представлять немецких антинацистов, вы не имеете права продолжать писать свой роман,— говорю я,— говорите плохо, заикайтесь, пусть вам затыкают рот, но появитесь на поле битвы». «Вы ведь знаете, это не трусость»,— говорит он. «Я знаю, что это еще хуже,— говорю я,— это инертность».

Семидесятилетний Генрих Манн, которого я информировал, сказал ему, что он сам поехал бы завтра же. Но, конечно, никто его не приглашает.

15.12.45

Трудно и опасно учиться на разочарованиях. Мы оказываем влияние на своих ближних, заставляя их придерживаться определенных принципов и свойств; кредит, который они имеют у нас и который заставляет их напрягаться, обеспечивается ими и нами. (Иной человек становится отъявленным лжецом, думая, что все считают невозможным, что он лжет, другой по той же причине становится честным.) Можно было бы сказать — неподкупность делает неподкупным, если считать, что неподкупность возрастает по мере увеличения количества случаев, когда подкупы отклонялись. Плохие поступки ухудшают человека, хорошие улучшают. Наказание для того, кто разочаровывает, заключается в том, что перечеркиваются ожидания. Гнев превращается в равнодушие. Отношения восстанавливаются, но на более низкой основе. И процесс распада, конечно, продолжается. Разжалованный генерал в качестве капрала большей частью хуже, чем тот генерал, которым он был со своими ошибками. Разочарованным тоже причиняется вред, выходящий за пределы вреда непосредственного. Одно только то обстоятельство, что они склонны открыть счет, уже неблагоприятно; впредь они будут поэкономнее с кредитами и тем самым уменьшат свои намерения улучшать людей.

27.3.47

Видел «Надежду» Мальро, фильм об Испании, содержащий отличные диалектические элементы; он, кстати, и в эстетическом отношении великолепен, и его можно рассматривать как хороший вклад в разработку темы «прогресс голливудской техники». Прекрасен крестьянин, который, летя в бомбардировщике, не узнает внизу свои поля! Видел «Бурю над Мексикой» Эйзенштейна, смонтированную здесь, без Эйзенштейна, из грандиозного материала. Что за глаз у этого человека!

30.3.47

Разница между реализмом и натурализмом все еще не выяснена.

Натурализм	Реализм
рассматривает общество как часть природы	рассматривает общество исторически
ячейки общества (семья, школа, воинская часть и т. д.) — это «маленькие миры в себе»	«маленькие миры» — это фронтовые участки битв
среда	система
реакция индивидуумов	общественная причинность
атмосфера	социальная напряженность
сочувствие	критика
события должны «говорить сами за себя»	способствует их разъяснению
деталь как «черта»	противопоставлена целому
рекомендует социальный прогресс	учит ему
копии	стилизации
зритель как ближний	ближний как зритель
к публике обращается как к единой общности	взрывает единую общность
сохранение тайны	разглашение тайны
человек и мир с точки зрения одиночки	многих

Натурализм — это эрзац реализма.

ШВЕЙЦАРИЯ (16.12.47 — 20.10.48)

20.12.47

Плохой зритель в театре: тот, кто обладает слишком многими и слишком точными мнениями о том, что на него воздействует; кто обладает слишком немногими и слишком смутными мнениями о том, на что он реагировал бы утвердительно; кто не поддается воздействию массы публики — позитивному и негативному; кто не интересуется ни темой, ни ее воплощением.

Первую более или менее значительную театральную постановку Барбара видела в Калифорнии — «Галилея»; и та стала нормой для нее. Она пришла разочарованная с очень хорошей горьковской пьесы; игра кажется ей утрированной, нереальной, все слишком clumsy[58], затянуто, пресно. В самом деле, сегодня главное воздействие произведений наподобие моих определяется, видимо, тем, чтобы как можно больше сломать и разрушить в театре.

22.12.47

Нью-йоркская пресса ворчливо жалуется на необходимость думать над «Галилеем», тем более что делать это она совершенно не в силах. Буржуазия вообще не склонна больше к этому общему, неспециализированному мышлению, которого требуют пьесы, занимающиеся ею. Мышление ни к чему не приводит; зачем эта болтовня экзистенциалистов, представителей хуже обеспеченных наций, о «решениях, которые необходимо принять», чем другим это может быть, кроме как фашизмом, который — этого нельзя отрицать — был банкротством. Короче, мышление — вещь слишком трудная и уже только поэтому не относится к числу удовольствий.

2.1.48

Читаю «Переписку Гёте и Шиллера». Что за «возвышенный» заговор против публики; буржуазии навязывается ее литература в качестве ее гражданского

[58] Неуклюже *(англ.)*.

кодекса. Самый большой заговор, и заговор публичный. Вместе с тем какая попытка приспособления! Как они оба общественно аттестуют себя!

3.1.48

Шиллер удивительно четко видит диалектику (противоречивое переплетение) в соотношении эпос — драма. Мои собственные указания, касающиеся эпического театра, часто допускают ложное толкование, так как они носят критически оппозиционный характер и полностью направлены против драматического искусства моего времени, которым пользуются с искусственной недиалектичностью. На самом же деле надо просто снова внести эпический элемент в драматическое творчество — конечно, с противоречиями. Свобода расчета должна быть основана как раз на «захватывающем потоке» событий.

7.1.48

А[рмин] Кессер, живший во время войны в Швейцарии (до этого в Берлине, у Иеринга [59] в «Бёрзенкурире»), задал вопрос, насколько глубоко заложены в моих пьесах возможности их должного истолкования. Действительно, «Галилей» воспринимается как реабилитация оппортунизма; «сезуановская» пьеса — как религиозное (в том смысле, что атеист стоит в лояльной оппозиции к богу) осуждение теории о существовании двух душ; «Кураж» — как песнь во славу неисчерпаемой жизнеспособности матери-самки. Я ответил, что буржуазный стиль сценического представления позволяет буржуазии все взятое из античности, Азии, средневековья и всего антибуржуазного в новом времени продавать как свое собственное. Драматург может спастись только тем, что откажется от субстанции или (и) прицепит передовицу. Я упомянул о положении елизаветинцев между феодализмом и буржуазией. С феодальной точки зрения, новая любовь (Ромео, Антоний), новое мышление (Гамлет, Тимон), новые родственные отношения (Лир), новое стремление к свободе (Брут), новое честолюбие (Макбет), новое самоуважение (Ричард III) оказываются смертельными. С буржуазной точки зрения, смертельны рамки феодального характера и торжествует новый характер поведения — равнодушие к смерти ввиду удовлетворения, которое оно доставляет.

8.1.48

Собственно говоря, переписка Гёте и Шиллера впервые показала мне, что возможно стремление нравиться, делать свой тон приятным и волнующим, удерживать внимание публики. Оппозиция, в которой я как драматург находился по отношению к публике, относилась к формальному; в самом деле, она с этого и началась. «Хорошо построенная пьеса», согласно эстетике, которая помогала театру выполнять ставшую вредной социальную функцию, располагала материал сбивающим с толку образом. С этих позиций вообще нельзя было прийти к реализму (как показывает формалистический реализм, а именно — натурализм). Действительность изображалась так, чтобы возбудить определенные (протухшие) ощущения, а для этого изображение вовсе не должно было быть верным. И т. д.

3.3.48

К вопросу о том, почему произведения искусства, созданные при минувших общественных структурах, все еще воздействуют на нас: по-видимому, еще и бесклассовое общество «сохранит» в двойном смысле понятия основные черты значительных исторических структур. (Подобно тому как человеческий эмбрион проходит и сохраняет в себе более низкие фазы. Интересно, как современная гражданская война «возвращает», например, невольничьи войска!) Основные влияния словно бы консервируются там, где происходят определяющие перемены, решения, перевороты, катастрофы.

---

[59] Иеринг Герберт (1888) — немецкий театральный критик и эссеист. С 1918 до 1933 года вел отдел театральной критики в газете «Берлинер бёрзенкурир».

18.8.48

Более или менее закончил «Малый органон для театра»; это короткое обобщение «Покупки меди». Основной тезис: определенного рода учеба составляет самое главное наслаждение нашей эпохи, так что она должна занять большое место в нашем театре. Таким образом, я могу рассматривать театр как эстетическое предприятие, что облегчает мне задачу описать различные новшества. С критического отношения к общественному миру снимается клеймо нечувственного, негативного, нехудожественного, которое наложила на него господствующая эстетика.

1.9.48

Забавляюсь при чтении шиллеровского «Удовольствия, черпаемого в трагических вещах». Он начинает, как и я в «Органоне», с удовольствия как дела театра, отбивается, как и я, от теорий, которые хотят запрячь театр в мораль (и тем самым облагородить его), но потом сразу же приводит все в порядок, утверждая, что не может представить себе удовольствия без морали, иначе говоря — театр еще не удовлетворяет требованиям нравственности, если он просто доставляет удовольствие, напротив, он не может доставлять удовольствия, если он не морален. Следовательно, чтобы быть допущенным в театр, моральное не должно обязательно доставлять удовольствие, но удовольствие должно быть обязательно моральным, чтобы быть допущенным в театр. Сам я, пожалуй, делаю что-то весьма похожее с учебой, превращая ее просто в удовольствие нашего времени.

25.9.48

По поводу сезанновского «Гюстава Жефруа» [60]. «Старые мастера непосредственно и естественно учитывают полную реальность и четко отличают лицо человека от ландшафта, от натюрморта. Своеобразное обобщение в живописи Сезанна неразрывно переплетает лица, ландшафты, натюрморты, сами по себе очень дифференцированные, в единую художественную формальность... Происходит пугающая отчужденность между моделью и изображением... Психологически оживленное лицо преобразуется в цветную архитектуру, в комплекс модуляций...» (Хаузенштейн и Едличка). Сезанн, humble et colossal [61], как будто бы сказал о себе: «Je ne me suis pas réalisé [62]; но: слишком многими или слишком немногими очуждениями пользовался он? (Лицо как н а т ю р м о р т, см. § 67 «Органона» [63].)

12.10.48

Читаю статью Стриндберга об одноактной пьесе. Мне представляется возможным разработать технику очуждения также и для обрисовки ситуаций (более или менее натуралистического характера); хотя сперва она что-то даст, пожалуй, лишь пьесам с настоящей фабулой. Натуралисты должны были выбирать между торжественным государственным представлением и буржуазной «интригой», и потому они отбрасывали и то и другое. И вдобавок еще и поэтическое, фантастическое, музыку. Собственно говоря, их успехи (в наблюдении, особенно в наблюдении психологического комплекса) можно было перенести в фабульную драматургию, но, как уже говорилось, возможны также и другие типы пьес, рисующие нравы.

---

[60] Речь идет о незаконченном портрете французского писателя и художественного критика Гюстава Жефруа (1855—1926) работы Поля Сезанна.

[61] Робкий и огромный *(англ.)*.

[62] Я не реализовал себя *(франц.)*.

[63] «Малый органон для театра» (1948)— теоретическая работа Брехта, которую он сам определил как «анализ театра в век науки». На русском языке опубликована в собрании сочинений Б. Брехта в пяти томах, т. 5/2.

БЕРЛИН (22.10.48 — 18.7.55)

26.10.48

Фриш рассказал, вернувшись из Вроцлава с конгресса в защиту мира, где говорилось и о формализме, что Пикассо заявил: он, мол, тоже против формализма, разумеется у других[64].

Впрочем, он как будто бы делает сейчас горшки. И мне кажется хорошим план вместе с художниками, занимающимися изобразительными искусствами, создать академию и чтобы им платили за эскизы красивых предметов потребления, столовых приборов, игральных карт, шахматных фигур и досок, стульев, сосудов, макетов для книг, кофеварок, кисетов, ламп и т. д. И все это — для массового производства.

5.11.48

У меня здесь есть несколько молодых людей — пролетарии, посещающие двухгодичную школу, в которой рабочую молодежь готовят для поступления в университет. Больше девушек, чем юношей. Один из них, мелкобуржуазного происхождения, с хорошо подвешенным языком, говорит: «Мы неуравновешенны и сбиты с толку, ничего удивительного». (Крестьянин говорит туристу: «Я простая душа и люблю свою землю».) Но вообще-то они бодры и толковы, и мы говорим о том, что марксизм надо так же изучать, как германистику, и одно для другого. Парень из мелкой буржуазии говорит: «Я уже и так на стороне марксизма». Я предлагаю вместо «на стороне» сказать «интересуюсь марксизмом». Но тут он побивает меня: «Это не пустяк — сказать сегодня в метро, что ты за коммунистов».

26.11.48

Тот, кто под реализмом понимает стиль, а не позицию, тот формалист, и ничто другое. Реалистический художник — это тот, кто в художественных произведениях занимает по отношению к действительности плодотворную позицию. (К действительности художника относится и его публика.)

17.1.49

На действительной премьере «Кураж», состоявшейся 9-го на закрытом спектакле для профсоюзов, были слушатели школы по подготовке профсоюзных работников. Это было рискованно — предложить актерам в качестве первых зрителей именно такую публику,— но рабочие хеннигсдорфских сталелитейных заводов оказались изумительными зрителями. Правда, долгое время они сидели словно посторонние, от которых не ждут ни одобрения, ни неприятия, но после сцены с песней о капитуляции они хлопали, а сцену со смертью немой Катрин они прервали бурными аплодисментами в том месте, когда она отклоняет честное слово офицера. А в конце они забыли встать и ринуться в раздевалку, хотя пьеса длинная и трамваи не ходят поздно. Потом мы с Энгелем[65] пошли в эту школу на обсуждение и имели случай еще больше удивляться. Какая уверенность и какая вежливость! Кроме нескольких технических ошибок, как, например, что музыка заглушала слова, некоторые порицали за то, что полковник у Иветты слишком шаржирован. Я возразил, что лагерная девка потом показана как одно из немногих лиц, наживающихся на войне, и потому автору пьесы важно не занизить цену, которую она заплатила,— было принято с пониманием и тонкостью. Особенно хвалили они сцену с барабаном, и один из них подчеркнул, что как раз «самый

[64] Международный конгресс в защиту мира во Вроцлаве (Польша) происходил в августе 1948 года. В «Дневнике 1946—1949» Макс Фриш так писал об этом: «Пикассо: его лицо знакомо по фотографиям, вблизи он кажется старше, старик с колючими светлыми глазами, наполовину озорной, наполовину мудрый, лицо гениального арлекина. «On est contre les formalistes! — смеется он, подняв брови.— Moi, je suis aussi contre les formalistes — mais ils ne sont pas les mêmes». (Выступают против формалистов. Я тоже против формалистов — но они неодинаковы.)

[65] Энгель Эрих (1891—1966) — немецкий режиссер.

беспомощный человек больше всего готов помочь, тот самый человек, кого несколькими сценами раньше родной брат называл «бедной скотиной». Что за зрители! Он отметил про себя (с досадой!) эти слова в третьей сцене — и в одиннадцатой нашел ответ! И то, что Кураж ничему не научилась в ужаснейшей беде, вызывает у этих зрителей лишь сострадание!

Троица, 49

Перелистываю «Вильгельма Мейстера». От этих книг нас отвратили в школе, когда их скучнейшим образом превозносили скучнейшие люди. Как можно было предполагать, что роман, который навязывали нам учителя-словесники, эти самые бесполые существа на свете, содержит в себе сцену наподобие той, где Филина ставит свои домашние туфельки перед кроватью героя, для того чтобы он думал, будто она лежит в его кровати, догадываясь, что это может смутить его, но должно подготовить к действительному ее приходу? Учителя-словесники со своими длинными бородами встали на защиту единственного ложа чувственности в немецкой литературе!

6.5.49

7 мая [18]71 года делегат по вопросам войны Россель приказывает батальону fédération artistique [66] вооружаться и экипироваться. 20 мая, в разгар тяжелейших боев — последнее заседание Коммуны состоится на следующий день,— издается декрет о передаче частных театров художественным коллективам.

12.10.49

Борцы против формализма часто обрушиваются на новые и привлекательные формы, как лишенные привлекательности домохозяйки, которые обрушиваются на красоту и заботу о красоте, безоговорочно объявляя их распутством (и приметой сифилиса).

9.11.49

По-настоящему репертуарных пьес, то есть пьес, которые можно было бы ставить почти всегда, потому что у них очень широкая тема и они дают театрам возможность проявить самые широкие художественные способности, у немцев мало. Собственно, только «Фауст». В остальном держатся за оперы и за Шекспира. Из моих пьес такой характер, по всей вероятности, только лишь у «Трехгрошовой оперы» и «Мелового круга». Из запланированных — у «Путешествий Бога счастья».

10.6.50

Читаю работу о Горьком и обо мне, написанную студенткой рабфака в Лейпциге. Идеология, идеология, идеология. Ни одного эстетического понятия; все в целом напоминает описание кушанья, в котором ничего не сказано о вкусе. Мы должны сперва создать выставки и курсы для формирования вкуса, то есть для наслаждения жизнью.

26.3.51

Стоя перед китайской картиной на свитке, изображающей двух летучих мышей, кто-то, недовольный нашей дискуссией о формализме, недавно сказал: «Это чистый формализм, убрать эту картину и все подобные!» Мы бы хорошо сделали, если бы мы освободили то, что мы называем формализмом, от всего вневременного, общепринятого и говорили бы только о совершенно определенных тенденциях нашего времени. Этот художник, написавший двух летучих мышей, может быть, выступал против какой-нибудь малодушной тенденции, стремившейся сделать предметом художественного изображения и наслаждения только расположение в пространстве. Может быть, он своим сюжетом хотел уклониться от требования написать мифологическую картину или портрет княжеской девки. Может быть,

[66] Федерация художников *(франц.)*.

он выразил просто свой пессимизм, изобразив жуткие порождения тьмы, и уж от времени зависит, оценивать ли пессимизм негативно. У него, возможно, есть и другая картина, изображающая жаворонков.

1.7.51

На прошлой неделе дискуссия со студентами рабоче-крестьянского факультета в Доме ССНМ [67]. Плохое взаимопонимание. Главное пожелание — чтобы художники воплощали злободневные проблемы, но в качестве таковых назывались весьма несложные и совершенно беспроблемные явления. При этом молодым людям чудится скепсис там, где они наталкиваются на требования. Краткосрочность учения и недостаточная подготовка учителей на первых порах мало развивают научный подход, в том числе и в области новых социальных наук. Когда продукты мысли заучиваются наизусть, само мышление хиреет. В особенности дело не ладится при описании таких феноменов, без которых невозможно вмешательство в ход событий. Художественные произведения тоже не изучаются по-настоящему, особенно невнимательно относятся к самой художественности. И все-таки это лишь детские болезни, ничего более страшного.

7.7.51

Вообще-то арфы менее хрупки, чем можно судить по их звучанию; когда они расстроены, их можно заново настроить, но существует определенная сноровка, которая вредит технике. Писатель, по недостатку времени, денег или славы овладевший ею, думает больше о своем заказчике, чем о предмете изображения, и рад, когда удовлетворяет первого. Но: разве заказчик удовлетворяет его? Случайная работа — вот что делает художника профессионалом, но порой и ремесленником. С другой стороны, неправильно, когда, вместо того чтобы схватить случай за чуб, его скальпируют. Все дело в том, чтобы не делать из темы или задания больше того, что в них заложено. Необходимо художественное чутье.

11.7.51

Ценный элемент заключен в прекрасных рассказах Анны в томике «Линия» [68]: идентичность того, что планирует партия, с тем, что делает пролетариат.

15.7.52

Дом и окрестности в Букове в достаточном порядке, чтобы я мог снова почитать Горация. В сатирах, написанных слишком тщательно, чтобы быть рассчитанными лишь на один день, он совершенно бесстыдно хвалит явно слабых поэтов, показывая, как он верит, что может положиться на потомков. А может, он думает, что достоинства его хвалебных стихов погасят самую похвалу?

26.11.52

Мы охотимся за народным искусством, и, естественно, в такой высокоиндустриализированной стране, как Германия, для этого приходится обращаться к далеким временам. Мы совершаем ошибку, присматриваясь в поисках народного искусства лишь к признанным искусствам — к живописи, музыке, танцам и т. д. Тут-то как раз все народное уничтожено именно этими искусствами. Вместо этого нам следовало бы больше присматриваться к таким искусствам, как столярное, кузнечное, театрально-портновское и т. д.,— искусствам, которые из-за недостаточного уважения к ним гибнут на наших глазах.

28.12.52

Если трезво рассмотреть то, что я называл эпической игрой, это игра, в которой находит свое четкое выражение естественно существующее противоречие между исполнителем и драматическим персонажем. Игра — это (общественная) критика исполнителем персонажа, которого он тем не менее должен полностью

[67] ССНМ — «Союз свободной немецкой молодежи», организация молодежи ГДР.
[68] Речь идет о сборнике рассказов Анны Зегерс «Линия» (1950).

олицетворять. Взгляды, страсти. опыт, интересы персонажа вовсе не есть взгляды, страсти, опыт, интересы исполнителя, и последние должны найти выражение в исполнении. (Это происходило всегда само собой, но чаще всего мало осознавалось.)

В этом отношении, как и в некоторых иных, торжество диалектики в театре вызывает явственный шок даже у тех, кто в других областях признает диалектику.

28.12.52

Безошибочный признак того, что что-то не является искусством или кто-то не понимает искусства,— это скука. Она столь же сильна, как в противоположном случае удовольствие. Искусство должно быть средством воспитания, но цель его — удовольствие.

3.2.53

Если изучать голландских живописцев, считающихся реалистами, обнаруживаешь, что их стиль — это просто стиль жизни их современников (и моделей). Все, что они подчеркивают или опускают, почерпнуто из этого стиля жизни. Наши живописцы не только сами новички, но и их модели — новички в освоении нового стиля жизни. Эти крестьяне, рабочие, инженеры, партийные работники еще далеко не так законченны, как тогдашние купцы, аристократы, слуги. Незаконченны в двойном смысле слова.

(Май 55)
Москва.

Новый университет, символ Москвы,— издали радостное сооружение с крупными линиями и красивыми деталями, о котором фотографии не дают верного представления. Строение непрофессоральное, словно возведенное для искусств (в которые когда-нибудь опять превратятся науки).

В Театре сатиры видел «Баню» Маяковского. Полная жизни камерная мистерия, которую очень живо играют превосходные актеры. Реалистическая игра, повсюду эффекты очуждения, пафос комического.

В тот же вечер был в Художественном театре, где в большинстве своем молодые актеры играли в постановке одного из учеников Станиславского «Много шума из ничего». Играли «традиционно» (в плохой традиции 80-х годов), с пустым пафосом, мелкобуржуазной задушевностью, комичностью фарфоровых статуэток и обычным грубым высмеиванием мажордома, который думает, что ему позволено любить свою госпожу. Никакого следа от присущего Станиславскому чувства естественности и правды.

«Проданная колыбельная» Лакснесса в Малом театре. Пьеса выдающегося прозаика разочаровывает, она старомодна по содержанию и форме. Средние актеры, грубое исполнение, патетический натурализм. Именно то, против чего боролся Станиславский.

Слышал, что Акимов хочет поставить в Ленинграде «Историю Симоны Машар», а Завадский в Москве — «Кураж». Советую на роль Симоны одиннадцатилетнюю. Видел исполнительницу Кураж в роли торговки в хорошей революционной пьесе «Шторм». Она великолепна, ходячий v-эффект. Поразительная человеческая глыба, очень смелая артистичность.

С неслыханным удовольствием видел в Художественном театре «Горячее сердце» Островского. Все величие Станиславского становится зримым.

Составление, перевод с немецкого и примечания Е. КАЦЕВОЙ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛАВЛИНСКИЙ

★

ЕДИНЫЙ ЯЗЫК ИСКУССТВА

Наблюдать с близкого расстояния за взрывной работой его ума, к счастью, вполне безопасно. Хотя на тебя обрушивается лавина разнообразной информации, не испытываешь никаких перенапряжений. Л. Мартынов совершенно не умеет утомлять, а это по нынешним интеллектуально насыщенным временам немалая редкость. Я даже заметил: в каком бы дурном настроении ни застал меня разговор с поэтом, тучи на душе почему-то расходятся. Вроде бы о непогодах и речи нет, а вот поди ж ты!

Маленький рыжебородый пророк Ишуа из булгаковского романа обладал завидным искусством — освобождать людей от головной боли. У Л. Мартынова сходный дар — возвращать собеседнику душевное равновесие, увлекать широтой своих запросов и неизменной бодрой энергией. И хотя я ни разу не заметил над его пепельной, остриженной под бокс головой эдакого мерцающего нимба, но все же не могу отделаться от мысли, что вот этот обаятельный человек иногда превращается в таинственного Буран Бураныча или, положим, в мифического Геркулеса. Домашняя клетчатая ковбойка не мешает чудесам и никого не обманывает.

Всех лирических перевоплощений Л. Мартынова счесть невозможно. За свою долгую жизнь (а ведь он еще собственными глазами видел городовых и сиживал в гимназии на уроках закона божьего) поэт создал целую библиотеку книг, очень несхожих и, однако, составляющих нераздельное единство...

Иные из стихотворений начинаешь любить безотчетно, не вдруг сознавая, чем они так понравились. Просто что-то зацепит в строчках и будет снова и снова тебя притягивать. Ведь порой и знакомый человек привлекает неизвестно чем — смутно угадываемой глубиной и неповторимостью, что ли. В одном из поздних мартыновских сборников есть такая миниатюра:

Там,
В лесу,
Когда умчались тучи
И раскаты грома отзвучали,
Будто бы обугленные сучья,
Молнии остывшие торчали.

И одну из них, посуковатей,
Выбрал я и спас от доли жалкой:
Мол, не дам в чащобе догнивать ей,
Буду ей размахивать, как палкой.

Жгучести я больше не нашел в ней,
Но в конце концов и тишь и дрема
Состоят из отблиставших молний
И откувыркавшегося грома!

Стихотворение как стихотворение, рассуждал я, пытаясь понять, в чем его прелесть. Вроде бы никаких глобальных событий тут не происходит: гуляет человек по лесу, подбирает палку, упрямо называет ее молнией — безнадежный чудак и фантазер? Конечно, дорожная зарисовка сделана с высоким живописным мастерством, и можно еще добавить, что художественный эффект достигнут с помощью известного остранения изображаемого. Перевернутое сравнение, неожиданные, сильные рифмы, парадоксальность самого способа мышления — может, в этом все дело? Но ведь тайна поэтического обаяния не в безликих «изобразительных средствах» даже в том случае, если «неисчислимо их богатство». Важно еще, чего автор с их помощью добивается: превращает жалкую корягу в молнию или наоборот. Тайна — в лирическом характере поэта, одухотворяющего любые общеизвестные приемы.

Нет, что-то необычное в стихотворении все-таки происходит. Обратите внимание, с какой естественностью совершается здесь двойная подмена понятий. Только что мы

видели погасшую стрелу небес — и вдруг «посуковатей», «догнивать», простая палка. Мы уже готовы настроиться на шуточный лад, но автор снова всерьез: «Жгучести я больше не нашел в ней...» Эти молниеносные сдвиги значений никак не свести к элементарному эффекту остранения. На мирной картинке лесного затишья как бы трепещут беглые отблески грозы. В таком изменчивом освещении и сам лирический герой начинает двоиться в нашем сознании: чудак, размахивающий палкой, или вооруженный веселыми молниями пророк? И главное, одного невозможно отделить от другого — совершенно целостный образ.

Такого рода «странности» поражают и при личном общении с Л. Мартыновым. Однажды я просмотрел хронологию его произведений и не смог решить, в какие годы поэт работал с наибольшей самоотдачей. А ведь его путь в литературе вовсе не был усыпан розами. Как всякий (или почти всякий) большой художник, он встречал на этом пути и восторженных поклонников и ретивых недоброжелателей. Нередко вокруг его произведений закипали яростные споры. А в течение целого десятилетия (1947—1957) Л. Мартынов, по сути, не печатался. Но вот что примечательно: эти, казалось бы, немаловажные обстоятельства никак не отражались на его творческой активности. Понятно, это не означает, что поэт оставался глух к критике. Или, напротив, олимпийски равнодушен к признанию. Не он ли воскликнул, когда это признание упрочилось: «Удивительно мощное эхо. Очевидно, такая эпоха!» Однако потребность понять и правдиво выразить свое трудное и прекрасное время всегда оказывалась в нем сильнее каких-либо сторонних воздействий.

Беседуя с поэтом, я спросил, какие годы жизни он считает для себя самыми творчески плодотворными. И получил неопределенный ответ: «Да я, знаете ли, работал беспрерывно... Только однажды, будучи в Будапеште... я поскользнулся на улице и по-дурацки сломал ногу... Попал в больницу и, кажется, тогда некоторое время не писал... но и то друзья принесли в палату множество венгерских стихов, и я занялся переводами...»

Такая ежедневная, систематическая и нередко черновая работа отнюдь не входит в противоречие с вулканизмом натуры. Кстати, древние представляли бога подземного огня Вулкана вечным тружеником. Вокруг незатухающего подземного горна ходит коренастый и хромоногий крепыш с лицом, почерневшим от копоти. В узловатых руках кузнечный молот, которым выковываются всяческие чудеса вплоть до Юпитеровых молний...

Во внешнем облике Л. Мартынова нет решительно ничего от этих черт, но, в сущности, он тоже кузнец, неутомимо кующий свои стихи, поворачивающий слова так и эдак, пробующий их на прочность и звонкость...

Мы сидим в его горячей мастерской, то бишь в тихом рабочем кабинете, где многочисленные предметы словно навечно закрепились на однажды избранных местах. И циклопическая библиотека по разным отраслям знания, кажущаяся результатом какого-то буйного книжного извержения; и знаменитая коллекция камней, собранная хозяином во время загородных прогулок (она тоже наводит на мысль о вулканической бомбардировке). Даже художественное изделие из рога — хищная и как будто доисторическая рыба неизменно разевает пасть на письменном столе. Из этой пасти торчит несколько цветных карандашей, и я догадываюсь, что отсюда же вышла серия мартыновских рисунков, сделанная на клочках бумаги и подклеенная в авторский изоальбом.

Я только что вручил хозяину очередной номер польского молодежного журнала, в котором из нашей прессы перепечатано критическое выступление Л. Мартынова (всего несколько дней назад я вернулся из командировки в Варшаву). Поэт ответил на немудреный дар стихами из своих переводов польской лирики. Так и набрели мы на вечно злободневную и обоюдоострую тему.

Я всегда считал, что переводить самого Л. Мартынова еще труднее, чем писать о нем очерки и статьи. И главная трудность задачи — в ее обманчивой легкости.

Многие из его лирических стихов, густо насыщенных научно-технической лексикой (общей для разных языков), имеют к тому же рационалистически-четкий сюжетный каркас и строятся, как любит пояснять сам автор, «по принципу отрицания отрицания». Но на примере «Погасшей молнии» мы уже видели, что одних общих принципов для глубокого понимания его поэзии недостаточно. Переводчик, ограничивший себя спиралью авторской идеи, получит лишь диаграмму мартыновского стихотворения, а не его душу.

— Хотите знать, как меня переводят? —

спрашивает Л. Мартынов.— Судить об этом с уверенностью не могу по недостаточному знанию языков. Но вот разберитесь в этом, если сумеете.

Поэт передал мне иностранный журнал; около трети всего объема было отведено мартыновской лирике. Я задержался на стихотворении «Эхо», поскольку даже моих весьма скромных познаний в языке хватило, чтобы понять: из переведенного текста полностью исчезла богатая звуковая инструментовка подлинника.

— Да, перевод — вещь коварная,— заметив разочарование, сказал поэт.— Зато автор, потрудившийся над моими стихами, по-видимому, человек славный. Я послал ему благодарное письмо, но все же указал на некоторые допущенные им сверхвольности. Он ничуть не обиделся, и сейчас мы даже изредка переписываемся.

Действительно, передать в иной фонетической системе сложную мартыновскую звукопись — головоломка не из легких. Но дело не только в звукописи: ведь вместе с нею из текста может вообще уйти изобразительная энергия подлинника! Какими средствами сохранить впечатление лирической свежести и естественности, которое производят хорошие стихи, созданные и читаемые на одном языке?

— И сам я как переводчик, конечно, не лучше других,— прервал мои мысли Л. Мартынов.— Напереводил столько, что даже неловко: еще подумают, будто я какой-нибудь полиглот... Но поскольку вы недавно ездили в Польшу, хочу подарить свои переводы Яна Кохановского...

Из расщелины между громоздящимися томами поэт извлек небольшую книжечку, изданную в серии «Сокровища мировой поэзии», и начал быстро перелистывать, словно что-то разыскивая. При этом он заметно помрачнел.

— Конечно, я работал над ней от души, и это часть моей жизни, однако...— Л. Мартынов нервно вертел книгу в руках. Потом отдал, вздохнув: — Очень трудно переводить архаичного автора... А это, между прочим, великий поэт... Пожалуй, у меня скорее получился наш восемнадцатый век, чем польское Возрождение... В общем, даю эту книгу не для того, чтобы вы о ней писали... Наоборот: чтобы ничего о ней не писали...

Получив подарок с таким необычным предисловием, я принялся его разглядывать, а собеседник уже совсем мрачно продолжал:

— Не верьте переводчикам. Не верьте Соллогубу, что он сумел передать Верлена. Никакой это не Верлен. Не верьте мне. Не верьте Левику... Что? Вам понравилось, как он сделал Дю Белле? Этого поэта я не знаю...

Последняя фраза прозвучала почти виновато: в самом деле, как же это Л. Мартынов, поглотивший на своем веку бессчетное количество книг (и, я думаю, при его феноменальной памяти не забывший ни одной),— как же он может кого-либо не знать?

Я кратко изложил все, что вычитал из предисловия В. Левика[1]. О дипломатической службе Дю Белле в Риме. О прижизненной безвестности и дружбе с прославленным тогда Ронсаром (XVI век). Наконец, о том, как оба поэта были вовсе забыты на родине, вытесненные другими, а потом, спустя столетия, воскрешены для читателя эссеистом Сент-Бёвом.

— Похожая странность произошла и с Франсуа Вийоном,— тотчас вставил Л. Мартынов.— На несколько веков он словно исчез из литературы, даже в просвещенном XIX столетии о нем не вспоминали... Впрочем, Стивенсон написал о нем рассказ.... Но по-настоящему открыла Вийона уже наша эпоха...

Однако притча о невзгодах посмертной известности ненадолго завладела вниманием Л. Мартынова — он был увлечен другой мыслью.

— Левик очень хороший, культурный переводчик,— вернулся поэт к своему мрачному тону.— Но все-таки и ему не верьте... — Рука хозяина потянулась за новой книгой.— Вот... прошу извинить мое чудовищное английское произношение, но я все-таки прочту вам одно место из Байрона...

В окно, за которым мирно шелестело московское лето, вдруг потянуло штормовым ветром: в комнате зазвучали английские стихи редкостной музыкальной выразительности, стихи, передающие рев и грохот океана. Почти каждая строка состояла из отрывистых, коротких слов.

— Попробуйте перевести это на русский! — победоносно воскликнул Л. Мартынов, кончив чтение.

К моему удивлению, неутешительный вывод почти вернул поэту доброе настроение: очевидно, он был доволен, найдя своим мыслям веское подтверждение. Я вспомнил,

[1] «Дю Белле и Ронсар». Стихи. Перевод с французского, вступительная статья и комментарий Вильгельма Левика. М. «Детская литература». 1969.

как накануне моего отъезда в Польшу Л. Мартынов с большим подъемом читал по телефону поэму Юлиана Тувима «Зелень»:

Разговор про зелень беспределен...
Звуком возвеличивая зелень,
Силой вдохновенья умножая,
Буйного добьемся урожая.
Мало видеть слово. Надо точно
Знать, какая есть у слова почва,
Как росло оно и как крепчало,
Как его звучало зазвучало,
Чем должно набухнуть и налиться
Прежде, чем в названье превратиться,
В званье, в имя или в кличку просто...
Прелесть слова — в летописи роста...[2]

Из телефонной трубки на меня низверглись все сто восемьдесят строк этой «Словотворческой фантазии» — привожу здесь только первую строфу. Кстати, вскоре после чтения я поддался странной иллюзии, будто поэт познакомил меня с произведением и в своем переводе и в оригинале. Перезвонив Л. Мартынову, я, конечно, польстил переводчику своей ошибкой.

— Ага! Значит, мне удалось донести до вас подлинный колорит этой вещи! — Поэт торжествующе рассмеялся.

Что и говорить, колорит тут действительно могуч. Даже теперь, когда перечитываю мартыновский вариант «Зелени», у меня стойко держится ощущение, будто я чудесным образом научился понимать по-польски. Наверное, эффект обусловлен тем, что оба поэта (польский и русский) развернули в стихах фантастически сложную перекличку общеславянских и иноязычных словесных корней. Слова как бы перемигиваются друг с другом различными смысловыми отблесками, и это похоже на беглый пульсирующий свет праздничной иллюминации.

— Как мне передавали, Тувиму моя работа нравилась,— с удовольствием сообщила телефонная трубка. — Хотя, конечно, письменных доказательств представить вам не могу.

Мы поговорили еще тогда о вреде переводческого буквализма, и Л. Мартынов при этом оптимистически заметил:

— Пусть Верлена никто из русских поэтов не мог точно перевести. Но важно уже то, что переводили. Важно потому, что сильный лирик, хотя на нашем языке он и звучит по-иному, все равно пробуждает творческую энергию многих и многих. А это в конце концов самое важное — вызвать непрерывный ток вдохновения...

Однако сейчас Л. Мартынов заново переживает свою давнюю неудачу, и Ф. Сологубу досталось под горячую руку. Собственно, маятник поэтического настроения описал на моих глазах ту же амплитуду, что и в известном стихотворении «Проблема перевода». Только двинулся в обратном направлении. Как помните, в начале этой вещи автор спорит с подступившими к нему тенями Вийона, Верлена и Рембо («И может быть, толпились позади еще другие, смутные для взгляда, пришедшие из рая либо ада...»). Спорит, отказываясь переводить, убеждая их и себя, что это невозможно. Однако пройдя критическую точку, настроение лирического героя круто меняется. Чувство безвыходности разрешается утверждением собственного права добавить «в чужую скорбь свое негодованье, в чужое тленье своего огня». Учитывая, что «Проблема перевода» написана в начале 60-х и, стало быть, упомянутая амплитуда остается постоянной, я мог не сомневаться, что не сегодня, так завтра Л. Мартынов примется с новым упорством штурмовать коварную «вершину точности».

— Я думаю, успешность переводов во многом зависит от созвучности оригинала настоящей эпохе,— уже спокойно, без горечи подытоживает Л. Мартынов.— Вспомните, как сильно прозвучал у нас когда-то Киплинг. А сейчас удачные публикации не появляются, очевидно, потому, что нет этих звучаний в душе у переводчиков. Ведь искусственно этого у себя не возбудишь. Люди стали иначе мыслить, и крайне трудно бывает войти во внутренний мир далекого во всех отношениях подлинника.

Говоря так, Л. Мартынов, пожалуй, преуменьшил возможности литературного артистизма и собственную способность к перевоплощениям — наверно, в эту минуту над переводчиком слишком возобладал гражданский поэт, радеющий об актуальных запросах времени. Но я почувствовал: Л. Мартынову для внутреннего спокойствия надо сейчас же, немедленно понять и объяснить причины собственной неудачи, поэтому и решил не возражать.

С чего же, однако, начинается работа над иностранным источником и какие существуют подступы к желанной «вершине»? Поэт рассказал, как некогда, очень давно, познакомился с Пабло Нерудой и решил перевести его стихотворение «Возвращает-

[2] Все переводы Л. Мартынова даются здесь по книге «Поэты разных стран. Стихи зарубежных поэтов в переводе Леонида Мартынова». М. «Прогресс». 1964.

ся осень». Оно было создано в ту пору, когда чилийский трибун декларировал полную свободу от рифмы. Однако прочитав «Осень» по-испански, Л. Мартынов уловил в строчках несомненные созвучия. Правда, это не были рифмы в точном смысле слова («Даже не ассонансы!»), но они так или иначе закрепляли движение лирической мелодии.

— Когда я сказал об этом Неруде, он сначала не согласился: какие же, дескать, это рифмы? Хорошо, сказал я, назовем их нерудизмами. Но все же белым стихом или верлибром переводить «Осень», по-моему, нельзя. Автор подумал и признал мою правоту.

Л. Мартынов озвучил произведение по-русски свободным стихом, и все же в словесном потоке нет-нет да и проскакивают словно непреднамеренные, шальные рифмы — иногда простейшие, по падежным окончаниям («слезами — колоколами»), а порой более сложные, корневые («кровати— кровавый»).

Насколько это близко к оригиналу, судить не мне, я просто читаю мартыновский перевод как лирически сильные стихи. Некоторые строки захватывают чувством нарастающей тревоги:

...Я не знаю, понятно вам это?
Ночь нисходит, поэт одинокий
слышит осени конский топот;
и, растоптаны, листья страха
шелестят в глубине артерий...
грязные уши подслушивают
сокровенные тайны людские,
убийцы по лестницам сходят...

Все-таки удивительно, что делает с истинной поэзией время! Наверно, эти «листья страха» не связаны ни с трагическим концом великого чилийца, ни с роковым поворотом в судьбах его родины, но сегодня давняя осенняя грусть прочитанных строк звучит для меня пророческим предощущением беды. И еще я думаю, что с бережного вслушивания в музыку стиха (даже если язык подлинника не очень знаком), с конкретности восприятия (вплоть до шутливого термина «нерудизмы»!) начинается любая переводческая работа Л. Мартынова. Пусть это не всегда спасает от неудач и разочарований, но, по крайней мере, свидетельствует о высокой добросовестности мастера.

А что дают переводы Л. Мартынову как самобытному художнику? Широту эстетического кругозора? Воплощение мысли о непрерывном токе вдохновения, столь близкого «буйным урожаям» из «фантазии» Юлиана Тувима? Какую-нибудь полюбившуюся строчку, которая станет импульсом для создания собственных стихов? Быть может, «Погасшая молния» имеет косвенную связь с венгерской образностью Аттилы Йожефа, написавшего когда-то: «Здесь все старо, и вихрь здесь тоже дряхл, кривую молнию влачит, как посох»[3]... Пути поэзии неисповедимы и непредсказуемы, а собственный лирический заряд зарождается в душе автора, накапливая частицы «электричества», рассеянные повсюду. Во всяком случае, Л. Мартынов убежден, что для истинного искусства не должно существовать ни языковых барьеров, ни государственных границ. Это не только безотчетная потребность поэта в глобальной широте общения — это важнейший пункт эстетической программы, сложившейся под знаком последовательного интернационализма.

Но если поэт однажды что-то постиг, если нашел даже раскрепощающую формулу точности («в чужую скорбь — свое негодованье...»), откуда же бремя новых и новых сомнений, откуда этот комически-мрачный рефрен: «Не верьте Соллогубу, не верьте Левику, не верьте мне»?

Нет, все-таки приходится думать, что христиане не зря переосмыслили миф о Вулкане, выселив языческого бога из-под земли и разместив в его рабочей кузнице девять цехов сатанинской фабрики пыток. Не улыбайтесь: путь к художественным открытиям, очевидно, проходит сквозь подобное пекло, причем целая свора чертей терзает душу поэта разнообразными орудиями казни. Иными словами, точность в поэзии, как и в литературе вообще, величина переменная. Ее формула (в том-то и состоит принципиальное отличие искусства от науки!) всякий раз заново выводится из конкретного материала.

Естественно, что я отнюдь не со стенографической точностью передаю свой разговор с Л. Мартыновым. Хотя бы потому, что разговор с человеком такого взрывного воображения не может идти по строго определенному руслу. Он (разговор) движется одновременно по нескольким каналам и, перейдя без изменений в печатный текст, мог бы показаться просто беспорядочным.

[3] См. кн. «Поэты разных стран. Стихи зарубежных поэтов в переводе Леонида Мартынова», стр. 48.

На деле он лишь многотемен, и по инициативе моего собеседника происходят частые переключения из одной области в другую.

Рассуждая о переводах, мы говорили попутно еще о тысяче вещей. Например, о... боксе. Оказывается, оба следили по телевизору за проходящим в Польше международным чемпионатом. Л. Мартынов восхищался молниеносным ударом советского средневеса Лемешева и сожалел, что в молодости сам не попробовал сил на ринге (по правде сказать, я об этом не очень сожалел: как знать, имели бы мы в этом случае «Тобольского летописца» и «Правдивую историю об Увенькае...»). Еще мы устанавливали степень виновности солнечных пятен и космических излучений в агрессивных состояниях человеческой психики. Критиковали односторонние теории Фрейда и Ломброзо, но при этом вылущивали из них съедобно-рациональное зерно. Пытались также навести философские мосты между древним понятием рока и устойчивыми кодами дурной наследственности.

Чувствую, что и в этом месте читатель готов улыбнуться. Но не торопитесь настраиваться иронически: вспомните о палке, превращенной в молнию... И солнечные пятна, и диалектически препарированный Фрейд, и механизмы наследственности нужны поэту для всестороннего постижения зла, с существованием которого на планете он не хочет и не может смириться. Не тревожьтесь, он не преувеличивает могущества науки и отлично сознает разницу между ее методологией и средствами поэтического искусства. Но убежден: в XX веке даже пророкам негоже быть неучами. Или, как он сам однажды сказал: «Остерегайтесь быть невеждами в политике и экономике!» В конце концов, не только зло имеет возможность вооружаться оптическими прицелами — не помешают они и метателю праведных молний.

— Вы утверждаете, что преступление должно обязательно караться, и я совершенно с вами согласен. Но все же почему при одинаковом уровне культуры, а вернее, нравственного бескультурья один оказывается способным на злодейство, а другой нет? Разные обстоятельства? А если взять сходные? Во времена средневековья встречались люди, которые сознательно служили культу сатаны. Они, вероятно, оправдывали себя тем, что находятся во власти князя тьмы. Но какие доводы для насилия над собственной совестью используют нынешние негодяи?

Каюсь, я сам нарочно затронул в разговоре эту тему и получил примерно то, что ожидал от автора «Микробов», «Змеи» и других обличительно-непримиримых стихов. В комнате закрутился циклон, в котором носились частицы космических радиаций, средневековые ведьмы и психоаналитики всех времен.

— Самое главное в том, что никакие солнечные пятна не заставят нас с вами плясать под их дудку,— заключил Л. Мартынов, великодушно наделяя меня своей нравственной прочностью.

Наша беседа прерывалась телефонными звонками: к поэту рвались посетители. Для многих людей кажется естественным: взять да и познакомиться запросто с автором любимых книг. Желание понятное, но стоило бы все же помнить, что это книги издаются стотысячными тиражами, а сам автор... Правда, его неутомимость редкостна, но ведь именно Л. Мартынову принадлежат шутливо-серьезные стихи о «хватком черте»:

Опять
Вокруг меня летает
Какой-то черт, и на лету
За сердце он меня хватает.
Но жизнь моя еще в цвету.
И хваткому посланцу ада
Я возвещаю на ходу
Все то, за что мне взяться надо
Не нынче — в будущем году.
И восклицает он:
— Недурно! —
В восторге от моих затей.
И сердце, бьющееся бурно,
Он выпускает
Из когтей.

Впервые прочитав «Хваткого черта», я воспринял эти стихи не просто как задиристую атеистическую шутку и не только как метафорическое подтверждение авторской жизнестойкости. Еще мне приоткрылся в этих строчках некий общегуманистический принцип бытия, выраженный поэтом как бы мимоходом. Сам я не однажды замечал, как одержимость своими замыслами, поглощенность большим, значительным делом помогают человеку перебарывать недуги, казалось бы, очень тяжкие. Конечно, о закономерностях такого рода легче судить медикам, но отчего не поделиться с поэтом собственными наблюдениями? Мартынов согласился с ними, твердо заявив: «Писатель не умрет, пока не выскажется». И подкрепил свой парадокс историей бывшего царского офицера, пытавшегося после

революции застрелиться (он, однако, выжил, пробив себе легкое).

— Потом этот человек осознал, что жить при советской власти не только можно, но и нужно. Стал главой пивоваренного завода, позже — директором книжного магазина. Начал писать хорошие стихи и даже соорудил производственный роман. И как только дописал — умер от застарелой чахотки. При вскрытии обнаружилось, что легких практически нет: съедены болезнью. Чем, вы думаете, он дышал? Эту функцию взял на себя рубец от пули... Я еще обязательно об этом напишу...

Вот одна из одиссей в чисто мартыновском вкусе, столь же необыкновенная, сколько и достоверная. Поэт, водящий короткое знакомство с чертом Багрянычем и звездной красавицей Январкой, однажды пожаловался:

— Знаете, я ничего не могу выдумывать сам. Взялся как-то сочинять фантастическую новеллу — ничего не вышло. Жизнь придумывает лучше меня.

Быть может, в сетованиях Л. Мартынова и есть доля истины, поскольку он остается мыслителем-реалистом в самых безудержных выдумках. Ведь все они суть не что иное, как развернутые метафоры. А история бывшего офицера, соединившего в своем лице книгопродавца и поэта, кстати, уже написана. Вы сможете прочитать ее в одном из номеров «Дружбы народов» и сравнить устный рассказ поэта с окончательным вариантом.

В течение нашей многочасовой беседы я старался не забывать о происках «хваткого черта», но — считайте меня чудовищем — никак не мог подняться и уйти. Напротив, даже сказал Л. Мартынову, что его хотят навестить два моих товарища, тоже редакционные сотрудники. Встретив мягкое, но упорное сопротивление, я, должно быть, пал совсем низко.

— Оба журналиста,— сказал я, — улетают на неделю в Таджикистан, будут в горах и обещают привезти хорошие камни для вашей коллекции.

Это, в сущности, было чистой правдой, и мы в редакции сообща обдумали такой подарок, но...

— Камней не нужно,— отмахнулся поэт, хотя голос его значительно потеплел.— Скажите вашим друзьям, что я люблю только те экземпляры, которые нахожу сам... Вообще я посоветовал бы не ездить за камнями так далеко, а собирать их на месте, в Московской области. И еще я мог бы научить ваших друзей, как надо раскалывать камни, чтобы те принимали форму живых фигур. Тут нужен всего один точный удар...

Л. Мартынов еще долго говорил о предмете своих внелитературных увлечений. Очередное чудачество? Но характер того или иного увлечения (или, как теперь говорят, хобби, хотя я никак не пойму, чем пришлое словцо лучше) тоже может немало рассказать о человеке. Невозможно представить Л. Мартынова собирающим открытки или, скажем, пластинки с записью легкой музыки. Камни — это длительные пешеходные прогулки на вольном воздухе, это курганы вятичей, родная история. Реактивное воображение автора постоянно ищет в причудливой форме глыб следы былого. Перечитайте стихотворение «Драгоценный камень», герой которого размышляет: а не предмет ли древнего искусства попал ему в руки? К тому же камни — это первозданно и прочно, это на века, как отформованный большим поэтом словесный материал...

Вероятно, по той же причине, по какой все в мире взаимосвязано, после бокса, Фрейда и средневековых ведьм мы снова вернулись к проблемам художественного перевода. В «Зелени» Юлиана Тувима есть запевные строки: «Так не лепо ль нам, про зель земную словесами предков повествуя, эту повесть начинать издревле!» Помню, как я удивился, впервые расслышав в звучании польской поэмы мелодию «Слова о полку Игореве». И рискнул спросить Л. Мартынова, не является ли она добавлением переводчика.

— Зачем же,— возразил поэт.— Тувим прекрасно знал и любил «Слово», это его собственное обращение к памятнику.

— Лестно думать,— сказал я,— что наше национальное сокровище так общедоступно и популярно. Впрочем, одни только отечественные стихотворцы за полтора столетия растащили его по строчке на цитаты.

— Только бы не тащили целиком! — подхватил Мартынов.— Ведь ни один из существующих переводов не воссоздает силы подлинника!

В тон поэту я сказал, что считаю истинным переводом «Слова» на язык XX века шолоховский «Тихий Дон». Поэт охотно принял метафору.

— Нельзя забывать,— сказал он,— что

у нашей литературы прекрасные истоки. Что еще в седой древности это была великая и героическая литература.

Затем он добавил, что иные из народных былин в художественном отношении все-таки подпорчены многовековой устной передачей. А «Слово», как произведение письменное, сохранило дыхание первородства, единство стиля и композиции.

Л. Мартынов не одобрял попыток нынешних «скептиков» ущемить XII век в родительских правах на «Слово».

— Что за беда эти так называемые темные места памятника! Они загадочны, но это даже придает произведению особую прелесть. Вероятно, в поэзии всегда должна быть некая тайна...

Еще поэт высказал сожаление, что далеко не все понимают, какой исполинский заряд художественной энергии скрыт в других произведениях нашей древней письменности.

— Вероятно, мы их слабо пропагандируем? — предположил я.

— Едва ли тут поможет пропаганда. Неровен час так нажмем на читателя, что он и вовсе от них отвернется. Воспитывать у публики истинный вкус — вот что нужно...

Но восхищаясь загадочностью поэзии, Л. Мартынов вовсе не стремится окружить ореолом тайны собственную художническую работу. Напротив, рождение мемуарной книги «Воздушные фрегаты» во многом продиктовано противоположным намерением: с возможной полнотой объяснить себя, не оставить в читательском воображении места для каких-либо легенд. Именно поэтому автор подробно описывает обстоятельства, толкнувшие его к созданию тех или иных стихов, прослеживает преображение смутного импульса в отчетливый замысел и наконец подводит нас к главной тайне— словесному воплощению. Есть здесь, конечно, и понимание своей поэтической значимости. Мало кто из нынешних поэтов столь широко распахивает перед читателем заветные двери лаборатории.

— Ниночка считает, что я это делаю зря,— говорит Л. Мартынов о жене.— Она думает, что это превращает живые картины поэзии в груду ободранных декораций. А я не хочу выглядеть этаким магом и волшебником. Я считаю, творческие процессы надо изучать, как все на свете.

Столь рационалистичное высказывание заставило меня вспомнить язвительную поэму «Поэзия как волшебство» — о Константине Бальмонте. Ярый приверженец разума и науки, Л. Мартынов, конечно, вдосталь поиздевался над мистическим эстетством давнего вождя символистов, в частности над его фетишизацией отдельных, не соединенных в слова звуков. Помните, как в провинциальном Омске заезжий столичный мэтр «соображения свои высказывал о букве И»? А по рядам в зале пошла гулять зевотная скука, и «у слушателя одного стал рот похож на букву О».

Но, быть может, в дотошном самоанализе Л. Мартынова есть другая крайность? Быть может, воюя с мифами, он в самом деле низводит собственную лирику к уровню грамотного, но и легкодоступного стихописания? Ни в малой степени. Я думаю, не сумел бы, даже если бы захотел. Ведь сколько ни объясняй автор «Воздушных фрегатов», как, в сущности, просто быть поэтом, главная загадка (как поэтом родиться) все равно остается за семью печатями.

Даже многочисленные инструкции по культуризму не каждого энтузиаста превращают в Геркулеса. А духовный атлетизм — явление гораздо более сложное, чем упражнения с гантелями. И генетику изучают вовсе не для того, чтобы химическим путем взращивать гениев. Не стоит распространять строки Ю. Тувима о «буйном урожае» на широкие слои сочиняющих людей. Но при всем при том аналитичность нравственно вооружает. Благодаря ей пределы нашего эстетического познания раздвигаются, а тайна отступает, не переставая быть тайной.

— Надо воспитывать у публики истинный вкус,— полагает Л. Мартынов. Он говорит так, опираясь на свой опыт эссеиста.

Но тут, пожалуй, нужны еще кое-какие дополнения. Одна из древних теоретических аксиом, принятая на вооружение и нынешней критикой, гласит, что умение легко писать стихи еще не делает автора поэтом. В последнее время мы почему-то внедряем эту истину с таким просветительским азартом, что, я думаю, пора уже напомнить о ее антитезе. В самом деле, как-то трудно вообразить большого поэта, который был бы беспомощен в стихосложении. Пусть даже это стихосложение без рифм и строфики. Существует, правда, множество добрых людей, которых называют «поэтами в жизни», но к литературе они не имеют отношения. При этом я от-

лично знаю, что специфика стихотворной речи может вызывать внутреннее сопротивление даже у одаренных литераторов. Один сильный и зрелый писатель недавно признался, что его увлечению поэзией долго мешали ее неизбежные атрибуты — наличие рифм и ритмическая организация текста. Ничего удивительного в таком восприятии врожденного прозаика, по-моему, нет. Как, впрочем, и в том, что творческой натуре Л. Мартынова присуще прямо противоположное качество: хотя поэт создает и обычную новеллистику, первооснова его образной речи, конечно, стих.

Мне рассказывали и такое: в бытность свою корреспондентом сибирских газет Л. Мартынов написал однажды заданный редакцией статейный материал сначала в стихах, а уж потом перевел его в прозу. За последним занятием якобы застал поэта какой-то местный литератор. Представляете, что значит — заковать в созвучия, а затем, наоборот, расковать от них газетную статью?

— Леонид Николаевич, неужели это не легенда? Действительно был такой случай?

— Так, видите ли, эти случаи в моей молодости бывали множество раз. Который из них вы имеете в виду?

— Выходит, даже сырой материал фактов вам легче было записывать стихами, чем обычным способом?

— Во всяком случае, я не испытывал затруднений с рифмами.

Так я до конца и не понял, было ли сочинительство рифмованных статей своеобразной гимнастикой молодого таланта или еще чем-то, но юношеский опыт бесспорно пригодился Л. Мартынову позднее, при создании той же «Проблемы перевода» и других подобных произведений. Они наглядно показывают, сколь зыбки границы между поэзией и художественной эссеистикой. Уж такой это поэт: всегда рад отвоевать для своей музы территорию, считавшуюся прежде неприкосновенной вотчиной других родов литературы. Тут, впрочем, подстерегают его и поражения. В самом деле:

Где она —
Грань между прозой, поэзией,
Точной наукой? Поди ее выяви.
Связь эту, часто неясную...

Творческая продукция вулканов неравнозначна: они рождают не только огонь и раскаленную лаву, но и дым и пепел одновременно. Во всяком случае, не приходится сомневаться, что стихотворная форма для Л. Мартынова совершенно органична...

Кажется, в тот самый момент, когда мы толковали о дурном поведении солнечных пятен, у меня в руках оказалась еще одна книга — на сей раз пожелтевшее дореволюционное издание: Мих. Боголепов, «Колебания климата и историческая жизнь (голод и война)». Л. Мартынов указал страницу:

— Вот почитайте.

Я пробежал глазами несколько абзацев и обнаружил в них весьма впечатляющие сведения. Со ссылками на труды немецких ученых автор перечислял устрашающие результаты некоего «солнечного максимума»:

«...следующая зима была необычайно сурова, с ужасно холодными ветрами, в июле 15-го (993г.) замерзли все озера, погибла рыба, деревья и вся растительность, впечатление было, как зимой; в то же десятилетие неоднократно извергался Везувий, были землетрясения, кометы; народы Европы дошли до такого ужаса, что государи («alle Grosse») прекратили все военные распри, миряне отдавали все в монастыри и шли толпами к Иерусалиму...»[4].

В общем, согласно источнику, на рубеже между I и II тысячелетиями нашей эры по всей территории Западной Европы происходили катастрофические события. Но самым впечатляющим было для меня то, что я уже безусловно встречал эти сведения раньше — в стихах Л. Мартынова. Дойдя до упоминания, что среди скудных записей того времени в русских летописях встречается только одна заметка — «того же лета быть наводнение многа»,— я оторвался от текста и поглядел на поэта; глаза его улыбались.

— Ну да,— ответил он на мой молчаливый вопрос.— Отсюда это стихотворение.

А в моих ушах уже колокольно гудели громоздкие трехзначные даты:

В девятьсот девяносто седьмом,
В девятьсот девяносто восьмом,
в девятьсот девяносто девятом
Человеку с нетвердым умом
даже благовест мнился набатом.
Извергались вулканы. Их дым

[4] Мих. Боголепов. Колебания климата и историческая жизнь (голод и война). Издание Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете. М. Синодальная типография. 1912, стр. 18.

К небесам подымался седым.
И на них появлялись кометы.
И на смену отчаянных зим
наступали студеные лета.
Замерзала в июле вода,
Рыбы дохли под коркою льда,
и от стужи сады увядали.
Люди страшного ждали суда
и второго пришествия ждали.
Содрогалась поверхность земли.
Всюду ужас царил.
Короли отрекались от распрь.
Пилигримы
Бесконечными толпами шли
по дорогам к Иерусалиму...

Я вполне оценил авторскую щедрость Л. Мартынова: ведь он доверительно показал критику механизм стихорождения. И уже нетрудно было понять, как и почему научная информация стала произведением искусства. Очевидно, тут пригодилось автору и его чисто стихотворное, «технологическое» мастерство: он передал строгую фактографию текста в точности, ухитрясь почти ничего к ней не добавить. Только внес ремарки, уточняющие душевное состояние людей — насчет Страшного суда и второго пришествия. Но, конечно, если бы дело этим ограничилось, Л. Мартынов проявил бы себя лишь в качестве искусного версификатора. Главное, помимо ритмической организации речи и точных рифм, поэт внес в текст еще нечто: вдохнул в него свою душу. Так умело расколол найденный камень, что одним ударом придал ему очертания живой фигуры. Приглядитесь: в книге ученого, конечно, нет нравственно-едкой оценки происходящего («человеку с нетвердым умом»). И, понятно, научные выкладки не звучат грозной медью древних набатов, не создают той драматической напряженности, которая вдруг разряжается задиристым юмором и торжествующе-мажорными нотами:

И у нас, вероятно, была,
Как и всюду, большая тревога,
но по милости господа бога
До потомков одна лишь дошла запись:
«Высть наводнение многа».
Видно, мы во величье немом
Не внимали латинцам проклятым
в девятьсот девяносто седьмом,
В девятьсот девяносто восьмом,
в девятьсот девяносто девятом.

Кольцевая сюжетная композиция четко замкнула очерк национального характера. Суровая немногословность древнерусского летописца в годину великих бед вполне под стать иронии самого автора над паническими безрассудствами Запада. При этом, конечно, Л. Мартынов вовсе не отождествляет своего взгляда на вещи с ярой нетерпимостью пращуров. Сталкивая современную лексику с их тяжеловесными речениями, он искусно создает комический эффект: говорит о далекой старине нашей с той же иронической усмешкой. Но вглядитесь внимательнее в эту усмешку — теперь в глубине ее гордость. Это чувство, конечно, рождено теми «прекрасными истоками», о которых упомянул Л. Мартынов, говоря о «Слове» и о других памятниках нашей ранней письменности. Но разве при этом главная мысль стихотворения не вошла в бурную действительность ядерного века, разве не зацепила своим острием кое-кого из нынешних западных пророков, сулящих человечеству скорую гибель?

Тут мы наконец прикасаемся к истинному первоисточнику мартыновских стихов: его подарила поэту, конечно, не книга дореволюционного ученого, прочитанная когда-то очень давно и осевшая в напластованиях домашней библиотеки. О чем бы ни размышлял поэт — о древнеславянском племени вятичей или о римском императоре Октавиане,— корни этих размышлений всегда прорастают в сегодняшнюю действительность. «Что толковать про средние века? Не лучше ль позаботиться о будущем!» Тем не менее Л. Мартынов не устает «вспоминать», заставляя далекое прошлое служить настоящему и будущему. В этом умении, вероятно, и состоит главная тайна его поэзии.

Вот на какие мысли навело меня знакомство с книгой «Колебания климата и историческая жизнь». А точность, с которой Л. Мартынов воспроизвел в стихах почерпнутую информацию, еще более укрепила мое оптимистическое отношение к проблеме перевода. Вероятно, экспрессию Верлена и Рембо все-таки не труднее воссоздать средствами русского языка, чем перевести на язык поэзии научный текст. Для того и другого, помимо специальных знаний, нужно только одно: чтобы переводчик сам был мастером стиха и большим поэтом.

К счастью для Л. Мартынова, никакая беседа с критиком не может продолжаться вечно. Уже сидя в машине, я наблюдал, как проводивший меня поэт проворно огибает ярко-зеленый газон. Вот остановился и помахал рукой. Высокий и сухопарый, в клетчатой ковбойке с закатанными до локтей рукавами, издали он напоминал долго-

вязого парня. Молодой шофер Толя удивленно спросил:

— Кто это?

Я сказал.

— Неужели Мартынов? Но ведь он выглядит не старше вас!

Я куплю себе усы и бороду,
И переоденусь, и тайком
С черным зонтиком пройду по городу,
Притворяясь старым стариком.

На скамейку сяду, носом клюнувши,
В сквере, где резвятся малыши.
А затем преображусь я в юношу
И расхохочусь от всей души,

Сам не знаю, по какому поводу,
Но всего скорее потому,
Что, напялив и усы и бороду,
Был уверен я, что их сниму!

Почему-то мне захотелось тогда прочитать Анатолию эти мартыновские стихи, и я мысленно выругал себя, что не помню их дословно. А «вольного перевода» я в этом случае позволить себе не мог.

СЕМЕН ФРЕЙЛИХ

★

ЭКРАН И СОВРЕМЕННОСТЬ

Двадцать пятый съезд КПСС наметил программу дальнейшего развития литературы и искусства, подчеркнув их возрастающую роль в духовной жизни советского общества.

Партия поддержала произведения, в которых «все чаще, а главное—глубже находит отклик то основное, существенное, чем живет страна, что стало частью личных судеб советских людей» [1]. Главным критерием общественной значимости любого произведения была и остается его идейная направленность. На съезде было сказано веское слово о таланте, о том, что талантливое произведение — это национальное достояние; было сказано и о необходимости нелицеприятной оценки произведений литературы и искусства.

В этой статье речь пойдет о «самом важном из искусств» — кино.

Сначала немного статистики. Ежегодно на наши экраны выходит около 250 новых художественных фильмов. Помимо 130 советских картин, зрители могут увидеть 120 зарубежных, из которых 60 принадлежит кинематографиям братских социалистических стран и столько же кинематографии капиталистических и развивающихся стран. Эти фильмы каждый вечер смотрят в кинотеатрах нашей страны 13 миллионов человек. Фильмы по первой программе телевидения смотрят примерно 100 миллионов человек.

Не будет преувеличением, если мы скажем, что современный человек уже не может представить себе свою жизнь без кино. И это, конечно, феноменальное явление века. Массовое увлечение кинематографом — предмет исследования не только киноведов, политиков, экономистов, но и философов, психологов, социологов.

Именно в социологии была высказана такая примечательная мысль: если бы мы могли объяснить, почему человеку так необходимо кино, мы бы сказали нечто новое о самом человеке.

Расскажем о встрече зрителей с одним фильмом. Это произошло пять лет назад в украинском селе Яреськи. Исполнилось сорок лет фильму «Земля» Александра Довженко. Когда-то режиссер именно здесь снимал этот фильм, и исполнителями в картине были сами крестьяне. Теперь, когда им показали эту картину, многие себя узнали. Старики увидели себя молодыми. Живые увидели тех, кого уже давно нет — многие погибли в войну. После первого ошеломления слух пошел по деревне, в клуб прибегали все новые зрители, а прежние, кто смотрел, тоже не уходили. Ленту с небольшими перерывами крутили целый день, и никто не мог успокоиться, утолить эту жажду, напиться прошлым. Перед ними как бы остановилось время, повторялась их жизнь.

Если в прошлом на увековечение, то есть на фиксацию своего образа в истории, мог рассчитывать король, царь, фараон, полководец — словом, знатный человек верха,— а низы оставались безымянными, то теперь народ вышел на авансцену истории. Кино увековечивает родовые связи народа. Кино служит ему средством самопознания. Оно способно в отдельной личности запечатлеть судьбу народа, массу показать как личность.

Кино способно соединить пространство и время, соединить не механически, ибо сама природа кино и состоит в том, что оно есть искусство пространства в формах времени.

Коренные свойства кино — документальность и движение делают его искусством XX века.

[1] Л. И. Брежнев. Отчетный доклад XXV съезду ЦК КПСС. «Правда», 25 февраля с. г., стр. 8.

В свое время Гегель обосновал идею стадиального развития искусств. Точнее говоря, он считал, что каждая эпоха выдвигает на первый план то одно, то другое искусство. То одно, то другое искусство для своего времени оказывается лидером.

В XX веке лидером среди искусств суждено было стать кино, и это еще на заре его существования так пророчески в ряде высказываний (первое из которых относится к 1907 году) определил В. И. Ленин. Его характеристика: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» — рассматривает кино не только во взаимодействии с обществом, но и в системе других искусств.

Ленинская характеристика кино — ключ для рассмотрения роли киноискусства в духовной жизни социалистического общества, его значения в процессе революционного изменения мира.

Изображая новую историческую действительность, мастера советского киноискусства разных поколений сказали то, что никто еще не сказал, увидели жизнь так, как еще никто не увидел до них. Как смело они показали революцию, «в центр драмы двинув массу», как проницательно рассмотрели характер нашего современника в сложнейших коллизиях общественного и научно-технического прогресса!

Такие фильмы, как «Председатель», «Твой современник», «Премия», стали не только явлениями искусства, но и явлениями общественными, поскольку выдвинули перед нами проблемы развития самого нашего общества, и это тем более было впечатляюще, что тема решена художественно сильно. В этих картинах мы увидели мотивы поступков людей в обстоятельствах, заставляющих их действовать самым решительным образом. В поступках героев таких фильмов раскрывается смысл нашего времени.

Наше многонациональное кино сделало немало для познания национального характера, формирующегося в эпоху социализма. Фильмы «Отец солдата», «Никто не хотел умирать», «Лютый» открывают миру природу грузинского, литовского, киргизского характеров.

Все эти фильмы коснулись тем, обращение к которым имеет огромное значение для самого развития кино как искусства.

Правда, принято считать, что т е м а сама по себе в искусстве ничего не значит. Но такое утверждение справедливо лишь в тех случаях, когда художнику расточаются комплименты именно за «тему» независимо от того, как трактуется эта тема, каков художественный уровень самого произведения.

И все-таки в развитии искусства есть моменты, когда само по себе обращение к той или иной теме влечет за собой — неизбежно притом — принципиальные сдвиги, когда за темой идет новизна сюжета, а вместе с ней и новый подход к изображению человеческого типа.

Характеризуя процесс развития литературы и искусства, Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду коснулся важнейших тем современных романов, фильмов, спектаклей:

«Возьмите, к примеру, то, что ранее суховато называли «производственной темой». Ныне эта тема обрела подлинно художественную форму...

Другая важная тема художественного творчества, которой в последние годы были посвящены правдивые, впечатляющие произведения,— подвиг советского народа в Великой Отечественной войне...

Стоит отметить еще одну тему, которой наши литература и искусство отдали немало усилий. Это—тема морали, нравственных исканий» [2].

В советском кино эти темы играли особую роль, мы вправе даже сказать, что от глубины их решения во многом зависит сегодня развитие самого кино как искусства.

Например, р а б о ч а я т е м а. Исследуя ее, советское кино в разные периоды развития поверяет свою контактность с историческим процессом. «Стачка» Эйзенштейна повернула ход мирового кино, с ней возникла новая эстетика. Интересны размышления на эту тему Висконти, одного из основоположников неореализма.

В его картине «Рокко и его братья» (1960) дан образ рабочего Чиро, в финале он идет работать на фабрику, и мы с ним останавливаемся у проходной. Висконти говорил, что Чиро для него — «отправная точка в будущее»; если бы художник переступил с ним порог фабрики, возможно, начался бы новый этап итальянского кино. Фильм Элио Петри «Рабочий класс идет в рай» (1973), в котором показан рабочий за конвейером, оказался в этом смысле симптоматичным. Однако двойственность картины в том, что ситуация и образ в ней новы, анализ же их

[2] Т а м ж е.

старый: тема отчуждения, решавшаяся ранее Антониони и Феллини, излагается теперь на примере жизни рабочего. Значит, не всегда фильм о рабочем есть рабочее кино. В этом же и двойственность американского фильма «Джо» (режиссер Джон Эвилдсен, 1971), получившего весьма разноречивую оценку вследствие того, что в фильме изображен фашиствующий рабочий. «Авторы, очевидно, хотят сказать об опасности фашизма в Америке, который, по их мнению, захватывал «средний слой» населения»,— писал в своей книге «Экран и время» (1974) В. Баскаков, и именно в этом дело, хотя на первый взгляд может показаться, что перед нами фильм, иллюстрирующий маркузианскую идею об утрате рабочим классом в странах развитого капитализма своей революционной роли. Для такого рода обобщения образ Джо оснований не дает. Образ этот говорит о другом: работа у станка не делает человека прогрессивным сама по себе. Мы знаем: наступают времена, когда рабочее движение должно организоваться социалистическим сознанием.

Но и само социалистическое сознание не может формироваться без глубокой связи с рабочим движением, ибо сознание это есть отражение глубоких процессов в самом производстве. Нельзя только при этом забывать, что психология человека переделывается куда медленнее, чем материальные основы жизни. Именно эта конфликтность питала в советском кино человеческими драмами и историко-революционные фильмы (упомянутая уже «Стачка», «Мать», «Трилогия о Максиме») и с современной темой («Встречный», «Большая семья», «Высота», «Битва в пути», «Весна на Заречной улице»).

Научно-техническая революция дала новые подходы к рабочей теме. Но пока эти подходы разведывались, зрителю зачастую предлагались уже отработанные ситуации и конфликты так называемых производственных фильмов о борьбе новаторов с консерваторами. Вполне реальные коллизии, подмеченные когда-то в глубинных процессах жизни и породившие в свое время новаторские произведения в литературе, театре и кино, теперь, повторяясь в изменившихся исторических условиях, изнашивались, утрачивали какой-либо интерес. Фестиваль фильмов о рабочем классе, проведенный в 1972 году в Горьком, был малоутешительным: только несколько документальных картин оказалось на уровне современных задач, что же касается игровых фильмов, то ни один из них не был удостоен приза. Эти унылые произведения вызывали подчас сомнение: возможно ли средствами игрового кино выразительно показать человека в условиях производства? Тем более что выходили картины о «физиках» и уже были «Девять дней одного года» и «Солярис» — в этих произведениях поле действия героя было расширено, искусство в трактовке человека сблизилось с наукой и философией, сама среда ученого казалась более «фотогеничной» в эпоху НТР: как изобретательно снимали операторы человека в лабораториях, у синхрофазотронов, в космическом корабле.

Однако жизнь самих «физиков», как и всех нас, обнаружила свою зависимость от производства, на нем завязывались главные конфликты современности.

Фигура «делового человека», человека «в условиях производства» вдруг оказалась в центре внимания наших драматургов и сценаристов. Возникло немало произведений, но больше всего внимания к себе привлек образ Алексея Чешкова; о нем, получившем воплощение в театре, кино и телевидении, теперь уже написаны сотни статей, можно сказать, что о Чешкове существует целая литература.

Сначала Чешковым восторгались, потом, присмотревшись к нему, стали поругивать. Литературный тип как живое явление вызывал симпатии и антипатии, и это только усиливало споры. О Чешкове писали именно как о живой личности, ставшей нарицательной для нашего времени, когда в цене поднялся деловой человек. Чешков как тип, возникший в обстоятельствах научно-технической революции, вместе с тем явление историческое.

В русской классической литературе деловой человек ввиду особого, хищнического полуфеодального характера капитализма долгое время был синонимом чуть ли не отрицательной личности. В произведениях русских писателей деловыми людьми нередко являлись иностранцы. Гончаров, например, своему соотечественнику сердечному, милому, но безнадежно недеятельному Обломову противопоставляет пунктуалистского немца Штольца. Обломовщина стала нарицательным явлением. Ее социальную сущность объяснил Ленин. Владимир Ильич буквально десятки раз и по самым разным поводам обращался к этому явлению. Так, в директиве о срочном налаживании бес-

проволочного телеграфа, имевшего тогда особую важность для пропаганды, указывая на промедление здесь как на «преступную халатность», Ленин пишет: «Я очень боюсь, что это дело опять «заснуло» (по проклятой привычке российских Обломовых у с ы п л я т ь всех, все и вся)» [3].

В статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин противопоставляет «старинному, полуобломовскому, полуторгашескому российскому принципу» «организованный социалистический пролетариат», «живую струю живого пролетарского дела» [4].

Ж и в о е д е л о, о р г а н и з а ц и я в представлении Ленина были нечто противоположное о б л о м о в щ и н е, борьбе с которой во всех сферах нашей жизни он посвятил немало сил. Ленин зорко разглядел современный тип Обломова, который в отличие от своего безмятежного прародителя даже весьма активен, но деловитость его ложна, фиктивна. В докладе «О международном и внутреннем положении Советской республики» (1922) Ленин вновь возвращается к этому вопросу: «Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что с т а р ы й О б л о м о в о с т а л с я и н а д о е г о д о л г о м ы т ь, ч и с т и т ь, т р е п а т ь и д р а т ь, ч т о б ы к а к о й - н и б у д ь т о л к в ы ш е л. На этот счет мы должны смотреть на свое положение без всяких иллюзий» [5].

Смотреть на свое положение без иллюзий — такую задачу ставит перед нами партия и сегодня, когда происходит крутой перелом во всех областях жизни в связи с НТР. «Современный уровень развития нашей социалистической экономики,— говорил Л. И. Брежнев,— достигнутый в наши дни уровень научно-технического прогресса предъявляют самые высокие требования не только к чисто профессиональной квалификации работников, но и к их трудовой дисциплине, четкости, организованности. Без этого нам попросту не справиться со сложнейшими задачами, которые ставит современная жизнь.

Мы, товарищи, строим не царство бездельников, где реки молочные да берега кисельные, а самое организованное, самое трудолюбивое общество в истории человечества» [6].

Вновь благодушию бездельников противопоставляется четкость, организованность, квалифицированное руководство как крайняя необходимость, без которых мы не можем решить исторические задачи НТР.

Эти идеи времени резонируют с особой силой именно в фильмах о производстве. В лучших из них идеи эти не иллюстрируются, а возникают из самой образной ткани произведения. Таковы фильмы «Твой современник», «Листопад», «Здесь наш дом», «Самый жаркий месяц», «Старые стены», «День приема по личным вопросам», «Премия»; в них производственный конфликт имеет глубокую нравственную подоплеку. Общественная значимость их несомненна. И хотя фильмы эти различны по степени своего художественного совершенства, тем не менее мы их ставим рядом, чтобы почувствовать направление поисков. Здесь произошла решительная разведка средствами искусства сдвигов в общественном сознании, определяемых важнейшими процессами, происходящими в области производства.

В связи с этим вспоминается фильм «Коммунист». Действие его относится совсем к другим дням. В нем шла речь о строительстве первой электростанции в России. Эпиграфом к картине могли быть поставлены слова Ленина о том, что коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Авторы фильма не иллюстрировали мысль Ленина сценами из жизни того времени. Они эту идею открыли в судьбе Василия Губанова. Они отдавали себе отчет в том, что формула Ленина могла быть осуществлена через действие, через борьбу, исход которой не только не был уготован, но, как показала картина, на пути к цели возникли такие препятствия, для преодоления которых герой должен был пожертвовать жизнью. Анализ мотивов действия Губанова — сильнейшая сторона фильма «Коммунист» как художественного про-

[3] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 160.

[4] Т а м ж е, т. 12, стр. 101—102.

[5] Т а м ж е, т. 45, стр. 13—14.

[6] Л. И. Б р е ж н е в. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик. М. Политиздат. 1973, стр. 56.

изведения, что сделало его явлением общественным, получившим резонанс во всем мире.

Одна из главных идей современности — идея соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социализма — тоже предполагает созидательную деятельность масс, в которой эта идея будет реализована, деятельность со всеми ее противоречиями и психологическими конфликтами, исследовать которые и призвано искусство. И вот здесь как раз можно легко обнаружить, как сильно продвинулось оно в области рабочей темы, как изменилось само содержание «производственного фильма», изменилось настолько существенно, что мы все чаще говорим не о «производственном фильме», а о фильме, посвященном «человеку в условиях производства» (не случайно отсюда и характерные названия пьес и сценариев — «Человек на своем месте», «Человек со стороны»). Рабочая тема угасла как раз в тех произведениях, где конфликт состоял в том, что одни люди, новаторы, понимали необходимость для продвижения вперед реорганизации производства на новых началах, другие не понимали, поскольку были ретроградами. Конфликты разрешались, как правило, в сфере субъективной, драма замыкалась исключительно в сфере нравственной, бытовой, поскольку сталкивались просто хорошие и просто плохие люди, то есть позиция, которую они занимали, зависела исключительно от их личных свойств. В лучших современных фильмах рабочая тема вырывалась из сферы быта в сферу философии отношений; производственный конфликт снова приобрел историческую значимость, его разрешение зависит не только от нравственности персонажей, в этих фильмах сама мораль героев зависит от исторических обстоятельств.

Искусство сигнализировало о появлении Алексея Чешкова, о необходимости подобного типа—знающего, волевого командира производства, и в то же время предупредило о некоторых опасных чертах такого рода деятелей — об их технократических замашках и волюнтаризме, игнорирующем инициативу масс.

Авторы в данном случае не заботились о престиже героя, ибо рассматривали его не как предмет подражания, а как предмет познания — именно это для них было важно. Для критики этот герой оказался не менее сложным, чем в свое время Егор Трубников из фильма «Председатель». Трубников был фигурой драматической: человек страстный, увлекающийся, бескорыстный, он мог быть и прямолинейно жестоким, человек переходного времени, он боролся с тем, что и в нем самом глубоко сидело. Егор Трубников и Алексей Чешков самим фактом своего появления отбрасывают схоластику антиномии «герой — не герой». И Трубников и Чешков — цельные натуры, поскольку и достоинства их и слабости историчны. Здесь ключ к постижению их характеров. Чешков не только наталкивается на определенные препятствия, но и сам в конце концов может оказаться препятствием на пути к цели коллектива, который возглавил. Конфликт Чешкова с коллективом неразрешим в чисто моральном плане, что является свойством мелодрамы. Авторы не стремятся к утешительному финалу, им важно увидеть, что́ питает этот конфликт, и тогда они обнаруживают противоречие в самом производстве, противоречие, возникшее, говоря языком политэкономии, между производительными силами и производственными отношениями. В прошлые эпохи конфликт такого рода был антагонистичным, возникнув, он разрешался в процессе классовых боев и социальных революций. На стадии перехода от социализма к коммунизму противоречие разрешается в процессе научно-технической революции, чреватой, как видим, человеческими коллизиями не меньшего накала.

В своей глубокой основе конфликт начальника цеха Чешкова не сводится к конфликту руководителя с коллективом. По существу, в такой же ситуации оказываются и сталевар Лагутин («Самый жаркий месяц») и рабочий-бригадир Потапов («Премия»). Любопытно при этом заметить: в фильме «Самый жаркий месяц» (по пьесе «Сталевары») мы видим героев у мартенов, сцены плавки стали, снятые с большим мастерством, поэтичны; в фильме «Премия» мы не видим производства, но его обжигающее дыхание чувствуем даже сильнее, хотя все действие происходит в комнате парткома, где разбирается «дело Потапова». Бригада Потапова отказалась от квартальной премии, при этом объяснение дать согласилась лишь партийному комитету. Кажется, что мы смотрим телевизионную передачу, люди к нам приближены, мы вступаем с ними в контакт, репортаж о событии превращается в действие, которое втягивает каждого из присутствующих на заседании, и мы, зрители, вовлекаемся в конце концов в него сами.

Галерея неповторимых характеров возникает перед нами, но, пожалуй, самая интересная фигура в картине — сам Потапов. Может быть, со времен «Встречного» не было в фильмах на современную тему столь принципиальной удачи в решении образа рабочего. Во «Встречном» старый Бабченко меняется под воздействием рабочей среды, коллектива. Потапов сам будоражит коллектив, ставит его перед необходимостью решительных действий. При этом Потапов не энтузиаст по натуре. Обыкновенность Потапова подчеркнута уже тем, что роль его исполняет Е. Леонов, артист характерный, которого нам не приходилось видеть в героических образах. Потапов — деловой человек. С выкладками в руках он доказывает, что квартальная премия бригаде — это обман, ибо премия эта невыгодна: будь налажено производство без простоев и без авралов, бригада могла бы дополнительно заработать гораздо больше. Потапов, как видим, не идеалист, он отстаивает свои интересы, но если бы только это побуждало его действовать, конфликт был бы заурядным, его можно было бы разрешить простым распоряжением директора. Выясняется, что Потапов думает о государстве, которое тоже страдает от этого каждодневного компромисса, каждодневного обмана людей субъективно честных, но вынужденных так поступать в силу сложившихся обстоятельств.

Острота конфликта фильма очевидна уже из простого пересказа его фабулы, но он решается до конца, бескомпромиссно, решается в интересах рабочего класса и государства.

Серые фильмы о рабочем классе были и бесконфликтными, они не только неинтересны в художественном отношении — они бесполезны в общественном плане, ибо, притупляя коллизии, мешают обществу осознавать себя. Теория бесконфликтности недиалектична, она видела в противоречии лишь недостаток и затушевывала его. Показывая только добро, мы оказываем услугу злу. В фильме «Премия», как и в других лучших произведениях на рабочую тему, противоречие исследуется с коммунистических позиций. Творческий подход осмысливает противоречие как особенность; только полное исследование конфликта обнаруживает продуктивность исторического противоречия, заложенного в нем. Полное разрешение конфликта не означает, что один персонаж обязательно восторжествует над другим. «Премия», например, фильм с открытым финалом. Здесь торжествует не отдельный персонаж, а идея, не рецепты дают авторы, а выдвигают проблему перед обществом.

Вспомним, как отозвалось общество на лучшие произведения о рабочем классе, поддерживая само направление. «Сталевары» (в постановке МХАТа) награждаются Государственной премией, «Человек со стороны» в постановке А. Эфроса передается под самый Новый год для десятков миллионов телезрителей, фильм «Премия» получает на Всесоюзном кинофестивале 1975 года первую премию, а затем представляет советское кино на Международном кинофестивале в Венеции.

Проблемы научно-технической революции по-своему преломились в фильмах о современном селе. Тема нравственных исканий человека в его взаимоотношениях с природой и обществом здесь как бы обнажилась во всей своей наглядности. Глубокое, неповторимое решение она получила в творчестве Василия Шукшина, что особенно стало ясно после «Калины красной».

Успех этой картины как бы осветил целенаправленность жизни Шукшина, смысл его творческих исканий. Яснее стали не только его предыдущие работы в кино и литературе — его творчество как бы сопоставилось со временем важных перемен, вызванных эпохой научно-технической революции. Характеризуя эту революцию, обозначаемую обычно термином НТР, мы не можем ограничиться только «научными» и «техническими» определениями, чтобы не утратить глубокого социального смысла НТР, изобилующей, как всякая революция, человеческими драмами. Шукшин был чуток к ним. Шукшин заявил себя на экране, когда «деревенская» проза стала направлением в современной литературе. И в литературе и в кино это не было единым, цельным направлением. Одна из узловых проблем — город и село — трактовалась различно, иногда даже с противоположных позиций.

Сомнительна, на наш взгляд, трактовка этой темы, например, в картине «Средь высоких хлебов». Весьма посредственная по исполнению, картина эта тем не менее заслуживает анализа — она программно воплощает так называемую почвенническую тенденцию. Герой переезжает в город, но в этом механизированном мире не находит пристанища, хотя здесь и живет его сын. Он тоскует по деревне и, когда движется

поток машин, слышит мычанье коров. А потом, когда он вернется в деревню, снова несоответствие изображения и звука (теперь уже обратное — по деревенской улице движется стадо, а слышится ему скрежет машин и рев клаксонов) делает воспоминание о городе наваждением. В городе уличный автомат, из которого он хотел напиться, конечно, не работал, зато вернувшись домой, он приникает на краю села к источнику — чистому, незамутненному. Картина поставлена в комическом ключе, но это чисто внешний комизм, возникающий лишь благодаря исполнению роли героя талантливым актером Е. Леоновым. Смешное окрашивает драму, неверно истолкованную.

Разумеется, критика «почвенничества» не может превращаться в критику вообще любви к деревне, тем более что истинная привязанность к предмету не мешает трезво судить о нем. Именно таковы произведения В. Шукшина. Его герой — истинно русский характер, художник наделяет его положительными чертами, исконными для нации, и вместе с тем иронизирует по поводу его несовершенств. Все особенности фильмов Шукшина — в видении героя, который всегда так или иначе его alter ego. Комизм в его произведениях органичен, это всегда неожиданный поворот, скрытый в самой ситуации, поворот резкий, внезапный, идущий от трагикомической природы героя. В парадоксальности ситуации, которую Шукшин избирает, всегда резонирует его собственная судьба, его произведения исповедальны.

В одном интервью В. Шукшин сказал о себе, что он напоминает человека, который как бы находится между берегом и лодкой: одна нога в лодке, другая на берегу. Неудобная позиция, не правда ли? В свое время один из критиков использовал такое откровенное признание Шукшина против него же как свидетельство «неустойчивой» позиции художника. Однако вдумаемся, что в действительности означает это откровение художника, умевшего иронизировать не только над своим героем, но и над самим собой? Лодка — это как бы все прошлое художника, его деревенская юность, отчий дом, природа, река, луга, тяжелый и неповторимый в своей поэтичности крестьянский труд, эти никогда уже не забываемые запахи покоса — словом, все то, что сформировало его как личность, а потом стало неистребимым арсеналом его творчества. А затем — город, зрелость, писательство, слава, которые относятся к тому прошлому свысока, даже высокомерно, хотя каждый миг питаются этим прошлым.

Как совместить это? Что предпочесть? И нужно ли одно предпочесть другому? Художник стремится, чтобы одно вошло в другое, но это невозможно. И тогда он, сопоставляя, одно выверяет другим. Настоящим анализирует прошлое и прошлым оценивает настоящее.

Вот это неустойчивое противоречие создает прекрасную подвижность в творчестве Шукшина, суть трагикомизма его героев.

Следует обратить внимание на то, что сценарии Шукшина, если их ставили другие режиссеры (а не сам Шукшин), утрачивали на экране свою сокровенность (может быть, самый разительный здесь случай — фильм В. Виноградова «Земляки», поставленный по сценарию В. Шукшина «Брат мой...»). Здесь же мы находим объяснение и такому обстоятельству: многие из тех, кто отвергал сценарий «Калина красная», с восторгом потом приняли фильм — второе измерение образа, не столь очевидное в литературной записи, обнаруживается на экране лишь в пластической трактовке актера и режиссера.

Вспомним героя «Калины красной» Егора Прокудина: как неистребимо в этом бывшем уголовнике чувство справедливости, как в то же время он умеет приврать; каким жестоким и грубым заставляют его быть обстоятельства и с какой в то же время трогательной, почти донкихотской беззаветностью он преклоняется перед своей «заочницей» Любой; клоуном выглядит он, когда расфранченный, «весь в замше», с ревущим магнитофоном появляется впервые «на миру» после тюрьмы, и сколько сострадания вызывает в нас, когда его не узнает бедная старая мать и он бросается на землю и грызет ее в отчаянии. Казалось бы, все это несоединимо в одном человеке, однако Прокудин — цельный, живой характер, в нем сходятся черты, подсмотренные в гуще народной жизни, бесконечно многообразной в своем человеческом выражении. Так поворачивает своего героя перед нами Шукшин: то драма перед нами разыгрывается, то фарс, то действие прорывается к трагедии, так на высокой ноте и закончившись в финале, когда герой, пытавшийся перейти в новое общественное бытие, гибнет.

Жажда целостного человека, в котором гармонически сочетались бы его природные и общественные начала, определяет поиски

мирового искусства. Драмы, которые возникают здесь от разлада, от конфликтности этих начал в человеке, являются причиной отчуждения — это стало главной темой прогрессивных художников Запада. В их произведениях природа часто противопоставляется обществу как убежище, где человек может сохранить себя. Напомню для примера несколько произведений, в которых природа — убежище от искаженных социальных отношений буржуазного города. Где лучше всего себя чувствуют герои картины «Бонни и Клайд» Артура Пенна? На природе. В городе они бандиты, на природе — люди. «Дикие наездники» Хоппера тоже бегут в природу. Джеремия Джонсон (в одноименной картине Сиднея Поллока) тоже уходит в природу.

Нормальный человек в этих произведениях — это естественный человек. Он порывает с политикой, с мифами буржуазной идеологии с ее установлениями — религиозными, семейными, общественными,— которые опутали сознание человека, раздвоили его и привели в состояние отчуждения. Герой пытается уйти от самого себя, «сменить шкуру»,— эти мотивы главные и в картине «Последнее танго в Париже» Бертолуччи, и в картине «Профессия — репортер» Антониони, и в картине «Разрыв» Шаброля. Во всех этих картинах выход из отчуждения — одиночество и смерть. Гибель героя не имеет альтернативы. Мы можем сказать, что в каждом из этих случаев перед нами трагедия без катарсиса.

Социалистическое общество стремится преодолеть это трагическое раздвоение, трактуя по-иному само понятие «естественный человек». Марксизм исходит из того, что человек — совокупность общественно-природных отношений. И только в результате разрешения социальных противоречий он обретает свободу и цельность.

Как видим, различие в подходе к решению одной и той же проблемы здесь существенно. Этим я вовсе не хочу сказать, что проблема человек—природа—общество решается при социализме чисто «научно», что здесь нет глубоких коллизий, требующих смелых, подчас дерзких по своей новизне творческих решений. Впервые в полный голос эта тема зазвучала в творчестве Александра Довженко. В наши дни ее продолжил Василий Шукшин, о фильмах которого здесь шла речь, о них еще немало скажет наша критика.

Трагикомедии В. Шукшина — историко-культурные явления, они дают возможность показать, как сталкиваются в национальном характере исторические эпохи.

«Калина красная» просматривается далеко в обе стороны — в прошлое и в будущее.

Шукшин, создавая образ Егора Прокудина, уже примерялся к Степану Разину — об этом вольнолюбивом вожде крестьянского восстания у Шукшина не только был уже сценарий [7], но и созрел постановочный замысел.

С другой стороны, «теркинские» черты Прокудина Шукшин как актер сохраняет в красноармейце Лопатине в эпопее о Великой Отечественной войне «Они сражались за Родину».

И здесь мы обращаемся к еще одной важнейшей теме в современном советском кино.

Точно так же как фильм сценариста А. Гельмана и режиссера С. Микаэляна «Премия», словно камертон, настраивает на разговор о рабочей теме и позволяет подвести известный итог поисков в этом направлении, так картина С. Бондарчука «Они сражались за Родину» дает богатую пищу для размышления о развитии антифашистской темы в советском кино, о подходе к ее решению сегодня.

Победа над фашизмом оказала на развитие советского кино воздействие столь сильное, что мы вправе сравнивать его с воздействием, которое оказала на развитие кино Октябрьская революция. Революция дала кино не только новые коллизии, но и новую эстетику. Массы, вышедшие на авансцену истории, стали новым героем искусства. Родился новый тип художника, для которого революция была не материалом, не темой, а миросозерцанием. В полотнах Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Шуб, Вертова зародилось искусство, которое мы называем социалистическим. Родившись как новое явление в художественной культуре, советское кино само прошло этапы развития, и важнейший из них совпал с таким историческим потрясением, каким была очистительная антифашистская борьба.

В фильмах о войне наши мастера не только преодолели известную инертность, бесконфликтность, аморфность ряда произведений предвоенного экрана, но и развили лучшие традиции основоположников советского

[7] Василий Шукшин. «Я пришел дать вам волю» («Искусство кино», 1968, №№ 5, 6).

кино. Потрясения войны обнажили до самых глубин морально-политические мотивы поступков советского человека в солдатской шинели, экран обратился к коллизиям потрясающего психологического и физического напряжения, которые с такой очевидностью были проявлением главного конфликта войны — конфликта между двумя армиями, носительницами разных идеологий. Социальная определенность глобального конфликта при многообразии, подвижности и переменчивости ситуаций войны, в которую были втянуты миллионы и миллионы людей,— все это давало искусству материал невиданный, он отразился в самых различных картинах—от пламенных плакатов и документальных лент до антифашистских сатирических картин, психологических драм и эпических трагедий.

Кино стало орудием борьбы. Здесь проявили себя прежде всего наши документалисты, они были в передовых частях действующей армии, многие из них отдали жизнь как солдаты. Уже в ходе войны появились и страстные игровые картины, среди них такие, как «Секретарь райкома» И. Пырьева, «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера, «Два бойца» Л. Лукова, «Радуга» М. Донского. После войны и по горячим ее следам С. Герасимов поставил по роману А. Фадеева фильм «Молодая гвардия», в котором показал предвоенное поколение советской молодежи, вступившей в схватку с фашизмом. Тогда ставилось мало фильмов, и «Молодая гвардия» стала школой молодых кинематографистов, из этой группы вышла целая плеяда мастеров (С. Бондарчук, В. Тихонов, Т. Лиознова, С. Самсонов, Ю. Егоров, Н. Мордюкова, И. Макарова, Л. Шагалова, Г. Юматов, К. Лучко и другие актеры и режиссеры), которые сегодня играют заметную роль в развитии нашего киноискусства.

В 50-е годы и в начале 60-х трактовка войны получила — теперь уже с известной дистанции — новые аспекты в таких фильмах, как «Летят журавли» М. Калатозова, «Судьба человека» С. Бондарчука, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Дом, в котором я живу» Л. Кулиджанова и Я. Сегеля, «Иваново детство» А. Тарковского, «Мир входящему» А. Алова и В. Наумова. Психологическая глубина разработки характеров и обстоятельств войны, современные выразительные средства свидетельствовали о новых возможностях советского киноискусства в постижении человека на переломе истории. Фильмы эти благодаря гуманистической направленности и новаторству формы получили международное признание, они оказали плодотворное воздействие на разработку антифашистской темы в мировом кино.

Фильмы эти говорили и о другом: антифашистская тема не стала исторической темой. В мире ее сегодня по-разному трактуют, и с рубежа тридцатилетия победы советского народа в Великой Отечественной войне это раскрылось со всей наглядностью.

В буржуазном кино появились фильмы, которые, показывая разгром фашизма, «забыли» о роли Советской Армии. Подобная забывчивость проявилась не только в искусстве. Вспомним заявление британского обвинителя на Нюрнбергском процессе Шоукросса: он был одним из тех, кто приговорил к виселице фашистских главарей за их преступления против человечества, а сегодня он высказал сомнение в том, что это следовало делать.

«Переоценка» фашизма стала сегодня важным звеном в системе буржуазной пропаганды. Вот только несколько фактов: в Англии издаются книги, авторы которых о Гитлере и его генералах пишут как о героях; во Франции предпринято переиздание газет и журналов периода оккупации; в ФРГ с 1974 года выходит журнал «Дас дритте райх» («Третий рейх»), само название которого уже говорит о его политических намерениях; вслед за выставками произведений живописи и скульптуры, созданных в свое время под эгидой Геббельса, стали устраиваться и характерные кинофестивали. Так, на одном из них, посвященном второй мировой войне, антифашистские картины показывались рядом с фашистскими, демонстрировался, в частности, фильм «Триумф воли» Лени Рифеншталь — главного гитлеровского идеолога в кино.

Этой «объективностью», всепрощением пронизаны и некоторые современные произведения киноискусства, как, например, игровой фильм итальянки Лилиан Кавани «Ночной портье». Стоит обратить внимание на двойственность оценки этого фильма в зарубежной прессе: одни критики сочли этот фильм фашистским, другие — антифашистским. Сама Кавани, отвечая своим оппонентам, несколько раз заявила в прессе, что создала антифашистский фильм.

Что же все-таки происходит в картине и что дает возможность так различно судить

о ней? Двенадцать лет спустя после разгрома фашизма, в 1957 году, в Венеции встречаются бывшая узница лагеря Лючия и бывший эсэсовец этого лагеря Макс, теперь ночной портье в отеле, где Лючия остановилась. Они узнают друг друга и роковым образом сближаются. Но в отличие от Макса, который отрекся от своего прошлого, в городе действует группа неофашистов, бывших его соратников, которая уничтожает Лючию как возможную свидетельницу их бывших деяний, а вместе с ней уничтожает и Макса, которого считает идейным предателем. Как видим, ситуация сама по себе могла бы послужить основанием для истинной трагедии. Неприемлема трактовка этой ситуации. Лючия и Макс живут в цепких лапах воспоминаний об их отношениях в лагере. Они были близки уже тогда, палач, мучая жертву, влюбился в нее, сцены пытки перемежаются любовными сценами, мазохизм овладел их подсознанием, и теперь, уже много лет спустя, в совершенно нормальной обстановке, они снова предаются этим сладостным нечеловеческим мучениям, ибо в нем снова проснулся палач, в ней — жертва. Фрейдистская трактовка подсознания сыграла злую шутку не только с героями, но и с автором: прошлое и настоящее оказываются лишь моментами мучительной страсти и задуманная социальная драма сводится на нет в сценах мазохистской любви. Повторяем: не тема — трактовка ее в картине Кавани является, хочет того автор или нет, предательской не только по отношению к памяти миллионов жертв нацизма, но и по отношению к сегодняшним борцам против различных форм неофашизма.

Здесь можно привести примеры и положительного решения проблемы — имею в виду фильм молодого итальянского режиссера Марка Беллоккио «Поместите чудовище на первую полосу» или же фильм Флорестано Ванчини «Убийство Маттеоти». Первый посвящен современной Италии, он разоблачает реакционное, тенденциозное использование фиктивной свободы печати и в то же время критикует отсутствие марксистской ясности и единства у некоторых групп итальянских «левых», не способных противопоставить себя неофашизму ввиду отрыва от пролетариата. Второй относится к прошлому, он поставлен в документальном стиле, перед нами как бы разворачивается хроника возникновения фашизма в Италии. Завязкой действия является убийство депутата Джакомо Маттеоти, который потребовал аннулирования парламентских выборов, разоблачив скандально-мошеннический избирательный закон, введенный фашистами. Убийство депутата-коммуниста поляризовало политические силы 20-х годов, создав сильную оппозицию Муссолини. В этом фильме показаны лидеры противоборствующих лагерей — мы видим на экране Грамши и видим Муссолини. Авторы объективны, но не беспристрастны. Фильм адресован современному зрителю и силам, которые ведут борьбу с фашизмом сегодня. Он предостерегает против ошибок прошлого. Для этого авторам нужно было проанализировать ошибки буржуазной оппозиции, которая позволила сдвинуть равновесие в пользу фашизма, дала Муссолини возможность маневрировать. Это сегодня особенно актуально и важно, потому что иногда пытаются делать упор на ошибках «левых». Фильм в этом смысле, говоря о прошлом, точно понимает расстановку сил в Италии сегодня.

Весьма характерен отзыв на этот фильм кубинского кинокритика Де Ла Уса: «Несмотря на то, что фильм сделан в капиталистической стране, он несомненно является марксистским, что ставит его в один ряд с лучшими гуманистическими произведениями советского кинематографа, создателя непревзойденного художественного языка. Поставленная в фильме проблема чрезвычайно актуальна, о чем свидетельствуют трагические события в Чили, да и в стране, о которой идет речь, где несколько недель тому назад неофашисты напали на пассажирский поезд. «Убийство Маттеоти» следует посмотреть нашим коммунистам, всем нашим трудящимся. Бесспорны его высокие идейно-художественные качества. Бесспорна и роль, которую он призван сыграть для воспитания непримиримости к моральным и уголовным преступлениям неофашистов. Рано или поздно они предстанут перед судом истории, как это было с их предшественниками».

В свете сказанного выше о спорах вокруг итогов второй мировой войны еще яснее становится политическое, идейно-художественное значение цикла фильмов «Освобождение», не так давно вышедших на экраны нашей страны.

Постановщик «Освобождения» Ю. Озеров неоднократно заявлял, заявлял программно, что ставит именно п о л и т и ч е с к и й фильм. Показывает ли он столкновение штабов или же борьбу на поле боя масс, одетых

в военную форму, он стремится объяснить накал борьбы непримиримостью идеологий, показать великую освободительную миссию Советской Армии, спасшей мир от фашистского рабства. Мы видим неслыханные по масштабу массовые сцены, действия штабов, узнаем известных военачальников и политических деятелей, видим координацию действий со штабами союзников — словом, война показана на всех уровнях, от солдатского окопа до Ставки. Картина эта, хотя о ней немало написано, еще недостаточно проанализирована кинокритикой, а между тем она имеет свое художественное лицо, требующее эстетического анализа.

Авторы «Освобождения» восстановили в правах художественно-документальный жанр, наполнили его новым смыслом. В свое время такие художественно-документальные фильмы, как «Падение Берлина» и «Клятва», были заслуженно раскритикованы за антиисторическую концепцию, однако в дальнейшем в практике мы забыли об открытых П. Павленко и М. Чиаурели структурных формах, позволяющих использовать в исторической хронике сплав игры и документа. Сама по себе структура не виновата в том, что в нее было вложено ложное содержание. Озеров вернулся к этой форме, обновив ее, «исправив» и развив применительно к современному пониманию смысла и содержания исторических событий второй мировой войны. В картине «Освобождение» есть просчеты, они нам видятся прежде всего в постановке некоторых массовых сцен, где режиссер злоупотребляет пиротехникой, и это глушит голос отдельного человека в массе, мы далеко не всегда различаем в массовых атаках действия отдельного человека. Об этом тоже следует говорить ради объективности и ради того, чтобы до конца понять картину — ее недостатки есть продолжение ее достоинств. «Освобождение» положило начало серии картин-хроник и в советском кино (например, «Блокада») и в кино других социалистических стран (например, чехословацкие фильмы «Дни предательства» и «Соколово» О. Вавры).

Разумеется, мы далеки от мысли, что войну можно масштабно показать лишь в подобного рода исторической хронике.

По сравнению с «Освобождением» фильмы «А зори здесь тихие...» и «Белорусский вокзал» — произведения камерные, тем не менее в каждом из них есть глубина, она достигается разработкой характеров и композиций: в каждом из них по-своему сопрягаются человек и история.

В картине «А зори здесь тихие...» судьба каждой из шестерых девушек-зенитчиц, героинь этого фильма, проецируется на ее предвоенное прошлое, показанное в каждом случае пронзительно-ностальгически, и прекрасный предвоенный мир, отторгнутый теперь от них, является как бы оправданием их самопожертвования.

В «Белорусском вокзале», напротив, мы видим четырех участников войны, доживших до наших дней. Прошлая война, которая сблизила их, и мир, который их развел в разные стороны, возникают как два исторических пласта, связанных единым драматическим ходом истории.

Под иным углом зрения увидена война в картине С. Бондарчука «Они сражались за Родину». Картина эта военная и одновременно антивоенная. В этом ее диалектика. Бондарчук чутко уловил пограничную ситуацию, излюбленную ситуацию экзистенциалистских художников, однако дал ей иную трактовку: освобождения герои ищут не в гибели, а в самопознании своего исторического значения. Бондарчук не прибегает к массовым батальным сценам, ему важнее сказать о достоинстве солдата как индивидуальности. Оказывается, отдельный окоп — это большой мир. В нем сходятся жизнь и смерть. Напряжение в картине создается не фабулой, а разностью потенциалов жизнь---смерть. Сквозь картину бьет ток войны. Это ее фабула.

Поразительны на экране эти индивидуальные окопы-ячейки. Ими была изрыта Россия. Ячейка — характер солдата. Каждый рыл ее по-своему, и каждый вел себя в ней по-своему. Страх, который пережил под бомбами в своей ячейке Звягинцев, показан с огромной силой экспрессии. То, как снял эту сцену оператор В. Юсов, придает ей космический масштаб, а ведь речь идет всего-навсего об одной ячейке-окопе и об одном солдате, солдате к тому же не столь уж, казалось бы, типичном, испугавшемся, осенившем себя крестным знамением и потом иронизирующем сам же по этому поводу.

Со смертью режиссер не шутит, но в то же время позволяет пошучивать с ней своим героям. Здесь он находит способ не держать нас, зрителей, в оцепенении и страхе. В этом смысле школа Толстого и Шолохова, которую Бондарчук прошел в предыдущих постановках, чувствуется самым явным

образом. Вместе с тем, как и в «Судьбе человека», здесь не довлеет экранизация. Постановщик не скован предварительными условиями. Все первично. И это чувствуется уже в начале, в самом запеве картины. Изображается земля, изжаренная июльским зноем, но мирная, и мы еще не знаем, о чем нам будут рассказывать, пространство расширяется, обнаруживается вдали ослепительной белизны песчаный откос карьера — там идет цепочка людей, это могут быть туристы или альпинисты, и только с близкого расстояния мы узнаем, что это солдаты: остатки полка продолжают свой изнурительный отход. Мы все время выходим на предмет неожиданно.

Наивно думать, что уже сам по себе отбор актеров (шутка ли сказать: Шукшин, Бондарчук, Тихонов, Смоктуновский, Губенко, Лапиков, Никулин, Бурков, не говоря уж о женщинах — Мордюкова, Скобцева, Федосеева) не может не привести к успеху. Конечно, это не так. Как раз бывает опасно для судьбы произведения, когда собирается такая сильная группа актеров, каждый из которых способен стать лидером (так случается, например, в спорте: три выдающихся игрока современного футбола Пеле, Эйсебио и Круифф впервые в истории играли вместе и.. проиграли). В картине актеры помогают друг другу. «Звезды» сыграли рядовых, и в этом проявился глубокий демократизм картины.

Нам бы не хотелось, чтобы сказанное прозвучало панегириком картине. О ней есть и другие суждения, заслуживающие внимания и располагающие к спору. Да и мы сами видим в ней слабые места. Например, финал картины не содержит той внутренней энергии, которая свойственна началу или другим лучшим сценам. Важно только себе объяснить, почему так произошло. Ведь именно этот финал с развернутым красным знаменем необходим, он обязательный итог, не извне заданный, а вытекающий из концепции фильма.

Не стоит ли задуматься, почему обязательные, необходимые сцены так часто в искусстве менее художественно выразительны, нежели сцены необязательные и не необходимые.

Вспомним «Молодую гвардию»: две самые обязательные сцены (клятва и казнь в финале) были в художественном отношении самыми слабыми. Тут есть какой-то секрет, он не разгадывается на все случаи жизни, художнику каждый раз приходится отбирать, решать, что же все-таки действительно необходимо, обязательно и как необходимому найти свободу выражения.

В образе Лопахина, как его играет В. Шукшин,— гармония картины. Все в этом характере необходимо и вместе с тем художественно.

Поразителен В. Тихонов в сцене, когда его герой Николай Стрельцов теряет из-за контузии слух. Не слыша, он стал лучше видеть и лучше понимать происходящее вокруг. Здесь есть огромное сосредоточие, почти бетховенское, а ведь опять-таки — простой солдат перед нами.

Ключевая сцена картины — в госпитале, когда хирург (И. Смоктуновский) оперирует Ивана Звягинцева, которого играет Бондарчук. Выразительны детали этой сцены: в такую опасную минуту, когда решается его жизнь, Звягинцев заботится о своих сапогах; каждый удар осколка, который падает в таз, отдается в нас чувством медленного освобождения.

Картина возвращает понятию «окопная правда» его истинный смысл. Окопная здесь значит народная. Картина заставляет думать о двадцати миллионах, которые не вернулись.

В этом ее трагический пафос, ее масштаб. В конце концов в картине действует менее двадцати персонажей, а видится она как эпос. Путь, по которому прошел маленький отряд, есть и с т о р и я, мы почувствовали ее ветер, он дает жизнь каждому кадру.

Истинная тема проблемна. Она несет в себе не только материал, но и конфликт. Темы, к которым мы обратились, дали нам возможность и проанализировать отдельные произведения кино, увидеть происшедшие в нем перемены в ходе развития советского общества.

Современное кино неповторимо, как и время, в которое мы живем. Об искусстве 20-х годов мы легко судим по «Броненосцу «Потемкину»: перед нами пример, когда в одном произведении художника так полно выявился эстетический идеал времени. Таким фильмом для 30-х годов является «Чапаев», для 40-х, думается, «Молодая гвардия», для 50-х—«Баллада о солдате». Сегодня у нас нет такого «главного» фильма, но это еще не говорит о неопределенности состояния кино. Возможно, такой фильм появится завтра, может быть, он уже снимается сегодня на какой-нибудь студии.

Я убежден, что Шукшин, Тарковский,

Иоселиани, Панфилов, Нарлиев, Хуциев, Жалакявичюс, Машенко, братья Шенгелая, Михалков-Кончаловский — явления одного и того же времени, формирующего свой стиль. Ни у одного из них герой не является протагонистом, они смело обращаются к изображению случая, и это вовсе не говорит о равнодушии к исторической закономерности, исторический смысл поступка они постигают внезапно, они открыли целые области жизни, к которым до них искусство не обращалось. Здесь понадобилась драматургия иной емкости. Изменился характер повествования с его новыми возможностями информации вследствие более глубоких представлений о причинах и следствиях, завязках и развязках действия. И это соответствует современному представлению о жизни, открытым в ней наукой законам «обратных связей» и «опережающего отражения». Стиль в искусстве — определение гораздо обширнее определения «стиль художника»; пока эта проблема не изучена киноведением, мы не можем показать истинного многообразия социалистического реализма в современном кино. А это необходимо сделать, задача эта насущна, о чем говорят нынешние дискуссии о социалистическом реализме, в частности споры о том, закрытая это система или открытая[8]. Разделяя позиции сторонников метода как «открытой системы», я бы все-таки считал более точным определением «динамическая система»: такое определение более решительно говорит о новом в его недвусмысленном отношении к традициям, в таком определении скрыта идея развития форм.

Как только мы поставим вопрос о социалистическом реализме как «динамической системе», нам незачем будет извиняться за картины, в которых жизнь изображена «в формах самой жизни».

Напомню, что именно «поэты кино» легко вводили в структуру своих картин прозаические, документальные новеллы, как правило, в них воспроизводился реальный процесс труда. Вспомним: в «Земле» Довженко целая часть — это новелла о том, как делается хлеб; в «Андрее Рублеве» Тарковского две части — документальное воспроизведение того, как делается колокол; в «Листопаде» Иоселиани целую часть посвящает воспроизведению того, как делается вино.

[8] См. «Вопросы литературы», 1975, № 9 — «Социалистический реализм — знамя передового искусства», стр. 3—25.

Это принципиальные работы, они соединяют, казалось бы, противоположные вещи, а вернее, вследствие широты взгляда на мир противоположные на первый взгляд моменты жизни изображают как проявление одной и той же сущности бытия.

Сегодня, когда мы, с одной стороны, проникли в космос и продолжаем им овладевать, а с другой стороны, штурмуем глубины сознания, мир предстает в своем бесконечном многообразии, в единстве, смысл которого постижим лишь с позиций марксистской диалектики.

Здесь автор ловит себя на мысли, что любой аспект проблемы «фильм и общество» заставляет касаться того, как определяет развитие современного кино научно-техническая революция. Тема науки, техники и искусства имеет для кино особое значение, поскольку десятая муза, как принято называть кино, базируется на технике, и потому развитие его прямо связано с научно-техническим прогрессом.

Вначале, правда, казалось, что наука как бы оттесняет искусство на второй план. Следующие одно за другим ошеломляющие открытия, оказавшие огромное влияние на все области духовной и материальной жизни общества, завоевали науке неслыханный престиж. Деятели науки и техники проявили способность прогнозировать, опираясь при этом на «точный расчет» и точные критерии, это давало им завидную независимость и нравственный авторитет. Суммируя исторический подвиг физического мышления XX века, один из его ярких представителей, Ландау, сказал: «Величайшим достижением человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить».

Исследования, опирающиеся на точные выводы, вместе с тем будили фантазию, чему мог позавидовать любой художник. Казалось, что в физике можно быть больше поэтом, чем в самой поэзии. Однако прогнозы о гибели искусства, с особой силой прозвучавшие на Западе, не оправдались. История не дала задний ход, она установила мудрое равновесие между наукой и искусством, вступившими сегодня в новую стадию взаимодействия.

Наука расширила наши представления о физическом мире и о структуре человеческого сознания. Искусство, в свою очередь, выдвинуло нравственные проблемы технической революции, которая охватывает так

или иначе весь мир, а потому может иметь самые различные последствия. В конце концов Хиросима — тоже результат технического прогресса, она показала, что капиталистическое могущество, основанное на классовом неравенстве, так же безнравственно, как и фашизм (вспомним, как пронзительно возникает зловещий образ атомного гриба над Хиросимой в картине Андрея Тарковского «Зеркало»).

Кино — живое явление. Оно меняется вместе с исторической действительностью. Изображая человеческие драмы, исследуя жизнь, кино само оказывается предметом исследования — его развитие можно представить как многоактную драму, каждая часть, каждый этап которой имеет свое начало, свою кульминацию, свой финал.

Историка интересует не только содержание каждого из этих этапов, но и связь между этапами. Диалектика связи между ними состоит в том, что финал каждого есть одновременно начало следующего за ним этапа, и в этом беспрестанном обновлении и заключается поступательное движение кино со всеми особенностями диалектики изменений, которые свойственны всякому развитию.

Может быть, кино потому-то и близко так современному человеку, что сама природа его выражается через движение.

Запечатлевая движение нашей эпохи, мы оставляем для следующих поколений фильмы как исторические документы.

Мы живем именно в эпоху движения, в эпоху интенсивного революционного развития. Идея развития пронизывает современную науку, идеологию, политику, само сознание наше. XXV съезд КПСС выдвигает перед наукой задачу исследования закономерностей дальнейшего развития нашего общества, вместе с наукой возрастает и роль литературы и других видов искусства, среди которых особое значение в жизни народа по-прежнему имеет кино.

Кинематограф — сейсмограф современной истории, он чувствителен к ее глубоким толчкам, реагирует на ее сдвиги. Природа кино, его специфика на каждом этапе связана с общественным развитием, отвечая его потребностям, искусство раскрывает те или иные свои потенциальные способности. Кино было сначала немым, потом стало звуковым, сегодня кино — явление звуко-зрительного искусства. Конечно, развитие выразительных средств кино — единый диалектический процесс, он связан с поисками героя, с мерой постижения его природы в меняющихся исторических условиях. Звукозрительное кино оказалось необходимым для решения той проблемы, которая занимала умы основоположников советского кино (ее Эйзенштейн сформулировал как «Grundproblem» — «основная проблема») и которая заключается в поисках средств для передачи органического единства эмоционального и интеллектуального, природного и общественного в человеке. Здесь история и искусство совпадают в своих задачах. Наше общество стремится сформировать такого человека, искусство — найти средства, чтобы воспроизвести в нем это единство. Впервые преодолевается разлад между самим искусством и историей. Но, ставя себя в зависимость от истории, само искусство оказывает на него активное воздействие. Именно в этом роль социалистического кино. Здесь обнаруживается его природа, его метод изображения человеческой личности.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Марк Соболь. Сестра по оружию.— **А. Каменский.** Душа портрета.— **В. Пронин.** Выбирая биографию.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Владимир Карпов. Герои секретного фронта.— **Н. Миненко.** Нетрадиционный подход к исследованию народных традиций.— **В. Емельянов.** Уметь видеть.

Литература и искусство

СЕСТРА ПО ОРУЖИЮ

Юлия Друнина. Окопная звезда. М. «Советский писатель». 1975. 143 стр.

«Я зову вас сестрою. Росли мы в великом огне! Нашей юности голос, сестра по оружию, Юля!» Это стихи моего друга и ровесника Василия Субботина, и обращается он здесь к Юлии Друниной на вы. А ведь когда-то была, я помню, девочка в застиранной гимнастерке и руку смущенно протягивала лопаточкой — с непривычки, наверное, к рукопожатиям, больше приходилось козырять...

Фронтовая сестренка стала известным советским поэтом, общественным деятелем. Передо мной ее новая книга, где в аннотации сказано, что теперь у поэта военная тема звучит по-новому, что появляются у него и другие темы, герои-современники, духовная наполненность их жизни, их любовь и т. д. Все это, в общем, верно.

Девочка в гимнастерке осталась в далеком прошлом. Возмужал талант, окрепла рука, расширился диапазон. Но не могу избавиться от наваждения: читаю Друнину сегодняшнюю, а вижу все ту же, тогдашнюю, потому что в чем-то главном, основополагающем она ни чуточки не изменилась. В какой-то фронтовой надежности, что ли.

А теперь,
Из космических семидесятых,
Я, смотря в раскаленную
Юность свою,
Говорю удивленно и гордо:
— Ребята!
Мы деремся
Еще на переднем краю!

«Удивленно и гордо» — заметьте эти слова. Для Юлии Друниной они в высшей степени характерны. Это чувство гордости, соединенной с удивлением, пронизывает книгу от начала до конца. Даже там, где автор грустит «очень женской, очень не солдатскою тоской», как сказано в ее давних стихах.

Разговор о Юлии Друниной нельзя вести отдельно от разговора о поколении. Существует — не только у критики, но и у некоторых поэтов, ее ровесников,— мнение, что, мол, в годы войны мы все были близки по творческой манере, а уж потом каждый, кому как удалось, обрел своеобразие почерка. Решительно не согласен! Закадычные друзья, окопные побратимы еще с финской, Луконин и Наровчатов разительно отличны один от другого как поэты. Ни один чуткий к поэзии читатель не спутает Межирова и Львова как 40-х годов, так и 70-х. При одинаковом мировоззрении у каждого из нас было собственное мироощущение, и уж, конечно, способы передать его читателю были различными.

Юлия Друнина при схожести со всеми нами в главном была сразу, с первых же строк наособицу. Отчасти, конечно, и потому, что могла порой и не скрывать своей женской незащищенности. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» — так впрямую мы бы, пожалуй, поопасались высказаться.

Она осталась верной своему поколению, может быть, как никто другой.

...Читаю маленький раздел «По мотивам Метерлинка». Парадокс: «Окопная звезда» — «эссеист, склонный к метафизическим раздумьям, поэт-символист», как характеризует Метерлинка Краткая литературная энциклопедия. Чем же созвучен он «солдатской» музе Юлии Друниной? Вот ее строки:

Не чудо ль, что солнце всходит,
Не чудо ль — его закат?
Не чудо ль — половодье?
Не чудо ль — цветущий сад?

Ах, сколько чудес повсюду! —
Дождь, радуга, волк, медведь...
А чтобы увидеть чудо,
Лишь надо уметь смотреть.

И еще: «Четыре сотни лет меня рубили, жгли — и пусты! И ни железа, ни огня, как видишь, не боюсь»; «Та птица Синяя должна быть вольною всегда». И уже нет у вас удивления, что под обложкой, где изображена звезда наподобие зенитного разрыва в сумеречном небе, закономерно и свободно уместилось «По мотивам Метерлинка». Конечно же, цветущий сад или вольный восход солнца — чудо для самой Друниной, тысячу раз видевшей во сне одно и то же — рукопашный бой.

...Собственно война занимает в книге не так уж много места. Отстаиванием своих, по-солдатски максималистских требований к жизни, к людям, к любви, к поэзии полна вся книга.

«Шла война, стать мужественной было легче»,— говорит Юлия Друнина. И добавляет: «Ты думаешь, что я сильна, а я — обычный человечек». Вот в этом-то и «изюминка» стихов, тем-то и полюбилась Друнина читателям.

Уже давно
Предельно ясно мне,
Ни от себя,
Ни от других
Не скрою:
Была я рядовою
На войне,
В поэзии
Осталась рядовою.

Но на судьбу
Не сетую свою,
Я вовсе не довольствовалась
Малым:
Не знаю,
Кем труднее быть в бою —
Простым солдатом
Или генералом?..

Я не буду здесь спорить с Друниной в ее не без затаенной гордости самоуничижении. Тем более что на вопрос «кем труднее быть» она не отвечает однозначно. Но пафос поэта — в который раз повторю — целиком разделяю.

При повышенной усложненности нынешнего стиха поэзия Юлии Друниной порой может показаться как бы облегченной. Мне же она представляется скорее новаторской, как ныне показался бы новизной в театре обычный занавес, обычная выгородка декорации, простое, емкое, четко произнесенное слово. Когда поэт, не нагнетая ритма, не громоздя аллитераций, просто и сердечно произносит свой реквием погибшим в Аджимушкайских каменоломнях, я, читатель, чувствую себя в плену у поэтического слова.

Очень просто написана «Баллада о звездах»: летчик в заблудившемся самолете вдруг запел, что «спускаться на землю ему неохота». И... взрыв. «Да, конечно, был попросту болен пилот». Видите, как все несложно, даже плоско в прозаическом пересказе. И как сложно и многозначно в стихотворении, где есть и «звезд торжествующий блеск», и сводимое судорогой «горло товарищей», и «странный мотив» песни...

Большое человеческое и поэтическое мужество нужно иметь, чтобы сказать любимому человеку: «Я счастлива» — и тут же ему и о нем: «Да, самый добрый, самый-самый смелый — вот только что без крыльев за спиной!» А все и житейски и по исполнению вроде бы просто...

Сравнение новой книги с предыдущими будет, я убежден, в пользу «Окопной звезды». Мне показалось, что в какие-то годы в стихах Юлии Друниной повеяло неким рационализмом, стали проскальзывать газетно-прозаические формулировки, неожиданно за строкой вдруг угадывается указующий перст автора. Как-то все это плохо увязывается с характером поэта и человека, которого я знаю уже столько лет. Возникла неясная тревога за товарища: все-таки мы одного взвода.

«Окопная звезда» разрядила тревогу.

Книга получилась сердечной. В ней есть то, к чему призывал Михаил Светлов: «Стихи должны быть инфекционными». Ее нельзя равнодушно перелистывать, она обжигает нервным и неровным пламенем солдатского костра.

Расскажу теперь один случай.

Меня, как и всех моих товарищей, отчаянно беспокоит: а дойдет ли то, что мы пишем, до сегодняшнего молодого читателя, будет ли он взволнован нашими стихами хотя бы вполовину волнения читателя-ровесника?

На тюменском Севере мне пришлось читать стихи Юлии Друниной в молодежном общежитии. Собственно, по плану это должна была сделать сама Друнина, но она выбрала иной маршрут. В маленьком городе Ялуторовске похоронен ее отец, оттуда она девчонкой ушла на фронт. И теперь ее путь лег туда, на юго-восток от Тюмени. Это не помешало северянам потребовать от нас чтения ее стихов.

Она, сама ничего об этом не ведая, прошла, как говорится, первым номером. Ребята меня не отпускали, просили читать еще. «Но ведь это же не про вас»,— сказал я. «Как не про нас? — возмутился молодой, обросший рыжей щетиной геолог.— Именно про нас!»

Хочется надеяться, что не только люди моего поколения, но и сверстники этих ребят, прочитав «Окопную звезду», скажут: «Книга именно про нас».

Марк СОБОЛЬ.

★

ДУША ПОРТРЕТА

Манана Андроникова. Об искусстве портрета. М. «Искусство». 1975. 326 стр.

Общеизвестно, что за последние годы изобразительное искусство оказалось у нас в почете, неслыханном ранее. Давно ли круг любителей живописи и скульптуры был сравнительно невелик, охватывал тысячи, ну, может быть, десятки тысяч людей? Теперь счет идет на миллионы. На особо интересные выставки в музеях с ночи в очередь записываются...

Такой сдвиг, конечно, в какой-то мере отражает общее повышение уровня культурных интересов и образовательного ценза в нашей стране. Вместе с тем это и явление психолого-эстетического порядка, связанное со всем характером духовных поисков современников. Ведь для нас ныне, во времена стремительного и противоречивого развития цивилизации, в сто крат более ценно и дорого то человеческое освоение и осмысление окружающего нас видимого мира, какое дает (точнее, может дать) изобразительное искусство. Причем людей, живущих в эпоху НТР, чрезвычайно радуют и привлекают не только образы гармонического душевного равновесия, но и просто чувственное богатство пластики и цвета, грани устойчивых, реальных форм.

Так или иначе, упомянутый интерес не имеет поверхностного свойства быстролетной моды, случайного поветрия. Его импульсы коренятся в глубинных пластах жизни времени. Вот почему есть все основания говорить о закономерности массового увлечения изобразительным искусством, которое мы сейчас наблюдаем.

Читатель «входит» в книгу по искусству так, как входят в музей,— со сходными целями и надеждами. В духовном опыте прошлых веков он ищет сопряжения со своими нынешними интересами и страстями. В образах прекрасного и совершенного, трагического и гармонического, которые созданы художниками былых и недавних времен, он хочет найти возможности обогащения своей собственной жизни, он желал бы обрести поддержку в попытках постижения духовного смысла современной жизни, ее «преображения по законам красоты».

Но далеко не все сочинения, посвященные художникам, рассматривают историю искусства именно под таким углом зрения. Тем более пристальный интерес и особое внимание заслуживает книга Мананы Андрониковой «Об искусстве портрета».

По редакционному определению, это работа «популярная». Однако же на самом деле она представляет собой решительное отрицание популярности в старом, отжившем смысле слова. Книга смело и талантливо утверждает новый подход к собеседованию с массовым читателем. Автору чуждо милостиво-снисходительное «высюсюкивание искусства для бедных». От первых до последних строк книга предельно

серьезна. Она рассчитана на думающего, жадного до знаний читателя. В нем М. Андроникова видит не почтительного ученика, не покорно и бездумно внимающего экскурсанта, но равноправного собеседника. Вместе с ним она обсуждает самые сложные и тонкие проблемы истории искусств, вглядывается в картины и скульптуры, ищет наиболее точные определения их содержания и художественных особенностей.

Книга М. Андрониковой посвящена портрету. Это самый простой и самый сложный из всех жанров изобразительного искусства.

Его простота определяется однозначностью исходной задачи: изобразить человека. Для этого не нужен фабульный сюжет, необязательны многочастность композиции, всякого рода дополнительные мотивы—пейзажные, интерьерные, любые иные. При случае оказывается вполне достаточным аскетический минимум: фигура, или полуфигура, или только лицо на нейтральном фоне (если говорить о живописи и графике).

Но эта простота оборачивается чрезвычайной сложностью, ибо при помощи столь скупых средств художник должен постичь человеческую душу, запечатлеть отсветы духовной жизни времени на облике героя изображения — словом, соприкоснуться с тем, что составляет высшее призвание и сокровенную суть искусства.

Именно об этом — сложном и сокровенном — пишет М. Андроникова в своей книге. С самого начала, с главы, посвященной истокам портрета, автор доискивается глубоко заложенного человеческого содержания работ художников. Каким было «чувство личности» в первобытных изображениях человека? Как строилось «изобразительное повествование» в древнеегипетском портрете и что позволило Тутмесу, создателю портретов Нефертити, воплотить в них «ее редкостное обаяние, и женственность, и мудрость, и, несмотря на улыбку, ее затаенную светлую печаль»? Какова «жизнь человеческого чувства» в фаюмских портретах и в чем их магия, позволяющая «сделать отсутствующих присутствующими и ушедших живыми»?

М. Андроникова не дает однозначных и прямолинейных, похожих на учительскую указку ответов. Она размышляет вслух, приглашая своего читателя не зазубривать что-то, а задуматься, ощутить сложность и многомерность далеко не очевидного содержания портретных образов далеких эпох. Она не столько утверждает, сколько высказывает предположения, как бы предлагая додумывать самому читателю. Причем движение поисков всегда направлено у нее «к внутреннему существу человека, к жизни человеческой личности». Этим характером интересов диктуется и авторская трактовка формально-стилевых приемов портретистов, их целенаправленности. Почему, скажем, мастера раннего Возрождения часто пишут человека в профиль? Потому, полагает М. Андроникова, что «профильный портрет дает образ более представительный, более величественный, а это соответствует духу времени — новому, ренессансному представлению о достоинстве и величии человека». Отчего Диего Веласкес (глава о портретах которого, по-моему, самая сильная в этой книге) приковывает внимание зрителя к взгляду изображенных им людей? Потому что, пишет автор, работая при испанском дворе, он изображал людей, которым надлежало быть сдержанными и умеренными в проявлении своих чувств и вообще всего человеческого, и «жизнь этих лиц, лишенных естественных движений, кисть Веласкеса концентрирует во взгляде, заставляя нас угадывать и понимать человека по выражению его глаз».

В каждом отдельном случае можно соглашаться или не соглашаться с такими определениями, можно оспаривать их точность, но очевидно, что в этих определениях отразилось желание автора понять самое существо духовного облика человека, как оно запечатлелось в портрете. И это большое достоинство книги, ибо перед нами раскрывается не только и даже не столько история определенного жанра искусства, но история человеческой личности в ее художественном отражении. А ведь именно это больше всего интересует читателя.

Работа М. Андрониковой исторична и от начала до конца по-научному доказательна. Автор тщательно изучил колоссальный художественный материал и литературу о нем, свободно владеет профессиональными навыками искусствознания. Но это еще не все. Ко всем несомненным и почтенным искусствоведческим добродетелям (которые по нынешним временам особой редкости уже не представляют) в данном случае добавился еще и очевидный дар автора воспринимать и излагать материал истории искусства с художественно-поэтической си-

лой (а вот это уже нечто «божьей милостью» и потому встречается совсем нечасто, как всякий подлинный талант). Кроме того, книгу пронизывает стремление дать сугубо современную оценку памятникам искусства портрета. Сочетание упомянутых качеств и есть художественная критика. И в этом я вижу особенность книги Андрониковой.

На протяжении трехсот страниц своей работы Манана Андроникова пишет о сотнях различных портретов и, сама того не замечая, создала в книге еще один портрет: свой собственный. За каждой строчкой повествования ощутима личность автора, человека высокой духовной культуры. К печали нашей, Манана Андроникова не увидела свою книгу опубликованной.

А. КАМЕНСКИЙ.

★

ВЫБИРАЯ БИОГРАФИЮ

Макс Фриш. homo Фабер. Назову себя Гантенбайн. Перевод с немецкого. М. «Прогресс». 1975. 463 стр.

Однотомник швейцарского писателя Макса Фриша занял свое вполне достойное место в популярной серии «Мастера современной прозы». Первый из двух романов — «homo Фабер» — уже давно знаком нашему читателю. О нем в свое время было опубликовано немало статей и рецензий. Поэтому сосредоточим внимание на романе «Назову себя Гантенбайн», недавно переведенном у нас и вызывающем к себе разноречивое отношение.

Если попытаться перевести название этого романа более точно, то получится «Положим, мое имя будет Гантенбайн». У автора в заголовке сделан заметный акцент на безразличии к имени, оно выбрано лишь как вариант, как одно из бесконечно возможных. Стоит еще обратить внимание, что это название явно перекликается с самой первой фразой раннего и тоже сравнительно недавно переведенного у нас романа «Штиллер». Там тюремные записки знаменитого скульптора начинались с заклинающего выкрика: «Я не Штиллер!» Отречение от имени или, напротив, выбор наиболее подходящего, раз уж это необходимо, в произведениях Макса Фриша играют чрезвычайно существенную роль. Единственное имя, которое признает фришевский герой, это «я». Расставание с анонимностью происходит болезненно, сопровождается явным неудовольствием. Отсюда этот тон: назову себя Гантенбайном, если это вам угодно... хотя подлинное имя рассказчика так и остается тайной.

На духовное формирование М. Фриша известное воздействие оказал предшественник экзистенциализма датский философ Сёрен Кьеркегор, которого писатель охотно цитирует и нередко упоминает. В частности, все, что связано с наречением героя, заимствовано у Кьеркегора. Кьеркегор наставлял, что личность уникальна, каждый человек единственный, или даже точнее — единичный. Он призывал к максимальной сосредоточенности на самом себе. «Не познай себя, а выбери себя»,— поучал философ. Нелюбовь к обычным именам связана с тем, что таким путем, дескать, личность становится в ряд, приобщается к множеству.

Макс Фриш в романах «Штиллер», «homo Фабер» и «Назову себя Гантенбайн» избегает крайностей Кьеркегора. Для него эта эгоцентрическая мысль ценна прежде всего потому, что она внушает чувство острой ответственности перед самим собой, заставляет человека требовательнее и активнее реализовывать заложенное в него природой. Фриш использует эту идею как своего рода завязку романов. Называя себя то одним, то другим именем, герой начинает заодно и выбирать биографию, пытается апробировать различные жизненные варианты, примеряет к себе всевозможные сюжеты. На такого рода жизнеописательных гипотезах построено повествование «Гантенбайна», но наиболее обнаженно этот прием продемонстрирован в пьесе «Биография». На подмостках проигрываются различные ситуации в поведении героя, тут же какие-то поступки объявляются недействительными, подключаются неожиданные повороты, на глазах у зрителя перекраивается биография персонажа.

Произведения Макса Фриша, и в особенности, пожалуй, «Назову себя Гантенбайн», трудны для восприятия. Читатель привык в традиционной реалистической литературе иметь дело с более или менее устойчивым

образом-характером. У Фриша же в одну оболочку образа как бы запрятано несколько лиц-масок, выскакивающих попеременно и крайне неожиданно. Как хитроумный оборотень, возникает Гантенбайн, трансформирующийся в соседнем абзаце в Эндерлина, а рядом и в Свободу.

В книге Фриша отсутствует житейская убедительность вымысла, нет привычной беллетристической реальности. Прочитав романы Флобера и Льва Толстого, можно точно знать, что случилось с Эммой Бовари или Анной Карениной. Иное у Фриша. Поскольку возлюбленная Гантенбайна Лиля переменчива (актриса, графиня, научный работник), то и все происходящее с нею — только одна из версий; скорее всего очередное происшествие — авторский розыгрыш, а все адюльтеры выдуманы, но они вероятны и любопытны для читающего.

Автор романа «Назову себя Гантенбайн» постоянно сталкивает одно воображаемое событие с другим, каждый парадокс спорит со следующим, а истины, которые защищает писатель, всегда спрятаны между ними. Читая роман, приходится все время соображать, кто есть кто, кому принадлежит мысль и поступок, следить за отливами и приливами причудливой фабулы. Признаемся, что иногда это невольно раздражает, тем более что вовсе не всегда существенно, кого в данный момент выдвигает на авансцену автор. Но вместе с тем сложное построение романа обостряет внимание, заставляет пристальнее следить за ходом авторских раздумий.

На страницах «Назову себя Гантенбайн» мелькают «пейзажи» нескольких столиц, но удивительное дело: Фриш проявляет заметное безразличие к тому, где случаются события. У рассказчика сквозит явная пресыщенность виденным, все изображается усредненным, как модерная архитектура из стекла и железа. Писателя отнюдь не волнуют подробности местного колорита, и в этом обнаруживается авторская позиция: не описывать действительность, а моделировать ее, отыскивая устойчивые, повторяющиеся жизненные признаки.

В диалогах и репликах мелькают факты и имена из политической, а чаще художественной жизни. Автор не без сарказма рисует эдакое интеллектуальное застолье, где между тостами звучат расхожие суждения об Эрнсте Юнгере и Джойсе, а вслед за Джойсом, так как «очередь Кафки уже прошла», упоминается Бенн и т. п. Не важно, что рассуждающие смутно представляют себе их творчество. Имена мэтров — знак причастности к элитарной культуре. Их произносят, гордясь своей среднеевропейской эрудицией.

Местами придавая повествованию черты сходства с потоком западной информации, автор включает в текст вставные новеллы и притчи, анекдоты и спародированные полицейские сенсации.

Природа таланта Макса Фриша театральна по своей сути. Самые серьезные идеи он преподносит играючи, не случайно его герой непрерывно дурачится. Роман не раз заставляет вспомнить театральное представление, где один актер играет сразу несколько ролей.

Сочиняя роман «Назову себя Гантенбайн», Фриш сам попеременно надевает маску Гантенбайна и других.

Ключ, открывающий структуру романа, содержится в характерной фразе: «Я примеряю истории, как одежду!» Тут невольно вспоминается название новеллы почитаемого Фришем швейцарского классика Готфрида Келлера — «Платье делает людей». Пропуская Лилю, Гантенбайна, Эндерлина сквозь всевозможные истории и ситуации, писатель создает бесчисленные варианты социального поведения людей.

Единственное полноправно действующее лицо — рассказчик. В значительной мере он идейно близок автору. Все остальные персонажи так или иначе выведены из душевных запросов рассказчика. Это он, очевидно, переживает страстное лирическое приключение. Он решает утром, что встреча с женщиной должна остаться единственной. Пусть единожды пережитая вспышка чувств окажется краткой небанальной новеллой. Он утром в вечернем костюме (приметная деталь, используемая именно рассказчиком как его отличительный знак) пьет наспех кофе где-то в забегаловке, возвращается в отель, затем, предаваясь воспоминанию, летит в самолете. Навязчиво повторяется в сознании героя: «Они обещали друг другу не писать писем никогда они не хотели будущего, это была их клятва... Никаких повторений... Никаких историй...» (зато все «истории» будут переданы — в воображении рассказчика — Гантенбайну или Эндерлину).

Главный герой Фриша рационалистически твердо решает ради сентиментальной сиюминутности отказаться от будущего.

Страсть неповторима, как неповторима личность. В этих рассуждениях вновь возникает тень Кьеркегора, считавшего, что привычка профанирует любовь, губит чувства. Герои Фриша и в «Назову себя Гантенбайн» и в «Штиллере» испытывают маниакальный страх, подобно Дону Жуану у Кьеркегора, перед семейным укладом, общими знакомыми, социальным статусом. На первый взгляд недоверие ко всему стабильному, к постоянству чувств в частности,— очередная блажь фришевских изломанных героев. А если вдуматься, то весьма существенный аспект их мировосприятия, ибо житейский ритм обязывает признать себя молекулярной частицей массового буржуазного общества, стирающего индивидуальные различия, вынуждающего человека следовать «правилам», а двух возлюбленных— «функционировать» в отведенных пределах.

Одна из самых первых рецензий на роман, появившихся вскоре после его выхода, не без юмора называлась «Отелло в роли Гамлета». Разумеется, переживания ревнивца — верхний слой повествования, но действительно о «Гантенбайне» правильнее сказать, что это книга не про любовь, это роман о ревности — изощренной, интеллектуальной, самоистязающей. Ревнивец лишен наивной доверчивости шекспировского героя; рефлексирующая страсть Гантенбайна стимулирует в нас не сострадание, а «соразумье» над проблемами западного мира.

Зададимся вопросом несколько наивным, но вместе с тем вполне резонным: стоило ли рассказчику заставлять Гантенбайна изображать слепого? Используя такой, казалось бы, простой ход, Макс Фриш выуживает из общественного бытия великое множество нелепостей и несправедливостей, вскрывает его лицемерие и ложь. Слепому Гантенбайну (у автора промелькнет на какой-то момент иронизирующее сомнение: не лучше ли глухому?) положено воспринимать окружающий мир таким, как его интерпретируют и объясняют окружающие зрячие. Он избавлен от собственной точки зрения, он предельно доверчив к словам. Взятый государством под опеку через органы здравоохранения, Гантенбайн быстро становится образцовым конформистом, ведь он существует в согласии с чужими суждениями и концепциями. Женившись на Лиле, он выступает просто как муж своей знаменитой жены. Поскольку Гантенбайн лишен какого-либо занятия, он старательно изображает идеального мужа. Исключив себя из жизни, Гантенбайн превращается в паразитирующего аутсайдера — якобы слепого стороннего наблюдателя. Фриш из этой коллизии извлекает массу сатирических эффектов, ибо только Гантенбайну позволительно откровенно невпопад высказывать нелицеприятную правду о невидимых соседях. Посещая с женой-актрисой театр, он исподтишка режиссирует постановку «Макбета».

Гантенбайн тактично игнорирует присутствие соперников возле Лили. Брак от того гармонически укрепляется, и как апофеоз возникает для новоявленных Филимона и Бавкиды пляжная утопия из рекламного проспекта или беседа за завтраком с отсутствующей Лилей-графиней.

Но «театрализованный» конформизм героя постепенно становится его единственной сутью. Чем далее, тем меньше у Гантенбайна шансов открыться Лиле. Наконец, чтоб не выдать себя, он отказывается дать показания в защиту человека, ложно обвиняемого в убийстве. Так шутка затягивается и слепота остается единственным доступным ему способом существования. Поза, лицедейство приросли к человеку. Чем ближе к финалу, тем больше поступки Гантенбайна напоминают поведение Бидермана, который был настолько слепо доверчив, что не хотел замечать, как поджигатели таскали в его дом горючее. В пьесе «Бидерман и поджигатели» проведена та же мысль об опасности социальной слепоты, только выражена она по сравнению с романом более откровенно.

Другой двойник рассказчика, чью биографию он примеряет, доктор философии Феликс Эндерлин выступает в романе на вторых ролях. Его главная «легенда» — ожидание смерти, которая ему якобы угрожает ровно через год. Подобная ситуация носит хрестоматийно экзистенциалистский характер: человек живет в ожидании смерти и наперекор смерти. Эндерлин держится молодцом, он хранит свою тайну, обретает мужественное спокойствие, живет деловито и празднично, будто предсказание ему и неизвестно. Все это вызывает симпатию к Эндерлину. Только когда год страшного ожидания прошел, Эндерлин ликует. Но далее вновь делается уступка экзистенциалистским умонастроениям: Эндерлину грустно, что предстоит стареть, вновь обретенная жизнь кажется бессмысленной. Эндерлин, живущий выжидательно, олицетворяет в повествовании развитый интеллект, все

познавший, вкусивший и оттого разочаровавшийся.

Наконец, третьему персонажу, с которым нас знакомит герой-рассказчик, чеху Свободе, досталось амплуа отвергнутого мужа. В романе просмотрены все варианты его поведения. Он может предаваться многословным ламентациям и оставаться великодушно молчаливым, может неотлучно находиться при Лиле или умчаться куда глаза глядят, может терпеливо ждать возвращения Лили, а может в припадке гнева схватить армейскую винтовку... Свобода не выбирает ни один вариант и ни от одного не отказывается, ибо все существует только в проекциях рассказчика. Кроме того, все эти случаи и в жизни не новы и тысячекратно описаны в книгах. А знание того, что все это уже было, парализует волю Свободы; он не в состоянии вести себя без оглядки на прошлое или на готовые «клише». Рассматривая поступки Свободы, Фриш повторяет свою излюбленную мысль о том, что нынешнему европейцу, перегруженному всевозможной информацией и предрассудками, традициями и опытом, психоанализом и модой, невозможно сохранить органику собственной натуры, выбрать себя, повинуясь непосредственным побуждениям.

Швейцарский романист не устает подчеркивать, что в современном буржуазном обществе все «репродуцируется», то есть сложилась система уподоблений и подражаний, жизнь сделалась нормативной, существует несколько разрекламированных изначальных образцов, с которых производятся массовые оттиски. Утверждению этой мысли служит у него и разорванный, «вариативный» сюжет с набором гипотетических версий, ведущих все к тому же буржуазному стандарту.

«Типологизм» Фриша имеет, как уже сказано, и отрицательные стороны. В обычной семейной хронике, как правило медлительной и длинной, читатель в укороченном временном масштабе жил параллельной, синхронной жизнью с героями, вникая во множество психологических, социальных и бытовых нюансов Форсайтов или же Будденброков. Там взаимоотношения мужчины и женщины, конфликты поколений развивались многосторонне и житейски определенно и оттого вызывали соучастие. Но когда у Фриша рассказчик в очередной раз произносит: «Я представляю себе», читатель уже предвкушает, что его ожидает очередной семейный казус, ни с чем предыдущим не связанный. Автор отказывает своим Гантенбайнам, Эндерлинам или чете Свобода в единственном существовании, предлагая взамен множество вариаций маленьких существований на основе очередной «модели».

Роман «Назову себя Гантенбайн» типичен для искусства последнего десятилетия. Нетрудно в меру эрудиции подобрать аналогичные примеры из литературы, кино, театра, где отсутствует фабула, где позиция рассказчика имеет целью выявление множества противоречивых «я», где сам по себе художественный прием поглощает львиную долю читательского внимания.

Для подобных новаций прежде всего показательно пренебрежение к сюжету. То есть сюжет, конечно, налицо, но он субъективен и рождается из авторских размышлений, ощущений, ассоциаций. Порой он так глубоко спрятан, что улавливается с трудом. Отчетливый сюжет — совокупность событий и биографий — всегда способ выражения авторской позиции, отношения к миру, способ суда над действительностью.

Следует ли отсюда, что у нас есть основания вовсе отлучить роман «Назову себя Гантенбайн» от реалистической традиции и зачислить по модернистскому ведомству? Как бы предвосхищая такой подход к роману, Д. Затонский в послесловии к журнальной публикации аргументированно объяснил социальную закономерность избранной автором формы: «Фриш... не абсолютизирует такую романную форму. Он видит ее слабости. Но понимает и диалектичность связи этой формы с характером эпохи, с ее переходностью. Таков его мир, таков живущий там герой. А если еще поставить себе те задачи, какие намерен решать Фриш, ни к миру, ни к герою не подберешься иначе чем в ходе напряженнейшей с ними дискуссии, разламывающей монолитность сущего». Фрагментарно выстроенный роман на свой лад достоверно воспроизводит мозаичное, а моментами разорванное сознание интеллигентного обитателя буржуазного мира. Рассказчик своими экспериментами и фантазиями вовлекает нас в процесс собственных еще не выстроившихся размышлений о мире — недогматических, оригинальных, верных во многих частностях.

Среди ряда эпизодов, выдержанных в явно игровой манере, выделяется необычай-

ной серьезностью и почти дневниковой откровенностью воспоминание о 1942 годе. Сам Фриш в ту пору отбывал срок военной службы. Рассказчик — хотя впечатление такое, что его голос сливается с авторским,— получив на день увольнительную, один поднимается в горы на пик Пеш. Там происходит встреча с любознательным альпинистом, который в бинокль разглядывал окрестные деревни, сверяя открывшийся вид с картой. Наверняка это был фашистский лазутчик. Два путника, встретившихся среди полного безлюдья, мирно разговаривали. Он не столкнул гитлеровца со скалы, хотя мысль эта пришла ему в голову. Кто знает, в гибели скольких людей виновен этот добродушный с виду нацист? Как рассказчик должен был тогда поступить? Похожий случай пережил и Штиллер во время гражданской войны в Испании, когда, будучи убежденным антифашистом, не смог стрелять во франкистов. В обоих романах герои болезненно переживают собственную слабость, чувствуют ответственность за преступления врага, которые совершены при их попустительстве, но слабость от этого, увы, не превращается в силу.

Из романов «homo Фабер» и «Назову себя Гантенбайн» трудновато извлечь итоговую истину, которая вмещала бы в себя то главное, ради чего создавались эти книги. И все же, думается, ведущая мысль прозвучала в финале первого романа.

...Вальтер Фабер, убежденный технократ и принципиальный рационалист, сломлен обрушившимися на него роковыми случайностями. В самый ответственный и, быть может, последний момент существования он всерьез размышляет над словами бывшей возлюбленной, преданной им в трагические годы гитлеризма. «Жизнь — это созидание во времени»,— говорит ему Ганна. Вдумываясь в эту простую, но мудрую истину, он начинает понимать, что созидание — это активный самостоятельный выбор собственного места в жизни, своих друзей и идеалов. Созидание во времени подразумевает выстраивание каждым своей биографии, отвечающей внутреннему достоинству человека.

В. ПРОНИН.

★

Политика и наука

ГЕРОИ СЕКРЕТНОГО ФРОНТА

Люди молчаливого подвига. Очерки о разведчиках. М. Политиздат. 1975. 367 стр.

Никакая другая область человеческой деятельности не окутана таким количеством тайн и загадок, как разведка.

Причиной тому «многоэтажная» конспирация: военной тайной является то, что добывают разведчики; секретно и то, как они это делают; конспирируют тех, кто занимается разведкой, и вообще стремятся как можно меньше говорить об этой службе. Чем меньше о ней знают, тем лучше для тех, кто ею занимается,— таков один из непреложных законов разведки во все эпохи.

Но проходит время, раскрытие тайны уже не может принести вреда ни государству, ни армии, ни самим разведчикам, и тогда люди узнают о бойцах секретного фронта. Становятся известными имена героев, так много совершивших подвигов для достижения победы, ради блага своей родины. В работе советских разведчиков есть постоянная, обусловленная необходимостью высокая ответственность и особая честь — разведчики идут впереди всех, еще до начала войны они уже ведут борьбу с врагом, во время боев они тоже первыми встречаются с противником на передовой или в его тылу.

Несмотря на тормозящее воздействие секретности, деятельность военных разведчиков широко изображена в художественной литературе. Среди этих произведений есть вершины, заслуженно завоевавшие признание читателей: повесть Э. Казакевича «Звезда», рассказ «Иван» В. Богомолова, его же недавно вышедший роман «В августе сорок четвертого...» (правда, к слову «разведка» здесь добавляется приставка «контр», но это не выводит героев романа Богомолова из сферы деятельности разведки). Хочется обратить внимание на то, что авторы этих книг сами имели отношение к

военной разведке. Счастливое совпадение, что они же оказались талантливыми писателями, помогло им создать высокохудожественные произведения, глубоко, со знанием дела проникнуть в психологию разведчиков.

Но, разумеется, писателю совсем не обязательно служить в разведке, чтобы писать о ней удачные книги, что показывают «Щит и меч» В. Кожевникова, «Земля, до востребования» Е. Воробьева, «Семнадцать мгновений весны» Ю. Семенова и некоторые другие произведения. Но есть одно непременное условие, впрочем, обязательное при работе над любой другой темой,— это глубокое изучение материала и добросовестность.

К сожалению, иногда имеют место и злоупотребления любовью читателей к теме. Иные авторы сочиняют легковесные поделки, основываясь на каких-то обрывочных сведениях и слухах, а чаще всего на собственной фантазии. Польза от такой чисто развлекательной литературы весьма сомнительна, хотя в ней и верно расставлены акценты добра и зла, любви к родине, ненависти к врагам. Ввиду несоблюдения чувства меры, потери реальной почвы и неумеренной ставки на развлекательность разведывательные «детективы», на мой взгляд, приносят и определенную долю вреда: они подспудно порождают, особенно в молодом читателе, сомнение в способности совершить подобные «трюки». Читает молодой человек о головокружительных похождениях «супермена», а в душу его закрадывается сомнение: я так не смогу! Эта неуверенность может сыграть пагубную роль в час испытания, так как человек встретит опасность как заведомо ему непосильную, неодолимую.

Но вот приходит время — и появляются документальные книги без выдумки, о настоящих, реальных разведчиках, чьи имена теперь можно назвать. Одна из таких книг — сборник очерков «Люди молчаливого подвига», в котором перед читателем встает целое созвездие замечательных героев разведчиков. О некоторых из них, например о Рихарде Зорге, уже написано много, другие приходят к читателю впервые. Но и о тех и о других здесь рассказано без вымысла, только правда в той мере, в какой она сегодня известна. Серьезность и достоверность издания скрепляются еще и тем, что теплое и одобрительное предисловие к нему написал дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза А. М. Василевский, который знает цену разведке не только как крупный советский полководец, но и как бывший начальник Генерального штаба, где он не один год руководил работой военной разведки. Видный военачальник говорит о том, что в дни тягчайших испытаний ему довелось видеть множество подвигов пехотинцев, летчиков, моряков, танкистов, «катюшинцев». «Но и у меня лично,—пишет он,— и у героев всех родов войск, достойных самой высокой похвалы, глубочайшее уважение вызывали и вызывают подвиги наших славных разведчиков».

Кто же эти славные герои? В чем истоки их мужества, стойкости? Каковы секреты, которых не могли разгадать наши враги и даже самыми ухищренными пытками не сумели вырвать их у тех разведчиков, которые попали им в лапы?

Очень важное открытие, которое делает читатель, заключается в том, что настоящие, а не литературные разведчики не являются «суперменами». Все они обычные люди, в большинстве своем труженики, даже не кадровые военные до начала войны — студент, партийный работник, рабочий, просто комсомолец, не выбравший еще профессии, педагог, токарь, колхозник, бригадир тракторной бригады. И все они такие же воины, как и те, кто шел в цепях атакующих, летал на самолетах, плавал на боевых кораблях. Сама необходимость добывать данные, так нужные для победы, особенности работы в стане врага, где каждый миг на волосок от смерти,— все это требовало от работающих в разведке решительности, смелости, ловкости, находчивости, и эти качества они находили в себе не в силу какой-то исключительности, а движимые любовью к родине, сознанием долга, чувством боевого товарищества, убежденностью в правоте и справедливости дела, ради которого шли на риск.

Причины, побуждающие человека идти в разведку, и духовные силы, дающие возможность совершить подвиг, особенно глубоко и наглядно проанализированы в очерке М. Колесниковой и М. Колесникова «Вечный огонь интернационализма». Авторы собрали достоверный материал, побывали в ГДР, встречались с здравствующими соратниками Зорге. «Я родился в эпоху крутых поворотов в истории человечества. Идеи марксизма захватили меня целиком, и я без колебаний шел по избран-

ному мной пути, ни разу не оглянувшись назад» — так сказал незадолго до смертного приговора Ходзуми Одзаки. Японский интеллигент, ученый-востоковед, желая избавить соотечественников и другие народы от ужасов войны, становится антифашистом-интернационалистом. Служебное положение позволяло ему зачастую быть в курсе некоторых международных событий. Полученные сведения он передавал Зорге. Не за деньги, не ради каких-то материальных благ или славы добывали сведения Одзаки и его друзья — они знали, что эти сведения могут быть использованы на дело мира, на счастье народов, в том числе и японского народа.

На долю другого участника организации, художника Мияги, выпали чудовищные пытки, два года его беспрестанно мучили в тюрьме Сугамо, он и умер во время очередного допроса, терзаемый изощренными садистами. Художник — человек свободной профессии, писавший картины в Лос-Анджелесе, на Ямайке, в Калифорнии, перед ним был открыт весь мир, а избрал он трудный, благородный путь борьбы, объясняя свое решение так: «Я пришел к выводу о необходимости принять участие в работе, когда осознал историческую важность задания, поскольку мы помогали избежать войны между Японией и Россией... Итак, я остался, хотя хорошо знал, что... в военное время я буду повешен...» Макс Клаузен, тоже участник организации Зорге, сказал: «Я стал разведчиком потому, что ненавидел фашизм и милитаризм и горячо любил свою родную Германию. Работа для СССР всегда являлась для меня также борьбой за светлое будущее любимой Германии». В тюремных застенках и перед лицом вражеских судей советские разведчики находили опору в справедливости дела, которому они служат. Вукелич смело сказал своим палачам, что убеждения — его личное дело и он не обязан отчитываться перед японской полицией. Почему она свои мнения считает эталоном для всех остальных людей? И позднее, уже в предсмертных записках: «Успешное строительство социализма и сохранение мира всегда были для меня наиболее желанными целями, и именно эти цели лежали в основе моего согласия работать в секретной организации».

Вот таким путем, движимые общими стремлениями, пришли в организацию представители разных народов.

Кроме идейной общности, еще одну благородную черту — бескорыстие наших разведчиков хорошо иллюстрирует заявление американского генерала Уиллоуби, изучавшего документы процесса над Рихардом Зорге и его соратниками: «Все члены группы Зорге, как это ни покажется необычным, работали ради идеи, ради общего дела, а не ради денег. Те средства, которые они получали из Центра (по нашим понятиям, весьма скромные), шли на оплату конспиративных квартир и переезды».

М. Колесникова и М. Колесников в очерке, на мой взгляд, очень убедительно и умело показали социальное, политическое лицо нашего разведчика, патриотические, интернациональные мотивы его действий и первопричины невиданной стойкости и мужества, подводя читателя к основному выводу: «...все перипетии беспокойного бытия разведчика — это лишь неизбежный фон секретной работы, наполненной зримыми и незримыми опасностями. Главное в другом: в каком ты сражаешься стане, какова твоя общественная сущность, хочешь ли ты счастья людям, каков твой личный вклад в борьбе за это счастье?»

Определенная категория читателей найдет в книге ответ на не ясный им вопрос, не раз слышанный мной в беседах и разговорах: какова разница между разведчиком и шпионом, почему мы восхищаемся смелостью наших разведчиков и говорим с презрением о действиях иностранных агентов? Ведь они вроде бы тоже проявляют порой и храбрость и высокую профессиональную подготовленность.

Из очерков, включенных в книгу, и из фактов, приведенных выше, убедительно видно: наш разведчик служит делу прогресса, укреплению передового, социалистического строя, интернациональным интересам трудящихся; в советскую разведку идут люди высокосознательные, идейно убежденные, бескорыстные, предельно чистые в нравственном отношении. Советский разведчик — боец стойкий, до конца преданный делу нашей партии и социалистической родине, вооруженный коммунистическим мировоззрением, верой в торжество ленинских идей. Он идет во вражеский тыл ради великой цели.

Действия шпиона, иностранного агента, направлены на пользу реакционных сил, всячески стремящихся повредить социалистическому обществу, освободительной борьбе трудящихся всего мира. Смелость

иностранного агента — это смелость преступника. Людьми, идущими в шпионы, чаще всего руководит первейшая страсть капиталистического общества — закон чистогана, стремление сорвать деньгу. Ради алчности они идут и на риск и на подлость. А если и встречаются шпионы с «идейными стимулами», то идеи эти реакционные, подчас связанные с низменными личными мотивами — желанием отомстить за потерянные капиталы или привилегии, напакостить из чувства обиды, а иногда и просто по заблуждению.

В книге «Люди молчаливого подвига» представлены советские разведчики самого различного класса и масштабности — от начальника разведывательного управления РККА Яна Карловича Берзина до рядового войскового разведчика, героя боев за Севастополь Ивана Дмитришина.

Редактор сборника И. Михайлов и составитель И. Василевич не вдавались в сложности теории и тактики разведки, но в популярной форме благодаря умелому подбору очерков сумели познакомить читателей со сложной работой бойцов невидимого фронта в мирные и военные дни.

Глубокое впечатление о работе по раскрытию замыслов агрессоров в довоенные годы производят очерк О. Горчакова «Страницы большой жизни» и собранный М. Колесниковой и М. Колесниковым материал о блестящей работе соратников Зорге. С интересом читаются очерки о болгарском патриоте-интернационалисте Владимире Заимове, о немецкой патриотке Ильзе Штёбе.

Разведка сыграла огромную роль в обеспечении выполнения задач, стоявших перед советскими Вооруженными Силами в годы Великой Отечественной войны: ни один боевой приказ, ни одно боевое распоряжение не отдавалось войскам без оценки обстановки и раскрытия замыслов противника. Эти оценки базировались на сведениях, добытых разведчиками по различным каналам. Ценою огромных усилий фронтовые разведчики совершали свой молчаливый подвиг: они добывали сведения о группировке, численности, дислокации, боевой технике и вооружении войск противника, его планах и намерениях. Родина высоко оценила их труд. Только в 1943—1945 годах 121 военный разведчик удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Тысячи разведчиков награждены орденами и медалями.

Фронтовая разведка в тылу врага во время минувшей войны представлена в очерках А. Сгибнева и М. Кореневского о Фариде Фазлиахметове, В. Гусева о Кузьме Гнедаше и Кларе Давидюк, И. Василевича о Николае Сухове и его соратниках. В. Золотухин рассказывает о Герое Советского Союза А. Бринском, который, кстати, сам является автором очерка о Юзефе Собесяке. Не забыта и рать отчаянных охотников за языками — разведчиков тактической глубины, они представлены морским пехотинцем И. Дмитришиным в очерке И. Падерина. Герои очерков — люди разные по характерам, еще более разнообразны опасные дела и задания, которые они выполняют, но наряду с этим всем им присуще одно общее качество — стремление во что бы то ни стало выполнить приказ и беззаветная, горячая любовь к родине.

Люди молчаливого подвига — так назвал советских разведчиков, уходящих за кордон, один из родоначальников нашей военной разведки, Ян Берзин, человек, сам проживший почти всю жизнь под двойным псевдонимом: Старик и Ян Берзин — да, под этим широко известным именем корпусного комиссара Красной Армии жил долгие годы сын латышского народа, профессиональный революционер Петер Кюзис. Он не дожил до начала Великой Отечественной войны, но что она будет, Ян Берзин понимал хорошо. Организованная им служба, которую он создавал с 1924 года, безотказно действовала, и в ходе боев она внесла большую лепту в достижение победы. Здесь мне хочется привести еще одну выдержку из предисловия маршала А. М. Василевского: «Разумеется, сражения выигрывают не разведчики, а народ, армия. Но разведчик, как показывает опыт, не последний, а первый боец в цепи воюющих, наступающих. Выдвинувшись далеко впереди атакующего вала, он, разведчик, помогает не автоматом, он помогает прежде всего быстрым и глубоким умом, острым, наметанным глазом, способностью мгновенно осмыслить совершенно неожиданную информацию, проникнуть в замысел противника, предвосхитить его шаги».

Хочется сказать об одной замечательной особенности книги. Рецензируемый сборник являет собой убедительное опровержение широко распространенного мнения, будто подвиг почти всегда завершается гибелью героя. Да, в разведке, в этой опасной ра-

боте, как и вообще на войне, гибнут люди, но многие из тех, чьи подвиги описаны в этой книге, живут и сегодня: в Берлине на улице имени Рихарда Зорге в доме № 8 живут его боевые соратники Макс и Анна Клаузены; директором техникума в Борщеве Тернопольской области работает севастопольский «матрос Кошка» — Иван Дмитришин; вырос в крупного инженера Фарид Салихович Фазлиахметов — семь раз он был заброшен в глубокий тыл фашистов, более двух лет провел в их расположении, но так никто и не получил обещанную за его голову в гитлеровской листовке крупную сумму денег и «имение с двумя коровами и трактором в хорошем состоянии»; Юзеф Собесяк после войны командовал частями и соединениями, а в последние годы жизни был заместителем главнокомандующего Военно-морскими Силами ПНР.

Большинство очерков написано профессиональными литераторами и журналистами, то, что авторы хотели рассказать, они передали читателю простым, точным языком. На мой взгляд, именно такого выражения и требовала эта строгая тема о скромных мужественных людях, привыкших быть в «тени» секретности.

Хочется еще отметить и то, что книга хорошо оформлена. И особенно приятно читателям видеть на фотографиях лица героев, с которыми они познакомились.

Работники Политиздата обладают не только хорошим вкусом, но, что особенно важно, четко и ясно представляют социальные и политические аспекты темы. Сборником «Люди молчаливого подвига» издательство показало, что при любой захватывающей фабуле не следует упускать главное — социальные корни явления, высокие партийные и советские морально-этические принципы, которыми руководствуется наша разведка в своей практической деятельности, и благородные, прогрессивные цели, которые она осуществляет, так как они направлены на благо не только советского народа, но и других народов, борющихся за мир на земле.

Владимир КАРПОВ,
Герой Советского Союза.

★

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

М. М. Громыко. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII — первая половина XIX в). Новосибирск. «Наука». 1975. 352 стр.

Существовала ли в действительности особая «русско-сибирская народность» с отличными от славяно-русов чертами «физического типа», психологии и нравственности? Вело ли перемещение за Урал к разрыву с общерусской культурной традицией?

Или же все это порождение предвзятого подхода А. П. Щапова, историка яркого и талантливого, но часто впадавшего в крайности и односторонность, человека сложной биографии, натуры увлекающейся?

«В новых условиях жизни оно (русское население Сибири.— *Н. М.*) больше искало новой жизни, чем думало о старой, и вообще умственно и нравственно приспособлялось больше к новым местным физико-географическим и этнографическим условиям»,— писал Щапов. По его мнению, сибиряки якобы забыли всю древнерусскую старину, народный эпос, растеряли знания и навыки, даже легенды и суеверия, которые были принесены первопоселенцами.

Над развитием теории Щапова о «великорусско-инородческом типе» сибиряков немало потрудились областники и народники; этому посвящались специальные работы, в том числе блестящие по стилю, написанные живо и увлеченно. Они оставили глубокий след не только в науке, но и в психологии общества.

Советские специалисты многое сделали по решительному пересмотру оценок связей русских сибиряков со всем русским народом в целом, роли и места дореволюционной Сибири в создании и сохранении общерусских, общенациональных культурных ценностей. Новый труд сибирского историка М. Громыко вносит заметный вклад в решение этих проблем большого научного и общественного звучания.

Исследование в рассматриваемой книге ведется на стыке смежных наук — истории, этнографии и фольклористики. Многогранность творческого инструментария автора обусловлена «пограничным» характером материала и спецификой поставленных задач:

выяснить истоки и практическое содержание производственных традиций у русских крестьян феодальной Сибири, охарактеризовать способы формирования, закрепления и передачи этих традиций из поколения в поколение, определить их место в системе общественного сознания крестьянства.

В эпоху феодализма крестьянство было главной трудовой силой Российского государства, а потому изучение его истории — задача первостепенной важности. Актуальность темы работы — крестьянские трудовые навыки — обоснована автором во введении: «В силу эмпирического характера знаний и примитивности орудий труда самый процесс производства в феодальном обществе был возможен только благодаря закреплению и передаче опыта традицией». И наконец, разве не вопрос о преемственности и развитии форм труда должен прежде всего интересовать ученого, занявшегося выяснением судьбы славяно-русской традиции к востоку от Урала?

Непосредственный объект исследования М. Громыко — русское крестьянство Сибири XVIII — первой половины XIX века. Без учета и анализа локальных особенностей невозможно во всей полноте представить ход исторического развития феодальной деревни. Еще и поэтому книга по своему назначению, содержанию и выводам выходит за узкокраеведческие рамки. Последнему способствует высокая исследовательская культура автора — умение при предельно уважительном отношении к фактам видеть в каждом из них отражение, преломление глубинных общеисторических процессов.

Замечательная сторона рецензируемой работы — основательность ее источниковедческой базы. В одиннадцати архивохранилищах страны, а также в многочисленных публикациях дореволюционной периодики автором был выявлен и осмыслен очень разнообразный по природе материал: собственно исторические источники — топографические описания, ответы на академические анкеты XVIII века, данные ревизий государственных имуществ Сибири, судебно-следственная документация и другие этнографические и фольклорные источники, в том числе сведения, собранные в XIX веке Отделением этнографии Русского географического общества и Комиссией о народных юридических обычаях при Русском географическом обществе, записи наблюдателей. Мы имеем возможность еще раз убедиться в том, что исследовательский успех историка-медиевиста сегодня находится в прямой зависимости от его умения расширять и разнообразить источниковедческую основу.

Стремление к совершенствованию фактологической базы и методики анализа сочетается у М. Громыко с личной увлеченностью сюжетом, яркой и выразительной манерой изложения. Чувствуется, что автору дорог воссоздаваемый ею образ даровитого, свободолюбивого сибирского крестьянина-труженика, сохранявшего «во всей чистоте первобытный духовный тип старой Руси» (слова В. Г. Белинского). Поэтому книга интересна не только специалисту, но и массовому читателю.

Глубоко продумана структура исследования. Первые две главы посвящены характеристике трудовых навыков сибирского крестьянства XVIII — первой половины XIX века в земледелии, скотоводстве и промыслах, их содержанию, способам формирования, закрепления и передачи. Здесь же рассматривается выражение трудовой народной традиции в аграрных праздниках и фольклоре. В двух последующих главах выясняется соотношение трудовых традиций и домашнего быта крестьян, прослеживается роль семьи и общины в формировании и передаче традиций.

Сосредоточенно вникает автор в историко-этнографические данные о сельскохозяйственных знаниях и навыках крестьян феодальной Сибири. Удается, в частности, выявить внутрирегиональную порайонную специфику конструкции земледельческих орудий, состав возделываемых культур, приемы и сроки обработки почвы и уборки урожая, состав скота и способы ухода за ним. Сельскохозяйственные производственные традиции, принесенные русскими переселенцами из европейской России, умело приспосабливались к реальным сибирским природным возможностям. Приобретенный локальный элемент не нарушал их общерусской основы.

Один из существенных результатов исследования — новая оценка агротехнической сущности такого широко распространенного в феодальной Сибири крестьянского обычая, как весеннее опаливание полей. В нем автор обоснованно видит развитие традиции подсечно-огневой системы земледелия. «Выжигание дерна, кустарника, осуществлявшееся в подсечном земледелии, обернулось в полеводстве выжиганием стерни и сорняков; задачи в том и другом

случае были однотипными: радикально очистить пашню от ненужных трав, снабдить ее золой в качестве удобрения и избавить от личинок вредных насекомых». Подсека, кстати, получила в Сибири развитие и как способ расчистки леса под постоянную пашню. Помимо того, она возрождается здесь и в первоначальном значении — как определенная система земледельческого хозяйства. Вообще же на протяжении XVIII—первой половины XIX века по мере освоения крестьянами лесостепных и степных территорий Сибири абсолютное преобладание в крае получает «залежно-паровая система с тенденцией к правильной, или регулированной, залежи». Восстановление этой системы в ее существовавших вариантах — еще одно завоевание исследователя. «Залежно-паровая система господствовала в Сибири в XVIII — первой половине XIX в. потому, что... оказалась достаточно гибкой, чтобы приспособиться по-разному к почвенным, территориальным, ландшафтным и пр. факторам отдельных районов за счет разнообразия в приемах парования, в составе и последовательности плодосмена, в соотношении сроков культурного и залежного периодов».

М. Громыко обоснованно выступает против недооценки некоторыми исследователями крестьянской практики по организации полеводства и животноводства. Целый ряд наблюдений и выводов, сделанных автором в первом параграфе начальной главы работы, может представить практический интерес для современных специалистов-аграрников.

Внимательно анализирует М. Громыко и промысловые традиции сибирского крестьянства позднефеодальной эпохи.

Исследование трудовых традиций в целом проводится в тесной связи с социальными процессами формирования и развития сибирского крестьянства (включая его социальное расслоение) как части класса феодального общества.

В механизме формирования и передачи крестьянских производственных традиций автор на первое место ставит коллективные работы: помочи, капустки, супрядки, артельные промысловые занятия, в ходе которых «выделялись лица, наиболее успешно овладевшие тем или иным приемом, осуждались и высмеивались неловкость, небрежность или неприемлемые новшества. При этом молодежь и даже дети, подключавшиеся к некоторым видам работ, активно воспринимали навыки старшего поколения». Автор привлекает достаточно широкий и разнообразный круг источников, содержащих описание названных коллективных работ, и прослеживает внутрирегиональные конкретные их формы. Издревле свойственное русскому народу ощущение труда как радости (сохранявшееся даже в условиях феодального гнета) пронизывало всю атмосферу таких коллективных занятий, превращало их в праздники. На Алтае, например, к тому или другому хозяину нередко созывались на помощь односельчане, чтобы, «пользуясь... хорошею погодою, скосить разом, в один день, луг... Поутру часов в пять... помочане отправляются в телегах, верхом или в лодках, если сенокос находится по берегам. Приехав и помолившись богу, работают до обеда; пообедав, немного отдыхают, а потом снова начинают свое дело и по окончании отправляются обратно с песнями. Вымывшись и одевшись в лучшее платье, идут к хозяину, у которого... приготовлены уже столы и кушанье. После угощения... здесь начинались игры и пляски». На супрядки — коллективные работы женщин и девушек — крестьянки являлись в «лучших своих нарядах», помогали хозяйке «куделю чесать... песни поют. Другой раз ребяты соберутца, шутят. Как девки урок, сколь им зададут, кончают — играют. Сделают складчину, чево-нибудь поись послаще, самовар поставят, чай пьют...» (выше цитируются источники XIX века).

В передаче традиций имел значение и народный календарь, содержащий набор сведений о приемах и сроках сельскохозяйственного и промыслового труда.

Вдумываясь в характер крестьянского календаря, в символику местных земледельческих праздников, автор обнаруживает большую, чем в других районах, адаптацию догм и установлений православной церкви к задачам крестьянского производства.

Трудовые навыки и знания закреплялись также в крестьянских приметах, пословицах, других жанрах фольклора. Далеко не все из этих знаний и навыков носили рациональный, стихийно материалистический характер. Освящение и закрепление трудовой традиции оказывалось связанным с целым комплексом ирреальных представлений и обрядов, генетически восходивших к древним, дохристианским верованиям. Такого рода обрядами сопровождалась засыпка зерна в мешки перед началом сева, сам

сев, высаживание огородных культур, первая закладка снопов нового урожая в овин для сушки, отход на промыслы и пр. «Древнерусская старина», принесенная в Сибирь первопоселенцами, и в XVIII — первой половине XIX века цепко держала местное население во власти своих образов, ею была насыщена вся атмосфера труда хлебопашцев и промысловиков. Причем древние представления нередко переплетались с элементами христианства. Когда, например, крестьянин шел с первым снопом в овин, он становился в его центре и произносил характерную краткую молитву: «Помяни, Господи, мой хлебец с дымом. Аминь». После этого укладывал первый и все остальные снопы на колосник, спускался в овинную яму и зажигал ранее приготовленные там дрова. Появление пламени сопровождалось новым наговором: «Вставай, Царь Огонь и Царица Искра. Царю Огню и Царице Искре нет воли во всем овине, вот вам воля на сем месте. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Разлучи, Господи, мой хлебец с дымом. Аминь». «Для крестьянства,— пишет М. Громыко,— в соблюдении подобных обрядов, помимо магического содержания, привлекательным было опоэтизирование повседневного их труда, обыденной обстановки... Увлечение поэзией образов и слов и театральностью собственного «действа» привлекало исполнителей наряду с желанием поступать так, как делали отец, дед и прадед».

Свежи и содержательны страницы, где автором раскрывается земледельческая символика русской масленицы и конкретно ее сибирского варианта. М. Громыко детально рисует картину сибирского масленичного празднества (с показом его локальных различий), дает историческое объяснение этапов и звеньев этого празднества, определяя их место в общественном сознании крестьянства. «Масленица,— заключает автор,— впитала в себя многие исторические наслоения—от древнейшего погребального ритуала до народной комедии и социальной сатиры, направленной, в частности, против стремления к наживе. Она представляла собой сложный комплекс не только генетически, но и в коллективном крестьянском сознании изучаемого периода... В функционировавших на масленицу представлениях, нормах поведения, коллективных настроениях сочетались сохранявшиеся в известной мере верования в возможность активного магического воздействия на природу, христианские идеи, карнавально-развлекательные интересы, элементы социального протеста». Объяснение сибирской масленицы, предложенное М. Громыко, самым непосредственным образом перекликается с трактовкой цикла весенних народных праздников В. Я. Проппом и народно-праздничной системы западноевропейского карнавала М. М. Бахтиным. Однако здесь мы встречаемся не с простым использованием существующих концепций, а с их творческим переосмыслением.

Обратившись к рассмотрению материальной культуры и домашнего быта крестьян, автор показывает их значительную обусловленность производственными традициями. Последними диктовались выбор строительного материала для избы и приемы постройки, подбор одежды, способы приготовления и состав блюд и т. д. Кстати, и быт сибиряков сохранял общерусскую историко-традиционную основу. Техника деревянного строительства, принесенная из европейской России, лишь усовершенствовалась и разнообразилась применительно к условиям Сибири. Традиционно русское происхождение имели все основные элементы интерьера крестьянской избы — печь, полати, голбец, кут и др. «Отработанная веками целесообразность каждого элемента определялась потребностями труда, отдыха, семейных отношений, развивавшихся в данной социальной и географической среде». Одежда, пища крестьян Сибири в XVIII—первой половине XIX века также сохраняют традиционную основу — новые условия вызвали, однако, и здесь появление новых элементов, новых красок.

Конкретными носителями крестьянских производственных традиций в XVIII — первой половине XIX века являлись, по данным М. Громыко, в первую очередь семья и община (хотя автором по достоинству оценивается и индивидуальный опыт в накоплении и передаче трудовых навыков, и роль в этом фамильных гнезд). Семья показывается автором как первичное звено, формирующее у молодежи навыки «к домоводству и хлебопашеству» и нравственные нормы. Правильно подчеркивается, что трудовое основание оценок было ведущим в крестьянской системе ценностей. Хотя в то же время утверждение, что при решении имущественных вопросов раздела и наследования сама семья рассматривалась крестьянами как трудовая артель, трудовая ассоциация, вызывает возражение. Работа

над историей крестьянской семьи в Сибири XVIII — первой половины XIX века убедила нас, что трудовое начало не играло в обычном семейном праве ведущей роли. В частности, в основе наследования и разделов у земледельцев феодальной Сибири лежали прежде всего отношения родства.

Вопросы характера, структуры и функций сибирской крестьянской общины нашли отражение в последней главе рассматриваемой монографии. В Сибири XVIII — первой половины XIX века, отмечает автор, наблюдалось сосуществование сельской и волостной общин. Причем два специфически сибирских фактора способствовали укреплению местной общины (генетически восходившей к общинной организации крестьян европейской России): трудные для освоения природные условия и наличие угрозы внешнего врага, сохранявшейся для ряда районов и в XVIII веке. Община для М. Громыко — сложная социальная единица; внутри нее выделяются возрастные общности, территориально-соседские объединения — концы, фамильные гнезда, коллективы совладельцев земли, семьи-дворы. Свою важнейшую функцию — хранительницы трудовых традиций — община реализовала в различных формах внутриобщинных и внешних контактов (в том числе коллективных работах, праздниках и других).

Автор, рассматривая крестьянскую общину и ее институты, вскрывает присущие ей внутренние противоречия, показывает нарастание социального протеста внутри общины против злоупотреблений и гнета зажиточной верхушки деревенского мира.

Отечественная историко-этнографическая наука пополнилась капитальным исследованием, оригинальным по замыслу и исполнению. Мы получили новые убедительные доказательства, что сибирские русские — органическая часть, а не какая-то новая ветвь русского народа. Причем, как показано автором, в сибирских лесах и степях в XVIII — первой половине XIX века исконные славяно-русские производственные традиции, черты материальной и духовной культуры не только сохранились, но получили также дальнейшее развитие.

Н. МИНЕНКО,
кандидат исторических наук.
Новосибирск.

★

УМЕТЬ ВИДЕТЬ

Н. Н. Смеляков. С чего начинается Родина (Воспоминания и раздумья). М. Политиздат. 1975. 607 стр.

Есть книги, которые, начав читать, нельзя не закончить, а прочитав, еще долго держишь в руках, сожалея, что перевернута последняя страница. Именно такое чувство вызывают у меня книги Николая Николаевича Смелякова, будь то размышления об увиденном в далекой от нас Америке или о делах «нашенских», проблемах, волнующих советских людей.

Недавно вышедшая книга «С чего начинается Родина» вызвала у меня желание вернуться вновь к «Деловой Америке», выпущенной вторым изданием в 1969 году, и поделиться мыслями, на которые навели меня обе эти книги.

Читая страницу за страницей о «деловой Америке», я вспоминал картины, которые мне приходилось наблюдать самому в этой стране. И это личное неизменно подтверждало, сколь точно и зорко видит автор образы людей, события заокеанской страны. Найти правильный ракурс в изображении, суметь отобрать главное из огромного количества изученной литературы, извлечь корень из переговоров с многочисленными деятелями «деловой Америки» — искусство сложное, и, надо сказать, владеет им автор отлично.

Книга «Деловая Америка» не только объективное отображение того, что Н. Смеляков лично наблюдал. Будучи сам деловым человеком и пламенным патриотом, он не только комментирует виденное, изученное, но и дает практические советы, как мы в своем хозяйстве могли бы использовать наиболее разумное из практики этой страны. Книга не только реалистический показ разных сторон жизни и деятельности людей огромной, наиболее индустриально развитой капиталистической страны, отмечающей ныне двухсотлетие своего существования. У Н. Смелякова острый глаз и подлинно партийное чутье, позволяющее ему безошибочно по-хозяйски определить, что следует

взять, использовать из опыта чуждой нам по строю страны, а что отбросить. Он не боится признаться, что наши недостатки и упущения вызывают у него душевную боль, а порой досаду на тех нерадивых хозяйственников, которые не используют всех возможностей нашего строя, выпуская недоброкачественную продукцию.

Автор приходит к совершенно правильному выводу: «Мы все можем, но мы не все знаем и не все умеем, поэтому должны учиться». Вместе с тем он с гордостью говорит о наших успехах и достижениях.

Самая передовая капиталистическая страна готовится отметить свое двухсотлетие. Первая из социалистических стран — свою пятьдесят девятую годовщину. Двести и всего пятьдесят девять! А сколько за это время сделано нами! Эти цифры все время стояли передо мной, когда я читал книгу Н. Смелякова об Америке.

«Метро Нью-Йорка — это скорее катакомбы, нежели современное транспортное сооружение... В метро накапливается грязь на стенах, колоннах и потолках станций. Едва освещенное метро напоминает заброшенную шахту. Даже реклама несет здесь следы заброшенности».

Читая эти строки, я вспомнил свои поездки в метро Нью-Йорка. Как-то мне бросились в глаза предупреждающие плакаты внутри вагонов: «Поездки в метро являются опасными. Если поезд остановился между станциями, оставайтесь на местах. Не выходите из вагонов. Действуйте по указанию персонала поезда или полиции». Чем вызваны эти призывы к пассажирам? Разъяснение пришло, когда я просмотрел газеты. В них сообщалось, что недопустимое состояние нью-йоркского метрополитена привело к новому трагическому происшествию. Из-за короткого замыкания электрической сети 26 мая вечером семь с половиной тысяч пассажиров в пяти поездах пробыли в дымном туннеле между станциями почти два часа. Корреспондент одной из газет писал, что пассажиров охватила паника. Были смертельные случаи. Более двадцати пассажиров пришлось отправить в госпиталь, а семидесяти пяти медицинская помощь была оказана на месте, когда движение восстановили.

Оборудование метрополитена пришло в упадок, а на ремонт денег нет. И это в самой богатой из капиталистических стран мира!

Значительное место уделяет Н. Смеляков вопросам организации производственных процессов в Америке, постановке исследований, конструкторской работе. Тут есть чему поучиться, и он пишет:

«Организация труда и управление производством на предприятиях в США поставлены на научную основу. Эта отрасль науки постоянно развивается... Без совершенной организации труда никакая механизация и автоматизация не даст прибыли... Американцы-бизнесмены считают, что наиболее трудной и самой важной работой является умение заставить продуктивно трудиться других».

Пристально рассматривает автор проблемы качества промышленной продукции, меры, предпринимаемые фирмами, чтобы не уронить своей чести, привлечь внимание покупателя:

«Техническое обслуживание организовано на базе инженерных расчетов, с учетом всех оттенков этой работы, включая и психологию человека. Чтобы избежать рекламации, пятно от которой не смывается ни в одной самой лучшей прачечной или мастерской химической чистки, поставщик... готов на все: доставить самолетом запасную часть в любой конец света, бесплатно устранить неисправность и т. д.».

В разделе «Промышленность вторгается в жизнь человека» автор приводит целый ряд красочных примеров организации американской индустрии: «...промышленник никогда не останавливается на временной технологии производства. Он хорошо знает, как тяжело бывает избавиться от временной, обходной технологии и перейти на нормальный процесс производства. Временная технология — это бич нормально действующего предприятия, от которого надо как можно быстрее освобождаться».

В книге рассказывается об организации рабочих мест на производстве, о складском хозяйстве, о котором, по признанию автора, «можно написать настоящую поэму».

«На вопрос: «Почему у вас такое увлечение строительством складов?» — обычно следовал ответ: «Если вы хотите иметь прибыль, имейте склад. Склад — это хранилище человеческого труда, склад — это помощник производства».

Н. Смеляков все замечает, расспрашивает, сопоставляет и останавливает внимание читателя на всем важном, полезном для нашей страны, что может быть с успехом нами использовано, осмеивает все, что вызывает его гнев, досаду. Несколько точных штри-

хов — и перед читателем американский корреспондент, которому «ничего не стоит передернуть слова и факты». Сколько раз мне самому приходилось убеждаться в этом!

В 1959 году группа советских ученых побывала в США. Когда мы в Чикаго подъезжали к аэропорту, американский адмирал Х. Риковер, увидев группу журналистов, ожидавших нас, сказал с опаской: «Надо быстро от них отделаться, это люди, которые могут испортить карьеру не только политическому деятелю, но даже военному или ученому».

«Американский образ жизни» со всеми его отвратительными чертами нам ни к чему. А вот передовая техника, деловой стиль, сноровка, организация, все то положительное, что успел создать капитализм на американской земле, может и должно найти свое применение и распространение на новой, расширенной основе в условиях нашего социалистического общества». Этими словами автор заканчивает свою первую книгу.

«С чего начинается Родина» посвящена событиям от начала Отечественной войны и до начала 70-х годов, вернее с преддверия войны — июня 1941 года, когда автор выехал в заграничную командировку.

Война застала Н. Смелякова в Германии, куда он был направлен в качестве приемщика советского торгового представительства. Очень интересны описания того, что происходило в Германии перед самым началом войны и как ее встретили советские люди, находясь в логове врага.

Рассуждая о подготовке советской промышленности к производству военной техники и особенно танков, автор со знанием дела рассматривает создавшуюся к началу войны ситуацию. «В сложных условиях начавшейся войны наша промышленность организовала изготовление танков и самоходных орудий, быстро наращивая их количество. Я говорю о танках потому, что мне этот вопрос близок как бывшему танкисту и танкостроителю».

Как это часто случается при написании мемуаров, автор, прерывая повествование, возвращается к прошлому. С большим интересом читаются его строки о первых шагах молодого инженера, только что закончившего высшую школу и попавшего на Коломенский завод. Картины производственной жизни, сложные условия взаимодействий молодого специалиста со старыми опытными цеховыми работниками показаны ярко и убедительно. Эти страницы чрезвычайно важны и могут служить практическим руководством к установлению правильных взаимоотношений между различными категориями работников на производстве.

Значительное место отведено тылу в дни войны. Героика работников тыла показана на примере Коломенского и Сормовского заводов. Волнующи картины, воссоздающие эвакуацию цехов, организацию военного производства на новых местах, самоотверженность, неистощимую энергию русских людей, их находчивость и упорство в достижении поставленных целей. Н. Смеляков пишет «о неисчерпаемых возможностях социалистического строя, проявивших себя в труднейших условиях войны, в мощном развертывании советской военной промышленности, давшей фронту все необходимое для разгрома врага, для полной и решительной победы».

Послевоенное время поставило перед советским народом проблемы дальнейшего экономического и культурного развития страны. Страницы об этом периоде представляют особый интерес, так как автор активно участвовал в решении многих фундаментальных задач промышленности в качестве директора завода, а затем министра машиностроения СССР. А в 1957 году, когда было принято решение о реорганизации управления промышленностью и строительством, Н. Смеляков назначается председателем Горьковского совнархоза. Это открывало новые горизонты для изучения методов управления промышленностью.

Самой же трудной, наиболее интересной деятельностью автор считает партийную работу, которой он целиком посвятил себя, будучи избран секретарем Горьковского горкома партии и когда ему пришлось заниматься «политикой и экономикой, производством и наукой, пропагандой и бытом, воспитанием и обучением, качеством продукции и вопросами торговли, делами строительства и работой советских органов и, конечно, повышением своей квалификации».

Н. Смеляков обстоятельно пишет о реконверсии промышленности — вопрос, представляющий значительный интерес, особенно сейчас, в дни острейшей борьбы за укрепление мира, за прекращение гонки вооружений и переключение промышленности с производства вооружения на мирную продукцию.

Н. Смеляков рисует яркие, убедительные картины того, как советские люди в дни смертельной опасности для родины быстро

налаживали производство вооружения на заводах, никогда ранее не изготовлявших его, а после окончания войны быстро вернулись к мирному производству.

Рисуя картины мирного производства, автор совершенно правильно делает акцент на необходимости широкого использования специализации и кооперации. «В нашей стране,— читаем мы у Н. Смелякова,— как известно, частновладельческая чересполосица ушла в прошлое более полувека назад. Перед нами широкое и плодородное поле для гигантского развития специализации, кооперирования и унификации. К великому сожалению и удивлению, нельзя заметить нужного процветания этих важнейших элементов в практической жизни...— заключает автор и советует: — Может быть, стоит здесь воспользоваться зарубежным опытом. Ведь вот, скажем... «Форд» ежегодно закупает на стороне у специализированных предприятий до 15 млрд. штук одних только крепежных деталей. У нас каждая незначительная автобаза с несколькими десятками автомобилей стремится организовать собственное производство болтов и гаек, а неровен час, и метчиков и лерок для нарезки резьбы».

Когда я читал страницы, посвященные описанию потрясающих, грандиозных перемен, происшедших в нашей стране в последнее десятилетие, передо мной воскресали картины прошлого. Я видел то, что нам досталось в наследство от старой России, экспорт которой поневоле ограничивался пенькой, лесом, зерном, салом, пушниной...

«Только после Великой Октябрьской революции с развитием советской промышленности начались, сперва небольшие, поставки некоторых видов машин. Затем они приобрели большой размах».

Эти строки перенесли меня к концу 20-х— началу 30-х годов. Еще в студенческие годы наши учителя замечательные специалисты-металлурги М. А. Павлов, К. П. Григорович объясняли нам, студентам, как невыгодно продавать за границу наши руды марганцевую и хромистую и покупать там выплавленные из них сплавы ферромарганец и феррохром. Говорили нам о том, как важно овладеть техникой производства этих сплавов и продавать не руду, а сплавы. И мы изучали эти производства. Изучали по отрывочным сведениям, по догадкам и интуиции наших учителей, ибо секреты производства тщательно охраняли международные монополии. Мы ставили опыты, ошибались, исправляли свои ошибки и все же овладевали тайнами производства.

И вот свершилось то, о чем мы могли только мечтать. Я не мог сдержать волнения, когда несколько лет назад читал газетное сообщение о том, что из Советского Союза в Англию отправлена первая партия советского феррохрома.

Н. Смеляков пишет: «В период переговоров о продаже французам пресса мощностью 65 тыс. т. им был показан в действии установленный на одном из наших заводов пресс усилием 75 тыс. т., изготовленный советской промышленностью по собственным проектам. Он занимал отдельный цех. На французских специалистов демонстрация пресса произвела огромное впечатление. Не требовалось много слов, чтобы описать достоинства этой машины. Кстати, такого мощного пресса пока нет ни в одной стране мира. Через некоторое время контракт на поставки советского пресса во Францию был подписан».

Послевоенные годы, насыщенные событиями исторической значимости в науке и технике, интенсивное развитие международных связей нашли в книге автора значительное место, и он захватывает читателя показом того, что происходило. Эта книга в известной степени история нашего времени, изложенная активным участником многих крупных событий, хорошо знающим то, что в ней излагается. Книга зовет советских людей к новым свершениям, и автор заканчивает ее призывом Л. И. Брежнева: «Мы должны работать сегодня так, чтобы наши дети и внуки могли возводить все новые и новые этажи того здания, которое мы строим, а не переделывали бы то, что уже сделано».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
профессор,
Герой Социалистического Труда.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

БОРИС ГАЛАНОВ. Самые долгие годы. Повести. М. «Советский писатель». 1975. 240 стр.

Обширная наша документальная проза о Великой Отечественной войне пополнилась недавно еще одной книгой, страницы которой правдиво воскрешают атмосферу героических лет. Ее автор — ныне известный литературный критик, а в годы войны специальный корреспондент армейской газеты — по журналистской привычке день за днем заносил в свои блокноты и меткое солдатское словцо, и портреты людей, и характерные подробности фронтового быта, и поразившие его факты, и слова тех, кто в самые тяжкие дни, повстречавшись с корреспондентом на военных дорогах, назначал следующую встречу не где-нибудь, а непременно в Берлине, до которого было еще так далеко... Эти записи и легли в основу книги. «Среди торопливых записей,— отмечает автор,— много, очень много горьких. Но ведь горьким и долгим был путь к победе...»

Донбасс... В предгорьях Кавказа... Северо-восточнее Туапсе... Малая земля. Новороссийск... Через Южный Буг... Карпаты... Май 1945 года... Так назвал Борис Галанов главы своей книги, рассказывая о событиях, очевидцем и участником которых он был. К наиболее ярким и впечатляющим относятся, на мой взгляд, страницы, посвященные героической Малой земле и боям за освобождение Новороссийска. Известно, что целых семь месяцев, вплоть до полного освобождения города, высадившийся на Малой земле десант сковывал и ограничивал действия войск противника. Сколько раз пытались гитлеровцы сбросить малоземельцев в море, и всякий раз безуспешно! Выразительными штрихами нарисованы в книге портреты героев-малоземельцев — командира десантного отряда Цезаря Куникова, капитан-лейтенанта Александра Райкунова, санинструктора Нины Марухно, старшины второй статьи Владимира Сморжевского, парторга сержанта Павла Нечаева, отважной комсомолки Марии Педенко...

«О Марии Педенко,— пишет автор,— нам напомнил Леонид Ильич Брежнев, в годы войны начальник политотдела нашей 18-й десантной армии. На вечере-встрече ветеранов-однополчан 18-й армии, отмечавших 25-ю годовщину победы советского народа над гитлеровской Германией, когда кто-то из присутствующих поднял тост за женщин — участниц войны, Л. И. Брежнев сказал:

— Помните Марию Педенко? Девушку-комсорга из 255-й бригады морской пехоты? Для меня ее образ стал олицетворением многих женщин, воевавших бок о бок с мужчинами.

И он заговорил об отваге и самоотверженности этой девушки, чья короткая жизнь вся без остатка была посвящена служению родине».

Записи военных лет о мужестве и героизме малоземельцев автор дополнил рассказом о своих послевоенных встречах с возрожденным Новороссийском. Последний раз он приезжал сюда в начале сентября 1974 года, когда городу-герою торжественно вручались орден Ленина и медаль Золотая Звезда. Он снова исходил из конца в конец весь Новороссийск, снова побывал у памятников боевой славы. Совхоз «Малая земля». На его территории отмеченное мемориальной доской помещение бывшего штаба 83-й бригады морской пехоты. Ступеньки ведут вниз, в длинный узкий глубокий туннель с пристроенной к нему крохотной темной каморкой. В каморке грубо сколоченный некрашеный стол и на нем почерневшая от нагара коптилка. Так здесь все было три десятилетия назад, когда начальник политотдела армии Л. И. Брежнев на переднем крае вручал воинам-малоземельцам партийные билеты и ордена. А неподалеку недавно сооружен своеобразный памятник, материалом для которого послужили осколки немецких снарядов, мин и авиабомб. «1250 килограммов металла пошло на постройку этого памятника,— пишет Б. Галанов.— 1250 килограммов! Ровно столько, сколько обрушил враг на каждого малоземельца. Горели камни и земля. Плавились железо и сталь. Люди выстояли... Не знаю, кому пришла в голову идея памятника — такая впечатляющая и такая простая. Не знаю, кто собирал для него осколки на Малой земле. Но люди здесь подолгу стоят, думают, вспоминают».

Интересно рассказывает автор о фронтовых буднях редакции армейской газеты, о нелегкой и самоотверженной работе военных журналистов и писателей. На страницах книги мы встречаемся с Борисом Горбатовым, Сергеем Михалковым, Сергеем Борзенко, поэтом Ильей Френкелем, другими писателями, с которыми на дорогах войны свела Б. Галанова фронтовая судьба. Позднее он узнал, что в 1942 году в районе Новороссийска, у подножия сопки Сахарная Голова, погиб, возглавляя поиск разведчиков, его товарищ по московскому Институту истории, философии и литературы поэт Павел Коган. Сейчас на вершине сопки сложена из камней пирамида. На ней

надпись: «Автору «Бригантины» поэту Павлу Когану». Этот скромный памятник сооружен учащимися новороссийского профтехнического училища, носящего имя поэта.

В книге помещены снимки известных фронтовых фотокорреспондентов М. Альперта, А. Григорьева, А. Егорова, Е. Халдея. Они как бы удостоверяют строго документальный характер повествования: на снимках мы видим тех людей, о которых рассказывает автор.

В. Косолапов.

☆

АЛЕКСАНДР ПИСЬМЕННЫЙ. Ничего особенного не случилось. Повесть и рассказы. М. «Современник». 1975. 176 стр.

В начале 50-х годов мы с Александром Письменным ездили по городам средней России. В одном из городов нас пригласили выступить на литературном вечере. Когда мы пришли в рабочий клуб, на сцене стоял эдакий детина, рекомендовавший себя поэтом-публицистом-песенником, радиокомментатором, автомобилистом — участником пробегов, импровизатором. На нем была вельветовая курточка с кожаными вставками. Кулаки мощно топорщили карманы брюк. Заглатывая микрофон, знаменитость громогласно читала стихи. На аплодисменты, очень дружные, был ответ низким, коротким, галантным наклоном головы. «Мы, художники слова...— говорила прозой знаменитость,— **мы**, московские поэты...»

За Александром Письменным я не замечал приступов вспыльчивости и бурнопламенного кипения страстей. Человек внешне спокойный, деликатный, он судорожно схватил меня за руку и не допускающим возражений шепотом сказал: «Уйдем! Мы не художники слова. Мы не московские авторы. Мы не...»

Для того чтобы понять этот поступок Александра Письменного, характер писателя, смысл его жизни и работы, надо обратиться к его книгам, и, может быть, в первую очередь к лежащему передо мной сборнику «Ничего особенного не случилось». Да, ничего особенного не случилось. Сущие пустяки. Подробности жизни. Но вот они-то и составляют самое существо бытия. Александру Письменному было чуждо все нарочитое, ходульное, крикливое, наигранное. Он стушевывался, когда видел позеров и хвастунов. Он смолоду налаживал истинную, а не показную связь с жизнью. Интересовали его рабочие люди с их ежедневными, ежечасными заботами и делами, люди, которые, по существу, и были создателями всех ценностей мира. И как человек и как художник он во всем стремился быть равным им.

Буровой мастер Егор Кузнецов («Буровая на море») оставляет работу, пробует прижиться на Сахалине, но возвращается к своему началу. Ему дают буровую в море (очевидно, это Каспий), и здесь он показывает себя и свое мастерство. Герой рассказа «На старом заводе» уходит на пенсию, но не может примириться с тем, что небольшой железнодорожный заводик обходится без него. Он решает читать рабочим лекции по прокатному делу и сразу же преображается. Задиристый мастер цветного литья Гурий Чикин, повздорив с заводским начальством, «примеряет на себя» профессию бакенщика, но оказывается, что без завода он не может: даже запах литья ему приятен.

Писатель показывает возвращение к труду как возвращение к себе и возвращение к себе как возвращение к жизни. Вне работы не найти ни своего «я», ни покоя. Если героев Письменного одолевает тоска, то это прежде всего тоска по настоящему делу: «...жажда трудной работы нам ладони сечет» — могли бы они повторить слова Михаила Луконина. Люди, характеры, положения предстают перед нами рельефно. Мордовская девушка Марина («Большой мир») видна нам в ее речи, жестах, в ее снах, в ее работе в мартеновском цехе. Писатель ведет нас не от производства к человеку, а от человека к производству. Малые захолустные городки, славные своими фабриками и заводами, кустарными мастерскими и артелями, встают перед глазами, нарисованные влюбленным в них Александром Письменным.

Неверно было бы изображать этого писателя только как сторонника одной темы. «Любовь? А что это такое?» — небольшой рассказ, передающий глубокое чувство красавца спортсмена Виталия к ничем не примечательной для других Мусеньке. «Была война...» — новелла, рассказывающая о мальчике, который не ушел из разрушенной деревни и два с половиной года ждал мать, угнанную в Германию. Он ждал ее, и когда в конце концов она вернулась, он не узнавал ее до тех пор, пока мать не вышила ему ворот рубашки крестиком... Вспомнил! Небольшой эпизод, сильно и смело раскрывающий тему страданий, принесенных войной детям.

Может показаться, что события, которые описывает автор, происходят в малом мире, что они маломасштабны. Но чтение книги убеждает в том, что это большой мир. Уже в 30-е годы Александр Письменный закладывал основы того прозаического стиля, той эстетики, которая сейчас стала весьма почитаемой. Будем помнить тех, кто торил тропу, кто прокладывал путь.

Я прочитал все, что написал Александр Письменный: три романа, несколько повестей (среди них «Две тысячи метров над уровнем моря»), рассказы — все это серьезная литература, еще недостаточно оцененная. У нас говорят: приближение к жизни. Это не приближение к жизни, а она самая с ее радостями, печалями, нескладицей, прекрасным и отвратительным. Остается сказать немаловажное для читателя: прозу Александра Письменного читать интересно, с этим писателем не проскучаешь, ему было что сказать, и он умел это сказать внятно и душевно.

Лев Озеров.

★

Н. ЗУБОВ. Первый председатель Малого Совнаркома. М. «Советская Россия». 1975. 239 стр.

«Его знали и глубоко уважали многие соратники Ильича...»— пишет в предисловии старая большевичка Т. Ф. Людвинская, горячо рекомендуя читателю книгу о Мечиславе Юльевиче Козловском (1876—1927), первом председателе Малого Совнаркома, одном из ближайших помощников В. И. Ленина.

М. Ю. Козловский впервые ознакомился с социалистической литературой, будучи гимназистом. После окончания юридического факультета Московского университета он вернулся в Вильно и, начав самостоятельную юридическую практику, умело сочетал ее с подпольной революционной деятельностью. Адвокат Козловский, имя которого было известно далеко за пределами Виленской губернии, «часто выступал на судебных политических процессах как защитник революционеров, не боялся острых конфликтов с прокурорами и судьями — излагал идеи подсудимых, показывал их справедливость...».

Мечислав Юльевич подвергался постоянной слежке со стороны полиции, неоднократно арестовывался. Высланный царскими властями в 1906 году за пределы Российской империи, он жил до 1909 года в Париже, где активно включился в работу парижской секции социалистической партии Польши и Литвы. По возвращении в Россию, в Петербург, М. Ю. Козловский ведет как юрист дела крупнейшего профсоюза — металлистов, под прикрытием адвокатской работы выполняет многие партийные поручения.

Большая часть страниц посвящена деятельности Козловского в революционном 1917 году и в послеоктябрьские годы. Он продолжал работу в союзе металлистов, с апреля 1917 года стал членом Петербургского комитета РСДРП(б), входил в исполком Петроградского Совета, работал в Петроградской городской думе, был председателем Выборгской районной думы. Наряду с этим, рассказывается в книге, Козловский продолжал служить партии своими знаниями и опытом юриста, например блистательно отстаивая интересы большевиков на судебном процессе о выселении ЦК и ПК из особняка Кшесинской.

После победы Октябрьской революции Мечислав Юльевич — председатель созданной в Смольном еще во время штурма Зимнего дворца Следственной комиссии Военно-революционного комитета, которая вела непримиримую борьбу с контрреволюционерами и саботажниками. В марте 1918 года М. Ю. Козловский был назначен членом, а позднее председателем Малого Совнаркома — особой правительственной комиссии для рассмотрения мелких, по образному выражению Владимира Ильича, «вермишельных», дел в целях разгрузки от них большого Совета Народных Комиссаров. По свидетельству члена МСНК Н. А. Милютина, Ленин назвал Малый Совнарком своим первым помощником, и эта оценка, естественно, должна быть отнесена и к его председателю.

На заседаниях МСНК под руководством М. Ю. Козловского было рассмотрено огромное количество самых разнообразных вопросов. Из книги мы узнаем, что в трудные для Советского государства годы Совнарком уделял большое внимание вопросам культуры. Вот только некоторые из принятых решений: об объединении театрального дела, об издании «Народной хрестоматии для малограмотных», о запрещении вывоза за границу произведений искусства, исторических рукописей и редких книг, об удовлетворении ходатайства С. А. Толстой о возобновлении выдачи ей пенсии.

В процессе совместной работы в Совнаркоме В. И. Ленин неоднократно обращался к М. Ю. Козловскому с записками — тексты их читатель найдет в книге. Автором широко использованы воспоминания сотрудников аппарата Совнаркома, в них отмечены такие качества председателя Малого СНК, как деловитость и принципиальность.

Интересно рассказывается о многочисленных встречах и совместной работе Мечислава Юльевича с видными революционерами, большевиками-ленинцами — Ф. Э. Дзержинским, В. В. Воровским, П. И. Стучкой, А. С. Енукидзе и многими другими. Удачны страницы о его встречах с Е. Б. Вахтанговым, В. И. Качаловым.

В последние годы жизни М. Ю. Козловский—на дипломатической работе за границей, затем он возглавляет юридическую службу Наркомата путей сообщения.

Книга Н. Зубова, несомненно, найдет путь ко множеству читателей и будет прочитана ими с интересом. Но нельзя воздержаться от одного замечания. Автором широко использованы документальные, мемуарные и другие источники, однако читатель будет тщетно искать отсылки к ним даже в тех случаях, когда цитируется тот или иной ленинский документ. Это, на наш взгляд, снижает научную ценность книги.

Д. Кислик.

☆

А. Б. ДАВИДСОН, В. А. МАКРУШИН. Облик далекой страны. М. Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». 1975. 423 стр.

«Вся Африка наполнена слонами, львами, барсами, верблюдами, обезьянами, змиями, драконами, страусами, казуриями и многими другими лютыми и редкими зверьями, которые не токмо проезжим, но и жителям самим наскучили» — вот так, с улыбки, цитируя «Географию» середины XVIII века, начинают авторы рассказ о дальних странах.

Очень это сложная задача — проследить, как складывался у целого народа, в данном случае русского, облик неведомой страны, да еще такой, как Южная Африка. Разные континенты, разные климаты, совершенно не похожие по историческим судьбам, по обычаям и верованиям народы. Да и за-

дача, которую взялись решать авторы — проследить самый процесс создания облика далекой страны,— насколько нам известно, никем в такой форме не ставилась. Авторы, как и многие герои их книги, выступают своего рода первооткрывателями, пути их поиска чрезвычайно сложны, и в этом плане книга сравнима с затейливым восточным орнаментом, тем более что в ней присутствуют и геометрические (маршруты кораблей и очертания земель), и растительные, и животные «фигуры».

И присутствуют подлинные писательские находки.

Действительно, трудно представить себе, что можно охарактеризовать — пусть приближенно — совершенно незнакомый край света рассказом об экспедиции, туда намеченной, но не состоявшейся! Авторы же рискнули пойти на столь необычный прием и добились успеха. Речь идет об экспедиции к Мадагаскару, задуманной Петром Первым.

Особенно интересен их рассказ о том, куда могли бы приплыть русские корабли, причем не только в географическом, но и в общественно-историческом смысле. На Мадагаскаре еще незадолго до вероятного прихода туда русских кораблей существовала «социально-утопическая» республика, называвшаяся Либерталия, Свободная, а граждане ее — либери, свободные. Население республики составляли пираты всех национальностей, освобожденные пиратами рабы-африканцы и местные жители. Основали ее пираты — француз Миссон и итальянец Караксиоли, последователи знаменитого утописта Томмазо Кампанеллы, автора «Города Солнца».

Первое непосредственное знакомство россиян с Южной Африкой произошло вполне в духе авантюрных романов: там оказались бежавшие с Камчатки под предводительством Бениовского, Хрущова, Бочарова ссыльные и бунтовщики-камчадалы, решившиеся на отчаянно смелое плавание. Они обошли Восточную и Южную Азию, посетили Мадагаскар, куда устремлял свои царственные мечты Петр, и обогнули Южную Африку в 1772 году. Современники молчали (или не знали) о камчатских бунтарях, но ведь именно они первыми из россиян обошли чуть ли не весь Старый Свет, ибо некоторые из них (например, штурман Бочаров) потом из Европы через Сибирь вернулись на Камчатку. Это же настоящий подвиг, хотя и не отмеченный официальными бумагами и регалиями, подвиг, который только теперь осознается нами в полной мере.

А истинное постижение Южной Африки началось с того времени, когда там появились русские моряки, стажеры и волонтеры на английской службе. В числе первых на мысе Доброй Надежды оказались И. Крузенштерн и Ю. Лисянский — будущие капитаны первых русских кораблей, обогнувших земной шар. В то же время в Южной Африке жил возвращавшийся из Индии на родину музыкант Г. Лебедев, ставший одним из первых русских индологов.

Лисянский и Лебедев вели дневники. Лебедева природа удивляла мало, ибо он много лет прожил в тропиках. Лисянский же впервые оказался так далеко от родной земли и всем живо интересовался. Выходцы из крепостнической России, они оба осудили рабство. Особенно резко высказывался Лисянский об «охоте» голландских переселенцев, буров, на бушменов и готтентотов. С горькой иронией писал он о европейцах, поголовно охваченных жаждой денег: «Это точная правда, что ежели мысовский житель не приобретает денег, так он верно спит».

В книге А. Давидсона и В. Макрушина колоссальное количество имен, причем бóльшая часть их воскрешена авторами из небытия, что придает книге не только научную, но и нравственную ценность. Но в книге фигурируют и знаменитые флотоводцы и известные писатели (И. А. Гончаров, А. В. Вышеславцов). Любопытно, что и мореходы и писатели в своих произведениях в главном лишь дополняли облик Южной Африки, штрихами набросанный Лебедевым и Лисянским. Но рисунок обрастал множеством новых деталей, причем разноцветных, и общая картина ширилась в пространстве, а время наносило на полотно все новые слои красок... Чем больше длился рассказ, тем труднее становилось авторам прояснять ее для читателей. И, видимо, накапливалась понятная всякому пишущему усталость. Во всяком случае, заключительный аккорд книги звучит, на мой взгляд, недостаточно сильно и ярко.

Думается, что следовало бы упомянуть суда китобойной флотилии «Слава» и корабли первых антарктических экспедиций, регулярно заходивших в Кейптаун. И можно было бы вспомнить «Ледовую книгу» Ю. Смуула, «Иду по меридиану» Н. Н. Михайлова, «Оскорбленные звезды» А. Иванченко. И обязательно следовало хотя бы упомянуть о путешествии по Южной Африке замечательного советского учёного — геолога и минералога Н. М. Федоровского (его спутником был геолог Д. И. Мушкетов). Федоровский настолько глубоко постиг облик далекой страны с геологической точки зрения, что обнаружил сходство в строении Южной Африки с геологической структурой Восточной Сибири и предсказал, что в Восточной Сибири будут найдены месторождения алмазов.

Геологическому сходству столь отдаленных стран авторы, прекрасные знатоки Африки, могли бы противопоставить контрастность социальных обликов в современном аспекте, а в историческом — Либерталию реакционному режиму Южно-Африканской Республики. И тогда облик далёкой страны стал бы для будущих читателей будущих книг еще отчетливее.

И. Забелин.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. 160 стр. Цена 20 к.

Е. Баврин. Монгольская Народная Республика. Справочник. Под общей редакцией Г. Х. Шахназарова. 112 стр. Цена 17 к.

В. Мухачев и В. Боровик. Рабочий класс и управление производством. 64 стр. Цена 12 к.

В. Тетерюк. Здравствуй, будущее! Записки секретаря райкома партии. 183 стр. Цена 44 к.

Ум, честь и совесть нашей эпохи. Документы и материалы о КПСС. 335 стр. Цена 69 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Анарбаев. Красное ореховое дерево. Повесть и рассказы. Перевод с узбекского. 270 стр. Цена 51 к.

Г. Бакланов. Друзья. Роман. 271 стр. Цена 49 к.

А. Беляев. Идеологическая борьба и литература. Критический анализ американской советологии. 374 стр. Цена 1 р. 9 к.

В. Бээкман. Шаг меридианов. Впечатления, раздумья. Перевод с эстонского. 310 стр. Цена 81 к.

М. Гус. Во имя человека. Наблюдения и размышления. 391 стр. Цена 1 р. 9 к.

Б. Ласкин. Дом молодоженов. Повесть и рассказы. 344 стр. Цена 47 к.

Г. Немченко. Считанные дни. Роман. 278 стр. Цена 42 к.

Ф. Ниязи. Не говори, что лес пустой... Роман. Перевод с таджикского. 487 стр. Цена 1 р. 5 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Е. Винокуров. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. II. Стихотворения, статьи и заметки о поэзии. 492 стр. Цена 1 р. 24 к.

А. Малышко. Полдень века. Стихотворения и поэмы. Перевод с украинского. 304 стр. Цена 1 р. 34 к.

Л. Татьяничева. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. I. Стихотворения. 327 стр. Цена 1 р. 15 к. Т. II. Стихотворения. 350 стр. Цена 1 р. 18 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Бондарев. Берег. Роман. 413 стр. Цена 98 к.

Великие версты. Сборник. Составитель В. Шугаев. Предисловие Г. Маркова. 254 стр. Цена 19 к.

Непокоренные. Документы. Свидетельства очевидцев. Очерки о чилийских патриотах. 85 стр. Цена 41 к.

В. Рудим. Баллада о дипкурьерах. Документальные очерки. 126 стр. Цена 25 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Карпов. Песня Тазасу. Повесть и рассказы. Перевод с ногайского Р. Радовской. 208 стр. Цена 34 к.

С. Никитин. Снежные поля. Рассказы. Составление и предисловие В. Королева. 334 стр. Цена 67 к.

А. Рекемчук. Хлопоты. Повести и рассказы. Предисловие Д. Тевекелян. 429 стр. Цена 83 к.

А. Талвир. Фундамент. Роман. Перевод с чувашского Н. Бабенко. 431 стр. Цена 1 р.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 23/II 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 17/IV 1976 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 09144. Тираж 185.000 экз. Зак. 705.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02111

Цена 70 коп.

70636